

ISSN 0130-7673

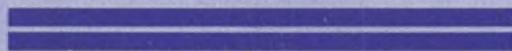
# НОВЫЙ МИР

110

НОВЫЙ  
МИР

1993

110



1993

# НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 10 (822)

Октябрь, 1993 г.

## УЧРЕДИТЕЛИ:

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР», АКЦИОНЕРНОЕ  
ОБЩЕСТВО «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ „АРМАН”»,  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА  
«БИОТЕХНОЛОГИЯ», АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«БАНК „САНКТ-ПЕТЕРБУРГ”»

## СОДЕРЖАНИЕ

|  | Стр. |
|--|------|
| ВЛАДИМИР ЛЕОНОВИЧ — Вечные гости, стихи              | 3    |
| АНДРЕЙ БИТОВ — Ожидание обезьян                      | 6    |
| ОЛЬГА ГРЕЧКО — Огоньки в художественной школе, стихи | 103  |

### ПУБЛИЦИСТИКА

|   |     |
|---|-----|
| АЛЕКСАНДР БОРЩАГОВСКИЙ — Обвиняется кровь. Фрагменты<br>книги | 105 |
|---|-----|

### ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

|  |     |
|--|-----|
| ЛЮДМИЛА САМОЙЛОВА — Государственные дети. Предисловие<br>Л. Петрушевской | 152 |
|--|-----|

### ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

|   |     |
|---|-----|
| «НАША ЛЮБОВЬ НУЖНА РОССИИ...». Переписка Е. Н. Трубец-<br>кого и М. К. Морозовой. Составление, публикация и коммента-<br>рий Александра Носова. Окончание | 174 |
|---|-----|

### ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

|  |     |
|--|-----|
| ЮРИЙ КАРАБЧИЕВСКИЙ — Филологическая проза. Публикация<br>Светланы Карабчиевской. Составление, подготовка текста, пре-<br>дисловие и примечания Сергея Костырко | 216 |
|--|-----|

### КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| <i>Литература и искусство</i> | 244 |
|-------------------------------|-----|

Ст. Рассадин. Виноватый.  
Андрей Василевский. Попытка компенсации.

(См. на обороте)

## КОРОТКО О КНИГАХ:

Владимир Пуков. — I. А. М. Пятигорский. Философия одного переулочка... II. С. С. Хоружий. Диптих безмолвия. Аскетическое учение о человеке в богословском и философском освещении. III. Клинтон Гарднер. Между Востоком и Западом. Возрождение даров русской души. IV. «Диспут». Историко-философский религиозноведческий журнал

251

## SUMMARY

256

*Уважаемые читатели  
«Нового мира»!*

НЕ ЗАБУДЬТЕ ВОВРЕМЯ ПРОДЛИТЬ  
ВАШУ ПОДПИСКУ  
НА ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ 1994 ГОДА.  
НАШ ИНДЕКС — 70636 —  
В КАТАЛОГЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ИЗВЕСТИЯ»

*Газета:*

**кто ЕСТЬ кто**  
в современном мире.  
**WHO's WHO**

*Издатель:*

**Международная  
деловая корпорация**



**Подписной индекс  
в каталоге ЦРПА:**

**32172**

---

---

ВЛАДИМИР ЛЕОНОВИЧ

\*

## ВЕЧНЫЕ ГОСТИ

Конюх Вася

В октябре человек с чемоданом  
появился в селе.  
Впереди некто, пьян вдрободан,  
шел, прикладываясь к земле, —  
и до площади храмовой шел я за пьяным.

От густой унавоженной грязи  
отрывал я его: — Не балуй, не балуй! И — а — уй! —  
Нетяжелого тела и земной органической связи  
отрывания звук — поцелуй.  
И от конюха Васи  
дух знакомый сивушный  
до конюшни донесло ветерком,  
и приветное ржанье послышалось из конюшни,  
а хозяин ни с места — и в глину ничком.

...Поцелуй — звук для слуха возбужденного!  
И не зря  
перед чайной избой у разрушенного  
алтаря

до весны дожидались меня отпечатки  
ладоней и лба —  
навсегда на сетчатке:  
борода и губа.

Пал морозец веселый,  
и глина взялась, как сургуч.  
Путь просторный на села  
от каменных круч.

Оказался крепонек  
Высшей Силой поверженный ниц  
Вася-конюх, известный кругом «анкагоник»,  
персонаж наших вздохов, судебных листов и больниц.

Человек городской, чемоданный,  
положение важное это я долго соображал  
и — ни трезвой, ни пьяной —  
впредь молитве ничьей не мешал.

### Енисейский грузин

Любезный сердцу генотип!  
Хоть нос твой в первом поколенье  
хакаска-мать укоротит,  
но в третьем, всем на удивленье,

ту седловину взгорбит хрящ,  
а глаз, мерцавший в щелке, в пятом  
весь выскочит, круглогорящ!  
И назовут дитя Багратом.

В крови раздор и непокой,  
живые струи неслиянны —  
и с кахетинскою тоской  
глядишь ты на свои Саяны!

Ты вниз уплыл и там осел.  
В седьмом — по тундре ты размазан...  
Что ж так неласков Енисей?  
Уехал бы... ах, не к хакасам!

В десятом — крепкий автохтон —  
примчишься на санях в Дудинку  
и в сумраке, как мех, густом  
увидишь — деву-кахетинку!

### Из альбома

Видел я Каргополь нынче и Петрозаводск,  
Питер и Оренбург, Кострому и Калязин,  
Алмаатаюс по свету, и нет мне опоры.  
Нет — как дифтонга воздушного «и-а», чтоб мог я  
Гиа сказать, Гиинька, домосед мой счастливый.  
Ты себе дома, и крепки твои бастионы  
рукописей, корректур, запыленных подшивок...  
«Книгу в себе» ты умеешь ценить, прикасаясь  
пальцами бережно к авторской подлинной правке,  
к детскому почерку: о! лепетать, о цхинвали! —  
синюю папку одну разрешив от тесемок.

Третий этаж, и звонок — наконец! — и объятья,  
и ритуальные танцы, и пухлые ручки  
к небу воздеты, и прыгает Лялька, и Джанка  
лает и лает, и монументальна Этери,  
как дедабодзи, держащая Дом крестокрыло.  
В этом триклинье грузинском теснятся картины,  
книги, растения и камни и — вечные гости —  
в комнаты входят с балконов лоза и глициния.  
В этом дарбази античном гостят олимпийцы,  
ликамы — вполоборота — из тьмы выступая.  
Додик Давыдов, наш Рембрандт, снимал их, но если б  
преображенные Додиком оригиналы  
все собрались — не избегнуть бы им потасовки!

Мир вам, которые живы, и царство... Но царство —  
в воздухе дома сего: замирание звуков  
благоговейное, этих камней и растений  
позы, и возникновение звуков, и ликов

этих вниманье — и все тут внимает и внемлет  
 некоей чудной стихии... Но страшно за Гию:  
 так незнакомо лицо и уста побелели,  
 бездной какой-то охвачен, последним блаженством,  
 на волоске его жизнь... Длится пауза... — Белла,  
 гениалури, — прошепчет, еще не очнувшись.

Беллину книгу держал я, как Вацлав Нижинский  
 Павлову Анну, и это — вина режиссера.  
 Бисерным Гииным почерком: Павлову Анну —  
 мне, — и так далее. Где эта книга, Илюша?  
 Как же я мог... Ради предка Дадешкелиани,  
 доблестного Константина, найди и верни мне  
 если не книгу, то надпись, но как же, но как же...  
 Вечный вопрос наш, Илюша, верни же мне Анну —  
 Беллу, хотя и окончен балет наш...

### У моря

Я насчитал в ротонде  
 четырнадцать колонн.  
 На синем горизонте  
 стояли слон и слон.

Потом один улегся,  
 растаял без следа.  
 Другой потек-повлекся  
 неведомо куда.

А катер развернулся  
 на малой глубине  
 и чуть не пер-вер-нулся  
 на собственной волне —

однако, не желая  
 такого ничего,  
 и баржа пожилая  
 гуднула на него.

Она прошла сутуло  
 с песком и кирпичом.  
 Она уже тонула  
 и знала что почем.



---

---

АНДРЕЙ БИТОВ

\*

## ОЖИДАНИЕ ОБЕЗЬЯН

Ты выпил!.. без меня?

«Моцарт и Сальери».

### I. КОНЬ

**23** августа 1983... хотел написать я. Еще подумал написать: шесть часов утра, — и тогда подумал: не слишком ли. Не лучше ли прославить место, возникшее неожиданно не только за окном, но и в тексте, но и тут заподозрил недоброе: не отвлечет ли читателя экзотическое слово Тамыш от всего, что я только что осилил? не разоблачу ли я себя подобным памятником, ибо что и есть дата и место написания как не надгробный памятник: «произведению от автора»? Ладно, пусть будет только дата. И хотя юридически, в смысле астрономически, уже 24-е, — имеет автор право ставить и 23-е... все-таки нечетное предпочтительнее. Эти сытеющие, по мере приближения к самому концу торжествующие соображения об увековечивании собственных усилий — путались внутри последнего предложения, которое я оттягивал из последних сил, жадно слизывая из окошка первые капли рассвета: белую стену, проступавшую в расступающемся сумраке, кур и индюшек на все более зеленеющей траве, телку Мани-Мани, лепешку мамы Нателлы — всю дивную жизнь, что придвинулась ко мне, как награда, так близко, что невозможно более терпеть это нетерпение, и я кончаю эту повесть с цыпленком на левой ноге

и не успел я поставить точку...

как *ОН* стряхнул цыпленка с ноги и, прежде чем я успел о чем-либо таком подумать, уже достал ни разу еще не ношенные мною белые джинсы и впрыгнул в них так стремительно и дерзко — никогда бы не подумал, что такое возможно — именно в п р ы г н у л, сразу обеими нижними конечностями; не сначала одну ногу, потом другую, неловко танцуя и теряя равновесие в спешке, а сразу — обеими, и молнией — вжик!, и они пришлось *ЕМУ* как влитые, даже чересчур, тесня и поджимая снизу столь долго не востребованное мужское хозяйство, и были разве несколько длинноваты...

В конце концов, я не возражал. Я достаточно томил и мучил *ЕГО*, давая лишь немного есть и долго спать, раз в день выгуливая к морю и купая; не позволял *ЕМУ* ни капли алкоголя, ни даже помыслить о прекрасной полови-

---

Эта вещь завершает более обширное сочинение — роман-странствие «Оглашенные», начатый повестью «Птицы...», продолженный «Человеком в пейзаже» (впервые опубликованном в «Новом мире»). Всей трилогии предпослано заявление автора, необходимое более всего здесь: «В этом сочинении ничего не придумано, кроме автора». — А. Б.

не... Я не позволял *ЕМУ* также слишком долго гладить всяких там местных деток, щенят и поросят, чтобы не дать развиваться подозреваемой мною в *НЕМ* склонности к педофилии. И так целый месяц!

Так можно было выдержать, лишь только сразу поставив себя. Как только мы появились в Тамыше и нас приветствовало население, степенно и нетерпеливо стекаясь из близлежащих дворов и целуя нам плечи в естественном ожидании освященного обычая пира, я тут же заявил, что нет, я пишу — мы не пьем, чем поверг, надо сказать... и если бы не предстоявшие сегодня же на другом краю села поминки, не знаю, чем бы еще это кончилось. Во всяком случае, Аслан, наш сосед, впоследствии уверял меня, что могло добром и не кончиться, если бы за нами не стояли такие люди, как Алеша и Бадз.

Но и на следующий и на еще следующий день мужественные и небритые лица односельчан, казалось, застряли со вчерашнего меж кольями нашей ограды. Их терпеливо-приветливый взгляд выражал уверенность, что сегодня уж мы передумаем... но — нет, нет! мы работаем, — беззастенчиво заявлял я. Хотя о какой работе могла идти речь, когда *ОН* у меня впал в такое уныние от всей этой «силы воли»! Я скрывался в доме, как узник, стыдясь честности их взгляда на меня. Всем селом, всем миром они жалели *ЕГО*.

Через день, буквально на пять минут, проверял мое состояние Аслан. Этот в высшей степени достойный молодой человек рано остался без отца, и теперь на нем лежало все хозяйство, и мать, и сестры. Ранняя зрелость была его отличительной, пожалуй, чертой. Мальчишеский непобедимый румянец прорисовывал уже рыцарские его черты. Он что-нибудь рассказывал о своих заботах, ненавязчиво предлагая зайти к нему попробовать чашку, которую он как раз только что выгнал, или косячок дряни из как раз полученной им новой партии. Кажется, получилась, кажется, хорошей... Он не настаивал.

Наверное, Аслан ходил к *НЕМУ*, а не ко мне.

Однажды он пришел сверх обычного возбужденный и бледный и, обращаясь уже как бы только ко мне, попросил меня, столь уважаемого человека, присмотреть за его младшим братом, который в последнее время стал внушать ему некоторые беспокойства, в знак чего он с опасением понюхал свои руки. Я кое-что уже слышал от Аслана о брате, но мне казалось, о старшем: тот был силач и богач, держал ларьки в Гаграх, и Аслан им, видимо, гордился, как бы мечтая со временем на него походить, — но как бы я мог следить за ним отсюда, за сотню километров?..

Дело в том, сказал он, что он мечтал для брата о другой судьбе, никак не похожей на свою. Что было делать, они рано осиротели, все деньги ушли на похороны, а старшего легла вся ответственность, и ему пришлось идти на дело (и он снова понюхал руки)... сейчас ему удалось обмолотить вагон, и теперь надо скрыться, у него есть надежное пристанище, где не найдут. Важно, чтобы младший не пошел по той же дорожке, потому что незрел еще, романтик, мало ли что в голову взбредет. Он знал, что тот ходит с финкой, но он трогал и его шестизарядный!.. Может, он и с ним ходил!

Я подумал, что Аслан накурился и морочит меня, но, оказывается, никакой тайны тут не было: это был не Аслан. Это был старший на четверть часа брат Аслана — Астамур, не столько владевший сейчас цехом, за которым присматривали надежные люди, сколько сидевший в данный момент в тюрьме. Воспользовавшись необыкновенным сходством, он обменялся в момент свидания с Асланом, чтобы сходить на дело. Все получилось очень удачно: сторож не убит, а только ранен, — но сейчас Астамуру надо уже очень торопиться, чтобы выпустить из камеры Аслана до смены караула, более надежного на менее надежный. Руки же у него отдавали керосином потому, что он только что зарыл свой ТТ в огороде, в ухоженную грядку с оружием, а ее приходится поливать керосином, чтобы не ржавело. Так он и обнаружил, занимаясь непривычным огородничеством, что Аслан роется в грядке тоже, а он так мечтал, чтобы Аслан поступил в сельхозинститут и остался настоящим крестьянином, и он так надеется теперь на меня...

И Астамур (если это был не Аслан) убежал в надежное пристанище, где его никто не станет искать, — «домой», во тьму и в тюрьму.



Тюрьма же находилась неподалеку, буквально километрах в двадцати, рядом с редчайшим на территории нашей страны христианским храмом, построенным «другом абхазского народа» императором Юстинианом в романском, естественно, стиле, VI или VII век, последние шестьдесят лет, конечно, не действовавшим. Рассказать о нем у нас еще будет печальный повод...

Аслан появился на следующий день, по-видимому не догадываясь еще о нашем разговоре с его братом. Он был сильно возбужден и оттого еще более румян. Аслан напрямик предложил мне идти с ним на дело. Дело горит, а Миллион Помидоров в последний момент соскочил, а Сенёк (это был летовавший в селе бич) не годится, забухал на кладбище с безутешными. Про великого человека по кликухе Миллион Помидоров потом и про Сенька — потом, а сейчас мне было никак не справиться не только с Асланом, но и с *НИМ*, поскольку *ОН*, до того дремавший, тут же очнулся, встрепенулся и стал в это, не свое, дело рваться. Мне с трудом удалось расстроить их немедленное взаимопонимание, и если бы не разговор с Астамуром накануне — не знаю, как бы я удержал их обоих.

Прочтя размеренную нотаацию, от которой сам чуть не уснул, я решил, что уже поздно до купания садиться за работу, и направился к морю. Я все еще с трудом удерживал *ЕГО*, продолжавшего рваться от меня к Аслану в немедленной жажде идти на дело — молотить вагоны. Я позволил *ЕМУ* даже больше обычного поглядеть на супружескую пару свиней, всегда трахавшихся в этот час у забора двора Зантариев-пятых. В нашей деревне, надо сказать, все были Зантария или Ануа и лишь чуть-чуть Гадлия. Зрение деловитой любви свиней, к которым он всегда питал не объяснимую мною симпатию, не только отвлекло его, но, на мой взгляд, и чересчур увлекло, и я повлек его дальше, пытаясь отвлечь более умеренными и возвышенными картинами, возникавшими на нашем пути, в разрывах листвы и синева изо дня в день, в определенную минуту и час, как заведенные, не уставая и радуясь повторению, как дети: ровно в четверть пятого начинало щебетать гигантское тутовое дерево во дворе Гадлия — птицы объявляли закат, хотя солнце еще палило вовсю, но, по их сведениям, уже клонилось к. Ровно в половине пятого во двор Зантариев-тринадцатых возвращалась отбившаяся от стада, соскучившаяся по дому корова и, надыбав знакомую ей прореху у изгороди, проросшей колючим кустарником асапарели, о которой у нас тоже будет еще повод рассказать (на этот раз веселый), проникала в кукурузное поле, где ее к этому часу уже поджидала хозяйка... однако корова успевала прихватить два-три початка, не обращая ровно никакого внимания на побои, и еще — четвертый и пятый, пока хозяйка подбирала замену сломившейся палке. И ровно без четверти пять выходила в последнем дворе чистенькая старушка в трауре, неся на вытянутых сухих веточках рук прикрытое полотенцем хачапури, чтобы поставить его в уже успевшую прогореть к этому часу печку, стоявшую на краю газона. Почему печь на газоне?.. На фасаде была тщательно закреплена большая стеклянная вывеска, как на учреждении, изготовленная, по-видимому, по спецзаказу в столице Сухум, в мастерской одного из Зантариев, промышлявшего вывесками для банков, школ и НИИ.

1880 — 1983

было начертано на вывеске без имени, потому что плата производилась побуквенно, а все здесь и так знали, кто умер, а родился-то тот, кто сказал: «Все чаще вижу смерть и улыбаюсь...» Умершая была свежескоровью той старушки, что как раз вставляла в этот момент лист хачапури в печь. Сколько же было тогда лет живой старушке? На вид не менее семидесяти пяти, но и не более ста пятидесяти. Проходя — в который раз! — не уставали, и *ОН* и я, представлять себе стотрехлетнего Александра Александровича Блока, нашедшего больше поэзии в том, чтобы ожидать смертного часа, подремывая на солнышке, чем в бессмертной поэме «Двенадцать»... А там уже, за ровесницей Блока, кончались двory и открывалось море, отделенное от деревни топкой, черной полосой грязи, в которой с удовольствием лежал, черный же, буйвол...

Мы выходили на пляж, и *ОН* ни за что не хотел лезть в воду, а потом, так же упорно, не хотел вылезать, зная, что после купания — все, начиналась работа. В ней мы вдосталь занимались тем, что *ЕМУ* категорически запрещалось: поддавали с Павлом Петровичем.

Поэтому не мог я слишком уж осуждать *ЕГО* за то, что *ОН* без спросу напялил мои штаны и рванул напрямую, через кладбище, где под утро еще допивали на одной из могил безутешные друзья покойного, чтобы, правильно и четко сообразив это, успеть хватить с ними за упокой стаканчик и еще один до открытия магазина. Но тут жены стали выгонять коров и загонять домой хозяев, и мы с *НИМ* как раз подоспели к первому автобусу в Сухум.

*ОН* сидел в моих новеньких, в обтяжечку белых джинсах нетерпеливо, на переднем сиденье, как на коне, казалось, подгоняя автобус, но автобус, поскольку первый, подолгу повсюду стоял, поджидая постоянных своих клиентов с похрюкивающими мешками, и даже на то, что клиент сегодня не поедет, потому что его обещал прихватить Валико, друг зятя Зантария-семнадцатого, на своей машине, — на это тоже уходило не меньше времени, чем если бы клиент сел и поехал, тем более что он, возможно, все-таки передумывал ехать с Валико и грузил-таки в наш автобус свои хрюкающие початки.

И пока *ОН* у меня ерзал и нервничал, я, еще по инерции ночного вдохновения, кое-что отмечал боковым, поплывшим от двух стаканчиков зрением, мирные, рассветные, непьюльные картины: у природы нет похмелья, но кто-то прилег на обочине так вольно, так расслабленно, на совсем холодном еще солнышке: красная рубаха, спутанные, показавшиеся почему-то такими русскими, и впрямь русые, кудри... что-то русское было и в позе. Автобус наконец отошел, и я почему-то забеспокоился об этом человеке. Что с ним?.. Никогда не узнаю уже — еду. А он — там. Остался сзади. Похож на Сенька, нашего бича, кормившегося по дворам, помогая убирать кукурузу... он и у нас во дворе работал, молчаливый, костистый, всегда ласково улыбавшийся закатной, западающей улыбкой. Нет, все-таки это был не Сенёк... Да и был ли там вообще кто? В конце концов, он лишь мелькнул, кровавым пятнышком, на обочине — автобус уже отходил, не успев я толком рассмотреть. Однако по мере удаления тревога все росла, будто натягивая ту единственную нить, которая еще связывает с жизнью... Можно, можно было еще успеть остановить автобус, побежать назад, помочь, даже спасти... Ужас никем не отмеченного происшествия был странно знаком, странно сравним с неизъяснимым восторгом приближающегося вдохновения — строка еще не писанного никем стихотворения выплывала из слезного тумана, увлажнялись глаза —

все чаще вижу смерть и улыбаюсь, —

но тут автобус еще раз открыл и закрыл двери, а я так и не вышел, боковым слухом прислушиваясь к обрывкам странного разговора о каких-то абазлах, а не абхазах... Опять абазы, абазины... не пойму.

А *ОН* все ерзал и ерзал в нетерпении, проклиная каждую остановку, хотя уже тоже прислушивался к разговору, постепенно начинавшему *ЕГО* интриговать. Кровь вскипала в *НЕМ*, когда в смеси абхазского и русского уловил *ОН* нить: некие ненавистные рассказчику абузины опять напали на село и разорили посевы... *ОН* всегда полюбил дымок спаленной жнивы. Ноздри его раздувались. Что ж, эта земля еще недавно все это помнила: набег, пожары, кривые сабли, сведенные табуны, плененные девы...

«Абузины, я их маму!.. Я их всех перестреляю!» — расслышал я.

...а *ОН* все ерзал и ерзал в нетерпении, не щадя моих брюк.

Всякая деталь вытесняет другую деталь. Подробность удаётся сообщить, лишь опустив другую подробность. Непоравимо жаль! Наверно, всю литературу можно было бы описать как эдакую борьбу деталей за существование. В этой битве на бумажных мечях давно погибли носители локонов и кудрей, лебединых шей и осиных талий, панталон и кринолинов — ни портрета, ни

одежды — современный герой не только б е з л и к, но и раздет и разут. Не только без черт, но и без штанов. Вырублен и пейзаж.

Так ведь это же правда! Не только герой, не только это сомнительное «я» повествователя; но и сам автор (не в смысле этих строк, а в смысле — человек!) в момент повествования (не в смысле непосредственного написания, а в смысле — самого события) обнаруживает себя без этой детали. Деталь — это еще и собственность! Ее п р и о б р е с т и надо. Существование в переходной стадии от капитализма к коммунизму упирается в это последнее обстоятельство. Штаны есть, безусловно, наипоследнейший вид частной собственности, поэтому «отдельно взятую страну» лучше было Владимиру Ильичу поискать где-нибудь в Африке. Россия не Африка, но собирался я все-таки на юг, в наши черноморские субтропики (имперское хвостовство климатическими зонами), а штанов у меня к сорока пяти годам (двадцатипятилетие творческой деятельности) не было. Это отнюдь не значит, что я их пропил. Это, кстати, не так легко и сделать. В старые добрые времена пропивали последнюю рубашку, «до креста», то есть и крест считался как бы одеждой, иногда и крест пропивался (помнится, князю Мышкину пытались всучить медный за серебряный...), но в наши времена то ли рубашка стала реже штанов, но пропиваться стали именно последние штаны, а не рубашка. Думаю, что выражение это скорее образное (образ последних штанов в русской литературе...). Образ последних штанов достаточно неэстетичен, чтобы пытаться их продать (что я, кстати, и пытаюсь сделать...), не говоря о том, чтобы их купить (кстати, купят...), выражение это скорее образное, как и выражение «у меня нет выбора», употребляемое всегда, когда выбирают как раз не из одного, а из двух, когда выбор как раз есть. Так что штаны на мне были — у меня ю ж н ы х штанов не было. Хотя стояла уже осень, но там должно было быть тепло, бархатный сезон, на юге меня давно не было, ожидание юга было преувеличенным. И вот белые брюки подарила мне прекрасная дама, неохотно меня на юг снаряжая. Что было тут обидно для моего мужского самолюбия — что ноги у нее оказались длиннее (а у меня, выходит, коротковаты), что подтверждало, что живи она в д р у г и х условиях (имелись в виду скорее всего Соединенные Штаты), она могла бы застраховать их, как Марлен Дитрих. Но «молния» была на месте, и я счел, что они мне как раз. Я бы мог здесь еще много рассказать о даме («Ты еще пожалеешь», — сказала она мне на прощание, что я здесь и делаю), но на этом кончаю стриптиз, сняв последние штаны в русской литературе.

Или — надев. Штаны, кстати, были настоящие, хоть и белые. То есть джинсы. То есть фирмы «Lee». Значком этой фирмы, крошечным, величиной с номерок для прачечной, а не этой вульгарной кобылой во всю задницу, я особенно гордился (кто разбирается, тот оценит...). Правда, чересчур белые... Мастерство писателя, как нас учили в школе, сказывается прежде всего в отборе деталей. Пойди скажи, нужны ли здесь эти брюки?

Но мне-то они были нужны!

Я их в и ж у.

И вижу я их на *НЕМ*.

*ОН* лишил их девственности.

На заднице у *НЕГО* уже расплылось красное пятно от раздавленной *ИМ* в автобусе тутовой ягоды (то-то *ОН* так нетерпеливо ерзал!..), но *ОН* его никак не видит (и не скоро еще увидит) — а видит *ОН* «там море Черное, песок и пляж...» — ничего, кроме пальм, *ОН* не видит — *ЕМУ* достаточно для Риоде-Жанейро — *ОН* стоит на ступеньках парадняка, под таким, дореволюционным еще, изящным козырьком, на тихой, не проснувшейся еще улочке столичного города Сухума, где пыль еще ленива в тени, и, «острый локоть отведя», победно дует в зеленую бутылку, а на самом деле — ИЗ нее, и бутылка сама не зеленая, а зеленая в ней жидкость (никогда прежде не видел такой...); *ОН* и сам впервые такую пьет: *ОН* ни разу еще не встречал такой водки, радостно окрестив ее тут же «зеленым змием», — водка между тем называлась на этикетке «Тархун» и носила цвет этой травы, на которой считалась настоящей. И вот *ОН* ее радостно дует, в первом же, после покупки, параднике, и чем выше задирает *ОН* голову, тем голубее небо, и золотее

солнце, и розовее стены домов, и ажурней листва деревьев, и похож *ОН*, в своих глазах, сейчас на того самого мулата в белых штанах, хоть и лишенного... а не на того пионера-горниста в парке (это уже в глазах моих...), в сени которого допьют они эту бутылку, но уже не в одиночку, а вместе с подоспевшим туда Дауром. Вместе с ним они ласкают взором розовый Сухум: пальмы, хули говорить... Перед ними даже проходят то ли ослик, то ли милиционер — один везет арбуз, другой грызет лепешку, один ухом, другой глазом поведет — и все.

И больше, как говорится в исландских сагах, вы не услышите о штанах, ибо они не встречаются в дальнейшем повествовании.

«Вы как хотите, а я больше не пью», — сказал я *ЕМУ*. А *ОН* даже не отмахнулся, столько в *НЕМ* накопилось презрения ко мне.

В конце концов, я не возражал. Я так наподдавался с Павлом Петровичем по методике тайного советника Иоганна фон Гёте (пользуюсь терминологией незабвенного Венички), не давая *ЕМУ* ни капли, что пора было и честь знать.

Итак, я более или менее с чистой совестью доверил *ЕГО* Миллиону Помидоров, и они побрели «по белым кудрям дня» (выражение Даура Зантария, кажется, из Есенина).

Если у современного героя и стерлись черты лица и вылезли кудри, то у белого дня они остались. Чистый его локон окунулся в Черное море в виду белоснежного лба гостиницы «Абхазия» (построенной по проекту академика Шусева, как и гостиница «Аджария», что в Батуме, для запланированной Сталиным конференции стран-союзниц, ни там, ни там, однако, не состоявшейся, а потому получившей название Ялтинской). Чтобы скобки не были такими длинными, с этого и начнем подслушивать их разговор в кафе «Амра», что выдается белым молом в Черное море напротив гостиницы «Абхазия»...

— А что, и была бы тогда Сухумская конференция...

— И Черчилль и Рузвельт приехали бы тогда в Сухум...

— И сидели бы они, как мы с тобой...

— И пили бы кофе на Амре...

— Амры тогда не было...

— Амра была всегда!..

— Черчилль пил только армянский коньяк...

— С каких это пор?

— А вот как раз на Ялтинской конференции и решили. Каждый год Сталин отправлял ему вагон лучшего армянского коньяку...

— Ну да, и сигары от Кастро...

— Слушай! Зачем так... я знаю, что тогда Кастро не было!

Эта реплика означает, что их уже не двое, а значительно больше, по крайней мере на армянина Серож, бармена из соседнего бара, отдыхающего от предстоящей работы.

— Кастро не было, зато сигары были...

— Слушай! Ты что пристал... Тебе что, лучше, чтобы Ялтинская конференция в Батуми была!

Повод выяснить, какие сигары курил Черчилль после непременно рюмки армянского коньяку, представился тут же. Он давно привлекал наше внимание, этот почти что в пробковом шлеме, кормивший чаек и пивший все ту же чашку кофе с красноречиво молчащим сопровождающим; по нашему предположению, он так и оказался — англичанином... Мы тут же перевели ему наш вопрос на доступный ему язык: с помощью слова «Черчилль» мы подливали ему коньяку и важно курили его «Мальборо», будто сигары, — он все не понимал.

— Вы, русские, странные люди, — сказал он после третьей рюмки, — любите Тачер, любите Чёрчил... Вы — странные люди.

Мы, русские: два абхаза, два мигрела, один армянин и один грек, не считая меня, — слегка было обиделись то ли за Россию, то ли за то, что он с самого начала знал по-русски, и заказали новый кофе.

Не по национальностям, а по чашкам мы делились! Два средних, два ниже среднего, один садэ, два султанских, один двойной сладкий и один одинарный без сахара, один для Марксэна, один для меня... Англичанин приходил в восторг, и было из-за чего. Это был ритуал! Во-первых, без очереди — коренные жители, право завсегдайтства, близкое знакомство с кофеварщиком; очередь, приезжая, молчит, робеет, не возражает; раз не возражает, значит, приезжая... «Дэвушка, надолго к нам? Дэльфинов уже видели?..» — акцент нарочный, в Сухуме мало акцента, акцент для романтики, чтобы боялись и уважали, недельная небритость (что войдет в моду на Западе лишь много лет спустя), золотая цепочка, небрежно заправленная белая рубашка расстегнулась, обнажая утонувший в шерсти крест, рукава закатаны как бы случайно ниже локтя, мускулистая небрежная кисть, можно с толстым золотым перстнем... «Овик, еще шесть, будь добр, два выше среднего, один средний, два ниже среднего, один нормальный!» Особый шик кофейщика — не обратить никакого внимания на заказ, но тут же его безошибочно выполнить, не перепутав чашки: кому — какую. Особый шик заказывающего — иметь ласку в голосе и строгость в лице, не суетиться с расплатой, чтобы подать потом мятую бумажку с пренебрежением к ней, но не к кофе и кофейщику... Исполнив этот балет, заказавший еще не сразу освобождается от маски, но потом, выслушав с потушенной скромной гордостью тост за себя, все-таки освобождается и подключается к разговору...

— Можно считать его евреем, а можно и не считать...

— Если по матери, то считать. Евреи считают национальность по матери.

— Ну а по отцу само собой. Если ты Рабинович, то будь у тебя мать хоть русская, все знают, что ты еврей.

— Так получается евреев больше. И с той стороны, и с этой. Умные люди...

— Да, не то что абхазы. Нас только меньше. И если по отцу грузин. И если по матери грузин.

— Проклятый Лаврентий! Сколько бы нас было...

— А вы как считаете? — в упор спросили молчащего сопровождающего.

— Вы меня?

— Был Иисус евреем или нет?

— Я, знаете ли, научный работник. Это не моя проблема.

— Какая же ваша?

— Я обезьянами занимаюсь.

— А вы? — Это уже ко мне.

— Слушай, что ты ко всем пристал? Ты что, еврей, что ли?

— Я не еврей, я грек. А все-таки?

— Кто из нас не был хоть раз евреем? — Кто это сказал? Неужели ОН?

— Мне кажется, — я осторожно поставил ногу, — Сына Божия можно считать по Отцу, а не по национальности.

— А ты, Серож?

— Я? Я — армянин.

— Я — англичайнин, — сказал англичанин. — Вы все не знаете, что такое город третьей категории!

Англичанин оказался только что из Воронежа, и это именно Воронеж был третьей категории... Каким легким здесь, однако, был разговор об евреях! Здесь все были в меньшинстве.

Но вместе мы образовали уже довольно большую толпу, чтобы вывалиться снова на набережную в веселом состоянии хозяев жизни.

Вот для чего, однако, нужны белые брюки! (Всякий зарок недолог — не думал, что этот окажется так краток.) Белые, они нужны, чтобы идти в обнимку с друзьями и ловить на лицах встречных отсвет собственного восторга собою. Именно в таком состоянии — судьба, сюжет, законы симметрии или просто зеркальное отражение — могли мы повстречать идущую нам навстречу компанию, еще больше собою довольную. Эти были всегда в неоспоримом большинстве — это было кино! Я почувствовал, как напряглись мышцы моих абхазских друзей под вчера постиранными тесными майками. Между прочим, Миллион Помидоров поднимал на моих глазах сто килограмм одной рукою и каждый второй рассказывал о том, как отнимают полжизни.

Кино это и было. Оно шло на нас «свиньей». То есть впереди катился закованный в славу рыцарь, был он хоть и маленького росточка. Весь миф, все первенство, вся необсуждаемость кино концентрировалась в нем. По бокам его, чуть поотстав и возвышаясь к краям, следовала свита — ассистентки и администраторы, все что-то как бы спрашивающие и как бы записывающие. Могучие и мужественные операторы и осветители оперяли этот клин.

Друзья мои напряглись, мы с режиссером обнялись, все слилось, и мы удвоились. Они приехали выбирать натуру. Действие фильма происходило в Ялте, но Ялта к Ялте не подходила. Более подходил Сухум. Это была новая версия «Дамы с собачкой», она была мюзикл, собачку согласилась играть актриса, снимавшаяся в юности у Бергмана, известная не только этим, а намек на отношения между героиней и собачкой, сами понимаете, произвел бы революцию в нашем кино.

В таком качестве, уже признанной международной, наша компания обошла все оставшиеся кофейни на набережной. Их было приблизительно семь.

О, эта набережная! Она кажется такой протяженной в силу этих кофеен! На самом деле этот напряженный отрезок длится от силы двести метров, но пройти его — надо потратить полдня (и полдня в обратном направлении), а можно и всю жизнь (те же люди набережной похоронят тебя). Мы шли от «Амры», то есть с юга на север, они же шли к гостинице «Абхазия», где должен был разместиться режиссер, то есть с севера на юг, но мы шли как люди, а они протопальи, как слоны, следовательно, мы (как местные) развернули их всячь, чтобы они разглядели все, как то того заслуживает. «Натуру так не выбирают», — подразумевали мы.

Мы натешили свое тщеславие как могли. С нами раскланивался в е с ь Сухум, киношников же не узнавали. «Кто это?» — спрашивал в том или ином случае режиссер, когда ему казалось, что наш тон особенно почтителен. «Как вам сказать... Вообще-то это не принято говорить, но все знают... Ну, это вор в законе». Вид этого джентльмена лет шестидесяти, в белоснежной рубашке, выбритого как бы изнутри, в облаке импортного дезодоранта, с мягкими, умными чертами и взглядом, исполненным почтительности и достоинства, настолько не подходил, что восхитал — тут же никакого сомнения, что именно таким, и только таким, может быть глава мафии. Он был очень озабочен, наш узаконенный вор: у него в Москве поступала внучка. Конечно, было предпринято все, и все-таки он очень волновался. Однако восемь жизней было на счету у заботливого дедушки. Нет, последние лет двадцать он никого не убивал. Просто потому, что не было необходимости. Как вам объяснить, это довольно сложно... Ну, у него, скажем, три-четыре цеха... Он — владелец?.. Нет, ему платят владельцы. За что? Ну, чтобы он их не трогал. Так он ведь уже двадцать лет никого не трогает!.. Значит, вовремя платят.

Благородный мафиози — о, эта неспешность походки! — прошел к своей машине не для того, чтобы уехать... Нет, я неточен! Конечно же, не мог он сам пройти к машине, раз не уезжал. Он просто что-то сказал, не оборачиваясь к тому, кому сказал. Из-за плеча вынырнул Аслан (или это был Астамур? — он то ли нехотя, то ли неузнавюще кивнул на мое радостное приветствие), Аслан-Неаслан поймал ключи, и вот он-то и прошел к машине, открыл багажник, пошуршал в нем и вынес что-то продолговатое, завернутое в «Зарю Востока», вроде обреза, — конечно, ружье это тут же выстрелило (в руках неумелого драматурга), ясно и сухо, как первый осенний морозец: шампанское было со льда! Талант — во всем талант... Именно наш друг мафиози первым в Сухуме сообразил возить в багажнике сумку-холодильник! И вот несколько лет затоваривавшие полки всех сельпо пыльные бездарные эти коробки стали дефицитом. (Между прочим, он не купил эту сумку, а получил в подарок от хозяина артели, производившей эти сумки.)

Шампанское выстрелило, поправ в мое и ЕГО сердце, из дула вился дымок. Рука профессионала! Как это красиво... Я не мог отказать себе в преувеличении... Из того, как он обходился с бутылкой, было ясно, что она бы у него не дрогнула. Потом, эта безукоризненная чистота (а не вымытость) и холя

ногтей... а манжета! а запонка!.. запонка была разве великовата, но зато уж, конечно, золотая. Но не все сразу — будет и он когда-нибудь носить запонку крошечную, с одним бриллиантовым уколом, это еще не одно поколение надо, чтобы сделать главный знак незаметным, как орден Почетного легиона.

Стаканы выросли на столе сами (не заметил, чтобы их приносил тот или иной Неаслан); шампанское струится из руки скрипача, никогда не державшей скрипку; в глазах застекленевает пейзаж: навсегда зависшее над причалом солнце, циклопические обломки греческой крепости Диоскурии, что лежат здесь не первую тысячу лет, но всякий раз кажутся вынесенными на берег только вчера неким неслыханным штормом, ствол платана, больной псориазом, слепящая солнечная дорожка по штилевому в этот час, масленому, натянутому, как шелк, морю, чайка, навсегда зависшая над трубой теплохода «Тарас Шевченко», тоже причалившего навсегда, и ее острый крик никогда не рассеется над этим пейзажем, вдруг чернеющим и обугливающимся, сужающимся во взгляде от перенаселенности счастьем.

За что я *ЕГО* уважаю, это за то, что *ОН* никогда не пьет шампанского. «Главное, не пить пузырьковых», — завещал *ЕМУ* один старый алкоголик, имея в виду не только шампанское, но и пиво и нарзан. Ему *ОН* поверил, не мне. Шампанское — моя привилегия. Могу и я раз в год выпить за удачу, состоящую, между прочим, лишь в том, что вот и еще одно время миновало.

Вызвавший мое восхищение мафиози стал слишком много говорить о кино, обращаясь все больше к режиссеру (одна порода!) почему-то по имени Федерико. Слава наша бежала уже впереди нас, как большая собака, как гладкий вал ленивого прибора и, наконец, как мы сами в собственных глазах. В каждой кофейне объявлялось шампанское, нас любили. Единение искусства и спорта — вот что такое кино, и лучше места, чем курорт вне сезона, не найти для такой встречи. Это именно для них пустуют пляжи, и рестораны, и отели — для киногрупп и сборных.

Нас сводит Марксэн, экс-рекордсмен мира по стрельбе из пистолета, так и не снявший с глаз своих оптических прицелов, а ныне врач-сердечник и холостяк, пользовавшийся по специальности всех не утративших привлекательности и приобретший даже некоторую таинственность местных вдов, наперник осенних их тайн и наш общий друг, нас пока, к счастью, не лечивший: у всех нас был пока один-единственный залетевший в нашу молодящуюся компанию, неожиданный и яркий, как птичка колибри, микроинфаркт Даура...

Обойдя все кофейни, придется зайти и к врачу-рекордсмену. Здесь покажет он нам свою библиотеку, этот все читавший человек. Камю и Борхес! знали бы вы... кто первым прочтет вас в России! Он снимет свои очки и обнажит такие беспомощные глаза, что и руки, протирающие очки, покажутся вдруг дрожащими и белыми, как воск, как трепещущая свеча, — однако не дрогнула ни рука, ни глаз, когда он выбил 599 из шестисот. Режиссер, как всегда, «заказывал», то есть завел беседу о спорте, проникновенную, в самую его суть. Сам он похвастаться в прошлом такими же достижениями не мог, поэтому пытался победить чемпиона в понимании феномена. Не тут-то было!

...Марксэн родился слепым и таким рос в абхазской деревне, родители же не догадывались надеть на него очки (минус 20, констатировал он скромно). Сверстников уже водили на охоту, слепого что водить? Вот он однажды, когда дома никого не было, нацепил очки своей столетней бабки, схватил мелкашку и выскочил во двор, ослепленный зрением, ища, в кого выстрелить. Не мог он, конечно, стрелять в домашних животных. И вдруг видит, метрах в пятидесяти по речке плывут дикие утки. Выстрелил раз — промазал, уточка продолжала плыть, он в другую — то же самое, он в третью... только на пятой он заметил, что они после выстрела прятали голову. Он проверил свое наблюдение на шестой и седьмой — тот же эффект: они нежно и застенчиво склоняли головку, но продолжали плыть той же чередой, устойчивые, как кораблики. И тут с проклятиями прибежал сосед, у которого он, оказывается, перестрелял всех подсадных уток, попав каждой в глаз, а плыть они продолжали по течению.

«Была темная, темная ночь; дождь лил как из ведра...» Отец его был

грузин, мать абхазка, но бабушка еврейка, дореволюционная революционерка, — вот откуда у него имя Марксэн. Родителей посадили в 37-м, так он и попал в деревню к своему абхазскому дедушке. Уже тогда, в 37-м, он прозрел: он их ненавидел, он и Маркса и Энгельса маму... Сами понимаете, куда ему, маленькому слепому, с таким именем, сыну репрессированных родителей? Одна дорога — в спорт. Он сказал, что мозг, глаз, рука, ствол и мишень во время стрельбы являются не просто одной линией, но как бы перетянутой струной, которая поет на ветру, и тогда он учитывает и направление ветра, и дрожание нагретого воздуха, если солнце... Как раз в Италии была такая жара, когда он... Мозг и мишень становятся одной точкой, равной пуле, — он чувствует движение пули в стволе во время стрельбы...

Режиссер закусил губу: он думал о том, что какая, к черту, «Дама с собачкой», когда вот про кого надо немедленно снимать фильм — готовый сценарий! Актера, актера настоящего нет... Ах, был бы жив Цибульский... Задетый за живое тем, что режиссер так быстро натянул все одеяло (Марксэна) на себя, я попросил его показать нам оружие. Тут-то мы и услышали все об униженном положении спортсмена в советском спорте: у него ничего не было! У него не было своего пистолета — пистолет был государственный, незаконно причисленный к боевому оружию. Только рукоятка — вот что у него осталось на память о мировом рекорде и двадцати годах жизни. Смущенный ничтожеством результата всей жизни, он нежно развернул фланелевую тряпочку, будто в ней был трупик ребенка. Там лежала небывалая кость...

Она повторяла кисть рекордсмена изнутри; эти обратные вмятины были неузнаваемы, как не встречающаяся в природе форма; она была как смерть. Это и была посмертная маска, вернее, ее изначальная форма, в которой отливается потом утративший жизнь лик. Маска руки (снимается же и она с руки великого пианиста...). Эта смерть была тепла, потому что была дерево. Редкое дерево, редкой твердости породы, отполированное рукой умельца, изготовлявшего рукоять в единственном экземпляре под единственную руку, а потом отшлифованное этой единственной рукою, нажимавшей курок сотни тысяч раз. Не было курка, не было ствола. Она была пуста, как череп. Я погрел ее в своей — это было как рукопожатие. (Никак я не предполагал, что подобное чувство, испытанное впервые, доведется пережить еще раз в течение суток...)

Он никого никогда не убивал, кроме тех уточек, ненавидел охоту и рыбалку. Но вот кого бы он не задумываясь застрелил, хоть в упор, так этого кровососа... Как стрелок и философ он знал, что такое убийство, и ненавидел убийц. В Берю с любого расстояния попал бы... В глаз даже легче — пенсне бы его посверкивало, в этот блик он бы и прицелился. Хоть два километра, хоть две мили...

— Майлз?.. — очнулся англичанин. — Ю хэв рашн майлз?

— Доунт ворри, — успокоил его Марксэн. Он как раз начал заниматься английским. Смесь еврейской, грузинской и абхазской кровей делала его интернационалистом, а не только ненавистником палачей.

Продолжая выбор природы, на киношном автобусике и двух машинах (мафиози и сотрудника обезьянника) мы наконец повернули от моря и стали забираться вверх вдоль реки по имени Вода... Что-то мне что-то напоминало. Не здесь ли мы ловили с отцом форель и хариуса зимой 54-го, когда он строил в Сочи свой санаторий? Он ловил, а я бродил — это была его педагогическая мера, взять меня с собой на стройку, а моя первая ссылка. Меня разлучали с моей первой женщиной, которая была сочтена на тайном семейном совете «не парой». Я писал письма, секретно бегал на «до востребования» и не получал ответа. Плоть свою я усмирял непрерывным боди-билдингом, мои бицепсы выросли на два с половиной сантиметра. Бедный мой отец! И он, оказывается, усмирял свою плоть рыбалкой, кто бы мог подумать... Человек, которому за пятьдесят! (52) На «до востребования» получил я наконец письмо, адресованное ему, и прочитал его... Я не мог отдать тебе его вскрытым! И когда ты, смущаясь, плутова по придаточным предложениям, все-таки спросил меня



напрямую, не получил ли я не свое письмо по ошибке, я решительно отрицал. Через четверть века, когда я помогал тебе принять ванну и чуть не рыдал над твоим немощным отсутствием тела с разросшимися родинками, ты остался в трусах, пояснив (какие ты нашел слова!), что сын не должен видеть срама отца своего. Какую Библию ты читал?! Ее отродясь дома не было. Разговоры о хамах, конечно, были.

— Не учи отца е....., — слышу я. — Это здесь.

Мы тормозим.

Значит, уже тогда видел я этот дом... С мезонином, между прочим. За кустами, за платанами, за лужайкой, он пустует, но так, будто только что, будто как раз съехали дачники. Дом, в котором вырос мальчик Лаврентий. Может, именно в этих густых кустах умучил будущий Берия свою первую кошечку. Она ему не давала, царапалась. И он ее убил. Впрочем, это у попа была собака. Так он и его убил, попа. Убил за то, что у него съели кусок мяса. Хоть и собака. Но вряд ли он убил попа за то, что тот убил собаку. Скорее за то, что у него она была. Еще больше за то, что он любил...

— Он ее любил...

— Кого мог любить этот вурдалак!

— Я точно знаю эту историю, — настаивал режиссер. — Я с ней лично знаком. Он увидел ее в бинокль из своего особняка на Садово-Кудринской, она шла из школы, у нее уже тогда были полные ноги, и он ими залюбовался.

— «Худоцавая, но с полными ногами...» — Кто это процитировал? Конечно, Даур. — Недавно стала жрицей... — Он шпарит «Письма к римскому другу» наизусть. — Жрицей стала и беседует с богами...

— Кто это написал? — всполошился режиссер.

— Саундс лайк Джозеф, — отметил англичанин.

— А что, может, он и слышал эту историю, — отвечал я на правах личного знакомства с поэтом. — Его всегда такие вещи занимали.

— Да, понта тут не занимать...

— В смысле Евксинского?

Мы возлежали на лужайке возле дома Берии и любовались открывающимся видом: налево вверх убегали горы, направо вниз долина расширялась, подразумеваемая море...

Шампанское, однако, кончилось, и англичанина развезло.

— Завтра. Завтра будет туморроу. Завтра все будет, — пояснял ему сотрудник. — И обезьяны, и туморроу...

Все-таки *ОН* был прав насчет пузырьковых: шампанское утомляет. Англичанин крепко спал, но и остальные подремывали. Только за моей спиной мафиози с Дауром вели разговор по-абхазски. Я прислушался: о тех же абзуинах. Я прислушался: абхазский есть самый непонятный язык! Это какой-то шорох дракона о скалу. Когда они еще были... «Я вижу мир покрытым институтами абхазоведения», — сказал Мандельштам. Звук древнее речи. Звуки абхазской речи сливаются как бы не в слова, а только в одно слово, сколь угодно длинное, равное длине всей произнесенной фразы. Будто пейзаж, и действие, и действующее лицо, и время действия не разделены на подлежащее, сказуемое, определение и дополнение, а содержатся все в каждый раз заново рожденном одном слове. То есть реальность не расчленена, а заключена в нем. Оттого никто и не знает абхазского языка, включая самих абхазов, что вдохнуть его надо вместе с реальностью с самого рождения. По тому, насколько естественно для них говорить по-абхазски, сегодня можно сразу заключить, что оба из деревни, родились и выросли. Трудно поверить, что язык умирает, когда на нем так говорят хотя бы двое, как Даур с мафиози. «Абузин» было не словом, а слогом того или иного длинного слова, которое бывало настолько длинным, насколько хватало дыхания. Этот отмечаемый мною слог перемещался по слову-фразе, становясь то в начало, то в конец, то в середину. Тон мафиози был решительным насчет «абзуинов», а Даур умиротворял. Так я их понимал. Мне очень хотелось уже расспросить об этих головорезах абзуинах, чего они хотят и чего не поделили. Но это, казалось, настолько все, кроме меня, знали, что я по-детски боялся спросить, чтобы не утратить качества «своего», столь лестного и не каждому даруемого.

— Из от олдреди туморроу? — проснулся англичанин.

— Пока еще вчера, — остроумно отвечали мы ему.

— Вчера у меня еще есть бутылка виски, — отвечал он.

Мы по достоинству оценили его чувство юмора, пройдя за ним в отель.

— Ноу айс, — извинялся англичанин, доставая трехгранную бутылку с индюком.

— Он сказал, что нет стаканов, — перевел Даур.

— Нет проблем, — сказал мафиози, не подозревая, что переводит с английского.

Толиаслан уже вносил стаканы.

Мы слегка обсудили тему национального юмора. Марксэн, по-видимому борясь в себе с тремя, объявил, что никакого национального чувства юмора быть не может.

— Какой такой абхазский, грузинский, русский юмор? Смешно или не смешно — вот юмор.

— Одним смешно, а другим не смешно.

— То есть русскому, скажем, смешно, а немцу не очень?

— Или немцу смешно, а русскому совсем не смешно...

— Или грузину смешно, а абхазу нет...

— Тогда абхазу совсем не смешно, если грузину смешно...

— Еврейский юмор всем смешон...

— Если он еврейский на самом деле, — сказал Марксэн.

— Ты хочешь сказать, что их придумывают сами русские? Тогда бы это не было так смешно.

— Что ты имеешь против русских?

— Я? Никогда. Серож, армянский юмор есть?

Серож надолго задумался, а затем обиделся:

— Ты что, опять армянское радио имеешь в виду? Это не армянский юмор.

— Хорошо, если армянский юмор придумали не армяне, а еврейский не евреи, а чукотский, уж точно, не сами чукчи, то кто же?

— Английский юмор тоже не английский?

— Я согласен с такой точкой зрения, что это вопрос больше импорта, чем экспорта, — сказал англичанин.

Мы захохотали, и англичанин не понял над чем.

— Мне другое смешно, — сказал он, обводя рукою свой роскошный, на наш взгляд, номер. — В России так много леса...

Мы проследили за его рукой, словно он показывал нам на рошу.

Номер и впрямь был весь обшит деревом, вернее, такой импортной, как раз скорее финской, чем русской, фанерой под дерево.

— И вот я не могу понять... Столько леса — и ни одного шкафа. Некуда ту пукт клос...

Наши куртки были свалены посреди его безбрежной кровати, на ней же мы и сидели.

— Это как раз понятно, — сказали мы.

— Уай??

— Сметы не хватило.

— Чего-чего? — сказал англичанин совершенно по-воронежски.

— Ну, средств, денег.

— На дерево хватило, а на шкаф не хватило?

Он закружил по комнате, стучаясь о стены. Они отзывались звуком пушечного выстрела...

— Зачем столько?!

— Фонды.

— Фонды? Вы имеете в виду ваш план? Что, вам прислали больше фанеры, чем денег? Но ведь лишняя фанера — это ваши деньги!

Мы опять смеялись, и англичанин не мог понять над чем. Как мы могли объяснить, что не над его непониманием нашей экономики. А над тем, что «фанера» на жаргоне и означает деньги.

— Фанера — это капуста, — пробовал пояснить кто-то, но это был неудачный перевод.

— Фанера — это фанера...

Перевод был уточнен, и словно в доказательство этой высшей точности она вдруг гулко взорвалась, выстрелила и смолкла.

— Что это, что это! — Англичанин вскочил в испуге, указывая на потолок.

Кто-то снова пробежал по нему, издавая цепкий грохот. Мы не стали разъяснять ему, что это была крыса, а может, и кошка. Мы сказали «мышка». Не стали позорить державу.

— Зачем тогда такие низкие потолки?

— Фанеры не хватило.

— В смысле денег?

— Нет, в смысле фанеры.

— Это русский юмор?

— Нет, экономика. Из фанеры сделали деньги.

— То есть из фанеры фанеру?

— Вы схватываете на лету. Вы же, в отличие от нас, знаете, что такое город третьей категории.

— О, Воронеж!.. — Англичанин мечтательно завел глаза.

Мы вышли за Воронеж. Согласитесь, это роднит наши просторы, когда англичанин пьет в Сухуме за Воронеж. Сплачивает империю.

— Летс кол ит икспириенс, — сказал англичанин.

Значит, так. Англичанин приехал в Советский Союз, чтобы собрать материал для диплома (тут мы так и не выяснили, что у них диплом, а что диссертация: то, что у нас диссертация, у них диплом, или наоборот). Он приехал изучить наш опыт, потому что у них в Британии есть тоже некоторый такой опыт. Опыт содержания обезьян в не близких им климатических зонах в близких к природным условиям. Иначе, на воле. Он много слышал об обезьяньем питомнике в Сухуме и считал, что именно там может быть накоплен этот некоторый опыт. Но ему сказали, что такой опыт широко распространен не только в Сухуме, но и по всему Союзу. Что разведение обезьян есть уже прэктис, а не опыт (по-видимому, что англичанин понял уже в Воронеже, они путали понятия «икспириенс» и «эксперимент»). По-видимому, и прэктис они перепутали с практикой (в смысле студенческой) и так направили его на практику в Воронеж, где однажды, риалли, был поставлен эксперимент с обезьянами, живущими в близких к воронежским условиям, но обезьяны подошли через неделю, так что эксперимент, может быть, и был, но икспириенса практически не было, о чем он тут же и рапортовал в Москву с просьбой перевести его все-таки в Сухум. Он рапортовал и рапортовал, продолжая жить в студенческом общежитии (о, вы не знаете, что это в городе третьей категории!), пока не вышел срок его стажировки, и тогда он решил просто проверить, есть ли такое место, как на карте, Сухум, и, он хиз оун икспенсиз, то есть на свои собственные, добрался сюда, что было тоже не очень просто — получить разрешение, поэтому ему удалось это только через «Интурист», как частное лицо, и вот теперь, когда он встретил мистер Драгамашенка (вот как, оказывается, звали сотрудника — еще и украинец в нашей компании...), и вот Сухум правда, риалли, есть, и мистер Драгамашенка обещал, что постарается сделать все возможное... но вот они встречаются уже третий день, а он не может так долго платить за отель, будто это пять звездочек, а шкафа нет...

Антиаслан сказал, что пять звездочек будут сейчас, и не успела по потолку пробежать новая крыса, тут же объявился с бутылкой коньяка. Англичанин пересчитывал звездочки на бутылке и не то смеялся, не то плакал.

— Сон, сон, сон! — провозгласил англичанин. — Вы меня заебучили. Сон есть кратчайшее расстояние между двумя пьянками.

Режиссера и мафиози уже не было.

Мистер Драгамашенка отвел меня под локоток: «Вы не могли бы меня выручить?»

Сами видите, в каком он состоянии... («Ноу мор. Ту слип», — бормотал англичанин.) У нас по пятницам встреча с интересными людьми. Ну, собирается узкий круг сотрудников, свободная беседа... Можете говорить о чем хотите... Вас хорошо знают, сказал он убежденно, из чего я вывел, что он-

то обо мне впервые слышит. Это, впрочем, меня не задевало (или я обучил себя не задеваться?). После встречи небольшой чай, там же в лаборатории...

Чай, конечно, менял дело. Это неплохо, чай из колбочек и пробирок. *ОН* меня толкал согласиться. Сами видите... Неудобно в таком виде... Иностранец все-таки... А соотечественника — удобно? Соотечественник — понятно, да и вы молодым...

Молодцом... пятница... я думал, четверг. Я мог гордиться собою. Чем я не «интересный человек»? По крайней мере сегодня я очень интересный человек. Кто знает здесь, что один из нас (я подумал о себе в третьем лице) только что закончил ВЕЩЬ! Для меня все еще оставалась среда, когда я наконец-то, после месячных усилий, сел за машинку... Мне казалось, что прошла одна ночь, — оказалось, две. О, это признак! Это вселяет надежду. Я еще не читал, что там оказалось написано, но раз не помню, то, может быть, и текст. Помню, что последнее, что описывал, был двор — в него я и вышел.

Я вышел из НЕГО. Я мог и ИМ сегодня гордиться. Шуточное ли дело — две бессонных ночи (может, я где-то и прикорнул часа на три, но в том же курятнике, не раздеваясь, как цыпленок на насесте), сорок страниц непрерывного текста, около двух поллитр уже, не считая шампанского, которое я выпил сам... Это не всякому, это не всякий...

А была уже пятница. И всего лишь полдень. Вчерашний день просвистел, как пуля у виска. Мы, то, что осталось от компании — Марксэн, Даур и я, ехали в «Запорожце» сотрудника Драгамащенко. От предстоящей мне ответственности я окончательно протрезвел, и кое-что прояснилось. С англичанином возникли сложности. Отказать ему, сами понимаете, неловко, но дорога к месту расселения обезьян пролегла мимо «объекта». Что это был за объект, сотрудник и мне не сказал, но я так понял, что англичанину обезьян не видеть. А мне, сказал сотрудник, меня и имея в виду, если меня это интересует, можно это устроить. Они не могут заплатить мне за выступление, но вот это могут: хоть завтра возьмут институтский автобус и поедут, кстати и проверят, как идет подготовка к зиме, зима — главная для обезьян проблема, прошлая была тяжелая зима, много снега, трудно проехать и морозы до двадцати пяти доходили там, в горах, где обезьяны, и у них слегка подмерзли хвосты, а в остальном они выдержали, и раз они выдержали эту зиму, то выдержат и следующие, только, конечно, их надо поддерживать, у них есть домики от непогоды, и подкармливать их надо, а так они на воле, можно считать... Да вы сами увидите. Лучше ли им на свободе? Об этом не может быть и речи, вы бы только поглядели на этих красавцев! Какие гривы! Это же львы, а не обезьяны... Наличие живого чувства в устах обезьяньего, оказывается, сотрудника порадовало меня. Что-то зашевелилось там, на дне моей было опустевшей писательской утробы, и стало стремительно разбухать и распирать наподобие замысла. Советские обезьяны... Освобождение обезьяны... Русская обезьяна... Обезьяна, живущая на воле в условиях социалистического общества... Без клетки... Обезьянья воля... Республика обезьян... Обезьянья АССР... ОбзАССР... Так, нельзя — все обидятся. Обезьяны не обидятся. Главное, не обижать обезьянок. Их-то уж я не дам в обиду. Нет, это можно, нужно написать! «Дали свободу... разрослись гривы, зато подмерзли хвосты... нуждаются в подкормке...» Что-то в этом есть! Всегда я залетаю с первого раза... А потом годами не могу разродиться. Плод давит на плод. Масса начинает бродить. Вина уже не получается — приходится гнать самогон.

Его же и пить. Мы хлебнули по стаканчику чаи у Даура, куда заскочили сменить рубашку и принять душ. Получилось — не за этим: воду опять в Сухуме отключили и рубашка Даура на меня не налезла. Я завернул рукава повыше. *ОН* не удержался и поглядел в зеркало, я и сам себе понравился. Я усадил *ЕГО* на толчок, и пока *ОН* тужился, я гнался за обезьянами. Говорят, очень красивое место и живописная дорога... Пусть туда едут со мной человек шесть специалистов по обезьянам, пусть я их расспрашиваю об обезьянах, как в свое время доктор Д. о птицах, пусть они будут разных национальностей: абхаз, грузин, армянин, грек, еврей, русский... можно и англичайнина захватить... украинца не надо... пусть они будут жители и патриоты именно этой земли... пусть они будут такие любители-историки, как все они тут, в

провинции... пусть они мне ненароком расскажут историю края и ненароком же заспорят, кто из них коренной житель, кто кореннее... пусть из спора вырастет ссора между грузином и абхазом, между грузином и армянином, между... нет, с евреем я ни за что ссориться не буду... это наши дела... «то давний спор славян между собою»... а что, в такой компании еврей скорее уж славянин... не грузин же, не армянин и не грек точно... да и такой ли уж не еврей русский?.. еврей-то скорее русские, чем мы... они всякий раз жить здесь собираются, а мы каждый раз жить не хотим... опять за свое! ты же к обезьянам едешь... да, но не доехал же еще!.. о чем они ссорятся?.. ну, это понятное дело, надо только уточнить в деталях... абхаз, естественно, о грузинизации, о ликвидации абхазских школ, о записании абхазов в грузины... грузин, естественно, не выдерживает такой исторической несправедливости и говорит: что, мы вам в 1978-м телевидение не дали, университет не дали?.. вот сам говоришь: «дали». Дали, потому что взяли, отняли, сначала отняли, а потом дали... что у вас отнимать? у вас и письменности не было... зато абхазы сколько веков были грузинскими царями!.. что! абхазы — царями?! у нас?! ха- ха-ха... грузины вообще не воевали, воевали горцы — черкесы, абхазы, осетины, а вы всегда под кем-нибудь были... под персами, монголами, русскими... а вы-то где были? вы же всегда под нами были, вы всегда были Грузией, да вы и есть грузины... тут они вступают в рукопашную, между ними начинается национальная борьба, как она называется? Сталин еще первую большевистскую газету выпускал? «Борба»? «Дзорба»? «Кобра»?.. кстати, где газета?.. вот газета... газета есть... тут не совсем правда... они впрямую так никогда говорить не будут, а то зарежут друг друга... они так третьему лицу, то есть третьей национальности, порознь друг от друга скажут... а что им скажет лицо третьей национальности?.. оно им скажет, что они зря дерутся, потому что в любом случае до них обоих тут была греческая колония (если лицо — грек)... если же лицо — армянин, то оно скажет, что еще во времена ассирийские здесь была только армянская земля... тут все накинутся на армянина: ну да, Нефертити армянка, Наполеон армянин, Леонардо да Винчи армянин... а тут и спорить нечего, скажет армянин, что спорить, если они армяне... один русский будет скромно молчать да на ус мотать, потому что что спорить, что когда было, когда России еще не было? Когда России еще не было, то, пожалуйста, чья угодно могла быть эта земля, а только уж как появилась Россия, то чья же это еще земля могла бы быть?.. не турецкая же?.. вам что, турецчины захотелось?.. вы же христиане, побойтесь Бога... вот что не скажет никогда русский, пока они спорят по дороге к обезьянам, начисто про них забыв... русский же и на пейзажи любит, отвоевывая их пядь за пядью у бусурман для своей книжечки, которая, как же она будет называться? «Обезьяна сапиенс»... неплохо... «Хомо двуногус» — как нога по-латыни? ну, ну?! ну, которые инвалидные ботинки делают?.. ортопеды, вот! так что же, орто- или педы-? орто-докс, педа-гог, педи-атр, педе-раст... «Хомо педис», смешно... нет, педы — это дети... что-то не то... Сейчас, сейчас! Уже готов, выхожу...

Вот что вышло. Пока я готовился к выступлению, Даур наширялся у своего соседа-грека, замечательного тем, что как только получили они квартиры в этом новом доме, то Даур ничего делать не стал, потому что денег не было на ремонт и потому что творческий работник (сапиенс сапиенс), а грек, потому что шофер на мебельном комбинате, рабочий человек, человек умелый (сапиенс хабилис), тут же взялся все отделявать своими руками дубом, все — и паркет, и стены, и потолок, и ванну, — и так четыре года, а когда все сделал, взял топор и изрубил все обратно в мелкие дребезги, после чего сделался задумчив и нелюдим (я его так ни разу и не видел) и мог общаться с одним Дауром. Я, конечно, не сразу догадался, зачем Даур удалялся к соседу-греку, может, потому что я занял его место так надолго, но понял я это, когда мы стояли перед аудиторией, состоявшей в основном из сотрудниц до тридцати лет, причем некоторые были даже хорошенькие (три из семи), а нас (ОН тут же за меня подсчитал) как раз трое и было: Драгамашенка, Даур да я... Драгамашенка представил публике Даура, человека в городе всем известного, которого должен был представить меня, человека всем известного, но неизвестного в городе, рассказать, так сказать,

о моем творческом пути. Даур смело вышел вперед, сказал, что они видят перед собой человека прежде всего интересного тем, что он... тут. Я замер в ожидании, в преддверии искреннего восхищения и наигранного смущения, ибо редко встречал я подобный дар красноречия, как у Даура. Как тамада он забывает всех, затыкает за пояс, особенно в присутствии дам он особенно красноречив и остроумен, так что я ему даже зачастую завидовал: настолько он меня в подобных случаях превосходил, что я, пользуясь преимуществом старшего по возрасту, лишь принимал позу учителя, любующегося своим учеником и одобряющего каждое его слово... Даур вздохнул всей грудью и больше не выдохнул. Так по крайней мере казалось. Он стоял выкатив грудь, округлив глаза и рот, и мы благожелательно выжидали его точного слова. Девушка, в которую уперся его взгляд, начала неудержимо краснеть, по лицу Даура струился пот, но следующее слово так и не родилось, Драгамащенко зааплодировал, Даур выдохнул наконец и сел, а я встал.

Человек есть человек, то есть очень слаб. Я не мог не расцвести подчеркнуто пышным цветом на фоне предыдущего оратора. Раз они были биологи, то, конечно же, что они в биологии понимали?.. И конечно, это должен был быть именно я, чтобы научить их понимать собственный предмет. Я говорил им о...

Ночное вдохновение еще кипело во мне. Там я так и не договорил, закончив. Как всегда, ради чего все и пишешь, те две-три мысли, что так беспокоили тебя до такой степени, что даже тебя усадили за стол выразить их, то именно эти две и оказались никак не высказанными: ни я, ни Павел Петрович их так и не додумали, сколько ни пили, так и вышел я, пройдя текст навывлет, с ними же двумя в руках, никуда по дороге не пристроив. Даже Павел Петрович не успел их мне растолковать.

— Свинья... — говорил за меня девушкам Павел Петрович. — Можете ли вы мне объяснить, с чем связано такое традиционно пренебрежительное, неблагодарное и хамское (вот видите, я чуть не сказал — свинское) отношение к этому изумительному животному? — Павел Петрович, по-видимому, решил продолжить свою идею Творца как художника, изобличившего себя созданием воды. — Свинья не только чистоплотное, умное, но и наиболее совершенное существо в природоподобной системе крестьянского двора. Проблема безотходности производства, неразрешимая в условиях технического прогресса конца двадцатого века, была разрешена на заре развития человечества изобретением, подчеркиваю, изобретением Свиньи! Ничто в истории человеческой цивилизации не повторило так совершенно Творение, уподобившись ему, как крестьянский двор. Это картина Творения в раме забора. Забор, ОГОРОД — вот изобретение, равное колесу. Изначально он и был круглым. Только раздел, наличие соседа придали ему прямоугольность...

Полная неожиданность слова «прямоугольность» потрясла оратора, и он окинул все взором и выбрал себе блондиночку, которая мне лично не понравилась (я приглядывался к другой), зато нам обоим в одном лице делала знаки третья, машинисточка знакомого издательства, меня смутил ее застенчивый призыв: вот кого следовало избежать да не обидеть... Сорвавшись с языка, «прямоугольность» вдохновила его, и далее он с легкостью обнаруживал связь между следующими словами: Россия, колхоз, номады, нейтронная бомба, «без единого гвоздя», пожар, «с навозом в руках», плот и церковь, «восемнадцать войн с Турцией — и никаких Дарданелл», викинги, тевтоны, шведы, татары, литовцы, поляки, Ермак, «нах остен», болото, прорубить окно, Сибирь, ареал, Европа, тундра, лошади, шкуры, бабы, вырезать скот, первобытные племена, самогон, ледостав, пельмени, пальмы, Калифорния... «Жаль Аляску!» Хрушев...

Господи! куда его несло... Это он перед блондиночкой приблизительно излагал не свои сомнительные идеи, их у него отродясь не было, и даже не мой, а нашего давнего приятеля доктора Д., которые тот лишь однажды мне разболтал и на следующий день вернул обратно...

Но ничего, про Хрущева уже можно, это даже поощряется, про Хрущева... Путь плетет.

— Хрушев вообще был человек широкий. Даты при нем не были в таком почете, как сейчас. Ему что год, что «один день»... (Нет, про Солженицына

лучше не надо.) Что 250-летие Петербурга, что 300-летие Петра, что 100-летие крепостного права... что Аляска, что Куба... кукуруза...

— Про Ермака Тимофеевича позвольте с вами не согласиться, — спастительно вклинился Драгамашенка. — Оригинальная, но несколько схематичная концепция. Из избы, положим, еще можно плот связать, но из плота — сани!.. (В аудитории раздался подобострастный смешок.) Не такие уж мы номады...

— Как не номады?! — вспыхнул уже я. — А что все эти массовые перемещения людей — целина, комсомольские стройки, БАМ — кто, кроме номадов, на такое согласится?..

— И вот еще недопонял. — Драгамашенка учел, что возражать и поправлять тут опасно. — Почему именно свинья — царь зверей?

— Потому что она венчает пирамиду крестьянского двора. Она его замок. Что нам прежде всего свидетельствует о присутствии хозяина? Замок, на который он запирает ворота своего хозяйства. Это — его. Замок замыкает цепь. Свинья замыкает двор, придавая ему совершенство природы, выдает в хозяине — творца. Потому что творца выдает — замысел. Замысел невоплотим в принципе. Концы с концами никогда не сходятся и не сойдутся. Их можно только завязать узлом. Замысел всегда торчит. Его не скроешь. Его можно пытаться скрыть. Хорошо, тогда объясните мне, зачем нефть? Почему, до человека, по всей земле равномерно накопаны эти отхожие места живой природы? Будто они задуманы для будущего человека. Ни одна ведь из гипотез происхождения угля и нефти до сих пор никого не убедила. А разве Земля, допустив на себе развитие жизни и цепную реакцию эволюции, не была бы погребена под отходами жизни и продуктами распада и разложения, если бы не эти аккуратные мешочки с нефтью? Разве крестьянский двор не подобен равновесной экологической системе именно благодаря свинье? Не сыграла ли нефть роль такой же изобретенной свиньи для всей природы? Хорошо, тогда скажите, зачем человеческому виду девственность, у каких видов животных она еще встречается и есть ли она у вашей магушки обезьяны? Что это за мембрана такая, рассчитанная на один раз?

Тут он смутил девушек окончательно, безраздельно завладев ими всеми сразу. Та, которая мне нравилась, была, однако, напугана не на шутку и, кажется, собиралась, но все не решалась выйти. Зато интеллигентная машинистка смотрела с откровенным обожанием, чего мне как раз не хотелось.

— Боюсь, что никаких дельных объяснений, кроме тех, что вы считаете мифологическими, про Адама и Еву, про Древо познания, про грехопадение, диктующих нам до сих пор закономерности человеческого опыта и определяющих историю человечества через первородный грех и непорочное зачатие Ншей Девы, мы не найдем. И не надо. А надо вот что...

И я замолчал, как Даур, не в силах вспомнить, что только что сказал.

Даур был отомщен. Или я спас Даура? Если вещь не написана вовремя, она начинает сбываться. О, эти объятия жизни, однажды уже бывшей с тобою! Какие-то «Труженики моря», а не текст. Тебя обнимает спрут, и ты корчишься в бесполезных судорогах борьбы, захлебываясь в толщах бытия.

Ненаписанный роман «Азарт» происходил со мною. Мелькали пропущенные описания.

Где конь? Кто там забыт под забором в красной рубашоночке, хорошенький какой... И что такое Миллион Помидоров?

Миллион Помидоров может поднять сто двадцать килограмм одной рукой. Он выучил наизусть Кортасара. У него борода... Боже ж ты мой! Какие корчи! Какую рожу может скривить слово на странице! Никуда оно не ложится и никуда не лезет, и нет ему места, и если только прислушаться, то и смысла в нем никакого нет. Повторите любое, для тренировки, десять раз: какой «стол», какой «стул», почему «дверь»?..

Миллион Помидоров имел свои отношения со славой. В том числе и великого картежника. Еще в детстве он проиграл враз миллион. И поскольку миллиона у него не было, а карточный долг несомненно долг чести, то и проиграть пришлось миллион не рублей, а помидоров. Выигравший милос-

тиво разрешил отдать долг по частям. Лет десять носил Миллион Помидоров по пять—десять килограмм. Вырос и окреп, как Критон Милетский, приближаясь к Олимпийским играм 1976-го, 1980-го, а теперь, в 1984-м, — никакого Лос-Анджелеса. Опоздал со своими гирями, как я со своими словами...

Не прав я был со свиньей — вот в чем все было дело. Может быть, она и замок. Может, она и подбирает за нами, неблагодарными, наше дерьмо. Только вот само ее дерьмо, оказывается, деть некуда. Некуда деть это конечное ее дерьмо. Никуда оно не годится!

Бывает именно такое — замолчишь ни с того ни с сего и враз. Выпучишь глаза и молчишь, и не то что связи между словами, не то что слов нет, буква и та непреодолима. Нету самой речи. Молчишь и месяц, и другой, начинаешь молчать третий. Слушаешь аплодисменты, пожимаешь руки, пожинаешь призы. Тебя уже давно ждут выпить с ними благодарные слушатели. И еще двое-трое-четверо, Адгур-Рауль-Рауф в одном лице и Миллион Помидоров, оказывается, давно стоят за твоими плечами, как два ангела-охранника, давно не терпят, когда ты кончишь выступать, везти тебя с Дауром в одно место, где только меня и ждут.

Мы получили с Дауром по черепу обезьянки в качестве гонорара. На лбу ее мягким карандашом была накорябана дата смерти. Можно было бы сейчас датировать это повествование с большей точностью. Дело было осенью, а умерла она летом, год шел 1983-й. Сейчас мне кажется, что там стояло 17 июля. Июля — было написано римской цифрой VII. Карандаш особенно хорошо писал по поверхности кости, как на самой дорогой и толстой, какой-нибудь китайской, бумаге, такой пористой и цвета слоновой кости. Но карандаш стерся. Почему-то дата убывала в обратной последовательности: сначала год (но год я помню), потом месяц, потом долго оставалось повисшее в безвремяе число. Я по-всякому заворачивал череп, чтобы не стереть до конца, тем и стирал. Дата рождения, однако, не была зафиксирована с той же точностью. Осмотрев зубки, Драгамашенка сказал, что не более двух лет. Один зубик в нижней челюсти слева шатался, наверное, клычок. Она была девочка. Звали ее Люся. Или Маргарита, не помню. Конечно, Люся. Не Маргарита. Маргаритой звали ту, другую. Не ту другую, которую подарили Дауру. Ту я даже не поинтересовался, как звали.

А ту, у которой *ОН* успел взять адресок в аудитории, пока я молчал, опозоренный собственным молчанием, умиленно глядя свою обезьянку по лысой головке. *ОН*-то все успел, пока его влекли к выходу я и Миллион Помидоров: и хватануть пробирку со спиртом из девичьего аляфуршета, устроенного в мою честь, закусив печеньицем «Привет», и взять телефончик той, которая понравилась *ЕМУ*, и той, что понравилась мне, и той, старой знакомой, которой не следовало ни при каких обстоятельствах отвечать на ее вечно призывный взгляд, изнывающий от застенчивости до неприличия: она жила тут неподалеку в пансионате с сыном, учащимся приготовительного класса.

Итак, провожаемые неудовлетворенной аудиторией, которая нам продолжала махать с порога своей лаборатории, может, и синенькими платочками, ехали мы на двух машинах: «козлике» и «Волге-21», все круче забирая в горы. И пока *ОН* праздновал свой триумф, рассказывая какую-то гнусную историю с вырезывателем, имевшую место в мои студенческие годы, казавшуюся *ЕМУ* отчего-то увлекательной и веселой, а друзья ослепительно улыбались и понимающе кивали, я переживал свой позор, грустно поглаживая Люсю, уютившуюся на моих коленях, по ее покато лобу и поглядывая в окно. В сотрясающемся этом мутном окошечке, вделанном в бывалый брезент нашего «козла», видел я все больше обочину: согревающую свое вымя на разогретом асфальте корову, поросенка, безуспешно старавшегося проникнуть сквозь изгородь, протиснуть туда свою треугольную рамку на шею, вдруг... — человек лежал на обочине, все в той же красной рубашончке, так безмятежно раскинув руки, как и не бывает... и где-то я его уже видел. Миллион Помидоров дал мне затянуться из косячка, я неохотно дернул, разглядев его непомерный кулачище, которым он при мне забивал гвоздь в дюймовку... но, распробовав, дернул и другой разок. «Хороша травка?» —



гордясь, спросил Миллион Помидоров. И впрямь отлегло. «Хороша...» Мне даже показалось, что *ОН* от меня пересел в идущую позади «Волгу», чтобы пересказать все ту же историю другому экипажу... «Мама», — наконец мог я произнести первое слово, хотя хотел сказать: «папа».

Папа это и был. Он помещался в небольшом синем кубке у мамы на коленях, будто выигранный в небольших соревнованиях, и мать нежно гладила его, как живого. Сходство с призом усугублялось золотой вязью наискосок: за что кубок. За **КОНЕЧНУЮ** дату ему присуждались как дата рождения, так и имя собственное. Приз это и был: он был единственный такой, первый и неповторимый. Прости меня за то письмо!.. Мы помещались с мамой на заднем сиденье такой же «Волги-21». Мы везли его на наше кладбище в Шувалово. Вез нас муж моей двоюродной сестры, племянницы моего папы, иначе, наверно, шурин, то есть муж моей кухни, по фамилии Черешня, гордый своим автомобилем, происхождением и ученой степенью, славный и неглупый, в принципе, человек, игравший под хама, но хамом совершенно не бывший, — добрый, некрасивый человек. Был он удивлен силою маминых переживаний. «За что вы его так любили?» — спросил он ее со свойственной ему прямоотой. И мама, посмотрев с силою прямо в глаза, тускневшие на его унылом, долгом, носом перечеркнутом лице, сказала со всею отчетливостью: «За красоту». Черешня, как я уже сказал, был не дурак, но тут и он понял.

Возвращение с кладбища...

До обещанных обезьян мы опять не доехали.

Зубик выгащился сам собой из Люсиной челюсти и легко вставился обратно. Обязательно надо бы было его не потерять, напоминал себе я. И тут мы приехали.

Нас ждали. Сквозь колья ограды наконец проникло освобожденное население. Нас целовали в плечо. Нам подносили. Хлеба-соли на расшитом рушничке тут не было, но сам рушничок был. Одна достойная женщина держала мыло и чайник, другая полотенце. Нам поливали, пока мы мыли руки, потом нам подавали полотенце. Обе женщины, как мне пояснили впоследствии, были депутатами Верховного Совета: одна — АССР, а другая — СССР. Это была деревня.

Деревня тут и была. Мое русское пьяное сердце восхищалось и рыдало. Вот что значит непрерыванная жизнь трех поколений! Это значит — богатство. Невозможно даже сравнить — я не уставал сравнивать. На место каменного двухэтажного дома на столбах-сваях подставил я нашу покосившуюся избу-пятистенку; вместо традиционного агазона (газона) во дворе представил себе лужу, истоптанную коровой и сапогом глино-навозную жижу; вместо сада — инжирового, хурмового, яблоневого — наш небогатый огородик с не уродившимся в очередной раз луком; вместо водонапорной колонки — наш водонаборный прудик, кишевший жизнью, как капля под линзой Левенгука... Скорбь патриота вскипала во мне пропорционально умилению их заслуженному достатку. Конечно, климат — у нас такое не растет. Тут ткни палку в землю... Лимоны, мандарины... А у нас — ЗИМА. У нас попробуй вынести что-нибудь за пределы дома. Это здесь кухня отдельно, скотина отдельно — можно двор по газону перебежать. У нас надо прижаться одним боком к печке, другим к корове, чтобы не замерзнуть. Им — легко. Так рассуждал патриот во мне, горожанин, на пятом дзятке разгадавший тайну пятистенка: что это вовсе не наша пятиконечная звезда, а стена посреди дома, делящая избу на жилую половину и крытый двор.

Тут те же женщины обнесли нас стаканчиком чаи. Мы все еще, значит, стояли во дворе. И не только двор, и газон, и дом были свои, но и вычурные его железные ворота, это «свое» запиравшие, были свои, но и чача была — СВОЯ. И этот другой несколько оттенок слова: НЕ купленная. Свое и собственное — в смысле тобою произведенное, приготовленное, сделанное. Впрочем, таков был и двор, и газон, и сад — СВОЕ это было, как чача. Крепкая была чача.

Конечно, климат! Виноград у нас ни при какой системе не вырастет. Что у них, советской власти не было? Не только была, но и стояла передо мною

во плоти в виде депутата Верховного Совета СССР (который, как я учил по Сталинской Конституции в школе, и есть сама Советская Власть), да и звало-то ее, по какому-то небесному недоразумению, Софи. Сама Софи, смущаясь и розовея, подавала мне чачу, как перед тем рушничок. Что она мне плохого сделала?

Отдельно опишем ее румянец, ибо он так и есть — отдельно. Отдельно от щеки, от лица — сам по себе. Румянец как еще одна часть тела. Ага! Забытое слово: крепкий. Впрочем, только что сказанное по другому поводу. Впрочем, по тому же. Крепкий дом, крепкая чача, крепкий румянец. Еще его называли «деревенским». Давно не встречал я его на наших испитых лицах. Даже в деревне. Тут, значит, не только воздух — тут еще и работать надо. На том же воздухе. У нас, в России, такой румянец только у постового и встретишь. Потому что во всякую погоду на воздухе деревенский свой ген проветривает. Наша деревня все чаще в милицию подалась, там выживает. И названия наших опустевших придорожных деревень, пока едешь по шоссе, от постового до постового, напоминают все почему-то фамилии милиционеров, а напоминают, выходит, они то, откуда милиционеры родом. Просто мы, горожане, раньше знакомимся с милицией, чем с деревней. Например, мелькнуло за окном на обочине название деревни АКШОНТОВО — так точно, в юности твоей случился с тобой такой сержант или даже, бери выше, лейтенант Акшонтов: он протокол составлял, а ты подписывал, вроде и не за то, что сделал, а за то, чего НЕ сделал — сплошные НЕ: НЕцензурное (выражение), НЕтрезвое (состояние), НЕподчинение (представителю власти). А может, не Акшонтов это был, другая фамилия. А Акшонтов-то тебя как раз сейчас и поджидает на своем посту, на выезде из деревни АКШОНТОВО, и доброжелательно задерживает тебя за скорость, которую ты превысил в задумчивости о судьбе русской деревни. И такой у него цвет лица!..

Как у Софи. Цвет. Не румянец, а цвет. В смысле не цвета, а цветка. И надо же, чтобы эту темно-бордовую, почти черную розу сквозь естественный и благоприобретенный цвет лица пробивала еще и краска смущения! Как не украсить Верховный Совет такую зарею Востока... «Румяной зарею покрылся восток...»

Пушкин, конечно же, раньше всех. Вот еще одно устаревшее слово — РУМЯНЫЙ. При Пушкине еще румянец был. И слово, соответственно, было употребимо, ибо соответствовало. Да и самому Пушкину этот румянец был свойствен. В Лицее он самый румяный мальчик был. Румянец характеризует его не меньше, чем кудри и бакенбарды. Кто хоть раз видел его живым... Опять не мы.

На Пушкина тут один был похож. Румянцем и лицом. Головка Пушкина сидела на здоровенной, впрочем, шее молодого хозяина, чья была Софи. Старший хозяин, его отец, в крепости и румянце ему не уступавший, лицом поразительно походил на моего отца. Сходство это еще подчеркивалось тем, что я только что как раз о нем вспоминал, о своем отце... Только он был жив и здоров. Таким здоровым он никогда не бывал, когда был жив. ПЫШУЩИМ здоровьем... Если столько было в русском языке точных и разных слов для описания здоровья, может, и здоровье было?

Он сидит во главе стола, мой отец, — благословляет. Передает бразды правления своему сыну... Как описать теперь еще и мужской румянец? Лица их в трещинках, как кора, оттого будто они все подсмеиваются над тобой и подмигивают — что лучики эти разбегаются вокруг глаз и рта на поджаренной коже, а ты отламываешь в этот момент поджаристую корочку от поросенка, как Ворошилов у Искандера, и тост... за тебя, оказывается, его и произносят. На лица их падает вечерний свет, как на стволы деревьев в лесу на закате, доказывая, что в коре не меньше жизни, чем в листочке и цветке, и глядя в их... хватит подбирать слова, как нищий! — глядя в их ч е с т н ы е лица... не могу я осудить ни их ясную хитрость, ни их довольство собою.

Мы в верхней, парадной половине дома, в которой никогда никто не живет. Здесь паркет. Здесь ковры, и хрусталь, и полированная мебель. Здесь отделанные серебром рога и кинжалы. Здесь красивая картина на стене: тигр грызет девушку, и грудь ее обнажена под луной — она же смотрит на нас прощальным, фригидным взором. Но это не Руссо. Это подлинник.

Здесь как раз все — купленное. Самое дорогое. Чем не пользуются. Ради чего все. Не хуже, чем у людей. Как у людей. Лучше, чем у соседей. Жизнь и работа кипят на первом этаже, на уровне грешной земли ради построения этого домашнего рая на этаже втором, где при жизни никто не то что недостоин, но не успевае<sup>т</sup> пожить. Много дела внизу — на второй этаж бегать. Хотя именно там, за залой, в которой мы сидим, просматривается и главная спальная комната, опять же гарнитурная, с арабским бельем и шелковыми одеялами: все самое лучшее и дорогое — для «простого человеческого счастья». В ней тоже не спят, спят тоже внизу, умаявшись за пахотный день, свалившись на продавленную койку. Что здесь не спят, в данном случае не образ и не домысел: пол устелен слоем орехов и хурмы — их достигает сейчас прощальное солнце, и, обрета угол зрения в щель приотворенной в спальную двери, я люблюсь этой внезапной живописью до тех пор, пока... Пока Софи не заметит моего взгляда и не прикроет дверь. И вот в чем тогда вопрос: для того ли она прикрыла дверь, чтобы я не видел кровать, или для того, чтобы я не видел хурмы? Непорядок ее смутил или супружеское ложе? Софи, и ее старшая невестка, что депутат АССР, и ее свекровь, и еще одна тетушка — все в косыночках — выстроились в дальнем краю стола и доброжелательно оглядывают наше мужское застолье. Старшинство у них по возрасту, а не по званию: свекровь, которая никакой не депутат, заметив, на ее взгляд, непорядок, шепчет депутату АССР, та депутату СССР, и расторопная Софи бежит то с сыром, то с курочкой.

Ну как тут не полюбить Советскую Власть! Когда, дотянувшись своей имперской рукою до самого захолустья, она ласкает своего опального поэта неожиданно материнской лаской, будто это не она же прогнала его сюда с глаз долой. Чем хороша машина — что у нее нет умысла.

Советская власть здесь не только была, но и бы в а л а! Сам Никита Сергеевич сиживал запросто на соседнем со мною стуле, где сейчас отец. И вот почему все село так заросло колючками. Поколебавшись памятью, назовем их асапарелью. Раз в году, весной, еще нежные и зеленые, колючки эти становятся лакомством. В остальное время года они только колючки. Никита Сергеевич посетил их как раз в сезон асапарели. Он полюбил этот вкус, ни разу до того им не отведавший. Поскольку кукурузу в Абхазии насаждать было нечего, ибо все там на мамалыге выросли, то и помечтал он вслух, что асапарель, обладая столь заграничным именем, может принести стране валюту, что и было взято на карандаш, а затем и учтено местным руководством, находившимся, естественно, неподалеку, то есть в той же комнате, где мы сейчас. И началась кампания по внедрению новой сельхозкультуры. Асапарель перестала быть съедобной на следующий же день, как он уехал, а Абхазия стала непроходимой из-за колючек. Хрущева сняли, и асапарель схлынула, застряв на границах участков как естественная изгородь. Таким образом, свирепость местных изгородей объясняется не только хозяйственной надобностью или кулацкой сущностью.

Так вот откуда богатство! Двор сей был благословен тем визитом, и с тех пор тружеников не трогали. Они же воспользовались нишей, чтобы потрудиться. Без власти — никуда... Надо дружить с нею. Интересные памятники сохраняет за властителем время: украинский Крым, однако, и продвинувшуюся на двести километров к северу границу кукурузы, и заборы из асапарели!

И здесь уже нет сил не поймать себя на том, до чего же *ОН* мне мешает! А я и не намерен писать ЛУЧШЕ.

Я — о другом: зубик Люсин чуть опять не потерял...

Следует последить за собою, а тем более за *НИМ*. Ведь что я *ЕМУ* велел! Я *ЕМУ* приказал ни в коем случае не пить вина, которое как раз все и пьют, проложив для начала лишь первый стаканчик чачи. «Вино тебя погубит!» — внушил я *ЕМУ*, разрешив лишь понемножку (в нарушение обычая, который мне, в виде исключения, разрешили нарушить как гостю) пригубливать из непрозрачного стаканчика ту же чачу. «По крайней мере не мешай!» — брезгливо сказал я *ЕМУ*. «Закусывай», — советовал я *ЕМУ*, как мама. Нельзя было распасться в столь честной компании! Назовем это чувством собственного достоинства. Тем более хозяевам было с кем сравнивать. Тут до меня не

только Никита Сергеевич, но и Президент США должен был приехать, но не приехал, Евтушенко — частый гость и другие писатели, иностранные (Грин? Бёль?), — да, кажется, они. Хемингуэй не приезжал. Этот англичанин неплохо пил, да. Но тоже — только чачу. Тогда это точно Грин.

Выпили за народы. Это особый, вроде бы только местный тост. Не в смысле интернационализма или дружбы народов. Досоветский, оказывается, еще тост, традиционный. Мол, Бог так создал, что есть народы — чеченский, еврейский, молдавский... и слава Богу! Это хорошо, что есть народы. Ну как тут не пригубить единственному русскому, находящемуся в счастливом для себя меньшинстве!

Традиция тостов, чем она хороша: ее не перехитришь. Победить стол можно только в честном бою. Как не осушить стакан за народы, за землю, которая подарила этот стол, за родителей, которые нас за него усадили, за предков, которые единственным образом подобрали нам родителей, за живых (дай Бог им здоровья!) и за мертвых, что сейчас живы, в этом твоим стакане; за тех, кого нет с нами сейчас, но они все равно с нами, а за тех, что есть... то это такой замечательный народ собрался! что за каждого по отдельности надо, и лишь за самого себя можно, скромно потупившись, взять и не выпить. А если учесть, что, пока вся черёда тостов, без единого упущения, не будет исполнена, из-за стола никто не имеет права подняться (а тосты пьются стаканами), что встать по малой нужде позор для мужчины, то ничего удивительного, что в Абхазии достаточно распространены заболевания мочевого пузыря, что и позволяет мне намекнуть собранию об одном возможном великом родстве абхазов с астрономом Тихо Браге, который носил серебряный колпачок вместо отрубленного в юности на дуэли носа, а умер достаточно старым, но уже не от сабли или кинжала, а от разрыва мочевого пузыря, ибо, будучи призванным в придворные астрономы в незнакомую страну и не зная обычаев двора, не позволил себе на всякий случай встать из-за стола, не зная, что там принято, а что не принято, и такое неумолимое следование чисто абхазским традициям не может не означать, что мать его была абхазка или убыхка... и эта моя гипотеза выслушивается с неожиданным вниманием и принимается на веру, то есть как факт.

Как силен бывает человек, когда его мало! Когда ему надо доказывать миру, что он есть, и еще самому в этом не усомниться. Любое подтверждение со стороны покажется опорой. Еще недавно существование их для себя было настолько несомненным, что они воровали друг у друга коней и женщин и продавали их. Женщины славилась и оказывались украшением гаремов в такой дали от родины, что теперь при желании по материнской линии можно начертать самое неожиданное родство. Прославленные янычары или сей-фульмулюки вдруг окажутся из нашего села, а там и до Наполеона рукой подать. После мехаджирства, самоубийственного исхода абхазов в Турцию в начале нашего века, счет на абхазов и неабхазов пошел другой: родство приходится пересчитывать на пальцах. Так, из двоюродного абхазам племени убыхов не осталось вообще ни одного. Они ушли, растворились и исчезли вместе с конями и женщинами, оружием и кухонной утварью, песнями и танцами, обычаями и языком. И языка не стало. И если бы один француз, слыхом не слыхивавший об абхазах и убыхах, собиравший фольклор в Центральной Африке, не наткнулся на одну древнюю негритянку, которая стала рассказывать ему сказки на неизвестном ему, то есть и несуществующем, наречии... не досталась ему слава ни Шлимана, ни Даля, но — «слава тевков безмерна» — я не вижу подвига выше, чем спасение чужой славы. Девочкой негритяночка была продана в Египет, прислуживала в некоем гареме, куда к тому времени поступила партия убыхок, в доказательство чего она раскуривала трубку. Ученый записал на магнитофон ее непонятный старческий лепет, и, освободившись от неведомого ей самой долга, она тут же вверила свою легкую теперь душу жалевшему ее Богу...

— Так как, ты говоришь, этого Тихого звали?

Хорошо выпивать за народы!

— Он был дворянин, у него предки ходили в крестовый поход к Гробу Господню, и один из них привел за собою красавицу, якобы турчанку,

спасенную им из рабства; про нее ничего не известно, кроме того, что она курила трубку и была его бабкой.

— Очень может быть, если трубку курила, — соглашаются со мной. — Ты думаешь, это она его приучила не вставать из-за стола?

— Очень может быть, — соглашаюсь и я. — Но, умирая, однако, завещал он начертать на могильном камне: «Жил как мудрец, помер как глупец».

И это оказалось правильно всеми понято: мы поднялись наконец из-за стола. И тут я мог быть доволен не только собой, но и *ИМ*, настолько все, кроме хозяев, были пьяны, что можно было только восхититься, с какой легкостью и насколько не шатаясь спланировал *ОН* в моих особенно белевших в легких сумерках джинсах на ставший из изумрудного темно-зеленым газон.

Но если бы это было все!

Здесь, на лужку, с уже скраденными сумерками очертаниями двора, когда все строения выглядели не такими прочными и новыми, патристическая рефлексия по поводу чужого богатства не так сотрясала меня. Что сетовать об утраченных традициях, погружаясь безвольно в нищету... Вовсе не традиция — наше богатство, а богатство и есть традиция. Так заключал я, вычисляя ту глубину участка, куда скрывались по одному как бы не за тем, сохраняя мужское достоинство, гости. И, исчислив с точностью, оказавшись в дощатом, чисто русском домишке, изгоняя образ бесславной смерти Тихо Браге, вспомнил я вдруг небесную северную деревеньку Турлыково, где все это когда-то было: и колодец, и колонка, и неистоптанный лужок, и резные крылечки, и наличники. Возвышалась деревенька, как храм на пригорке, и когда ты взбирался туда, то и оказывался в храме, из которого можно было помолиться на весь Божий мир, который тут же к тебе подступал, тут же тебя окружал нетесным, но близким кольцом, тот мир, которого вполне тебе хватало, и лес, обнимающий поле, вставал монастырской стеною, и на одной возвышающейся над ним сосне можно было различить явственный крест. Жили же! И — было!.. Теперь там не жили, храм был покинут со странной, бросающейся в глаза внезапностью: ложки в буфетике и платице в шкафу на вешалке... Что за бомбежка такая! Выходите, вылезайте, все миновало!.. Так и казалось, что объявятся вдруг красивые жители, радостно галдя и ликуя, что ничего не порушено и все в целости... Только... Не вернуться они! Вот что страшно. Не захотят, чтобы еще раз... Будто коллективизация и есть тот пресловутый русский приоритет в изобретении нейтронной бомбы: все целехонько, только человека нет. Мы еще вернемся в Турлыково! — с радостной дрожью в спине успел подумать я.

И тут так же радостно, сильно и нежно задрожал подо мною газон, и откуда-то о т т у д а, из сумерек хозяйственных строений, с удивленным ржанием выбежал Конь. Лошадь вырывается вперед из повествования, с легкостью обойдя быка, тигра, кота, дракона и змею... О, что это был за зверь! Птица! Существо! Существо-конь вылетело к нам, не веря ногам своим, прямо в сад. Оно еще не знало, куда мчаться, но уже мчалась его душа; казалось, он был стреножен мощью собственного тела и должен был сначала выпутаться, вытоптаться из него, вырваться из себя самого, как из следующей, после только что покинутой, темницы. Масть его была уже неотчетлива, но качество ее светилось: то крупом, то боком отражал он не взошедшую еще луну. Совсем было поверив в свободу, издав победное ржание, рванул он было, но тут же испуганно шарахнулся, приняв яблоневую ветвь не знаю уж и за что. Яблоко ударило его по морде, он схрустал его с детским восторгом. И будто сердце его не выдерживало уже одновременно три счастья: волю, движение и поднесенное прямо ко рту яблоко, — бок его судорожно вздымался, как от скачки. Он метался в этом лошадином раю, мелькая меж побеленных стволов, как зебра, и яблоко само бросалось ему в зубы; лунно-зеленый сок струился по его лицу, и над всем этим испуганно и бесстрашно торжествовал его косящий, ржущий глаз. Если есть яблоки, то есть и рай. Если рай для нас, то там будет конь. Иначе кому яблоки и зачем рай? А если конь в раю, то и мы в раю,

так стояли мы, окружив коня, и скромность так и перла из хозяина, и мои мысли о смысле богатства показались мне жалкими, ибо это был Конь. Все

эти дефиниции своего и собственного, созданного и приобретенного оказались местечковыми марксистскими выкладками. Да, конечно, конь этот был куплен, но не как телевизор или ковер и даже не как автомобиль. Он был не для надобности. Он был для скачек. И в этом году он еще не выиграет, но в будущем выиграет безусловно, и

так не смотрят ни на любимую женщину, ни на твоего от нее ребенка, как смотрят на Коня;

есть зависть нормальная, бытовая, безопасная, которую приятно возбудить в соседе, например урожаем, или женой, или подрастающим сыном, или новыми «Жигулями», но есть зависть огромная, как Конь, она гарцует в тебе и топчет душу, зависть с зеленой яблочной пеной на губах, и с нею надо поосторожней,

и это есть момент, когда подносит хозяин гостям прощальный рог. И рог этот был величиною со слоновий бивень.

И помещалось в него как раз две бутылки вина.

Я еще думал, что рог пойдет по кругу...

Но хозяин, младший, похожий, как черт, на Пушкина, показал, как это делается: *на одного*, — поглотив единым духом, не прерываясь, содержимое рога. И пока его наполняют снова и я гадаю, кто следующий, а отец его, так редко, так по-братски похожий на моего отца, только прожившего другую, параллельную, секретную от меня жизнь, с ее воздухом, трудом и здоровьем, так по-отечески доброжелательно и поощрительно поглядывает на меня и посмеивается, будто втайне мною довольный,

то думаю я, наверно, о том, что, Господи, неисповедимы пути Твои и мог бы, мог бы я вполне быть его сыном; что протянулась с неба великая рука с моим зернышком на ладони, и был я зачат в Анапе («Ана-па» по-абхазски «протянутая рука») — так это же факт. Японцы считают возраст человека с зачатия, так почему бы не Анапа — моя родина? Только случайность станет единственной, обрекая тебя на судьбу...

Рог был протянут мне, и пока я отнекивался, *ОН* уже рвался к нему. Я умолял, я хватал *ЕГО* за руки, я обоснованно утверждал, что это *ЕГО* погубит, что *ОН* не осилит, что *ОН* опозорится, что *ОН* вырубится, — бесполезно! *ОН* вывернулся из моих объятий и вцепился в рог. Ощущая себя конем, *ОН* чуть ли не ржал. *ОН* скинул сандалии, по-видимому для большего подобия, и, потоптав босыми пятками абхазский агазон, изрек: «Земля, помоги мне!» И так, решив, что *ОН* стал наконец на почву, *ОН* приник. Мне оставалось лишь с тревогой следить за *НИМ*. *ОН* пил и пил, и рог *ЕГО* поднимался. Я и в трезвом-то виде не могу слишком задирать голову, опасаясь головокружения. Как *ЕМУ* хватало дыхания!.. Голова запрокидывалась, и рог поднимался все выше, и, стоя в прямом смысле на земле, увидел *ОН* взходящую ни с того ни с сего, словно выпрыгнувшую из-за горизонта луну. Было в ее изгибе что-то хищное, как у барса в прыжке, вцепившегося в жертву. И так, не столько удерживая, сколько держась за рог, повис *ОН* на нем между землею и луной, как пионер-горнист в парке, да так и застыл, протрубив последнюю, победную, каплю. Под дружную одобрительную овацию *ОН* стоял. «Ну-ну, — подумал я, — посмотрим, как ты будешь дальше». Но и дальше *ОН* не сразу упал, а еще сумел торжественным жестом вручить опустошенный рог следующему и не покачнувшись сойти с арены.

Посадить *ЕГО* в машину было уже труднее. *ОН* ползал на четвереньках по газону и плакал. «Зубик! Зубик Люсин потерял...» — причитал *ОН*. Никто, кроме меня, *ЕГО* не понимал.

*ОН* успокоился наконец у меня на груди, свесив голову, убаюканный автомобильной тряской, обнимая Люсин череп, как ребенок игрушку.

Не доезжая Сухума *ОН* очнулся неожиданно четкий и решительный, расслышав нежное ржание, и попросил остановиться. Все были рады слегка освободиться от абхазского посошка, но *ЕГО* занимало даже не это. *ОН* спросил, не тот ли это пансионат светится за железной дорогой... и *ЕМУ* подтвердили, что тот, тот самый, как *ОН* угадал? Страшная догадка мелькнула во мне: этого нельзя было, ни в коем случае, допустить! — но *ОН* тут же подтвердил мое опасение, заявив, что никуда дальше не поедет, что заночует

в пансионате. Как я надеялся, что абхазские друзья этого не допустят! Но они, посоветовавшись, сочли *ЕГО* вполне вменяемым. Я удерживал *ЕГО* из последних сил, но *ОН* всегда был сильнее меня. «Да отъебись ты!» — зло выкрикнул *ОН* и вырвался из моих пьяных рук. И побежал.

*ОН* бежал, как ему казалось, как конь. Напрямик, через железнодорожные пути и заросли асапарели; мало что оставалось от моих джинсов. И наконец, проломившись сквозь последние камыши и осоки, прогремев галькой по берегу, рухнул не раздеваясь в море и поплыл. «Да отъебись ты!» — приговаривал *ОН* в такт каждому своему гребку в ответ на мои захлебывающиеся призывы. У меня не хватило сил, я выдохся и отстал.

*ОН* заплыл довольно далеко по лунной дорожке, эпически пофыркивая, как фольклорный конь, любуясь собою в фосфоресцирующих пузырьках, будто *ОН* был все это: и море, и конь, и лунная дорожка. *ОН* чувствовал себя нарзаном, налитым в бокал, хотя более походил на таблетку алка-зельцера, в *НЕГО* брошенную. Растворившись в ночи, *ОН* выходит на берег с легким ржанием, как бы из морской пены рожденный, ровно напротив светящегося во все окна пансионата. *ОН* целеустремлен. *ОН* метит в яблочко.

Я умоляю *ЕГО*. Именно вот этого *ОН* себе не простит никогда. Этого нельзя делать ни в коем случае. Это падение. В самом том смысле. Остановись! «... я тебя!»

И *ОН* был прав. Потому что это *ОН* именно меня...

Это я был мокр, грязен и пьян, а *ОН* ловкий, как Джеймс Бонд, крадучись, как барс, сразу в смокинге и с розой в петлице, и она увидела именно *ЕГО*, а не меня, судя по восторженному ее взгляду, принимая только что варварски сорванную на главной клумбе розу; это они вдвоем, даже не перемолвившись, тут же бегут, взявшись за руки, на пляж, в ночь, в темноту, в море, *ОН* с приличествующим ему ржанием, она со счастливым повизгиванием; это они раздеваются на бегу, роняя свои хитоны и туники, сбрасывая с себя в с; это они плещутся и играют, как тритон и наяда, фосфоресцируя друг для друга белыми задницами, целуясь и обнимаясь в открытом море, прекрасно зная, что это только они видят светящийся во все окна пансионат, а тот, дурак, их не видит — шурится, всматривается, а не видит... и здесь, в прибое, у всех на виду, *ОН* наконец попадает в десятку.

*ОН* опрокинул на себя ночь. .... *ОН* эту ночь!

... и море, и пансионат, и его светящиеся окна, и всю прозу: и коня, и яблоки, и рог, и народы, и лунную дорожку, и небо, и звезды, и саму матушку сыру землю, в данном случае состоявшую из остывающей уже гальки, и невидимые уже кусты, защитившие их от освещенной променадной дорожки, и эту променадную дорожку с доносившимися оттуда возбужденными головами отдыхающих, и этих отдыхающих, и их голоса, и шары фонарей над этими голосами, мать их, эти шепчущиеся фонари, и пограничную вышку, мать ее, и гуляющий по прибрежной полосе прожектора, пока что заботливо их огибавший, мать его, и цикад, не умолкающих по той же причине, и ветерок повеявший, и волну набежавшую, и волну отбежавшую, то звезды, то гальку, то прибой, и — море, море, море! — в Грецию, в Медитеранию, в Рим!

## II. КОРОВА

25 августа 1983 года. Шесть утра. Медитеранский пейзаж. Чисто-чисто. Подетенные розовые тени. Утренний мусор на берегу моря. Двое.

— Все-таки вы недоговариваете, доктор.

— Мне кажется, я выразился вполне ясно, многоуважаемый коллега. Все зависит от дозировки.

— Дозировки... Много — это много, а мало — это мало. Это опыт, а не мысль. Главное условие — это ритм. Сначала задрожало время. Тикнуло и пошло.

— Вы полагаете, что время — это как часы?

— Так вот какой вы ученый! Значит, вы полагаете себя умнее? Так-так... Тогда скажите, сколько сейчас будет блинов?

— Блинов?.. — Доктор Д.\* машинально взглянул на часы.

Павел Петрович\*\* рассмеялся, довольный. Подкинул плоский булыжник-чек и поймал.

Бухта была круглая, как тарелка. Море за ночь совсем успокоилось и застыло. Сытое и гладкое, оно было в таком избытке, что даже загибалось по краям, как некая непомерная медуза.

— Давайте сыграем в такую игру, — сказал ПП, примериваясь. — Угадаете — бутылка с меня, не угадаете — бутылка с вас.

— Во-первых, как я могу угадать? А во-вторых, где я достану бутылку?

— Как говаривал Наполеон: достаточно во-вторых.

— При чем тут Наполеон? Вы имеете в виду коньяк?

— А у вас губа не дура, доктор, — рассмеялся ПП. — Давайте на «Наполеон».

— На «Наполеон» я не потяну... — сказал ДД, доставая то трешку, то пятерку, то рубль.

— Вот это мужской разговор. Значит, на бутылку?

Доктор все еще не был уверен...

— Да это, знаете, как-то... последние... Я вчера, понимаете, тоже как-то... поиздержался... Коллеги, сами понимаете...

ПП вздохнул и в сердцах не глядя выкинул камень в море. Тот, однако, запрыгал по густой воде, как живой, как лягушка. И так и прыгал до самого горизонта.

— Вам это ничего не напоминает? — таинственно, шепотом спросил ПП, склонившись к докторову уху.

— Нуда, детство, конечно. У меня не получалось. Больше трех раз никогда не получалось. Я так завидовал таким, как вы!..

— Пустое, — небрежно буркнул ПП. — Вопрос тренировки. Точность жеста, и только. Я ведь как-никак скульптор.

— Надо же! Впервые вижу живого скульптора...

— А вы что, много мертвых видели? Не обижайтесь, шутка, ха-ха.

— Да нет, ничего. Не очень не смешно.

— Вы молодец, доктор. В любой профессии чувство юмора не повредит. Ведь вы, если не ошибаюсь, по птицам?

— По птицам... как вы догадались?

— Да я в кустах сидел, видел, как вы перышком любовались. С большим чувством юмора существа.

— Вот как! Вы тоже это отмечали? Это же надо хорошо их знать!

— Я и их знаю неплохо. Да вы не удивляйтесь так уж, просто в детстве певчими птичками промышлял. Вот вы изволили, доктор, поиронизировать насчет часов... А ведь я не просто камень — я наглядное пособие в море выбросил...

ПП со вкусом выдержал паузу, но и ДД ее выдержал.

— Вы отметили, что первый блин длинный, второй покороче, третий еще... ну и те де. Что это означает?

— Ну, если вы хотите перейти на математический язык, то это линейный график отрицательного ускорения.

— Вот как... надо запомнить. Но это все равно внешнее описание. А маятник часовой это вам не напоминает?

— В общем-то, нет. Ну разве если подвесить этот камень на нитке...

— Ну зачем же вешать, доктор? Это, вы знаете, как армянская загадка: висит, зеленая и пищит... Знаете загадку? Вот и хорошо. А я как раз математический ваш смысл имел в виду, насчет ускорения. Маятник, когда до конца доходит, что делает? О-ста-нав-ли-ва-ет-ся. А чтобы остановиться, он что делает? За-мед-ля-ет-ся. Улавливаете?

— Естественно. Затухание маятника.

— Затухание... Прекрасно! А что это значит?

И на этот раз оба выдержали паузу.

\* Доктор Д. — герой повести «Птицы...».

\*\* Павел Петрович — герой повести «Человек в пейзаже».



— А это значит, что даже часы, чтобы идти, должны останавливаться каждую секунду, не то что время! Часы — это только ритм и не более, условно отбивающие нам такт суток. Время они не измеряют, это знает каждый мыслящий человек. Как, например, вы... Вы думаете, я на вас обиделся? Я за часы обиделся. За мастеров.

— Ну, мастеров-то я никак не затронул... Часы и часы. Идут.

— Вот именно! Мастер чем отличается от ученого? У него чу-у-увство есть! Часы-ы-ы... — ПП презрительно фыркнул. — А над каким еще изделием человек так мудрил, как над часами?.. Как только он их не украшал! Какой бой, какие репетиции! И из чего только он их не мастерил! Хрустальные, фарфоровые, золотые, соломенные... Водяные! Он, человек, ну просто из всего делал часы... Кончал одни, начинал другие. Зачем? Даже за наш с вами век, когда и мастеров-то не осталось — одна промышленность, каких только не повывдумывали часов! Уж те, что в молодости были, так и вспомнить трудно. Помните, как когда-то гордились: антимагнитные, антиударные, непромокаемые... Где теперь эти ветряные мельницы? Теперь и электронные — вчерашний день... Теперь в них и радио, и компьютер, и телевизор вделан. Зачем столько?

Доктор все еще не склеивал наживку. И ПП продолжил:

— Да потому, и только потому, что не время они часами измеряют! А свое отношение к нему! Часы — это вещь культурная, ритуальная, а не практическая. Вы и опаздываете и поспеваете вовремя не потому, что пользуетесь часами, а потому — надо вам что-либо или не надо.

— Bravo! — откликнулся ДД. — Это так. Насчет опозданий — это вы точно. Я, кстати, как раз заболтался с вами и уже опоздал. Кстати, куда мы идем?

И действительно, та круглая бухта, в которой они повстречались, уже была не видна. Берег вытянулся длинной скучной полосой, и солнце уже высунулось краем из-за гор.

— Опоздали? — обрадовался ПП как собственной победе над временем. — Вот и хорошо. Не очень-то вы и расстроены, как я погляжу. А вам куда надо было-то?

— Да коллеги хотели показать мне некую реликтовую рощу, а потом везти к обезьянам...

— Реликтовую... — возликовал ПП. — Так мы ровно туда и идем. Вы, может, еще и не опоздали. Мы их всех там и встретим.

— Все-таки забавно вышло... Заговорились о часах и забыли о времени...

— Зам-мечательно! Замечательно все вышло! О времени мы еще и не начали говорить. Теперь вам спешить некуда — можем и поговорить. Если это вас интересует, конечно.

— Откуда у вас такой интерес к часам? Это профессиональное? Вы интересуетесь ими как скульптор?

— Скульптор... Занятно. В вас виден ученый. Наблюдение ваше точно. Спасибо за идею. Конечно же, часы — это прежде всего скульптура. Нормальная кинетическая скульптура, выражаясь языком авангарда, так сказать, памятник времени. А чему еще человек возвел столько памятников? Ленину со Сталиным столько не снилось. Когда-то мне случилось ремонтировать часы с Лениным...

— Что, есть такой памятник Ленину — с часами?

— Да нет, нормальные каминные часы, с боем «кремлевские куранты». Я тогда часовщиком работал...

Доктор счастливо рассмеялся.

— Кажется, вы меня выкупили, Павел Петрович.

— Да нет же, голубчик. Вот не верите, а часовщиком я правда работал. Так что я вас еще не выкупил... Хотите, выкуплю? Давайте сыграем в такую игру... Если угадаете, сколько блинов, то вы мне бутылку, а если не угадаете, то — я вам.

— То есть как, позвольте? Я не понял... Если я угадаю, то я и проигрываю?

— Какой вы недоверчивый, право. Право, ученый. Душит вас логика. Сами же говорили, что угадать вы не можете. Я вам предлагаю более выгодные условия. Можно сказать, с вашей точки зрения беспроигрышные. Ну?

ПП уже держал в руке подходящий камень.

— Ну ладно, — посмеивался ДД. — Разве вам хочется проиграть, а не выиграть?

ПП сделался печален.

— Да, я страстно хочу проиграть. Но я никогда не проигрываю. И это, поверьте, даже скучно.

— Но я же сейчас скажу набум — и вы проиграли...

— О, как бы я хотел надеяться!

— Ну как хотите...

— Ну. — ПП застыл в позе «юноши, играющего в свайку». — Помните у Пушкина? «Юноша бодро шагнул, наклонился рукой о колено...»

— Ну, восемь.

ПП тут же метнул.

— Раз, два, три... — отсчитывал ДД. — Шесть, семь...

Камень вдруг остановился и, камнем же, пошел на дно. Как нырнул. Как живой.

— Восемь... — как-то по-детски жалобно сказал доктор.

— Трудно даже скрыть, как я огорчен, — сказал ПП, принимая от доктора деньги. И скрылся в кустах.

И доктор в задумчивости почесал себе нос.

Нам трудно сообщить в точности, что он думал. Мы подслушиваем и подсматриваем, не более. Однако его вид красноречив. С одной стороны, нос чешется обычно к выпивке. С другой — не такой он дурак, чтобы надеяться на возвращение ПП. С третьей — раз так, с утра он не собирался. Даже вот пробежал до моря, с намерением искупаться на рассвете. Вид у него вполне пляжный, хотя, в принципе, ни купаться, ни загорать он не любит, поскольку по роду своей деятельности всю жизнь проводит на пляже. Поэтому либо—либо. Чтобы сотрудники не разленились, он должен подавать пример: у с е б я он не купается и не загорает. Но здесь — другое дело. Здесь он может себе это позволить. Он в шортах, кедах, в дурацкой кепочке с долгим козырьком, с полотенцем на шее. И вот так и не искупался. Этот тип... С одной стороны, он впервые встречает такого. С другой — он подозрительно что-то далекое, но с ним самим бывшее напоминает... И вот ДД силится и никак не может вспомнить. Он прохаживается, внезапно брошенный ПП, по кромке воды, по бережку — всё в профиль и в профиль, поклевывая головой и высоко поднимая свои тонкие, длинные ноги, и его длинный козырек еще подчеркивает его сходство с предметом его занятий — с птицей. Так он прохаживается и размышляет, и то, что размышляет он о ПП, на этот раз можно утверждать точно, потому что он выискивает из всей гальки камни поплотнее и пробует их забросить, но они у него никак не прыгают, а тонут опять же как камни: идут на дно.

И тут он смеется, удовлетворенный своей потерей.

И он решительно раздевается до трусов, чтобы тут же наконец искупаться. Но, раздевшись, он в воду не идет, а садится и смотрит на море, каким-то образом снова умудрившись оказаться к нам боком.

Так он голо сидит, как большая общипанная птица, и теперь, наверное, сравнивает моря: свое, северное, Балтийское, с этим, южным, Черным. Никакого сравнения! Бесптичье. Песка нет. Этот серый цвет гальки на прибрежной полосе все губит. Не только с фауной, но и с флорой тут как-то хуже. Надо все-таки дойти до так называемой реликтовой рощи. Пока солнце...

Пока солнце не добралось до пляжа. Оно уже совсем вышло из-за гор и зависло над ними, как луна. Оно осветило все море, и море стало действительно ч е р н ы м. Как нефть, как ртуть, как амальгама, как зеркало... как вакса, как начищенный ботинок. Что-то такое. Доктор передумал купаться.

Он еще потоптался, возвращаться или идти вперед. Туда, где реликтовая роща. Если этот тип не сорвал... Но если и сорвал, то как далеко?..

Он видит наконец птицу. Это всего лишь чайка. Но все-таки.

И он идет туда, где чайка. Вперед-таки, а не назад. Как журавль, вышагивает он, поклевывая своим козырьком на север.

Зачем он сюда приехал? Строго говоря, сачкануть. Искупаться. Купаться не хочется. Реликтовая роща и предстоящая экскурсия к обезьянам его не так уж интересуют. Обезьяны его не интересуют, потому что он про них ничего не знает как специалист. В какой-то мере они интересуют его только в связи с человеческой популяцией. По этому поводу у него с какого-то момента, опять как-то таинственно связанного с ПП (он-то тут при чем!..), все чаще появляются запретные, непрофессиональные, но такие заманчивые соображения... Он вдруг обнаружил, что, если честно, про птиц ему уже давно неинтересно, что только об одном животном ему интересно — о человеке. И чем интереснее, тем страшнее. Вернее, чем страшнее, тем интереснее. Это его научный адюльтер.

И Черное море его не интересуют. Интересуют его в нем только сера. Да, тот самый донный серный слой, который продолжает расти, оставив лишь несколько десятков метров для поверхностной жизни. Этот слой его интересует тоже с точки зрения жизнедеятельности человеческого вида. Но то ли тут, на юге, все бездельники и неквалифицированные люди, то ли тут секретность какая... но никаких более точных данных о динамике серного слоя, чем те, которыми он сам располагал, он пока не получил. И никто не подсказывает, где их получить. Скорее сами не знают...

Сам обезьянник его не интересуют. Тем более их опыты. Все это прежде всего не на уровне. Драгамащенко этот... Говорят, у него есть закрытая лаборатория, как-то связанная с человеком. Но он никак не колется. Не колется, потому что нету ничего или потому что и нечего? Секретность или вид секретности? Никакой Драгамащенко не биолог... Зато не колется он как профессионал. А вот сам ДД вчера раскололся. Раскрылся, разрылся. Не надо было ему вчера о человеке рассуждать. Хватанул у них спиртика лишнего. Еще бы, эта беленькая, Регина, что ли?.. Так в рот и смотрела. Спирт у них, кстати, куда лучше, чем у него на станции. Казалось бы, одна и та же Академия наук, а спирт разный. Что, обезьянам, как начальству над птицами, лучше спирт положен?

Эта мысль должна была повеселить доктора, ибо она опять не о птице и обезьяне, а о человеке. И потому в экскурсию к месту естественного расселения обезьян он, конечно, поедет. Во-первых, он никогда вблизи не видел приматов в стаде: очень манит присмотреться к социальной структуре их сообщества... Обезьяна на воле, в России, при социализме!.. Мы не на воле, а она на воле! Рассказывают, что свобода сразу привела к расцвету вторичных половых признаков: гривы их разрослись, как у львов, и ягодичные мозоли расцвели, как розы. Зато хвосты подмерзли: все-таки Россия, хоть и без клетки. Опять же сами пропитаться не могут, требуют подкормки — это уже пережитки социализма... Хм... Надо поехать.

Но тут мы уже нарушаем собственные установки — начинаем думать за ДД.

С уверенностью можно утверждать лишь то, что он вдруг выходит из задумчивости и начинает поспешать. Потому что что-то там впереди... Много чаек, гвалт. Вроде даже человек...

Про ПП нам как-то проще подумать, что он подумал. Куда труднее предвидеть, что он скажет.

Во-первых, не как ДД, мы видим ПП все более анфас. Может быть, потому что он все время говорит, а мы слушаем. Анфас он еще короче и шире доктора, чем на самом деле. Так вроде они почти одинаковые и по росту и по весу, а впечатление совершенно разное. Кстати, очень забавно было их наблюдать вдвоем: один все время в профиль, а другой анфас, один высокий, другой короткий, один тощий, другой не то чтобы толстый, но как бы толстячок и почему-то кажется с лысинкой в отличие от доктора, хотя это неправда: ПП совершенно не лыс... Забавно их было наблюдать вместе и жаль, что они так быстро расстались.

Получив деньги, ПП так и ринулся, анфас, как кабанчик какой, в кусты. Приземистый и крепенький, он быстро даже не прошел, а прокатился по прямой, словно и преград ему не было, словно он не только кусты раздвигал, но и дома, и заборы. И так он прямехонько выскочил на шоссе, к самой

автобусной станции. А около нее раскинулся и скромный пыльный базарчик с двумя курями с перевязанными сапожным шнурком лапками и закатившимися от полного ужаса жизни глазками, с тремя арбузами и связкою чурчел, но он на все это смотреть не стал, а прямо подошел к одному сморщенному, поросшему непомерной седой щетиной старичку, дремавшему под своей непомерной кепкой (которую когда-то прозвали «аэродромом»), так что личика его никак было не разобрать за щетиной и кепкой, но ПП все это разгреб и достиг быстрого взаимопонимания, довольно даже по-божески... И вот он уже с темной бутылкой, заткнутой газетной пробкой, похож на партизана, готового броситься под вражеский танк... точно так нырнул он в забор, как в кусты, и тут же оказался на берегу, но совершенно в другом месте — как раз в том, куда подходил к этому времени настроженный гвалтом чаек доктор.

Это был дельфин на берегу.

Он был достаточно давно мертвый. Над ним уже вовсю трудились мухи, похоже, даже чайки его уже не хотели есть, а только лишь кружились и гадели, впечатленные самим событием.

Событие это и было.

ДД безмысленно смотрел на дельфиний бок, отливавший бельмом и перламутром... «отливавший» — неверно и «отблескивающий» — неверно, «отражающий» — неверно и «отсвечивающий» — неверно... никак — неверно. ДД, профессионально наблюдавшему смерть особи, вчуже были мысли о ней, и о смерти и об особи. А тут вдруг он впервые задумался без всякой мысли. Был ли дельфин окончательно мертв? С одной стороны, он, естественно, не был жив. Но так ли уж он был мертв?..

Утренний свет свободно лежал на его коже и сползал, как взгляд. Бок его просох и, теряя собственное тепло, принимал температуру окружающей среды. Словно солнце слизывало его тепло, а не наоборот. Дельфин уже не отражал, но еще и не поглощал: бок его просох от воды, но не просох от света. Неоспоримый факт смерти вызывал недоумение как раз с научной точки зрения. Освобождение от биологической программы, предыдущей каторги пропитания и размножения. Отрешение. Спи. Отдохни. И хотелось спросить: «Что с тобой?»

Дельфин молчал. Не в том, наконец, смысле, что как рыба (доктор, как вы понимаете, знал, что дельфин — не рыба): сказать было нечего. Причем именно тебе, ему, доктору...

Дельфин безмолвствовал. Будто чего-то ждал еще, а оно не наступало.

— Он уже не оживет... — сказал ПП.

ДД так погрузился, что испугался не на шутку. Тишина лопнула — раскаркались чайки.

— Но воскреснуть он может...

— Дурак ты, боцман! — ДД от испуга почему-то прикрыл срам и смутился уже этого.

— Понимаю, — с подобающим выражением молвил ПП. — Бяда-а... Однако я вас давно жду. Не откупориваю. — И он показал бутылку.

— Могли бы и без меня, — достаточно невежливо буркнул ДД.

Впрочем, не меньше зрелища чужой смерти потрясло его и возвращение ПП.

— Не мог, — отвечал ПП. — Деньги все-таки ваши. — И он засунул сдачу доктору в кармашек.

— Так вы же выиграли?

— Я играл на бутылку, а не на деньги, — с достоинством парировал ПП. — Отойдемте за угол, помянем раба Божия Дельфинария...

— Дельфинарий — это не имя собственное, а...

— Знаю, знаю... Давайте все-таки выйдем отсюда. — ПП подталкивал доктора как бы к выходу. — Я наметил местечко...

— За углом? — еще язвил, еще сопротивлялся ДД.

— Ага, — рассмеялся ПП. — Во-он за тем!.. — Он указал на близкий мысок.

— И он не раб Божий никак, — продолжал ДД, уже покорно следуя. — Это мы с вами рабы Божьи... А он...

— Мы-то как раз не Божьи! Мы — восставшие рабы, худшая из категорий: и раб, и не Божий. А он... Да, вы правы: он — не раб, но он — Божий. Тварь Божья. Человек, подонок, почему такое слово ругательством сделал? Тварь — значит сотворенная Богом! Это все безбожие наше глаголет! Из уст гады прыгают!

— Но гады — ведь тоже творения Божьи!.. — ловко возразил ДД.

— Ах, черт! Господи, прости! Вот попутал... Как я легко покушал, старый дурак! — ПП был искренне огорчен. — А ведь правда еще одно доказательство нашего непочтения к Творению. И я опять же прав! Но это, я вам скажу, тема... Это не так просто, с гадами... Вот позвольте... Сюда пройдемте... Славное местечко.

Они расположились.

ПП был как скатерть-самобранка. Это было такое место, даже с песочком, меж корнями большой сосны, все присыпанное иголочками, шишечками и прочей милой трухой жизни. Так вот, ПП уселся так, будто сам все это вокруг приготовил, достал прихваченный где-то по дороге стакан, звучно вытащил зубами пробку и набуровил в стакан повыше половины.

— Вот, — протянул он ДД.

— Без закуски?..

— Мне и прессы хватит. — ПП выразительно понюхал пробку. — А вам... — Он бросил быстрый взгляд окрест и дотянулся до какой-то травки. Сорвал и протянул ДД. — Понюхайте, потом выпейте, а потом понюхайте. Очень помогает. Можете и пожевать, вреда не будет, но это, строго говоря, необязательно. Кто как любит, смотря по вкусу.

ДД и понюхал и пожевал. И понюхал.

— Что за чудо такое?

— Не знаю как по-латыни. А по-нашему тускложил называется.

ДД развеселился, так жадно ПП успел его догнать.

— Так ведь она не закупорена даже была, а лишь заткнута... Неужто вы не могли отхлебнуть по дороге?

— Как же я мог!.. — ПП был искренне задет подобным предположением. — Вот вы говорите: гады... Гады у нас уже давно милиционеры, а не благородные змеи. И то и другое несправедливо. И по отношению к ментам, и по отношению к гадам. Оскорбление, как вы справедливо изволили заметить, всегда обоюдно. Неудача в сравнении — оскорбительна! Как видите, стиль — вещь настоящая. Когда я был...

— Вы что, и милиционером успели побывать?

— Ну да. — ПП насупился. — Следователем. По особо важным. Исполнителем. Расстреливал несчастных по темницам. Выберу понесчастнее и пристрелю. — ПП заиграл желваками. — За кого же вы меня принимаете?..

— Но не за га... извините, не змею же вы были?

— Вот чудак! Зме-е-ловом. Змееловом я был, понимаете? Так вот, благороднейшие, скажу вам, звери. Ни за что ни за что не укусят. Это я про вас...

— Да что вы, Павел Петрович... У нас, зоологов, слово «гады» вообще неоскорбительно. Законное название отряда животных, не более. Правда, они никак не звери, как вы изволили выразиться: звери — это синоним млекопитающих.

— Я и то даже знаю, доктор, — говорил ПП, с обидой наливая по новой, — что — пресмыкающиеся, а млекопитающие — без «ся», и видами животных вы меня не запутаете. Лучше сами мне скажите, к какому, например, виду принадлежит ланцетник?

— Вы и это знаете?! — восхитился ДД, занюхивая тускложилом.

— Вот вы говорите, смерть... — сказал ПП, занюхивая пробкой. — Вы ведь бывали в пустыне? Какая там благородная, сухая смерть!.. Ветер сдувает все эти шкурки, веточки, скелетики — один шорох и остается, как вздох. Растения — те даже гниют красиво. А мы? Из ума не идет этот дельфин... Как вы думаете, отчего он умер?

— Не знаю. Возможно, от естественных причин. От глупости, от случайной раны. Он был еще очень молод.

— Откуда вы решили? Он был вполне взрослого размера.

— Я понятия не имею о дельфинах, но есть ряд общих признаков. У львенка и слоненка, так сказать, у мышонка и лягушонка, у детеныша человека и неведомой зверушки. Ну, там, крутой лобик, короткий носик, круглые глазки — все это запрограммировано в нашем умилении, чтобы надраваться их кормить, защищать, не обижать...

— Обувать, обшивать... Ну, вы — крутой, доктор! Ни слова о любви. Однако вот откуда все игрушки. Не ДЛЯ детей, а ИЗ детей. Принимаю! Значит, СВОИ его не могли обидеть?

— Не только не могли, но и странно, что упустили. Дельфины, насколько я помню, живут нуклеарными семьями, как люди. Причем в четырех поколениях.

— Что значит нуклеарная...

— Муж, жена, дети. Но и бабушка с дедушкой. А у них еще прабабушка с прадедушкой.

— Гениально. Вы не выдумываете? Как же они его упустили?

— Как я могу знать — я же ученый. Мне надо знать УЖЕ, чтобы предположить ЕЩЕ. Ну, заигрался. Попал под винт. Нырнул слишком глубоко, нахлебался сероводорода, задохнулся... Но скорее всего — общая картина окружающей среды: он уже жить не хотел.

— Покончил с собой? Как может зверь, тварь Божия, не хотеть жить? Это ненаучно, доктор. Как вы говорите: это в него заложено — неоспоримое желание жить. Это только человек может не захотеть жить. Сами же ругаете антропоморфизм — и сами же в него впадаете.

— Нет, это не я, а вы впадаете в антропоморфизм, Павел Петрович. Вы так ярко выражаете недовольство человеческим видом (я имею в виду биологический, а не социальный смысл, как вы понимаете), и я скрепя сердце во многом с вами не могу не согласиться, а сами только и делаете, что преувеличиваете человека. Самоубийство в животном мире очень даже распространено. Причем массовое. Это мы, в смысле Хомо Сапиенса, рассматриваем самоубийство как индивидуальный акт. А для самовоспроизводящихся систем, которые и зовутся живыми организмами, конечность жизни отдельной особи, то есть смерть, является всего лишь характерным признаком: они лишь звенья непрерывной цепи... Продолжение рода и вида и есть их назначение, а не собственная жизнь. По исполнению назначения делать в этой жизни нечего. Не только благороднейшие скорпионы, дорогой Павел Петрович, которых вы повидали в пустыне, и не только самцы, назначение которых, как вы сами говорите, короче, и не только горбуша, которую вы ловили на Камчатке. Механизмы регуляции численности вида весьма разнообразны и совершенно не познаны. К сожалению, мы вносим в них свою чудовищную коррективу.

ПП нехотя поинтересовался. ДД продолжил:

— Допустим, процветание. Была хорошая погода, много пищи, мало хищника. Все потомство выжило, стая разрослась. На обратном пути, во время осеннего перелета, молодежь становится как бы безрассудна. Она гибнет по всякому поводу, натывается на лету на линии высоковольтных передач, дает себя съесть кому не лень. Прилетит столько же, сколько в прошлый раз, сколько можно и сколько надо, потому что там их совсем необязательно ждет такое же случайное благоприятствование и лишний рот может оказаться по-прежнему ни к чему. Теперь, допустим, бедствие, а стая размножилась по нормальным своим установкам, но — плохая погода, мало корма, много хищника. Потеря каждой особи становится сверхценной для существования всей стаи. Происходят замечательные вещи: особь становится сильной, осмотрительной, смелой и готовой к самопожертвованию ради ближнего своего. Да, именно самопожертвование есть признак желания жить. Деятельность человека разрушает эти механизмы регуляции — тогда животные просто жить не могут, у них развивается депрессия и они, пожалуйста, кончают с собой. Выкидываются на берег, как киты.

— Вы думаете, он покончил с собой?

— Не исключено.

— Исключено! Сами говорите, он был слишком юн.

— А разве не юноши кончают с собой?

— Библиотеки ему не хватило, вот что! — решительно заявил ПП. — Прадедушки то есть. Ведь что замечательно в дельфиньей семье? — почему они, как близкое нам сообщество, обладая куда более чем обезьяньими возможностями, не пошли по нашему пути? Это не семья, а плавучая библиотека с опытом четырех поколений на одной полке! Прадеда, прадеда всегда не хватало человеку! Вы замечали, что человеческий век, даже полный, не равен веку как столетию ровно на одно поколение? От этого вся наша беда, от этого заводится неуправляемая человеческая история, как ржа. Век — естественная мера истории, а мы ему никогда не равны, не успеваем побывать и правнуком и прадедом, оттого не видим ни как дело началось, ни чем оно закончилось. Мы участники лишь процесса или результата, мы свидетельствуем либо рождение без смерти, либо смерть без рождения, мы, выходит, те самые ваши особи, смерть которых безразлична для жизни... Мы не знаем единственной меры времени — с п р а в е д л и в о с т и! А дельфины — знают.

— Прадедушка рассказал?..

— Да! Именно! Неуместна ваша человеческая ирония. У них столетие одной семьей плавают! И все друг другу свидетели. У них история рода не расходится с историей вида, как у человека. Это и есть ОДНА справедливость — единственная мера времени. У человека же постоянная аритмия рода и вида, история человечества отдельна и враждебна человеку, оттого и история, будь она проклята!

Очень много яду вложил ПП в произнесение слова «история».

— Справедливость слишком субъективное понятие. (Слова ДД.)

— Объективное! И вовсе не безразлична гибель отдельной особи! Нет, не могу... — ПП вскрикнул. — Неужели вы не понимаете, что у мамы больше нету сына, а у бабушки внука? Что его дельфинья смерть как раз и порвала вашу пресловутую цепь! И его одна смерть может означать, что мы всех дельфинов уже сгубили! Мы отравили море, а первым погиб самый слабый — прадедушка. Он — не выжил. Мы укоротили им семью на прадедушку. В трех поколениях, как мы, они уже жить не смогут. Вот мы с вами и видели, как погибает правнук. Может, он от безграмотности собрался выйти на сушу, как мы? Правнук без прадеда не только погиб, но и отцом не станет. Го-о-оспо-о-о-ди! какая но-о-о-чь! — воскликнул ПП, раскачиваясь, как от зубной боли. — Что он видел, когда мы смотрели на него?

— Ничего не видел.

— Понимаю, мертвый. Вы и в душу не верите, как все люди: что она еще недалеко и сверху на себя глядит... А на меня и мертвые смотрят. Они как бы сами не хотят ни смотреть, ни меня видеть, а я себя чувствую у них за закрытыми веками... и такая тьма наваливается и окружает меня! Ведь мы же во тьме живем! Нас просто осветили. Снаружи. Солнцем. Источником света. Фонариком... Представьте, как темно у вас внутри: в желудке, в мозгах, в печенках... в сердце! Как в дереве, как в камне. Что они видят? Они — в первозданной ночи...

— Ну, деревья-то по-своему видят... они не только чувствуют тепло, но и питаются светом.

— Ну, это ясно. Слепой тоже видит, в таком-то смысле. Другими органами чувств хотя бы. Я о другом... Я и себе-то не могу объяснить, не то что вам. Я о том, что мы во тьме, как в смерти, и в смерти, как во тьме. Мы не видим предметов — мы видим освещение их. А сами мы, на земле, где мы есть, среди себя, живем во тьме. И мертвый — есть более реальное состояние, чем живой. Потому что он не видит предметов, окруживших его: он сам — предмет, лишь освещенный снаружи. Он не видит освещения, ему выключили источник. Видит ли сам свет? Не абсолютной ли он черноты для самого себя? Не является ли именно мертвый частицей света, а мы лишь сгустком тьмы? В смерти мы становимся средой, однородной, как вода или воздух, только еще более однородной, — светом; в жизни мы отделены друг от друга непрозрачностью, жизнь неоднородна, она рассыпана, как горох. О, если бы жизнь была средой! То и смерти бы не было. Так что смерть — это наша среда, а не жизнь.

Небытие однородно. И не жизнь заканчивается смертью, а мы в ней живем, в смерти. Смерть не отдельна, она — среда жизни. Как вода для рыбы, как воздух для ваших птиц...

— Господи, Павел Петрович! — восхитился ДД. — Это вы мне говорите или я подумал? Гениально!

— Ах, как вы точно схватили мысль! Bravo, доктор! Именно птица более мертва. Она мертва в полете. Недаром же у всех народов она вестница смерти. Недаром мы говорим: сердце обмирает в полете. Что мы знаем о ее чувствах, когда она летит? Вот вы, доктор, вы все про птиц знаете. Что она чувствует, когда летает? Не купается ли она в смерти? А потом присядет — пожить, с нами заодно, отдышаться. Кстати, Феникс — человек или птица?

ДД надолго задумался.

— Скорее птица...

— Как с точки зрения орнитолога, Феникс — может быть видом, пользуюсь вашей терминологией, имеющим биологическую нишу на границе двух сред, смерти и жизни? То есть не НА, а В границе.

— Граница — это линия, — возразил доктор. — Линия, в математическом смысле, имеет одно измерение, то есть нишей никак быть не может.

— Вы меня не запугаете, доктор! Феникс — это человек в виде птицы.

— Нет, это птица в виде человека!..

— Ни то, ни другое. Наш Феникс — лишь изображение Феникса, это Феникс в виде человека.

— Это уже точнее. Но тогда это Феникс в виде птицы...

— Что-то вы запутались, доктор.

— Это вы меня пытаетесь запутать! Давайте разберем, кто кому что сказал...

— Уже не разберете... — ПП был чем-то удовлетворен.

— Это всего лишь метафора — ненаучные дела, — сердился ДД. — Главное, что Феникс сгорает и возрождается в огне. В физико-химическом смысле жизнь и есть горение.

— Ну да, гниение... Я тоже ходил в шестой класс, доктор! В шестой класс я еще ходил, это в седьмой я не пошел. Это для человека сначала — жизнь, а потом — смерть. А для Феникса — наоборот: сначала смерть, а потом жизнь. Феникс — это просто-напросто человек наоборот.

— Просто-напросто?.. Тогда он в виде птицы...

— Это уже все равно. Скажите мне, что важнее, голова или крылья?

— Важнее?.. Главный признак.

— То есть?

— У человека — голова, у птицы — крылья.

— Всего лишь?

— Достаточно. По этим признакам все ясно. Никакого ИЛИ. Феникс — и человек, и птица.

— Ни то и ни другое. Он был баба.

— Ну да, титьки, — смеялся ДД. — По-вашему, сфинкс — тоже баба?

— Это ваш тезис — о главном признаке, доктор. А главный признак женщины отнюдь не титьки.

— Опять вы меня словили, Павел Петрович. Я тоже с детства пытался догадаться, как русалка в хвост переходит. На всех картинках художники ловко уходят от ответа...

— Bravo, доктор! Я прямо в восторге, какой вы на самом деле неиспорченный человек, хоть и ученый. Ищите-таки ответа в искусстве? Так вот, вы-то этого не знаете, а мы не оттого, что не знаем, а оттого, что избегаем показывать.

— Что ж это вы так уж избегаете? — иронизировал доктор.

— А по эстетическим соображениям.

— А-а..

— Ай-я-яй, доктор! Опять вы только об одном думаете... Я имел в виду более этическую сторону эстетического.

— Павел Петрович! смилуйтесь над дураком... Этика-то тут при чем?

— И очень даже при чем, молодой человек! Почему бы, вы думаете, и у



феникса, и у сфинкса, и у кентавра, и у русалки человеческие именно голова и грудь, а конец, извините, не человеческий?

— Ах вот какая ваша этика! Опять антропоморфизм... опять апартеид животного мира! А если наоборот? тело человеке, а голова как раз животного?

— Так не бывает.

— Бывает, бывает! — ликовал ДД. — Вспомните хотя бы тот же Древний Египет... Не помните, как его зовут, с птичьей головой?

ПП сделался скорбен и очень замолчал. Иронический ДД с удовлетворением развивал тему — все, что только мог вспомнить... Мол, все-таки сфинкс — мужик и русалка — не рыба, а кентавр точно мужик, потому что у него борода, хотя бывают и женщины с бородою, но стоит только заглянуть кентавру под хвост, то он так и так мужик — и как человек, и как конь... интересно, в таком случае, было бы знать, кого он предпочитал, кобылиц или...

Нет, не стоило ДД так гулять!

— Предпочитал-то он, конечно, женщин, — со знанием вопроса констатировал ПП и тут же взвился свечой, как ласточка, осененный идеей... — Сме-е-е... сме-е-е... сме-е-е... — проблеял он. — Да, был такой бог смерти, и звали его Пта. И он был оттуда, а те, которым вы все под хвост заглядываете, те — отсюда, от нас с вами. Вот тут-то и этика! Есть граница, а никакого такого главного признака нету! Нету вашего главного признака — вот что! Так и у смерти — его нет.

— О чем, позволте, мы спорим? — вклинился доктор.

И лучше ему было не вклиниваться. Не ласточкой — коршуном, ястребом пал ПП в одном лице:

— А мы и не спорим — мы воспитываем. Спорить одному еще вреднее, чем пить одному. На букву А — а-лкоголизм, а на букву О — ...

ДД насупился.

— Вы все поэтизируете, Павел Петрович... Вы себе внушили, что поэзия точна. А поэзия как раз и есть самая неточность. Это такой набор неточностей, поэзия. Она, если хотите, виртуозно неточна. И птица опирается не о стихию, а о предмет, о воздух, который она сжимает махом крыла, опираясь воздушным столбом о землю, о землю, как мы с вами. Не в стихии, не в смерти она витает, а жить, то есть жрать, хочет, вот и летает. А то, как вы изволили выразиться, что они садятся пожить вне смерти воздушной своей, — совсем чепуха, поскольку многие из них даже совокупаются прямо в воздухе, то есть живут, как принято это вежливо выражать.

— А что, совокупаться, как вы изволили неприлично выразиться, — это, по-вашему, разве не умирать? Что еще более подобно смерти, чем этот окончательный восторг? Разве в том же похабном, вежливом просторечии не словом «кончать» это называют? «Жить» и «кончать» — разве вы не слышите?

— Вы рассуждаете как самец, Павел Петрович.

— А кто я такой, чтобы рассуждать иначе?

— У самки может быть другое мнение.

— Что ж, самка, может быть, и есть сама смерть. По крайней мере, мы в ней умираем каждый раз. Не вы ли только что говорили о конечности жизни отдельной особи, о несчастных рыбах и пауках, умирающих в момент исполнения назначения? А это, заметьте, все чаще самцы. И самка сплошь и рядом исполнительница приговора. Мы, самцы, все-таки имеем отдаленную догадку о смерти на опыте нашей любви, они — не-е-ет! Нет, им неизвестно это. Это мы смертны, а они бессмертны. Бессмертны, потому что именно они смерть и есть. Они однородны и вечны. Они древнее нас. Они дремали, был и в той вечной и абсолютной ночи, ДО света. Это нас не было. И не будет. И не надо!

— Мефистофель вы мой! — рассмеялся ДД. — Неужто и вам они так досадили? Они же как-никак именно ваше орудие...

— Фауст вы мой... Они достанут и Царя Тьмы... Вот опять, видите, как я прав: он ведь царь чего? Тьмы-ы-ы! Не забыли ли мы, дорогой доктор, о

нашем единственном утешении? — И ПП посмотрел на свет темную бутылку, чтобы определить, насколько он не забыл.

— Не забыли ли мы о море?

— Почему забыли... вот оно. — ПП указал на гладь столь щедрым и небрежным жестом, будто по этому мановению оно и возникло. — Море — это всегда пожалуиста.

Мы опустим их долгое препирательство на тему, что лучше: сначала выпить, а потом искупаться (ПП) или сначала искупаться, а потом выпить (ДД), поскольку изначально ПП был только за то, чтобы выпить, полагая, что чача выравнивает температуру тела и окружающей среды и быстрее и точнее, чем иные водные процедуры, а ДД полагал совсем чудовищную вещь: что лучше искупаться и вообще больше не пить, за что и поплатился тем, что выпил и до и после купания, а ПП поплатился одним лишь купанием. Причем ДД плывал долго и брассом, а ПП — мало и саженками.

— Вот вы говорите о природе брезгливости, — говорил ПП, блаженно обсыхая, — что это некая генная память об источнике болезни, природный страх, по изначальному незнанию преувеличенный. И я с вами согласен, что преувеличенный. Так же, как и согласен с вашим научным заключением, что несъедобного мяса, тем более ядовитого, в природе нет: белок и есть белок. Я бы даже открыл курсы по небрезгливости для кажущихся себе просвещенными людей, пусть поползают по ним безобидные ужи и тарантулы... — По-видимому, в доказательство и того и другого он тут же поймал комара и на глазах у доктора съел его. — Пусть лучше почаще моются и носки стирают. И все-таки у этой брезгливости перед мышами и пауками другая, чем вы говорите, природа. Это не врожденный страх особи, а подсознательная неприязнь всего вида: ОНИ — крысы, тараканы, пауки и пр. — НАС переживут. То есть когда мы себя сами же изживем, ОНИ останутся населять нашу землю без нас. А кто сказал, что земля наша, а не их! Они — древнее нас, они все и всех до нас пережили, это и есть ИХ земля, а не наша. Дельфины, те нас не переживут... Их-то МЫ переживем, без них — еще хуже станем. Не с тем же ли ужасом звери смотрят на нас, как мы на насекомых. Один лишь дельфин находит в себе силы еще доверять нам. Потому он и умнее человека, что — добрее...

ПП вздохнул. И тогда встрял ДД:

— Если вы постоянно прибегаете в своих построениях к понятию Творца, то возникает распространенный вопрос о несовершенствах Творения, о наличествующей в нем системе зла. И, предвидя уже некоторые из ваших доводов и исходя из вашей системы координат, вношу поправку в ваши рассуждения о брезгливости, с которыми, в принципе, не могу не согласиться, а именно, что «брезгливость» есть более частное понятие, чем «гадливость». А «гадливость», как вы бы тут же сами рассудили, происходит от слова «гад» — слова достаточно исконного в русском языке и выжившего в точности лишь в зоологической науке. Так вот, не помню, как там точно в Ветхом Завете, вы меня поправьте, пожалуйста, но было там нечто о «семи казнях египетских», куда и змеи, и насекомые входили. То есть если они и творения Божии, то несколько двусмысленные, для кары. А потому понятие «гадливость» получит менее поверхностный, чем «брезгливость», и более фундаментальный вид.

ПП сильно помрачнел в связи с этим очевидным упущением. Он мог бы, конечно, для блеску, рассказать ДД свою индийскую легенду о Никибуматве и Эсчегуки о сотворении мира, поскольку ДД еще не имел возможности ее слышать, но не таков ПП, чтобы повторяться в принципе. И вот как он повернул:

— Что касается несовершенств Творения, то мы еще не достигли той точки сюжета, когда я буду способен вам это изложить и когда вы будете способны воспринять. Многое станет понятно тогда, когда все наконец поймут, что вовсе не человек от обезьяны, а обезьяна от человека произошла.

— Как так? Уж не имеете ли вы в виду?..

— Нет, не имею. — ПП встряхнул бутылку и сделался суров. — Это наша с вами вина, доктор. И гадливость с брезгливостью на нашей с вами совести. Нас прельщает то, что освещено, и страшит то, что в темноте. — Сказав так,

ПП развернул перед взором ДД широкоплавным движением вид на посиневшее слегка море и угрожающим пальцем указал вниз, не то под землю, не то на дно морское. — Как видите, мы продолжаем тему, обнажая взаимосвязь всего. Конечно, Творец не сотворил буквально все на земле, кое над чем поработала и эволюция. Возможно, иногда он и отвлекался от земных дел, на часок, но кто скажет, чему равен Час Бога? И когда работала только эволюция, она не улучшала Творение, а лишь обнажала и преувеличивала всякую ошибку в нем. Творец поработал на зависть. А после Него Зависть работала на Него. Зависть с заглавной буквы, и вы знаете, чье это имя... Эволюция насыщена завистью, как плод соком. Возьмите всех этих динозавров и бронтозавров, растоптавших Землю не хуже человека... Эволюция способна накопить только катастрофу, когда в Свой Час Творец обратит внимание на Свое Творение. Господи! кака-ая нас ждет ка-атастро-о-офа...

И поскольку ДД уже подготовил квалифицированную речь об эволюции, от которой и сам, впрочем, не был в восторге, ПП был вынужден сократить если не размеры предстоящей катастрофы, то паузу, этим масштабам соответствующую...

— ...то Красоту в мире создал именно Он. Прекрасно то, что открыто взгляду и любованию, безобразно то, что прячется во тьму, как бы даже стыдясь своего уродства. Эволюция, а правильнее бы сказать, мутация безнаказанно работает в темноте и в подполье, родя чудищ и гадищ до того безобразных, что они даже гибнут от одного нашего взгляда, если случай выкинет их на освещенную поверхность. У смерти есть тоже свой маленький зоопарк. И она без жизни не обходится.

На этот раз ДД успел возмутиться:

— Это уже даже и не антропоморфизм, а нарциссизм какой-то! Прекрасно, видите ли, только то, что мы признаем прекрасным. А что мы сравниваем и откуда черпаем критерии? Если хотите, все живое прячется и без особой нужды наружу не высовывается. Есть гипотеза о происхождении сна, очень, впрочем, бездоказательная, но которая мне нравится. Что сон вовсе не для отдыха, а для выживания. Если уж сумел нажраться, то спрячься, чтобы тебя не пожрали. То есть замри, умри, погрузись во тьму, с которой вы так воюете. Что такое сон, как не маленькая смерть? И сон мы практикуем куда чаще, чем coitus, хотя после него и клонит в сон...

— Что сон без снов! Как сны вы объясните? Как света не борьбу и тьмы! Быть может, наяву вы сами снитесь — кому-нибудь... И от сумы да и тюрьмы зарекшись, / крадете сон и прячете в кандей / Но шконку завернут. Вам все равно придется / увидеть на свету почти и не людей — из ночи сотканых. И как остаток воли, за пазухой тепло и сна последний бред, что будто бы игра и вы кладете на кон...

— Так-так, — удовлетворенно сказал ДД. — Я говорил, что вы поэт, а вы еще и в тюрьме сидели?.. А не пойти ли нам далее, не достигнуть ли наконец реликтовой рощи?

— Сидел ли я?.. — ПП встрепенулся и тут же освоился: — Так мы же в ней и сидим, в реликтовой вашей роще! — Он махнул рукой направо с таким видом, будто сотворить ее ему ничего не стоило.

ДД был поражен: сосна, под которой они сидели, была крайней в роще. ПП первым расположился к ней лицом и давно любовался ею, предоставив ДД лишь взгляд назад, на неприютный берег.

— Ну и ну! Заговорили вы меня... Что ж, в путь!

— Давайте лучше пересядем. У нас еще есть. Вы будете смотреть на рощу, а я буду смотреть на вас.

Пересаживаясь, он еще раз пристально оценил содержимое бутылки, и лицо его выразило неудовольствие; он стал рыться по карманам, будто у него могли завестись деньги от долгого сидения. ДД не принимал намека и не доставал сдачу, столь благородно ему возвращенную, — дал ПП выгрести из карманов все крошки...

— Вы ведь не курите? Я тоже. Но очень вдруг захотелось...

И он сосредоточенно занялся обогащением смеси, выщипывая и выдувая ненужные крошки.

— Газетки у вас тоже нет? Ну что ж, почитаем местную прессу.

И он стал разворачивать пробку — вышел неожиданно изрядный клочок газеты, который он внимательно пробежал глазами.

— На сгибах стерлась... — посетовал он. — Утрачена нить повествования... дальше стерлось... Русскими буквами, а не по-нашему написано.

— А я уж было подумал, что вы и абхазский знаете...

— Абхазский язык невозможно знать. Его одни абхазы знают.

— Такой трудный?

— Такой древний.

ПП выкроил подходящий кусочек и ловко, двумя пальцами свернул самокрутку.

— Ну, огонь я, пожалуй, трением добывать не буду. Придется идти купаться. На две дозы нам не хватит. Уж лучше тогда после.

Они поплавали.

— Между прочим, что я подумал, пока вы плавали... Что доработка пейзажа по линии красоты, возможно, происходила с участием человека...

— Не понял. (Слова ДД.)

— А что такое Рай, по-вашему? И для кого он был создан? Для Адама, прадеда нашего.

— Вы что, и в эти сказки верите?

— А во что мне еще верить? Что же вы не смотрите на рошу, в которую так стремились! Разве это не рай?

Посмотрим и мы. И не найдем слов. Шишкин, этот немец, спутал нам все сосны. Лежала тень. Стояла сосна. Меж корней последних, береговых, сосен тоненькой струйкой просыпался песок. В вершинах сосен застряло облачко. Северные, родные чувства переполнили душу ДД. Он ощутил себя чистым и молодым. Полным здоровья и сил, готовым к научному подвигу да и вообще к будущему, которое почему-то именно эти древние реликты подтверждали. Не было в этих соснах никакой старости — одно лишь торжество трезвости. «Мама! — воскликнул про себя доктор. — Живу!»

— Так было до человека, — торжественно провозгласил ПП. — От сотворения мира, каких-нибудь семь тысяч лет назад; конечно, не эти деревья, но такие же. А эти — вполне могли видеть первых христиан.

ДД посмотрел на ПП сбоку, как очень большая курица. Такое же большое удивление выражал его профиль. Это как когда облако набегает, но еще не набежало на солнце, или наоборот: свет иронии, всегда освещавший профиль ДД, загуманился облачком недоуменной веры: неужто... а может быть... а вдруг мы еще ранние христиане?... а почему бы и нет?... безумствуем как оглашенные... Повергли идолов — идолизировали Христа... повергли Христа — идолизировали человека... пришла пора и себя повергнуть...

ПП бережно нес подобранную на берегу одну спичку.

Он отметил ногтем уже достаточно близко к донышку невидимую линию и строго взглянул на ДД. ДД скромно отхлебнул. К последнему своему глотку ПП приготовился, как самурай к харакири. Он ловко чиркнул о кору сосны, затянулся, блаженно закатив глаза и подставив лицо солнцу. Затем сел по-турецки, установив бутылку промеж ног и нежно поглаживая ее, и стал потихоньку покачиваться, попивать микроскопическими глотками и затягиваться такими краткими затяжками, так же прикрыв глаза и тихонько, с удовольствием мурлыкая:

Айне кляйне папирossen  
нихт шпацирен нах цурюк!

— Вы что, и в оккупации были? — насторожился ДД.

— В оккупации нет, а в плену был, — беспечно молвил ПП. — Да вы можете мне не верить, доктор...

И так же не открывая глаз, он протянул ему самокрутку.

— Что это??

— Кайф, доктор. Нихт шпацирен... Скажите, доктор, какие механизмы регуляции численности популяции (хорошо я усваиваю, а?), кроме Гандона и Мальтуса, существуют у Хомо Сапиенса? Война?..

— И война. Все то, что и у других, плюс... Человеческий вид, можно сказать, только над одним и работает — над развитием этих механизмов. И у него и это не получается. Потому что он, видите ли, ПОКОРИЛ природу. Как ее можно покорить? Когда ты ее часть? Вот форма самоубийства. Рубить сук, на котором сидишь. Покоренная природа ответила ему тем, что отняла у него прежде всего естественные механизмы регуляции. Они, конечно, продолжают работать, но слабо. Без неумолимости закона. Перешли в состояние факторов. Очень помогли эпидемии, всяческий мор: чума, холера... Косили враз по пол-Европы. Тут наша доблестная медицина вмешалась. И, конечно, война. Но и она уже не справлялась, как ни развивай средства уничтожения. Тем временем срабатывали и другие факторы. Знаете ли, что автомобиль, потихоньку-полегоньку, зато без передышки, передавил людей столько же, сколько обе мировые войны? А удобрения, а лекарства... Все наше созидание (ДД произнес это слово в очень толстых кавычках) стало куда более эффективной войною, чем война. Война как способ стала устаревать, что и выразилось в изобретении атомной бомбы. То есть неприменимого оружия. Оно похоронило войну. Война стала бессмысленной — в ней нельзя победить, ее нельзя закончить. Пока что по-настоящему работает только рост мегаполисов.

— А вы гуманист, доктор... — бросил на него удовлетворенный взгляд ПП.

— И... и... — ДД прямо задохся от смеха. — И... пацифист!

— Но, как мне показалось, вы не член партии?

— Член... — ДД обуял непобедимый хохот. — Как все-таки это смешно — не только иметь свой член, а самому быть членом другого организма... Слыхали армянское радио?

— Завидую вам, — сказал ПП, глядя на катающегося от приступа смеха ДД. — Какой вы словили кайф!

— А вам разве не смешно... Академиком — по членам, а баранов — по головам!.. Ха-ха...

— Нет, к сожалению...

— Вы знаете анекдот?

— Впервые слышу. И анекдот даже смешной. Я кайф не словил, — молвил ПП с великой печалью.

Как странно они поменялись ролями! ПП вдруг стал белым клоуном, а именно ДД — рыжим. Море было — ковер и арена.

ДД прыгал по коврику, как обезьяна; ловко ловя руками что-то для нас невидимое, то ли бабочку, то ли муху, то ли свою птичку... ПП смотрел на него с ласковой печалью.

— Ловить... — ДД продолжал ловить воздух руками, давась от смеха. — Кайф... поймал! — И ДД медленно, по пальчику, разгибал кулачок. — Улетел, улетел! — радовался ДД.

И ловил снова.

— Сме... сме... — с великой скорбью, прикрыв глаза, стонал ПП. — Сме...

— Смех? — вдруг очнулся ДД. — Почему я так смеюсь? — Он все еще продолжал прыскать, как кипящий чайник, но который только что выключили.

— Сме... сме...

— Смерть? — догадался ДД и перестал булькать. Но пар еще валил из его носика. — Что с вами, Павел Петрович?

— Сме... сме...

ДД тряс ПП, пытаясь привести в чувство.

— Сметана! — наконец ясно выговорил ПП, пристально взглядывая на ДД. — Доктор, вы чайник.

Наконец и ему удалось рассмеяться: ДД растерянно озирался по сторонам, словно ища то ли сметану, то ли чайник, не понимая, как он сюда попал.

— Простите, доктор, я плохой человек...

— Что вы мне подсунили?!

— Травку, доктор, травку...

— Почему вы меня не предупредили? Это действительно нехорошо, не товарищески...

— Иначе бы вы его не словили. Это-то как раз по-товарищески было.

— Почему сметана? почему чайник? — ДД обиделся, как дитя.

— Правда, простите, доктор. Я не в том смысле. Простите. Что я вам кайф поломал. Завидно стало.

ПП поднялся.

— Пойдемте, доктор.

— Никуда я не пойду.

— Народ, лишенный пива... — мрачно изрек ПП.

— Перестаньте пудрить мне мозги!

— Народ, лишенный пива, недостоин звания народа! — закончил мысль ПП.

И они пошли. Дальше на север. Мимо реликтовой рощи. Не глядя на море. Лишенные пива.

Причем ДД каким-то образом по-прежнему сохранял свой профиль, ступая по кромке воды как бы по песочку, а ПП — анфас — грубо хрупал по крупной, раскаленной уже гальке.

Солнце вовсю. У ДД, в профиль, козырек. У ПП, анфас, листик на вздорном его носу.

Практически они молчали. Насколько они вообще способны не раскрывать рта.

— Боюсь, что мы их уже не догоним...

— Ваших коллег? Вам не кажется, что вы их уже перегнали?

— Вы дьявол, Павел Петрович.

— Мне кажется, мы уже ведь распределили роли. Все идет пока по сценарию: вы — Фауст, я — Мефистофель. Я, между прочим, тоже рабочий день потерял. Вышел порисовать и этюдник забыл.

— Вы же скульптор.

— Скульпторы тоже рисуют. Эскизы.

— Вы собираетесь изваять море?

— Вы очень догадливы, доктор. Именно море я собираюсь. Это моя сокровенная мечта — воздвигнуть памятник морю.

— В каком, интересно, виде?

— В виде коровы.

— ?!

— Вы ведь видели дельфина... Он меня совсем было сбил с толку. Его морской коровой зовут.

— Морская корова — совсем другое существо.

— Это я знаю. Неужели вы могли подумать, что я стану ваять корову, то есть море... то есть корову... сим-во-ли-чес-ки? Я — реалист! Море... в виде дельфина!.. тьфу!!! Так любая бездарь сможет.

— Не понял.

— Еще поймете, — мрачно заявил ПП. — Увидите. Лучше бы вам этого не видеть.

— Не понял.

— Это не всякий выдержит.

— Я плохо разбираюсь в искусстве. Я рядовой ученый. Я допускаю, что быть скульптором — это призвание. Но как вы его обнаружили? Как это можно родиться поэтом, живописцем, скрипачом?..

— Люди, лишенные детства... — мрачно сказал ПП.

— Кто?

— Скрипачи, говорю.

— Я про вас говорю. Как вы догадались, что вы именно скульптор?

— А как вы догадались ловить птиц?

— Это не одно и то же. Но я, как ни странно, помню, как все это началось. То есть я не помню даже, мне мама рассказала...

— Родились и поймали птичку?

— Именно! Я еще еле ходил, все играли в песочек, а я все вокруг бочки с водой, к которой время от времени прилетали и пили птички. И догадался так наконец крышку на бочке установить, чтобы крышка захлопнулась, когда птичка на ее край садилась, чтобы попить. И я ее поймал!

— Ну вот. А спрашиваете, как стать скульптором... По сродству души. Это не мое определение, а моего учителя.

— Вы были учеником скульптора? Как в средние века?

— Браво, доктор! Именно как в средние, лучшие, доложу вам, наши века... Я ученик Григория Сковороды. Утверждал он, в частности, что человеки несчастны оттого, что не находят себе занятия по сродству души. Поделил он все человечество на три и получил духовенство, воинство и крестьянство. Советовал он присматриваться к младенцу: если тот в хоре подтягивает — в семинарию, если к сабельке тянется — в солдаты, если с червячком забавляется — тогда паши. Найдут все себе занятие по сродству — вот тебе и счастье.

— А мы с вами кто тогда такие?

— Мы-то? Мы — незаконнорожденные.

— .....?

— Петр Первый издал такой указ: незаконнорожденных записывать в художники. Вы — тоже художник, — милостиво издал свой указ ПП. Это не прозвучало у него убедительно, и он добавил: — В своем роде... Вас жажда еще не замучила? Может, еще сыграем?

ДД ухмыльнулся, более не раздумывая протянул ему сдачу.

— Да, мы с вами, кажется, нашли занятие по сродству...

— Это не шутки. — ПП так же не раздумывая принял деньги. — Если бы каждый был занят своим делом, откуда взяться агрессии и депрессии, что, по сути, одно и то же? Вместо бессмысленной борьбы с инакомыслием и алкоголизмом я бы этим занял психиатров: диагностикой призвания. Психиатр выписывал бы рецепт: министру иностранных дел — выстригать ножницами из бумаги драконов или розы, военному министру — выпрямлять старые гвозди и те де. С сохранением оклада и привилегий. Представляете, как бы они были счастливы? И мы заодно. «Сказка о том, как один мужик двух генералов прокормил» была бы вовсе и не сказка. Прокормил бы! Хотя бы потому, что они бы ему больше не мешали. И главное, мужик этот наладил бы производство пива. И народ бы стал народом.

— Только давайте не будем говорить о России... — поморщился ДД.

— О чем же еще говорить! Мы только о ней и говорим. Доктор, а вы, случайно, не еврей?

— Я? Кажется, нет. Какое это имеет значение?

— А вы, батенька, интеллигент... Имеет, имеет. Я бы на вашем месте так легко от этого не отказывался.

— А вы-то сами, Павел Петрович?

— Я-то?.. Кто из нас не был евреем... Тут без поллитры не разберешься.

— Куда вы? — только и успел сказать ДД.

И забрался в тени. И думал он о том, что сегодня до странности никого на пляже. И тогда почему же он опять думает о Мальтусе? Да потому, что смешно делиться на евреев и русских, когда нас вместе на Земле — национальное меньшинство. Смешно делиться на ..., когда к 2000-му всех белых будет ..., а черных — и того меньше. Конечно же, желтая раса!.. Грузины с абхазами — что не поделили?! Смешно. Делиться на — когда перед человечеством давно уже только одно общее дело. Это как в очереди к врачу хвастаться болезнями: чья больнее. Но остановить человека невозможно, хоть он и все поймет. Во второе пришествие, что ли, ему верить? Уже давно проведены опыты на бактериях по изучению интоксикации в перенаселенной среде, построены математические кривые, и они, математически же, совпали с гонкой вооружений после второй мировой... Асимптотически приближаясь к общей гибели. Сравнение человека разумного с бактерией не может оскорбить биолога. Разумом еще надо было воспользоваться с разумом... А тут закавыка: фактор времени — опоздал или успел? Если опоздал, то уже опоздал, а если успел все-таки, то только-только, и надо еще поднажать, чтобы вспрыгнуть на последнюю подножку... Может, и надо было так хищнически торопиться со всем этим вооружением, ибо именно оно тащило за собой весь этот технический прогресс, а без него не решить человеку стоящих перед ним задач выживания... Прав ПП: вот теперь пора переключить агрессию на... Только вот как ее переключишь?.. В это ДД не верит — что человек одумается.

И ДД смотрит на единственного на пляже отрока. Тот решительно ныряет в море и плещется в нем, как счастливый дельфиненок.

ПП вроде как и не отсутствовал. Будто у него где-то рядом закопано было...

— Информую, — сообщил он, отпыхиваясь, — народу нет, потому что — палочка.

— Вас ис дас?

— Море заражено. Гигантский выброс говна.

— Надо мальчику сказать, — заволновался ДД.

— Вы что, думаете, он не знает?

— А мы?

— У нас есть свой антисептик. — И ПП потряс бутылкой. — Петарда поменьше, конечно... — констатировал он разочарованно.

Он мрачно выпил сам и подал ДД. Было в его жестах уже что-то семейное. Будто они на кухне сидели.

— Какая же нас ждет катастрофа! (Ка-а-та-а-стро-о-офа — продекламировал он.) Снизу бздо, сверху говно. Представляете, как все это рванет однажды!

ДД смутно смотрел в даль морскую.

— Поясняю. Вы сами меня пугали, что сероводород подступил вплотную. А сероводород — это то же бздо. А бздо горит. Вы разве не поджигали?

— Неужто все поджигали?.. — удивился ДД.

— Разом вспыхнет все море, представляете? Ка-ако-ой же это будет факел! Огненный сто-олп — вот что это будет.

— Море синее горит — выбежал из моря кит, — захихикал ДД.

— Чье это? — взревновал ПП.— Ваше?

— Дедушки Корнея.

— мудро. Глубоко. Значит, и он предвидел.

— Это для детей.

— А кому это еще объяснять? Не взрослым же! Те уже не поняли. Знаете, отчего мы все погибнем?..

Это было сказано столь многозначительно, что ДД решил не отвечать, выждать.

— Мы утонем в собственном дерьме! — ПП вытерпел паузу. — И знаете, почему мы утонем?

— Потому что мы и есть дерьмо? — обрадовался ДД.

— Не угадали! А вы человеконенавистник, Доктор Докторович! Вы там у себя в Германии совсем одичали. Люди, возможно, совсем не такое дерьмо, как вы думаете.

— Что, еще большее?

— Да нет, батенька, опять не угадали. Пока меньшее. Мы даже не успеем до такой степени развиваться. Мы утонем в нем потому, что не умеем им пользоваться.

— С метафорой вашей, в принципе, трудно не согласиться.

— Это не метафора. Поясняю. Что такое почва?

— Так вы об удобрениях... — разочаровался ДД.

— Уточняю. Что такое уголь? Молчите. Тогда что такое нефть?

— Это правильный ряд. Я вас понял. Но только дерьмо-то у нас теперь другое. Дерьмо-то у нас теперь не говенное, химическое, нетленное. Береговая полоса — это жабры моря. Оно уже не дышит — такое количество пластика заматано прибором в эту полосу.

— Еще и это, — сказал ПП. — Надо создавать свинью. Пока не поздно.

Они выпили еще по чуть-чуть, и ПП посвятил ДД в некоторые детали своего плана преобразования мира.

— Как вы понимаете, свинья тут имеется в виду не в буквальном, хотя отчего же? и в буквальном смысле слова. Она — образец и символ. Девиз, так сказать, проекта. Проект обустройства мира «Свинья». Звучит?

— Звучит! — подхватил ДД с энтузиазмом.

— Во-первых... Не знаю, что и во-первых, потому что все — во-первых. Может быть, самое трудное и есть — выбрать, что во-первых. Это будет



первейшая наша с вами задача, доктор: с чего начать. Но это потом... Тут не просто без поллитры — тут без Бога не разберешься. Труднее доказать, что Его нет, чем — что Он есть. Акт Творения доказуем, как преступление. Творец попадает с поличным, ловится на каждом шагу. Иначе чем вы объясните постоянные разрывы в цепи эволюции, исчезновение необходимых для вас, ученых, звеньев? Ведь вам всякий раз как раз главного не хватает: именно тут по логике должно быть, а куда-то делось. Катастрофы, говорите вы? А откуда они берутся именно в самой намеченной вами точке? Да, именно: все сшито на живую нитку — еле держится. И вот: и нитка — живая, и кто-то шил! Не кристаллическую решетку надо создать, а атом, не жизнь, а воду, не слона, а живую клетку, и тогда эволюции хватит хоть до человека. Можно произвести человека и от обезьяны, но трудно при этом наградить его, единственного, девственностью — ради самой идеи первородного греха и непорочного зачатия. Немец хитер: обезьяну выдумал. А тут не человека надо было выдумать, а цело-мудрие! Вы вот про целку сейчас думаете, а я про мудрость. Господь навесил замков как раз там, где одно с другим не сходилось. Значит, Он присутствовал, Он вмещивался в собственные законы. Там Он всегда есть как нарушитель. А вы себе мозг ломаете над тайнами мироздания. Где тайна — там и замок. Божественная тайна! В замке мы и ковыряемся. Познание наше стало отмычкой, и мы взламываем именно замки, на которые Творение от нас же и было заперто, для вашего же блага. Все мы империалисты, колонизаторы — не Америка и не Россия, — сам вид человеческий суть колонизатор Творения. Между тем призвание человека было быть Свиньей Его. Подбирать, подчищать, подъедать...

— Bravo! — расцвел ДД, потирая руки.

— И любоваться! Любоваться делом рук Его!

— Любоваться... может быть, — согласился было ДД, и тут его осенило: — А вы знаете, какая самая древняя из оставшихся на земле профессий? Если о человеческих призваниях — по Сковороде?

— Охотник, наверно... Рыбак?

— Нет, музейный работник! — И ДД взглянул на ПП победно.

— Ну да, он имеет дело с древностями... — ПП оказался несколько сбит с толку, к чему не привык.

— Хорошо, я подскажу. Какое самое древнее орудие человека?

— Палка. Воин! Воин — самая древняя профессия.

— Дерутся все. Палку Энгельсу отдайте. Палкой и обезьяна умеет пользоваться. Самое первое орудие человека...

— Ну!

— Хорошо, еще подскажу. Какая первая одежда?

— Шкура.

— Шкура... — ДД в растерянности почесал себе нос. — Правильно, пожалуй. Я не так поставил вопрос. Какая первая одежда уже в более современном смысле, до сего дня?.. Не так... какая деталь одежды?.. Какой фасон, модель, выкройка?.. Тьфу! дайте хлебнуть...

— Да вы не мучайтесь, доктор. Скажите — и все.

— Скажите... — по-детски обиделся ДД. — Так неинтересно. Вот! Какую первую одежду надел человек не от дождя, не от холода, не от ... для чего вообще ее надевают, будь она проклята?!

— Набедренная повязка!

— Так. А для чего?

— Вот здорово! — обрадовался ПП. — От стыда. Не от холода, а от стыда! Чтобы срам прикрыть. А я что говорю...

— А вот и не для этого! Про целомудрие вы интересно загнули, но это я еще проверю. Может, еще у кого найдется... Но набедренная повязка возникла вовсе не по этой причине.

— Ну ладно. А музей-то ваш тут при чем?

— Правильно. Соедините музей и набедренную повязку — видите связь? Нет? Теперь с вас бутылка.

— А мы не закладывались. — ПП, кажется, начинал злиться.

— Ладно. Первое призвание человека — собиратель. Корешки, орешки...

А первое "орудие, им самим изобретенное, — оно же стало набедренной повязкой — карман! В страсти к коллекционированию — древнейший инстинкт человека.

— Ох! Дурак я, дурак!

— Ну что, выкупил я вас?

— Карман, согласен. Я это вам припомню. Это дело нехитрое: вычитать что-нибудь по профессии, а потом человека мучить.

— Я не вычитал!

— Что ж, сами додумались?

— Сам. Янтарь на берегу у себя собирал и додумался. Когда в плавки запикивал.

— Хвало. Тогда бутылка с меня. Только вы мне тогда тоже ответьте. И тоже на бутылку. Вопрос не сложнее вашего. И тоже мое собственное открытие. Я когда в мебельном магазине подрабатывал, мебель таскал, все думал, как человек такие неудобные штуки выдумывал? И вот: скажите, какая была первая мебель, из которой все произошло?

— Стул? Вернее, табуретка?

— Не-а.

— Кровать? Вернее, гамак?

— Не-а.

— Ну как же! — распалился ДД. — Ведь человек как на две ноги встал, у него позвоночник уставал. Остеохондроз, кстати, атавистическая болезнь, знаете? Вот он и сел на камень.

— Камень, — сказал ПП, — не табурет. И ветка дерева — еще не гамак. Так я вам и ваш карман спишу за счет защечных мешочков. Нет, вы мне скажите, какую он первую мебель создал?

— Стол?

— Не-а.

— Но не шкаф же!

— Хорошо, подсказываю. Шкаф — уже теплее.

ДД впал в глубокую задумчивость: стол? стул? кровать?

— Больше и мебели-то нету...

— Сдаётся?

— Ну.

— Сундук! — торжественно открыл тайну ПП.

— Почему сундук?

— Чтобы ваши корешки и орешки прятать! Сундук есть первомебель. Из него все. Сядь — лавка. Ляг — кровать. Накрой скатертью — стол. Поставь на попа — шкаф.

— Навесь замок — бог... — съязвил ДД.

— Да вы не расстраивайтесь так уж. Разошлись — и все: ни я вам, ни вы мне.

— Вы о чем?

— Бутылку, говорю, отыграл. А над замком вы зря иронизируете. Наше дело теперь их чинить.

— Кто же их будет чинить?

— А военно-промышленный комплекс! Сами говорите, атомная бомба. Что им теперь остается делать? Все эти ракеты и самолеты превратятся в металлолом, в понапрасну израсходованную материю. Они уже превратились, только военные и люди об этом еще не знают. Что тащило всегда за собой технический прогресс? Война. Больше она его за собой не потащит. Куда деть тогда агрессивный человеческий гений, где найти занятие по сродству? Не заставишь же рыцаря перековывать мечи на орала, делать из лат кухонную утварь? Человечество и не собирается стать лучше — ему скоро деться некуда будет: такой начнется мировой сифон сквозь все эти небесные дыры... И из наступления наше воинство перейдет в оборону. Займется изобретением Свиньи. Идея безотходных производств столь же заманчива в своей недостижимости, как и полет на Марс. Если что-то невозможно — чего еще надо гению? Безотходное производство — такая же черная дыра, как и война: вот куда можно ухлопать все деньги, и всю энергию, и весь талант!

— Не ожидал от такого умного человека такого оптимизма... — сказал ДД. Лицо его между тем имело самое счастливое выражение.

— Мир настолько опошвился, что теперь пессимист — всегда умный, а оптимист — либо корыстен, либо дурак. Нет людей — одни критики, мать их...

— Дорогой Павел Петрович! — прослезился ДД. — Поверьте, я несказанно рад! Я впервые в жизни, можно сказать, встретил поддержку всему тому невысказанному... Павел Петрович! позвольте, я вас поцелую! — Он попытался приложиться щекою к губам ПП, но как-то ничего не вышло: он еле-еле устоял на ногах в новом, сложном для него, пространстве и совместить обе проекции ему не удалось. — Позвольте выпить за вас!

— Па-а-а-зволю! — сказал ПП, наливая ДД. — И себе, любимому, тоже. Они чокнулись.

И они пошли дальше по берегу обнявшись, почти как один человек.

— ...и будет обязательная воинская повинность! — говорил ДД. — Солдаты будут нести альтернативную службу. Сажать и охранять леса, разводить зверей, рыб и птиц!

— Ленина похороним за церковной оградой как самоубийцу, — говорил ПП. — А Мавзолей, нет, не разрушим, а сохраним! Пройдем в нем глубокую шахту и оградим ее бархатным барьером, как в театре. Люди будут подходить, заглядывать в этот зев, вдыхать замогильный холод и вспоминать миллионы убиенных. Вообще никакие памятники уничтожать не будем, даже Калинин. Дзержинского тоже зароем. Опять же пройдем под ним шахточку и, вертикально же, его туда опустим. А сверху асфальтом закатаем. Клумбу разобьем. Будет у нас первый в мире подземный памятник. Это я вам утверждаю как скульптор.

— А все остальные памятники, — подхватывал ДД, — всех горнистов и физкультурниц, свердловых и марксов, лениных, лениных, лениных... и всех сталиных по дворам и подвалам соберем... и в Горках... и свезем их всех куда-нибудь в одно место, и сделаем такой свой Диснейленд, куда за валюту... и будут они стоять, как китайские солдаты... недавно целую армию где-то в Гоби отрыли... свезем их в Каракум с Кызылкумом...

— Не надо пустыню обижать! Я получше местечко знаю. Там уже ничего никогда не вырастет. Есть такое местечко на Каспии, где когда-то добывали нефть... Вот туда их всех сошлем...

— Ветряные мельницы... солнечные батареи... — лепетал доктор.

— И главное, мой план ГОАЛРО! Алкоголизации России. Государственный, общий! Нельзя восстановить государство без возрождения народа. Народа без пива быть не может, он вырождается. Без пива народ окончательно сопьется. Что толку бороться с алкоголизмом, тем более большевистскими методами. Против природы не попрешь. Мы — пьющий народ, мы все равно пьем. Но, Господи, ЧТО мы пьем! Итак, категорический запрет на всю нашу бормотуху. Водка тоже только высшей очистки. Виноградные добрые вина, конечно. Коньяки — это кто любит. И — возрождение и повсеместное развитие пивоварения! Это главное! Возрожденные пивные и трактиры — это будут ступени на лестнице цивилизации. Пьяный мужик будет бабу бить не за то, что жизнь свою ненавидит, а за то, что на кухне не прибрано. Пивные должны стать такими, чтобы быт подтянулся к ним, чтобы был образец чистоты и качества, чтобы стыдно перед собой было за свой быт и вид! Представляете, в Кремле, у генсека, у нашего Андропова, дай Бог ему здоровья! на стене сталинского кабинета карта одной шестой, инкрустированная полудрагоценными (не будем разоряться...) камнями, а под камнями лампочки... Андропов нажимает на кнопку пульта — загорается звездочка где-нибудь на Камчатке... «Поздравляю, товарищи, — говорит, — еще один первоклассный Дворец пивной культуры открыт в поселке Ключи! (Это неподалеку от Авачинской сопки, вы не бывали?..) Но не надо успокаиваться, товарищи, — говорит. — Медленными, медленными темпами идет план ГОАЛРО! Реакционные силы тайно и явно сопротивляются его развитию. Разбавляют еще кое-где пиво, товарищи! Не дают отстояться пене!»

— Вам нравится Андропов? — ДД презрительно надул губки.

— А что, государственно мыслит человек! Водку обратно меньше пятерки

сделал... «Коленвал» пробовали? Водочка, конечно, не самая важная, зато 4.70. И на сырок остается, и на метро. Печки разрешил на приусадебных участках — это же большое дело! Торговлю у поездов обратно разрешил: картошечка, укропчик!.. А главное, монастырь мужской в Москве разрешил! Дворцы пива и монастыри — вот что возродит сельское хозяйство. Экологически чистые фермы. Мелкие хозяйства, производящие экологически чистые продукты, — вот наша перспектива! Растет экспорт — течет золото. Мы у них в ответ дешевые продукты покупаем в обмен на наши драгоценные — и копим, копим!

— Значит, сами не едим?

— По мне, так этой жратвы хоть бы и совсем не было.

— Совсем-совсем ничего не едите?

— Можно и так сказать. Разве что за компанию...

— Интереснейший случай! Мне недавно один коллега рассказывал...

Талантливейший, между прочим, врач и биолог. Он где-то в секретнейшем месте, чуть ли не в Лаборатории сохранения Ильича, там отличное оборудование... Короче, занимается разработкой таблеток от похмелья, для наших шпионов, наверное. Так он говорит, что из ста процентов хронических алкоголиков четыре процента живут до старости, не попадают под транспорт, не суют руки в шкивы и шестерни и даже выполняют, а то и перевыполняют план и норму, не совершают нарушений общественного порядка, кроме разве того, что совершенно не закусывают да и вообще ничего не едят, умудряясь из чистого алкоголя получать все необходимое для жизнедеятельности организма... но что еще более удивительно, рожают нормальных детей, на которых ни в чем не сказывается алкоголизм родителя; правда, пока еще наука не установила, передаются ли по наследству эти удивительные свойства.

— Передаются, — уверенно подтвердил ПП. — У меня еще дед был такой. Про прадеда не ручаюсь... Так вы что, — вдруг надулся он, — считаете, что я алкоголик?

— Помилуй бог! Какой вы алкоголик!

— Это я-то не алкоголик! — возмутился ПП.

— Вы всегда возвращаетесь, — констатировал ДД, — возвращаетесь к мысли, к теме, возвращаетесь с бутылкой. Вы не алкоголик — вы человек будущего! Четыре процента есть в биологическом смысле цифра гигантская! Куда более важная, чем остальные девяносто шесть оставшихся процентов. Потому что тогда это уже мутация! А в наш век полуголодающего человечества, истощения природных и пищевых ресурсов на такую мутацию можно делать ставку. Ибо человек, который заправляется, как автомобиль, топливом (кстати, куда более дешевым и не ограниченным, чем бензин), исключительно перспективен в эколого-экономическом смысле. За этими четырьмя из ста может оказаться великое будущее.

— Будущее!.. — мрачно изрек ПП.

И они заговорили об Оруэлле. О незабываемом 1984-м. Мол, доживет ли Россия до будущего года?.. Из уважения к цензуре я опускаю здесь их заключение. Хотя не могу, для будущего, не отметить, что один из собеседников очень сильно Оруэлла не любит, а другой — находит в нем... Не называю имен.

— Ваш Лоренц убедительнее, — заключил ПП, еще помрачнев. — Сейчас, сейчас! Сами увидите.

— Я не хотел вас никак задеть... — оправдывался ДД.

— Это я не хотел вас огорчить. Я хотел было обойти... Но, к сожалению, мы уже пришли. Здесь, за этим волнорезом...

— Что это? — шепотом спросил ДД так, что из губ его вышли одни «о»: ...о-о-о-о?..

— Как вам такой памятник морю?

«Это» — огромное, белое, бесформенное — покорно лежало на берегу, прибитое приливом к столбу волнореза.

— Уже третий день здесь лежит...

Ее было много. Корова не бывает такой большой. Она была как кит. Она не отливала ни перламутром, ни даже бельмом. Свет обтекал ее, образуя лужи.

Небо, море — освещение коровы было вокруг. Никто не заметил, как изменилась погода. Белое, серое, без солнца... Она уже давно ни о чем не думала.

— Это как раз на границе двух сред, между двумя санаториями, — пояснил ПП. — МПС и ВЦСПС. Или наоборот. Так что они не могут определиться, чья это юрисдикция...

ДД, наверно, не слышал его. Он обвел отраженным, каким-то белым, оглохшим взглядом вокруг. Увидел тот и другой санатории. Увидел рыбака, закинувшего свою леску по другую сторону волнореза: разве что спиной повернулся... а так до коровы рыбаку было рукой подать. Увидел стайку смелых пляжниц, нехотя игравших в кружок в волейбол. К ним приближалось существо на двух ногах и без грудей, с усами, и они заиграли веселей.

— Господи! — простонал доктор. — На чем *ОНИ* ходят!!

И, как спринтер, рванул в прибрежные осоки.

Вернулся высоким, бледным и решительным:

— Я знаю, где.

— Тогда пойдём, — не стал спорить ПП.

И они покидают море. Они идут. Им уже недолго осталось.

Но ДД исключительно плох.

— Капитан, капитан, отянитесь... — напевает ему заботливо ПП, поддерживая его словом и под локоток. — Ну, корова... Ну как вас утешить?.. Хотите, я вам государственную тайну выдам? Подлинную версию «Витязя в тигровой шкуре»?.. В 1978-м, как раз в самый разгар абхазских событий, тоже, между прочим, засекреченных, туристы нашли эту шкуру, причем вместе с витязем. Тоже на границе двух сред: ледника и морены. А на черепе свежая рана. Инструктор попался опытный: ледорубом дальше действовать запретил, поспешил вниз заявлять. Только ледник этот, в свою очередь, был естественной границей двух районов: одного мегрельского, а другого абхазского. Кому охота брать на себя убийство русского туриста? Мегрелы утверждают, что тело найдено на абхазской стороне, абхазы, соответственно, что на мегрельской. Турбаза заверяет, что у них ни одного русского туриста не пропадало. Тогда сам собой возникает вопрос, мегрел он или абхаз. Если мегрел убил абхаза, то тело хочет абхазская сторона. И либо отомстить, либо возбудить дело. Мегрельская же сторона не уверена, что это не абхаз мегрела убил, и тогда пусть они сами отдадут и тело и дело. Запутавшись, кто из них кто, создали экспертизу из местных краеведов, в смысле — мегрел или абхаз?.. Но витязь оказался более древним, чем существующее административно-территориальное деление. Туристы успели поработать ледорубом, но все равно он очень хорошо сохранился в своей тигровой шкуре, ибо тогда тигры еще водились в этой местности. И тигровая шкура хорошо сохранилась, и высокая козья шапка а-ля Робинзон Крузо, и, главное, оружие: и нож, и дротик, и стрелы, что характерно, с костяными наконечниками. И никто никого не убивал! Сам, дурак, попал в лавину. Однако когда прямой уголовной ответственности сторон не оказалось, спор разгорелся еще принципиальней, ибо установить его этническую принадлежность означало бы разрешить давний «спор славян между собою»: кто коренным образом, а кто нет. Пока летели к ним из Тбилиси, уже пропал нож и нательный амулет — была выставлена круглосуточная охрана из представителей обеих сторон. Прибывший поэт выдвинул, на основании высокой шапки, гениальную идею, сообщил ее секретно на ухо главе комиссии. Гипотеза не прошла — но впереди был юбилей бессмертной поэмы, ЮНЕСКО и Колонный зал, и пренебречь таким тезисом председатель не рискнул. К тому же тело, спокойно пролежавшее свои шесть—восемь тысяч лет, уже третий день было подвержено современным влияниям. Также сохранность тигровой шкуры от краеведов. Военный вертолет объявился незамедлительно, и с участников была взята подписка об ответственности за разглашение. В Тбилиси было произведено дознание. Он бы сознался и что он Шота, и что он Автандил, куда бы он ... делся. Что он не абхаз, он бы сознался точно. Но дело в том, что это был первый человек, дошедший до нас в подобной сохранности, то есть событие куда более мировое, чем любой литературный юбилей. Пока летела московская комиссия из Лаборатории

сохранения при Мавзолее, у витязя, содержавшегося опечатанным в центральном морге, исчезла не только тигровая шкура, но и — уму непостижимо — все его мужское хозяйство. Скандал становился действительно международным, поскольку за сокрытие находки подобного масштаба от мировой общественности нас могли чохом вычистить из всех международных ассоциаций, включая ту же ЮНЕСКО, не только из какого-нибудь антропологического, не говоря о правах человека!.. Выяснилось, что сохранение его, тем более секретное, в его уже несколько подпорченном состоянии обходилось бы нашей родине в тысячи долларов ежедневно, даже если срочно эвакуировать его в Москву, но — не рядом же его класть... Дешевле было бы отправить специальную экспедицию в какую-нибудь Швейцарию, где и подбросить его под местный ледничок, а там бы его наши же альпинисты и обнаружили бы, сохранив честь открытия за отечеством... Но и этот проект наталкивался на целый ряд технических трудностей, включая таможенный и паспортный контроль. И витязь был засекречен окончательно, то есть исчез, хотя розыск тигровой шкуры еще продолжался и в этом направлении наблюдались сдвиги: был реквизирован нашейный амулет в виде камня с дыркой, каменного века, который я по случаю получил в подарок.

С этими словами ПП рванул рубаху на груди, обнажая куриного бога.

— Веревочку, конечно, пришлось заменить. Хотите, подарю?

— Господи! — стонет усталый ДД. — Да чего же все *тупо, тупо, тупо!*

— Не верите? Берите, берите!.. — настаивает добрейший ПП.

— Вы ручаетесь за подлинность дырки?

— Почти. Она может оказаться и древнее...

— Дырка — древнее каменного века?..

ДД не верит ни одному слову, и как раз в этом случае зря. ПП намекает, что, возможно, интересные органы были похищены самими органами для другой лаборатории сохранения, тоже секретной, заботящейся о сексуальном здоровье руководящего аппарата. По этому поводу он начинает рассказывать новую достоверную историю, как он сам однажды попал в палату высокопоставленной клиники, именно в подобного рода отделение, потому что однажды ему прищемило...

Но эту историю он уже не успевает рассказать, потому что они достигают города, а именно столицы солнечной и гостеприимной Абхазии, города Сухум. Их победу над пространством приветствует городской духовой оркестр, исполняя «Амурские волны».

— Вот что значит «медные трубы!» — восхищается ДД. — Всегда гадал, что бы это значило. Огонь, вода — понятно, но что за медные трубы такие? А это, оказывается, слава! В смысле — фанфары. В смысле — триумф...

— Крайне сомнительное толкование! — мрачнеет ПП.

— Как я раньше-то не догадался! — ликует ДД. — Другого и быть не может.

— Почему же не может... — оживляется ПП. — Очень даже может. В выражении «пройти огонь, воду и медные трубы» нет никакой метафоры: это техническое описание самогонного аппарата.

ДД радостно приемлет новую этимологию. Потому что они совсем уж к «Абхазии» приближаются. К белоснежной красавице «Абхазии», так удачно построенной самим академиком Шусевым именно в этом, а не в другом месте. А там, в «Абхазии», уверяет ДД, его друг, коллега, англичайнин, специалист по западному расселению обезьян в неподходящих климатических условиях... и у него полным-полно всего: всяких виски-шмиски, джин-тоник-шмоник, а чачи — нет.

Но его ждет разочарование: в гостиницу их не пускают. Возможно, за внешний вид. Правда, их пока никто не обижает, милицию не зовут — их не пускают просто как посторонних лиц, указывая пальцем на соответствующий транспарант, на котором красным по белому написано, что ПОСТОРОННИМ В... Тут, на счастье, помрачневший Драгамашенка и превосходно себя чувствующий режиссер Серсов...

И беспрепятственно всех в гостиницу пускают.

Драгамашенка объясняется с ДД, режиссер — с ПП. С англичайнином, за которого Драгамашенка несет, как оказывается, прямую ответственность,

случилось ЧП; режиссер приглашает ПП на роль в его будущем фильме. На англичанина ночью во сне, но и наяву обвалилась с потолка фанера; нет, сам он не пострадал, он так и не понял, во сне это было или наяву. Потому что фанера эта упала на него вместе с крысой и с кошкой, которая бежала за крысой. Он решил, что у него началась белая горячка. Требовал немедленной депортации. Они такие принципиальные, эти англичане, что он на этом настоял и был срочно эвакуирован с уже неоспоримыми признаками белой горячки. А Драгамащенко, как назло, как раз удалось наконец устроить его поездку к местам расселения обезьян...

Режиссер как раз сейчас переселяется в освободившийся номер.

И никаких виски-шмиски... ПП быстро соглашается сняться в новой роли у режиссера Серсова.

— Я знаю, куда мы пойдем, — утешает он ДД. — К моему другу Семену. (Он как-то странно, с протяжкой и важностью, произносит это имя: не то Симеон, не то Семион.) Не ожидал я его здесь встретить... Вдруг гляжу — он!

Но это не так оказывается близко. Это достаточно далеко от Сухума, в большом, растянувшемся селе Тамыш. Они проклинаят город, рассуждая о прелестях сельской жизни. В городах растет преступность, и нечего с ней бороться, потому что это биологический фактор. Карательные меры неизбежны, поэтому трибунал еще будет некоторое время существовать в преобразенном ими человечестве, но постепенно казнь будет заменена всего лишь ссылкой в города, которые и будут выполнять свою полезную функцию помоек. В них будет производиться фильтрация и очистка *всего*, и город наконец обретет свое естественное назначение. Город как раз и станет той Великой Свиньей Будущего!..

Но это еще не скоро... И Тамыш оказывается далеко.

— Кто-то верит, а кто-то не верит... — ПП покрылся пылью, будто шерстью: и бровки, и щетина, даже руки. — Кто-то ниспровергает, а кто-то творит себе кумира... А я... Я восхищаюсь Господом! Я Им Самим восхищен! И не только как Творцом. Это само собой — уму непостижимо, как Он прекрасно все это произвел. Д р у г о е восхищает меня в Нем...

Усталые, брели они вдоль бесконечного шоссе. ДД безропотно плелся чуть сзади, как в поводу. Выглядывал из-за его плеча. Удивленно разглядывал пыль на руке...

— Человечность! — вот что изумительно... Он несет ответственность за каждую свою ошибку. Он п р и с у т с т в у е т. Это такая ошибка человека — забросить Его подальше, на некие небеса! Он — здесь! Мы никак этого не поймем. Он послал нам Сына Своего в доказательство — мы и этого не поняли. И если мы ошибка, то Он усвоил эту ошибку. Он поставил нас этим выше всего в этом мире! Выше ангелов и архангелов! Потому что они всего лишь существа, пусть и высшего порядка, а мы — дети Его. Вы говорите, что Адам праотец наш... Нет! Он тоже всего лишь тварь Божья, потому что он не был Сыном Его. Мы — внуки Адама, но дети — Господа. И Он давно ждет. Он нуждается в нас. Он все еще надеется. Он верит в нас. Можете себе представить, как же Он в е р у е т! Мы же отчаялись и веруем во все, что угодно, кроме Него. Мы провозглашаем Его заветы, заповеди и законы и сами себе ими угрожаем. Мы запугали себя Господом как начальником, который нас осудит и накажет. А Ему не этого от нас надо. Ему бы немножко нашей веры и любви. Немножко ответной ласки Отцу... Вы не замечали, что отец — всегда самый необласканный в семье человек? Он работает, и работает, и работает. Или пьет, и пьет, и пьет. И так сходит на нет, не разогнувшись... Папа! — ПП всхлипнул. — Прости меня!.. Ну вот мы и у цели, — спокойно тут же сказал он, бросив взгляд окрест. — Уже скоро. Я хочу, чтобы вы поняли, в чем наша общая ошибка. Веруете вы или нет, совсем не важно. Вы — человек. А Он... Он — не над нами, Он — в нас. Мы с Ним — одно. И не преклоняться перед Ним, не извиваться самоуничижаясь и не строить из себя богочеловека — а надо Им Самим стать. — И он опять взглянул окрест. — Вот и кладбище показалось... Тут уж рукой подать.

С кладбища доносился негромкий, ненадрывный, умеренный плач.

Хоронили Сенька, Семена, Семиона или Симеона. Он пропал, и его хватились лишь на третий день. Нашли его в разрушенной церкви уже

застывшего. В красной рубашке, он обнимал большую, ведерную бутылку чаи, которую украл у мамы Нателлы. Это она плакала так ненарочно, так честно и ровно: разве я ему не наливала?.. разве бы я ему и так не дала... Он так и не прикончил всю — достиг половины. Но он и не расстался с ней. Кто-то даже высказался похоронить их вместе. Потом решили этими же остатками его помянуть.

— Запомните, доктор, — сурово изрек ПП. — Похмелка — это все то, что ты выпил вчера.

ДД было отказывался — все порывался в соседний санаторий. Там одна сотрудница... видел бы, какими глазами посмотрел на меня утром ее сын... Но воля ДД была уже сломлена.

— Что вы все топчетесь, как Наполеон! — сказал ПП, равномерно стучаясь лбом о крышку простого гроба.

И ДД сломался...

— Что же вы так плачете, доктор??

— Я представил себе биомассу червей...

Так умер русский бич, Божий человек Сенёк-Семион.

И здесь, на скромных поминках, над свежей могилой, ПП потерял ДД и отключился сам.

### III. ОГОНЬ

#### 1. Кот

Вопрос о том, кто я такой, встал необыкновенно остро.

*ОН* опускался — меня опускали.

Встречи хватило дня на три. Объятия распались. По телефону *ЕГО* заверили, чего *ОН* стоит, и я согласился. Я растянул осень, и тем более состоялась зима. Из окон дуло очередной ноябрьской годовщиной — шестьдесят пятой? шестьдесят шестой? шестьдесят седьмой. Три дня превращались в три года, и три года пролетали, как три дня. Шуба на мне развалилась. Вот уж не знал, что стоит достаток! И очки могут стоптаться на носу, как подметки, — что уж сетовать об обуви. В квартиру набежали тараканы. Сопли охватили меня пожаром, платки сохли по батареям. Я просыпался от нестрашных, занудных кошмаров, все менее отличавшихся от жизни.

Сначала будто бы ничего, сплю. Звонок — иду открывать. Извиняются, не туда попали. Ничего, ничего. Иду досыпать, лег — проклятье! — забыл свет в квартире погасить: из-под двери бьет. Иду гасить, а они уже на кухне, с тортиком, чай пьют. Очень миролюбивы, объясняют, что раз уж у них так и так адрес неправильный, а они специально на новоселье на поезде приехали, то они уж у меня и чтоб я присаживался. Я им что-то насчет того, что как-то так... а они: ничего, ничего, не стоит, мол, мне беспокоиться. И все такие круглые, провинциальные, не нервные, как бы даже застенчивые, но наглые. На звонок уже сами пошли открывать, а там еще такие же и опять с тортиками. Я их выталкиваю, а они становятся как бы вялые, бессловесные, валяются, я в них путаюсь, вязну, все более зверея. Накидал полную лестничную площадку каких-то ватников, валенок, ушанок — последние так вообще превратились в половую тряпку. Только снова лег — шкаф стал потрескивать, форточка распахнулась, искры из всех щелей, и дымком повеяло. Надо форточку бы затворить, — сил встать больше нет. А в форточку уже какой-то ватник лезет, ушанку обронил, ворчит. Шкафчик мой в углу задел, со шкафчика бюстик Наполеона начал валиться. Я еле его поймал, чтобы не разбился. Выпихиваю ватного обратно в форточку; он раздался, как пролез, и обратно не пропихивается. Искры сыплются, как от сварки, Наполеон посверкивает бронзой в их свете, а глазницы у него пустые, как у античных статуй. Наполеон-то у меня откуда? Не было у меня отродясь Наполеона! Не стоял он у меня никогда на шкафу... Выбрасываю и кумира вслед за ватным, тщательно закрываю форточку, а там, за дверью, уже дым коромыслом, гвалт, кутерьма — электричество жгут и веселятся.



Сопли душили меня. Пробуждаясь, в ужасе зажигал я настоящий свет, в той же, однако, комнате, тянулся за корявым комком носового платка. Из платка порскали тараканы.

Вот что такое быть диссидентом! — усмеялся я. Главное, не перепутать начальные стадии с окончательными. В моду входил СПИД. Соппротивляемости никакой. Сопли переходили в кашель, а кашель в понос. Методы слезки и синдром мании преследования совпадали. Начальные симптомы приводили к случайным связям, а случайные связи к алкоголизму. Не опохмелившись, душа жаждала расколоться. Колоться было перед кем, но не в чем. В одном случае ты становился сумасшедшим, в другом — эмигрантом. Не хотелось ни того, ни другого. Но КГБ все-таки лучше эйдса, и не надо их путать. Слава моя росла.

ЕГО навещали. То девицы, то проходимцы. Проходимцы были в буквальном смысле — прямо с вокзала. Живу я там как в анекдоте, живу!.. Меня будили спозаранку: прямо с поезда. Встреча наша напоминала встречу двух котов в подъезде. Не без достоинства. Один с трудом отражается в зеркале, у другого глаз на щеке. Не без правил. Например, снять в прихожей обувь и последовать по моему замызанному полу прямо на кухню. Пока я делаю вид, что моюсь, — на самом деле обдумываю, как тут быть, с неудовольствием проводя немытой рукой по заиндевевшей щетине. Портфель, который он внес, был больше его самого. Не иначе как все имущество. Можно точно датировать его появление. Как раз был сбит корейский лайнер, а за день до того открылась Международная книжная ярмарка и я встречался со шведским издателем. Швед был из Amnesty, и взгляд его выражал недоумение, будто я как-то не так себя вел. Мол, все еще не сажу. Он и в прошлый раз настаивал, как бы так мне помочь. Я разочаровал его тем, что мне нужны только очки «как у битлов». Вот и сажу напротив незваного гостя в шведских своих очках...

— Половина миллиона ваши, — говорит он, раскрывая портфель.

«Как просто!» — восхищаюсь я.

Наконец-то меня покупали. Гордыня моя была поставлена на место: не могли прислать кого-нибудь поубедительней?

Он вынул из портфеля зубную щетку, а затем и всю рукопись. Она помещалась в четырех папках, каждая из которых была в отдельном целлофановом пакете плюс завернута в некий пергамент.

— Так, — сказал я, овладевая ситуацией. — Сколько вы отсидели?

— Восемь лет. Почти восемь...

— А сколько вы это писали?

— Год. Почти год...

— А сколько здесь страниц?

— Восемьсот. Почти. Немножко не хватило.

— И вы хотите, чтобы я это прочитал за день?

— Так вы же не оторветесь!

Выходит, ситуацией и владеть не надо, если она исходно твоя. А кто читал-то? Так вы первый и будете. А откуда вы меня надыбали? А в адресном бюро. Вы что же, меня читали? Не-а, я по «голосам» про вас слышал. А с чего вы взяли, что вам миллион отвалят? Так не меньше же миллиона...

Его наивность была равна лишь его же опыту. Он сед, когда ему не было и четырнадцати. Ума мне стоило понять, что он ТАКОЙ. Что никем, кроме себя, не подослан.

— А зачем пергамент?

— А если в воду бросать. Я все продумал. Я еще и рекорд Гиннеса поставить могу. Могу присесть пять тысяч раз. Сейчас, без тренировки, не могу. Но две тыщи точно смогу, прямо при вас.

И он тут же присел, в носочках...

— Увольте. — Я сдался.

И я не оторвался...

Глаз ему отстрелили еще в деревенском детстве за то, что отказался поцеловать котенка под хвост. Приседать он научился в штрафном изоляторе, чтобы не замерзнуть. Был он пожизненно влюблен в одноклассницу Веру, но осмелился признаться лишь из тюрьмы, выкупив фотографию у сокамерника-

красюка. И получил он на свое признание положительный ответ — из Верочкиного письма выпала фотокарточка ее старшей, полногрудой сестры. Решил он устроить побег, чтобы жениться, и, познав кодекс, крикнул конвойным: «Не стрелять! Бежит малолетка!» — и получил пулю в плечо. Он бежал и чувствовал, что ему вообще оторвало руку. Раненая рука была со стороны без глаза, и он не мог ее видеть. Тогда он взял ее другой рукою и поднес к другому глазу на бегу, чтобы убедиться.

Я погибал — *ЕГО* спасали. Дарили *ЕМУ* котенка Тишу. Варезки и шапка больше ее самой. А Тишка еще меньше варезек. Я целовал ее в холодную шапку, в варезку, в Тишку. Скорей!

Нам мешали. Кто бы это мог быть? Его я никак не ожидал. Единственный в своем роде на земле человек. Такой же, как я. Родители — те лишь наполовину такие же, каждый на свою. А этот — такой же, на обе половины. Получается, брат. Хотя грузин. На год он бежал впереди меня.

Он не должен был ее видеть, она его — слышать. Квартира однокомнатная, я прятал ее в шкафу в чем была: в рубашке и в шапке. Он продолжал перерождаться в женщину. В доказательство чего отпустил бороду. Женщины его больше не интересовали как мужчину. Уже год он поднимал всю медицинскую литературу. Это была редчайшая генетическая болезнь, почему он и обязан был меня предупредить. Чтобы я впредь правильно выбирал родителей.

Это сама по себе долгая история. Потом он пропал.

Она выходила из шкафа в одних варезках. Соски ее пахли нафталином. Лучше всех было Тишке. Он спал на моих свалывшихся рукописях.

Она уходила. *ОН* успел, негодяй, поцеловать ее в руку. А то она опять засунула бы ее в варезку.

Она или брат забыли книжку? «Жестяное руно победы». Перевод с грузинского.

Пишут же люди!

Покатыми, нобелевскими волнами катилось повествование. Лизало берег Колхиды. Маленький усталый отряд, последний остаток могучего войска. Впереди Язон, не иначе как в «плаще с малиново-красным подбоем». За ним тот, который все исполняет молча, вроде в плену ему отхватили язык. А за тем уже тот, который только почесывается, — его донимают «москиты». Все по очереди трясет малярия. Лишь один Язон гладко выбрит, отражаясь в собственном щите. Иной хромает в конце — короткий обоюдоострый меч натер ему шею, и у него «гноится набедренная повязка». И тут немой произносит первое слово. «Понт», — сказал он. Короткий и обоюдоострый промыл свою рану морской водою. Развели костерок. Отблески играли в их запавших глазницах. Жертва москитов почесывал свою широкую грудь осетина. Сыпались искры, не достигая звезд, под которыми мирно спала непостижимая Эллада, забыв своих героев. Со страницы повеяло костерком, и ноздри мои раздувались от бессильной зависти к этому древнегрузинскому греку.

Поторопился я спастись до срока... поторопился я креститься — вот что! Сорок лет прождал, как великий князь, а — поторопился. Не умер я тут же! А как там было умереть?.. Глаз, тот не умер, когда ему, ребенку, шконкой (прут из спинки железной кровати) фанеру (грудь) отбивали, — а как тут умирать, дотянув с грехом до сорока, в самом красивом месте на земле... от счастья разве. Монастырь Моцамета, что, как выяснилось, и значит «верующие», стоял на километровом обрыве над Курой, и с обрыва там праздновался такой мир и пейзаж, еще и принаряженный осенью, — воздух был чем дальше, тем прозрачнее: на дне его, на пойменном берегу, как раз собрались отпраздновать воскресенье, разводили шашлык, выкладывали лаваш и зелень, и счастливая корова, подкравшись, украдала лаваш и бегала кругами по лугу от преследователей, как собака, и обворованные были еще счастливее вора...

«Знаю грехи твои... — сказал отец Торнике на первой в моей жизни исповеди, не дав мне рта раскрыть, — могу себе представить... И отпускаю тебе... Только запомни: грешить тебе с этого дня станет тяжелее». И вздохнул

со знанием. Зря я ему не поверил! С весельем плевал я на сатану в виде скребка и метлы, притуленных в углу храма. «Тьфу на сатану!» — провозглашал отец Торнике, и все мы, шествовавшие гуськом, со свечками в руках, с радостью выполняли. Легко мне тогда было плевать на него! Дорогой Гаги, драгоценный отец Торнике... легко тебе было получать свой первый срок, крестив пионерский лагерь во время купания! Вылезали тогда дети на бережок уже без красных галстуков... «Да мне, — говорил Гаги, — стакан на роту хватит». Надо было на меня потратить побольше за счет пионерлагеря и потенциальной роты. Дорогой Гаги! помяни меня в своих молитвах...

Меня спасала, в частности, одна редакторша. Пробовала оформить мне командировку в Тбилиси для участия в «круглом столе» на тему «Феномен грузинского романа». Для начала мне дали редакционное задание. Разоблачить лжегероя. Героем он стал за Афганистан — так ему мало: теперь он спас утопающего. Как психолог я должен был доказать, что никого-то он не спасал, а просто по инерции искал того самого подвига, которому всегда есть место в нашей жизни. Для либеральной редакторши это была бы доступная форма осуждения войны в Афганистане.

Мне не понравился ее пафос. И я пошел.

Передо мной сидел очень спокойный мужик. Как опытный следователь, я занял место против света, чтобы видеть все оттенки выражения его лица и чтобы он, стало быть, не видел моих оттенков. По тому, как он усмехнулся, мне показалось, что он просек. Ему хватило взгляда, чтобы провести рекогносцировку и сосредоточиться на выбранном объекте. Это был почему-то громкоговоритель. На него-то он и сориентировался. Я, значит, был психиатр, а у него мания. Я был убежден, что кабинет не оснащен. Проследил за его взглядом. Почему-то пациента волновал шнур. Шнур был выдернут из розетки и болтался несколько не достигая пола. К тому же он завязался узлом. Узел был не затянут. Ну уж никак нельзя было через него прослушивать! Одно то, что майора вызвали для беседы со мной и я принимал его в кабинете, хоть и не в своем (но откуда ему знать, что не моем?), делало меня, рядового, необученного, негодного к строевой службе — как это у них? — «младше по званию, но старше по должности». Это веселило изгой во мне. Младший по положению соответственно стоял и молчал. Я пригласил его сесть и рассказать все как было. «Да не собирался я его спасать! — не то чтобы с раздражением, но с добродушной досадой начал майор. — Просто я, как назло, накануне книжку читал, не помню, простите за извинение, автора. Там про нашего брата. Там герой помроты, а девушка у него медсестра. Так вот она там как раз утопленника спасала. Рот в рот. Я запомнил. Я и рассказывать никому не хотел. Только в понедельник в академии разговор, как кто выходные провел, а они знали, что я на рыбалку собирался. А я говорю, какая, извините, на ..., рыбалка, когда мне сегодня всю ночь его лошадиные зубы снились. Ну, того, значит, кого в рот в рот. А там один со мной учится, в стенгазету пишет. Он, значит, и написал, а гарнизонная газета перепечатала. А я бы, если перед тем в книжке не прочел, про медсестру, рот в рот, то и не снились бы мне лошадиные его зубы. Я и не собирался стать военным, мечтал, конечно. Я на заводе работал, у меня уже пятый разряд был. А тут повестка, поступай, зовут, в училище. Ну, я пошел. Недавно в цех свой зашел — ну, все помнят, не забыли, выпили, конечно, я специально с собой взял. Даже заскучал по цеху. Ну, куда уж теперь, и квалификация не та, и вообще, теперь уж до запаса. Только училище кончил, а тут вызывают срочно — и в самолет, куда-чего, никто не знает. Потом на вертолет — и десант. Я, значит, с первого самого дня, с первой ночи. У нас писали, что 21-го, а на самом деле 20-го. Но это я так уж, по секрету вам говорю. Вы этого не печатайте. Мы первыми во дворец и ворвались. Как сейчас перед глазами. Такая голубая комната, вся шелком обитая. Но пустая уже. Только один альбом на полу и валялся. Я его еще посмотрел. Там всякие семейные его фотографии. Красивая женщина! Знаете, я честно скажу, сначала совсем не страшно было, даже интересно. А потом, как меня зацепило в первый раз, я в броню залез и не вылажу. Мне наш замполит, ничего не скажу, отличный парень, так говорит: ты вылезай из брони-то, из танка то есть, а то так и просидишь. Ну, пересилил себя, потом

ничего. В разведку идешь — стрелять нельзя, тесак один на все отделение, верите ли, старшина под расписку выдавал, а на спине рация сорок килограмм. Спина вся черная, боль адская. А надо, чтобы не заметили. Там какого афганца встретишь, тут же кончать приходится, чтобы своим не сообщил. Ну а как стрелять нельзя, приставишь тесак к уху и стукнешь по нему, так он от и до уха. Главное, тишина. Так вот, одного не убивали, а значит, на него, как на ишака, рацию. Он и нес до самого конца. Потом, конечно, ликвидировали, что делать. Большого удовольствия в этом нет. Того-то помполита, на повышение пошел, а нового прислали — дурак дураком, неопытный еще. Мы к их посту подползли, копыта обвязали, тихо. Я высовываюсь — двое, с винтовками, у костра. Я выбрал, на кого броситься первого, и машу, чтобы с другой стороны зашел, чтобы другого на себя взял, а он: «Чего?» Но я-то уже бросился на своего, а другой услышал и на меня прикладом. Пол-уха мне оторвал, но я его все-таки прикончил, а помполит — того, все-таки молодец, сзади кокнул. Жрать хочется! — а они как раз лепешку ели. Я лепешку разламываю, а она в мозгу перепачкалась, темно, так я пачканую помполиту, а сухую — себе. Ничего, не заметил. Потом еще до утра оба ползали: я затвор потерял, когда прикладом-то махал. Так и не нашел. Потом я на китайский заменил, он подходит, номер мне ребята перебили». «Так вам за это героя дали?» — спрашиваю. «Не, не за это, да и не дали, а только представили. Там сто шестьдесят убитых надо было, а у меня только сто двадцать девять. Помполит, тот, про которого я раньше рассказывал, представление на героя заполнял, округлил. Ничего, посмеялся, Родина простит. Но нас двое было, а звезда одна. Мне Боевого Красного Знамени дали. Вот она, редакторша ваша, не поверила, что я утопленника откачал, я это отметил, между прочим, он уже совсем был; я, главное, удочку закинул, смотрю, какой-то розовый пузырь на воде, а это его спина оказалась, он горбом, как поплавок, всплыл. Ну, я вытащил — спина сухая, теплая от солнца, а сам холодный. Я зову, кто откачивать умеет, а они сначала все столпились, а как позвал, и все разошлись, «скорую» вызывать. Какая «скорая»! Я пробую искусственное дыхание, толком не знаю, как. Куда там! Тут я и вспомнил про медсестру, в книжке. А он, наверное, выпил перед тем как следует. Так это все рот в рот, с блевотиной. Часа два над ним бился. Сам не поверил, когда он очухался. Тут и «скорая» подкатила. Стали выяснять, кто да что, а я нахлебался, я задами, огородами, как Котовский, удочки-то смотал, какая рыбалка! Вот я ему, корреспонденту нашему, только и проговорился про то, что все всю ночь его лошадиные зубы мерещились. Что тут? А он расписал. Вы бы лучше про наши детдома написали. Ведь какая нищета, ужас! Я с шефским у них был, так поверите ли, они потом, после выступления, в очередь выстроились потрогать, чтобы только... к руке прикоснуться, — и отойдут, а там следующий...» Майор отвернулся.

Я думал, слезу смахнуть, а он привстал. «Извините», — говорит и прямо к громкоговорителю. Развязал узел на шнуре и обратно сел, успокоенный: мол, теперь порядок. «Ну вот и все, — говорит. — Ничего я вам такого не сказал. Ничего секретного. Только про дату, что на день все раньше началось, чем сообщали... но это и не такой уж секрет».

Вышли мы вместе, я посмотрел с презрением на поджидавшую нас редакторшу, и молча мы так мимо нее прошли. Прошли, прошли на улицу, там меня все это время ждал, и все еще ждал, — Дрюня-Дрюнечка, дружок мой ситничек, святой человек: имел принцип похмеляться с кем выпил вчера, тем же, что пил вчера, и столько же... втроем повернули за угол на бульвары, к «Наденьке», там еще тогда разливали. Выпили по стакану, Дрюня еще поспорил, кто за кого платить будет. Майор и заплатил, телефончиками обменялись.

Сама жизнь подавала мне пример: Глаз, Язон, Афган... Надо было побороться с собой, чтобы убедиться, что перед тобой именно то, что кажется, а не то, что есть. Бороться! Совершить положительные усилия независимо от возможности реализации. Я откликнулся. Я поднимался в шоферы везти одного монаха по владимирским проселкам. Сдал кота соседке-певнице. Мы осматривали мерзость запустения разрушенных храмов и сокрушались сами.

Монах был старец лет тридцати. Его мудрость и зрелость равнялись разве что его неопытности. Он годился мне в отцы и сыновья. Как теленок, бегал он по линзам владимирских лугов, собирая на рясу всю пыльцу, а цветов было видимо-невидимо!.. Я сопровождал молча. Ему хотелось меня спросить, но он не мог. Он хотел, чтобы я его спросил, — я не знаю, что. «Вот, — наконец собрался я с духом, — в Творца верую, в Христа верую, в Деву Марию — верую, а вот в дьявола никак не могу поверить, что он на самом деле...» «Во что же вы тогда веруете! — возмутился монах. — Весь воздух кишит ими!» Он выразительно широко взмахнул, описав круг, и зашагал широкими шагами прочь от меня по луку. Он удалялся быстро, и вдруг я впервые отметил, что он никак не исказил нетраченную красоту владимирского луга! Монах — вот человек пейзажа! С умилением провожал я взглядом его легко вписывающуюся в пейзаж пирамидку. Под рясой не было видно двуногости... Неужели в этом и было все дело! «Освящается сия колесница!» — рек он, когда мы благополучно прибыли. Автомобиль был освящен, и я почувствовал, как повеяло дымком и гарью, уж не иначе как от меня, когда усаживался ехать домой...

Меня у дома уже новый гость поджидал. На своем «Запорожце». Прямо из Мурманска.

«Мало у нас горя, чтобы ты еще не пил», — говорит мурманчанину Дрюня. Но тот не пьет и не курит. И еще, как постепенно мы догадались. Не то что можно в таких случаях подумать, а как раз наоборот. Белоснежный воротничок, на брюках бритвенная складочка, вольный пуловер так и спадает с плеч, аккуратнейший в искорках седины бобр, худощав, складен, пластичен, а уж выбрит! Кожа... какая-то особенная кожа, на поколение самого моложе, шпарит наизусть Кузмина. Как он такой из своего «Запорожца» вылез?.. Не пьет, так пусть хоть за бутылкой сгоняет. Так он города не знает. Дрюня вызвался показать с готовностью, так у него места в машине нет: все скарбом забито и даже переднее сиденье снято. Мы не поверили, вышли посмотреть: и действительно, вся машина занята книгами и выгнуженными рубашками. «Все мое вожу с собой?» — спрашиваю. Он снисходит к моей шутке. Оказывается — бич, оказывается — бомж. Машина, выходит, есть, а прописки нет. Отбичевал лето, к зиме на юга подался, естественно, через Москву, естественно, через меня. Подвалила Дрюнечкина семья, гости Великого Гэтсби, друзья и знакомые Кролика: УБ, полковник ГБ в отставке, Устин Беняминович, дедушка и внучек одновременно, бабушка у него все еще была жива тем, что души в нем не чаяла; Эйнштейн, армянин, сыроед и дворник, с ним всегда хорошо поспорить на тему, является ли водка сырым продуктом; и сам Салтыков с песней, из тех самых Салтыковых, из которых Салтычиха, а не из тех, что сатирики и Щедрины. Он так и входит, громко распевая:

Так по камешку, по кирпичику  
Растащили мы этот завод!..

Затем дева юная явилась спасать меня от другой, которая явилась как раз за минуту до нее. Не разделявший наше общество мурманчанин отвел меня для разговора один на один из кухни в комнату и — не сразу то, что все сразу подумали, а чтобы я тут же, при нем же, читал его рукопись, правда небольшую. В оценке Набокова мы сошлись. Тут я отдал ему должное. В оценке же его текста я не оправдал, не прошел, так сказать, его экзаменацию. Тет-а-тета не получилось. И он не мог скрыть легкой гримасы отвращения, когда снова вдохнул весь наш смрад. Девушки плакали на плече Салтыкова.

Не говори с водою о любви!  
Ей не до нас, она бежит по трубам...

Вода — это были, конечно же, они; о трубах ни слова.

Появился и Зябликов, Павел Петрович в своем роде, редкий гость, и всех тут же споил. Он выкурил всю траву у буддистов, выпил все церковное вино у православных и теперь превзошел себя как экстрасенс. И правда, сила

убеждения у него была колоссальная. «У тебя обязательно где-то есть клоп, я чую...» Тараканы — да, но я гордился, что клопов у меня не было. «Ты что, не знаешь, что такое клоп?» Клопом оказалось прослушивающее устройство. Зябликов прикрыл глаза и стал пассировать руками. «Здесь», — определил он, ткнув в решетку вентиляции. «А ты знаешь как сделай?» Я еще не знал. «Ты решетку отдери... У тебя какая-нибудь пика есть?» (Только бубна. Шутка не прошла.) «Ну, кочерга... Ты... — наставлял он, — решетку сдери, возьми пику, туда ка-ак... — Он сделал зверское выражение лица. — Хрясь! Проколи его». И он вонзил незримую пику и стал похож на Георгия Победоносца, даже что-то грузинское проступило в его курносом незамысловатом лице. Дрюня все и проделал, один к одному. Пики не нашлось — из изуродованной отдушины торчал обломок единственной моей швабры.

Девочки, так и не поделив, ушли с Салтыковым и Зябликовым, в полном согласии. И остались мы, как всегда, один на один с Дрюнечкой. Он как раз взял тосты произносить, а это надолго. Я это терпел, потому что он утверждал, что я гений, а его трудно было переспорить. «Вся беда наша, — вдохновлялся он, — что совершенно нету Сальери!» «Ну да, — сказала та, что все-таки вернулась, — а Моцартов у нас хоть жопой ешь». Мы очень смеялись.

ОН обижал — я обижался. В глазах двоилось. Девочка оказалась дамой, бывшей женой. Дрюня был рыцарь. Он не мог потерпеть с ней такого обращения. «А что в портфеле? В портфеле-то что? А ничего. Пуст портфельчик-то!» Гнев ошпарил меня. И был это уже не Дрюня, а Сергуня, друг наш общий и ситный, кто посмел мне сказать такое.

Рубашку ОН порвал на Сергуне, а сахарницу с рафинадом надел на голову Дрюнечки. Оба прыгали вокруг в стойке Кассиуса Клея, но так и не ударили, щадя национальное достояние. Рафинад оказался острым. Исцарапанный и не стоящий на ногах Дрюня был сопровожден презиравшей меня дамой.

И я остался наконец один. Один, один! Один во всей вселенной! Брошенный и никому не нужный... Добился-таки, чего добивался. За что боролся, на то и напоролся! Как все провоняло!

Я двинул в ванную комнату смывать позор... Так вот откуда воняло! В раковине лежало большое Дрюнечкино говно — это он удалялся замывать нанесенные мною рафинадные раны. Так ведь неудобно же! — восхитился я. — Высоко! на одной ноге! И унитаз рядом!

Это и был катарсис, в смысле очищение. Пока я все это замывал, меня вывернуло. О Боже!

И кто-то терся о мою ногу.

Тишка! Тиша-Тишенька!.. Дорогой ты мой! Один ты у меня... Что же я забыл о тебе, гондон я этакий! Ты же голодный у меня! Сейчас, сейчас, родной...

Вот что надо. Вот что надо-то! Надо кормить! Как просто! Надо просто кого-то кормить. И никаких вам.

Простые, тихие, осмысленные, одинокие движения старого человека. Достать из морозилки рыбу. Пустить горячую воду. Положить рыбу под воду. Сейчас, сейчас, потерпи... Нельзя тебе сырую, надо хоть чуть-чуть отварить... Вот.

Вот и хорошо, вот и славно. Хорошо одному в кровати! Книжка, кошка. Без б... Мур-мур. Где это в тебе, Тишка, помещается, что это у тебя за моторчик такой?.. *«Люди еще спали в позах вчерашней усталости. Мертвецкий сон... Будто и их настиг меч и копьё врага. Будто и они не ушли со вчерашнего поля боя. Язон замычал и замотал головой, как бык, пытаясь вытряхнуть из глазниц видение проигранной брани. Красное. Все красное. Красные волны под веками. Язон пошел к морю. Утренняя роса смыла вчерашнюю пыль с его сандалий. И море было кровь. Эксинский Понт катил свои рассветные розовые волны. Кровавый Понт!»*

Понтяра!

Я решительно погасил свет. Тишка урчал на измученной груди. По потолку бродили отсветы Казанской железной дороги, перемыкивались тепловозы, и вольно парил над уснувшей столицей незлобивый диспетчерский усиленный мегафоном мат: «Куда прешь, падла?»

Я был счастлив. Я спал.

Проснулся я от петушиного крика. Испугался. Петух откуда? А я где? Когда раздался колокольный звон, я успокоился. Может, уже?

Но раздавался на груди богатырский храп Тишки. И он-то уж был явно жив. А если он жив, то уж и я не мертв. Наверное, какое-нибудь постановление вышло, а я и не заметил, что можно в одной церкви, по большим праздникам, разок позвонить... Андроповские, поди, еще дела. Говорят, он и мужской монастырь разрешил. Много он, однако, разрешил. Вон и картошку с укропчиком можно теперь снова у поезда продавать, как после войны. И печечку разрешил поставить в садовом домике. И водочку в пятерку обратно вместил... Может, и добрый в душе человек... Что это он со мной-то так? Может, он и петухов заодно разрешил на балконах разводить?

А может, кончилось наконец все. Ни тебе корейского лайнера, ни афганского... Церкви звонят, петухи поют.

Только не так все это. Кто-то давно в дверь ломится.

Тишка обиженно мявкнул, так я вскочил. Сердце мое заколотилось от неоправданной надежды, что на этот раз это она. Та, единственная, шестая, что ушла навсегда. «Ну, Тишка, — даже сказал я, — пошли хозяйку встречать».

Сначала я увидел одни розы. Все как бы в капельках утренней росы. Опаловые, нераскрывшиеся — давно не встречал такого роскошного букета. Букет вошел стремительно, будто за ним гнались. «Вы меня не помните, но мы уже однажды виделись...» Я был польщен: все-таки розы автору — не шутка. Они не дорогого, а просто дорого стоят. Кому из секретарей или главных редакторов принесет незнакомая девушка розы?! Вот награда опалы. Опаловая награда... Тут же попросила поставить их в воду. «Конечно, конечно! такие... розы!» — я засуетился, сдирая целлофан. Она отняла букет, почти вырвала — я уступил с некоторым недоумением. Ну да, женщины всегда лучше знают, как обращаться с розами... Сейчас начнет обдирать стебли, попросит сахар, молоток, аспирин, вазу, кофе, водку, вату, халат, уйдет в ванную... В ванную она ушла, тщательно поправляя целлофан на букете, пустила в раковину воду. Вид раковины, наполненной розами, поразил меня.

Терпеть не могу людей, слишком близко подносящих свое лицо к моему. Будто они бокал. То ли они близоруки, то ли уверены в своей неотразимости, то ли у них изо рта пахнет. Почитательница оказалась писательницей, занесла свою рукопись, как раз ей было по дороге на вокзал, едет встречать (кого, не сказала), а еще час времени, решила занести. Она и Тишку подносила слишком близко к лицу. Я отобрал у нее и Тишку и рукопись, намекнул ей, что она опоздает. Это ее не смущало — смутил мой достаточно безумный взгляд, которым мы встретились в зеркале над раковиной. Знала бы она, что это был хохот! Я смотрел, как с черенков струйкой сбегала вода в ч и с т у ю раковину... Два объекта — вечер и утро — были зарифмованы в ней. Рифма была парной. Хорошо, что между строчками оказался пробел. Что было бы, если бы я бухнулся в койку как был, не умываясь, что, как правило...

Говно и розы! «Говно и розы»... Чем не роман! И все это под музыку Вивальди. Как раз моя соседка меццо-сопрано дивно ее исполняла. Это была моя единственная запись, и я без конца ее прослушивал. Как раз накануне с ней была вот такая история...

Позвонил американский профессор Маффи (что, как всегда, оказалось его именем, а не фамилией), что у него есть для меня разговор и пакет. Слово «пакет» он произнес по телефону шепотом. Пакет оказался стереосистемой, посланной моим лучшим другом Ю., недавно туда эмигрировавшим. Маффи был очень красив. Он не мог скрыть удивления перед тем, как я живу, хотя я и прибирался перед его приходом часа три. Он двигался осторожно, пытаясь не прикоснуться ни к чему, будто и стены были заразные. Даже стул он поставил посреди комнаты, чтобы ни к чему не прикоснуться. Я небрежно взглянул на систему и поблагодарил, но он настаивал продемонстрировать ее действие, будто не столько передавал, сколько продавал товар. Его как бы даже обижало, что я недооценивал значимость его, строго говоря, дара. Я же был, по-видимому, задет, что профессор был занят не своим прямым делом, то есть изучением моего творчества. Как профессиональный коммивояжер, он извлек из кармана кассету. Это была хорошая исполнительница, не Джоан

Баэз, а другая, и машина звучала отлично. Американец говорил ровным, вставным русским голосом, как немец. Он как-то хотел убедиться, что передал именно этот аппарат мне. Он хотел убедиться в том, что я понял назначение клавиш. Он делал достояточные усилия, чтобы не посмотреть то на валяющуюся рукопись, то на загулявший ботинок. Человек, как ему говорили, русский писатель, продолживший традицию, у которого вещи валяются на полу, у которого нет под рукой штопора и он выбивает пробку ударом руки, мог, конечно, пустить технику не по назначению. Нет, он вообще не пьет и не курит, профессор Маффи, у него еще один эпойнтмент... Но я его все-таки задержал. Что-то в том, как он прямо сидел посреди комнаты, поставив ноги как в таз и не касаясь широкими плечами моего воздуха, подвинуло меня... Я еще раз, более развернуто, поблагодарил и похвалил звучание. Но, сказал я, мне не с чем сравнить, у меня только одна кассета, которая я знаю как звучит. «Одна кассета?..» — некоторое недоумение в его голосе удовлетворило меня. Я знал, что делаю. «Да у меня тут, — небрежно сказал я, — соседка моя поет». «Поет?..» О, меня вполне устраивало его недоверие! Я хорошо запомнил, вот уж точно — на всю жизнь, впечатление от этого первого звука, от этого звука впервые... но это отдельная история. Сейчас этот Маффи не мог представить, что его ждет. Я ведь также еще недавно не знал... Небрежно передал я ему затертую кассету (без коробочки). Он бережно вставил ее, храня почти неудовольствие на лице...

О, есть, конечно, замечательные певцы... Но случается раз в жизни и восторг встречи с божеством! Кассета открывалась «Арией» Вивальди.

Спору нет, и машину мне прислал мой заморский друг Ю. отличную. Маффи, он тут же мне стал как-то роднее и ближе, так и не успел переменить выражение на лице — оно застыло в mine неудовольствия, застигнутое врасплох. Именно это имел в виду великий слепец... кстати о слепце... но и о нем потом. И именно что к матче себя надо привязать, чтобы не улететь влед за голосом. Одиссей, сирены, дальше был Шуберт — Маффи перевел дыхание. Обвел взглядом комнату, где оказался. «Соседка?..» — надо было его слышать: такое меццо... какие палаццо, какие Ниццы, какое, где и ему никогда не бывать, подложил он под образ этого голоса? «Ну да, — невзначай обронил я, — этажом выше. Ну там соль, спички...» «Соседка!» — воскликнул он, поспешно собираясь, возмущенный моей ложью, которая была истинной правдой. Я ликовал — «у советских собственная гордость».

Рассказать ли мне сейчас же о том, как это произошло и со мной впервые? О ее поводе, провинциальном меломане, оказавшемся вдрут слепцом? О трех людях, сидевших в зале? Нет, в другой раз.

И все-таки сейчас. Надо отдать должное ангелам, а не бесам. ЕГО спасали — я спасался.

Маффи можно понять. Бывают такие пробелы... Если о человеке никогда не слышал, чего он стоит? Наша информированность всякий раз исчерпана окончательным знанием всего лучшего. Некстати она мне позвонила и в тот раз, никак мне было не до нее с ее концертом... Но голос по телефону был такой властный на этот раз! Я заводился и вез, по пути выслушивая жалобы на все эти клубные концерты: хорошо — три человека будет!.. Я заранее предчувствовал всю эту вокальную жалкость. Поклонник певицы, ехавший с нами на концерт, усиливал во мне это чувство. Он был из провинции, церковный сторож. Иногда вырывался в столицу послужить и своему музыкальному кумиру... Мы прошли в общарпанный ДК с черного хода. Пройдя коридорами мимо передовиков и лозунгов, приблизились к «артистической». Вид артистки стал отрешенным и величественным — мы не могли ее больше сопровождать: ей надо было подготовиться. Мы решили тоже подготовиться и стали искать туалет. Тут некоторая странность в движениях ее рыцаря насторожила меня... Сначала он наткнулся на подоконник, потом на урну. Пьян он был, что ли? Потом прямехонько направился в женский туалет, и я еще успел его остановить. Он был слеп! — вот в чем оказалось дело! И не он, а она была его поводе. И здесь, уже в мужском, правильном сортире, справляя, услышал я... «Что это?» — спросил я с ужасом и восторгом. «Это? Виктория!» — с гордостью сказал слепец. Вся мощь неба пронизала серые стены — и это была лишь проба...



Но и ангелы не спасут!

Потому что только выходит бедный Маффи — входят двое. С общим портфелем. Такие же провинциальные, как с вокзала. Но чистенькие. В стоптаных башмаках и кривых галстучках, побрившиеся в вокзальном туалете.

Братья Гонкур? Ильф и Петров? — усмехался я, пока они искали место, как получше поставить портфель. Они оказались физики, изобретатели. Состоялся серьезный разговор. Один был как бы старше по званию, адъютант-майор, тот и говорил, а другой, помладше, приват, так сказать, лейтенант, сержант-доцент, тот все больше молчал, выразительно кивал, на портфель поглядывал, где, наверно, чертежи изобретения... Дело было вкратце вот в чем. Да, они работали в секретной лаборатории. Они не скрывают от меня, что в КГБ. Они поинтересовались в свою очередь моим образованием и, выяснив, что я не физик, объяснили, что суть их открытия, которому предстоит перевернуть основы, они объяснить мне не в силах, но принципу заключается в том, что они подошли вплотную к созданию психогенного оружия, собственно, у них уже готова модель — излучатель пучкового действия, пока, правда, маломощный. «Гиперболоид?» — спросил я. Они не уловили иронии, а криво усмехнулись: все помешались на научной фантастике, вот и вы. Инженер Гарин, инженер Гарин!.. а это всерьез, это очень опасно, то; о чем они мне сейчас, по большому доверию и секрету, сообщают. И как только они осознали опасность, они попытались тут же уйти из лаборатории. Сами понимаете, как это непросто: выйти из системы. Их преследуют. Они вынуждены прятаться. Нет, сейчас за ними точно не было хвоста, могу им верить: как-никак у них есть кое-какой опыт (горькая усмешка), как отличить топтуна от ищейки. И как же? Сразу видно. Тут они начали мне растолковывать разницу в доступной и мне форме, значительно толковее, чем сущность психмашины. «А за мной кто-нибудь следит?» А как же! Хвоста за вами, может, и нет, а топтун — вот он. И они подвели меня к окну. Не очень-то высовывайтесь... Вон там, у «Рыбы», в лыжной шапочке, видите? Я, кажется, узнал этого ханурика: он и впрямь топтался, было холодно. «Почему же это у вас хвост, а у меня всего лишь топтун?..» — обиделся я. Все это начинало доставлять мне удовольствие. «Ну, вы себя с нами не сравнивайте! — у нас мировое открытие оборонного значения, а вы писатель...» «Всего лишь» они проглотили, вовремя осознав неловкость. «Но у вас обширные связи с мировой общественностью, — улестили они меня обратно, — вот почему мы тут...» Суть их дела вкратце сводилась к следующему: я должен был всколыхнуть общественность, подвигнуть ее на обращение, предупреждение миру о грозящей ему опасности, привлечь мировое внимание к проблеме. Я на попятный: с чего вы взяли, что у меня обширные мировые связи... Ну, они опять усмехнулись, в том смысле, чтоб я не скромничал, ну да, от меня только что вышел Маффи... Пока они еще умудряются скрываться, ночуем в разных домах и городах, пели они, но так долго не продлится: кольцо сжимается, им не уйти... А когда формула окажется в их руках!.. представляете, что тогда произойдет. В общем-то, как они ни иронизировали над научной фантастикой, сценарий их мало отличался от «Гиперболоида инженера Гарина» — как раз только что прошел сериал по телевизору. Все-таки могучая вещь в России — литература! Сколько шизиков оплодотворил один Алексей Николаевич Толстой, граф наш советский... И вот опять вопрос: шизики или провокаторы! Нет ответа. Вот Глаз по всем параметрам был провокатор, а оказался выдающимся персонажем... Ну, эти-то никак не выдающиеся... Если это профессионалы, то обидно, право, за наше родное Чека... Или они меня ни в грош не ставят, что самых заваливающих подослали?.. еще обидней. Тогда все-таки просто шизики — опять услуга вражбых «голосов». Шизики ведь не только телевизор смотрят, но и «голоса» слушают. Враги нам тоже «маньки» подбрасывают. Что они, на пару, что ли, работают, враги и Чека? Чтобы всех нас с ума свести?.. Ведомство-то, что ни говори, одно. То есть ведомства-то разные, что ни говори, профессия — одна. Так кого же они сводят с ума: этих вот двоих или все-таки меня? «Все-таки вы недооцениваете себе масштабов угрозы... — говорят они. — Представьте,

что эту психопушку наводят не на армию, не на соседнее государство... до таких мощностей нам еще далеко, хотя и это будет, а наводят ее прямехонько на вас — и такая установка у нас уже есть, лабораторная пока модель, но на двадцать метров она уже точно берет». Говорят они и обводят взглядом мою кухню, в которой и десяти-то метров, причем квадратных, нет, и тут их взгляд останавливается на швабре, которая так и торчит из отдушины... И тут они ее как бы не замечают, но с новым воодушевлением начинают описывать воздействие на меня наведенной пушки: два дня облучения — и полный паралич воли и разрушение личности. Какая воля, какая личность... Знали бы вы... Это только вам, в отделе вашем, кажется. Одни вы, выходит, меня и признаете. И то спасибо. Знали бы вы... то захлопнули бы папку с делом моим и отбросили бы, как ненужную ветошь. Представление о тусклом чиновнике, единственном, быть может, на свете человеке, заинтересованном в моей личности, в ее значительности и даже силе, обдумывающем стратегию борьбы со мной, подсылающем мне провокаторов и наводящем на меня первый в мире опытный экземпляр психопушки... Подумаешь, что есть у человека? Жена, дети, друзья, призвание — так ничего этого нет, а вот только и есть что гражданин следователь, про которого я-то совсем ничего не знаю, а он про меня... самый заинтересованный во мне гражданин! Вот он один, да еще котеночек прибудненький — вот что у меня осталось! Что это со мной? Похмелье или пушку таки навели?

Тут появляется Тишка и выводит следователя на чистую воду. Бочком так, бочком, выгнув под острым углом тощую свою спинку, грозно оскалившись и шипя, приблизился он к их громоздкому портфелю, как к зверю дикому, — вот-вот растерзает! Нежностью и смехом переполнил он сердце мое, а ихнее, двойное, тревогой и беспокойством. Взгляд их стал блуждать и речь заплетаться, ну в точь как если распознаешь черта во сне за личиною близкого друга или родственника да перекрестишь его во сне же, точно так же их стало вдруг кособочить и перекашивать... Отвага нарастала в крошечном Тишкином тельце, ибо враг, с тупым выражением замков на лице, явно трусил. Тишка наскочил и отпрянул, выжидая, — ни признака жизни! А если замереть надолго и неподвижно, то что-то там будто живет внутри... Мышь! Мышь, точно, жила внутри портфеля. Не такой мой Тишка дурак, чтобы неживое за живое принимать! Маг! как я сразу не догадался, когда они портфель так заботливо определяли!.. Ай да Тишкин, ай да сукин сын! Похмелил ты душу мою!

Тут я поднялся и пресс-конференцию стал сворачивать. Пореккомендовал им обратиться лучше к ДД, пишущему о науке: у него и авторитет, и сила, а я что, я человек маленький, никаких таких связей у меня нет, и пушку, такую дорогую, нацеливать на меня нерентабельно. «Что же вы, разве не знаете, что он как раз у нас и сотрудничает!» — попробовали они новый прием. «Вот никогда бы не подумал... Самый что ни на есть либерал — и сотрудник?! Да быть того не может!» Может, может. «Спасибо, что предупредили». Зря вы, однако, так, сказали они, подбирая с двух сторон свой подслушивающий портфель и шуганув героического Тишку. Вы что же, думаете, вас так прослушивают? — и они кивнули на мою швабру. Тогда вы уже готовы. «В каком, простите, смысле?» В смысле поехали. «Знаете что...» — грозно сказал я. Мы-то, наивный вы человек, знаем. Да вам просто гвоздь в стенку забьют и будут ночью на дежурстве смотреть. Презабавная вещь, как интеллигенция в постели кувырдается...

Швабру я в сердцах вынул, а гвоздя, как ни искал, не нашел.

Пахло рыбой, говном и розами.

Господи! что вам всем от меня нужно? Что я, сладкий, что ли? Разве не видно, что меня уже и нет никакого совсем? Или как раз запах падали влечет? Агония привлекает? Жизненную силу последнюю ухватить хотите? Растащить по норкам мои ниточки? Чего именно я вам недодал? А что ты такого дал, что жмешься?.. Ничего ты, по сути, никому не дал. Только разочаровал всех. Лекарство брату? Так не лекарство было ему нужно, и правильно жена его таблетки в помойку выбросила: не пригодилось оно, не помогло. Глазу был нужен миллион, он даже готов был половину отдать — не дал ты ему

миллиона. Голубому бомжу признание его рассказа хотелось или еще чего? не дал ты ему ни того, ни другого. Провокаторам твое согласие сотрудничать требовалось — ты и на это не пошел. Роман, говоришь, пишешь?.. Да одному Дрюнечке твой роман и нужен — так ты даже ему его не написал. Пуст ведь портфельчик-то? а? За что же иначе ты его сахарницей-то? Ну ладно, согласен, не дал я им того, что от меня хотели... а они мне что дали?! А ты что хотел? Да ничего я от них не хотел!! Вот видишь. А они хотели — вот они себя и дали. А я и не просил. Ты не просил, а они дали. А я... а я им... я им себя не давал?! Не давал, ты себя предоставлял. Что же теперь-то возмущен, что они пользовались? А кто ты есть? кто ты такой есть, чтобы... Кто ты без них-то есть, без войска своего кривого? Не любишь ты меня, вот что. Как же не люблю, дорогая? Никого ты не любишь. Я!.. не люблю?.. И маму — где твоя мама? И дети... где твои дети? Ну, ударь меня, попробуй только ударь. Ударь меня, милый, хоть ударь... Ну как же это я не люблю? что ты говоришь такое? как же это я тебя не люблю? когда я так, та-ак, так сильно тебя люблю, что и не знаю уже что... ну, отчего же я тогда сильно так погибаю, если так уж, как ты говоришь, ничего не чувствую?.. Тишенька мой, Тиша ты, ты Тиша, ну что это *ОН* такое мелет...

Я целовал Тишку в его заострившуюся от недоумения мордочку — в руках его совсем мало оставалось, одна шерстка и была, а там, внутри, всего-то комочек не больше нашего сердца... Только вдруг взгляд Тишкин заоловянился, расцарапав меня, рванулся он из моих рук, упал на пол и забился на боку, перебирая лапами, будто помчался в ином измерении в неведомое пространство. Долго носило его по моему заплыванному линолеуму, по какой-то сумасшедшей элоквенте: по кругу и вперед и снова по кругу... Оказался он в конце концов в противоположном углу комнаты, под шкафом, с которого во сне падал Наполеон. Тиша, Тишенька, что с тобой? Он был, однако, жив. Он был весь мокрый, втрое меньше себя, но бок его вздымался, он дышал.

Я позвонил ей. «Тиша», — сказал я. Она приехала тут же, будто под дверью стояла. Тиша, однако, успел совсем оклематься и презабавнейшим образом разыгрывал мышь из моего засохшего комом носового платка. Вышло, что я нагнал только для того, чтобы ее вызвонить. Но это, оказалось, ее как раз и устроило. Таким образом, это устроило нас обоих. Обошлось без выяснений. Не могу вспомнить, как потом все-таки случилось, что я оказался-таки виноват, заманив ее Тишкой.

Но только она хлопнула дверью, а может, и не только, а через час, а может, и на следующий день — ничего не помню — помню только, что Тишка опять бьется в своей падучей, как Достоевский. Я звонил ей, она бросала трубку. Я звонил, кому мог, выясняя, бывает ли у котов эпилепсия. Звонил, между прочим, и Зябликову, великому знатоку животных. У котов, сказал он, все как у людей, разве что похмелья не бывает: есть ли у меня опохмелиться? У меня не было, у меня вообще ни копейки не было. Выручила, как всегда, меццо-сопрано: сказала, что это глисты, написала, как их выводить, и денег дала.

Ничего не помню. Будто бы сначала даже полегчало и появилась надежда, и даже глисты вышли. Все время я ходил с тряпкой и намывал. Никогда в жизни пол не бывал таким чистым. Но припадки учащались и удлинялись, смотреть на это было невозможно. Кто хоть раз в жизни жил лет сорок пять при советской власти, тот знает. Тот знает, как приезжает неотложка. Тем более ветеринарная. Я бросался с тряпкой открывать дверь, но это был Глаз с рукописью, он самолично относил свой портфель в Хаммер-центр (как его пропустили! но пропустили...), там предлагал свой роман итальянцам за соседним столиком, уже всего за сто тысяч, его, конечно, замели, но он успел спулить записную книжку, а бумажку с моим телефоном проглотил, и его выпустили. Ну, Дрюня с Салтыком, те, почитай, и не выходили; девушка, что была когда-то с розами, решительно забрала назад свою рукопись; бомж на «Запорожье» забыл что-то еще у меня спросить; позвонил из Баку ассистент режиссера, которого я не так давно встретил случайно в Сухуме, предлагал немедленно вылететь для исполнения одной из центральных ролей... нет, не «Дама с собачкой», сценарий кардинально переписан, действие происходит в Средней Азии во время войны... да, можно сказать, что своеобразное

ретро... нет, режиссер и помыслить не может никого другого на эту роль, он извиняется, что не мог позвонить сам, он как раз снимает песчаную бурю... нет, конечно, Баку не в Средней Азии, но это же кино, сами знаете... нет, он вас видел, и ему необходима благородная внешность... не смейтесь, это его слова, что вы необыкновенно облагородились внешне с тех пор, как он вас не видел... вы ему напомнили молодого Нейгауза... нет, конечно, он не может его помнить по возрасту, и мы знаем, что вы не актер... но мы вам заплатим по высшей ставке...

Тиша опять пошел выписывать свои круги, пена запузырилась у него из пасти, оставляя влажную математическую кривую... Что тут было делать? Припадки падучей сменялись сексуальным помешательством, он трахал все подряд, одеяла, подушки, полотенца, стулья, портфели, рукописи, пустые бутылки, пепельницы, туфли, зонтики, самих гостей. Наверно, все они тогда и пришли, когда я не помню. И эти двое с психопушкой... а что, может, и впрямь меня уже опытно облучают и знай увеличивают дозу, удивляясь еще моей крепости, а вот на бедного Тишу лучи эти сразу оказали губительное действие. Ни разу никто не сходил на моих глазах с ума так наглядно. И все дают советы! Страна советов друг другу, как говаривал Ю., приславший мне магнитофон, который Тишка тут же весь затрахал. Американский профессор, Маффи, кажется, так его звали, тот прямо бежал, бросив магнитофон... Что, нельзя вызвать ветеринара в этой стране? Вызвать-то можно... Съесть-то он съест... И впрямь, почему это у нас еще слоны не дохнут?.. Богатая, не говори, страна... Татарбаев, тот сказал, что кошек в космос никак нельзя запустать. Они все шизые. Только собачек... «Только собачек», — говорил космонавт Татарбаев, сидя у меня на кухне и потирая для стойкости свои генеральские лампасы. Не иначе как привел его ко мне афганский майор. Разлили по новой — Татарбаев все продолжал свой рассказ про коньячный огурец. «Знаете ли вы, что такое коньячный огурец? Нет, вы не знаете, что такое коньячный огурец! Фляжка была сделана из фольги, основной вес составляла завинчивающаяся пробка. Фляжку спрятали под панель одного из приборов, при взвешивании ракета оказалась тяжелее на полтора кило, но фляжку не обнаружили, пришлось размонтировать один экспериментальный прибор... так уже в космосе, когда фляжку-то отвинтил, она сделала «блямп», а там же, сами понимаете, невесомость, и в воздухе повисла одна большая коньячная капля, точно огурец, пришлось его прямо в воздухе по капле весь изловить...»

Потом Татарбаев исчез. Следом пропал Тишка.

Наконец приехала «скорая». Татарбаева как не бывало. На вопрос, бывает ли у кошек эпилепсия, пожали плечами, предложили усыпить. Я ни в какую, но тут исчез сам Тишка. Он давно уже подкарауливал у дверей, пытаясь улизнуть при любой возможности. Он хотел еще успеть пожить как взрослый кот: попеть, посмотреть... Преждевременность его развития доказывала смертельность болезни. Я отлавливал его на лестничной площадке, в чужих подъездах и подвалах. Он смотрел на меня оловянным, не желающим меня узнавать взором — взглядом сына, отбившегося от рук; он мне этого не прощал. В его нежелании идти домой было отчаяние решения, не только безумие. Наконец он исчез окончательно.

Господи, что я за человек такой, что со мной ни одна тварь ужиться не может! Вся моя жизнь утончилась и уточнилась и начала происходить. Она пришла сама: как я посмел ничего ей не сказать про Тишку! — мы искали вдвоем. К нам присоединился Зябликов. «Я тебе сразу сказал, что это чумка, — сказал Зябликов, — он подволакивал ноги?» У нее с Зябликовым установилось взаимопонимание. Это всегда можно заметить, когда ее движения становятся чуть более пластичными, а взгляд на долю секунды более внимательным. Я ходил за ними по дворам, досадуя на собственную унылость и бестолковость: не мог я первым сообразить, что именно в этом подъезде мы еще не были и что тут еще один подвал есть.

Отогревались — она варила глинтвейн. Зябликов, тот мог пить что угодно, любую аптеку. Однажды он выпил дозу дезинсектала, достаточную для уничтожения вредителей на площади в половину гектара. Почему же именно в половину? — возмутился я. «У нас больших участков не выделяют», —

доказал правоту Зябликов. И правда, он никогда не врал. Такому, как Зябликов, врать не имело смысла. Я ему уступал. Что у меня было, кроме благородной внешности? Я ее понимал.

Нашел Тишку, однако, я. Лучше бы я его не находил! Что-то было бы в том, чтобы он пропал без вести, пав участью боевого кота, а не злосчастливого советского животного. У него были перебиты хвост и лапы, и с первого взгляда было видно, что он не жилец. Он, однако, царапался и вырывался, не желая себе никаких улучшений. Она увидела его у меня на руках — я тут же и был виноват в его таком бедственном состоянии. Так я его держал, как свою вину... Держи его Зябликов — был бы героем, что нашел. Найди его она, то это была бы именно она: нашедшая его! А я и держать-то его на руках не умел...

Однако и машину надо было завести мне, и рулить мне. Потому что машина была у меня, а кот у нее. Он лежал у нее на раменах, как у богородицы. Машина моя уже месяц как не заводилась. Она напоминала хозяйна, как собака. Так, говорят, что с возрастом они становятся похожи. Крылья у нее были, как у бабочки, так осыпались. Дырки я, по чьему-то наущению, подклеил выброшенными капроновыми колготками, в цвет. Коллегия шоферов, созданная тут же на улице Зябликовым, ковырялась у меня в моторе. Потом мы ее толкали всей улицей. Потом никого не было. Уже стемнело, когда она завелась сама ни с того ни с сего. Главное было теперь не глушить двигатель и не тормозить, потому что тормоза тоже не действовали. «Смотри, — сказал Зябликов, показывая на мой задний номер, — клоп!» Впервые я видел клопа, одну из его разновидностей. Зябликов все про это знал. «Твой тихарь помогал нам заводить, я видел». Это была такая круглая серая блямба на магните. Она была приспособлена над номером. Я снял ее и повертел. А где микрофон? «Это передатчик, жопа!» — сказал Зябликов. Я приклеил ее на то же место, и мы поехали.

Как раз все ветлечебницы уже были закрыты. Мы искали все более круглослучточную, пересекая столицу из конца в конец. Господи! что это был за город... Только настоящая беда проведет вас по таким закоулкам. Место нашей жизни было указано. Раскисшие дворы и склизкие полуподвалы. Последняя тетка, шваркающая шваброй в освещенном проеме: «Как раз опоздали, голубчики, как раз только доктор ушел, а что у вас, котик?» Богоугодное как-никак заведение.

Я был уверен, что это Зябликов мне клопа прилепил. Оказалось, и тут нет. В первом же дворе за нами сразу объявилась милиция. Сначала один как бы невзначай прошел мимо, оглядывая машину, но мы стояли рядом, и он не подошел. Потом другой, стоило нам отойти. Зябликов опять первым сообщил: снял клопа и сунул в карман. «Я тебе докажу», — сказал он.

Так мы и катались: снимали клопа, когда останавливались, и снова ставили, когда трогались. И каждый раз из-под тротуара появлялся постовой, будто просто так: на нас не смотрел, будто даже посвистывал и на небо поглядывал. Мы обсуждали. Выходило так: они заметили, что мы заметили, и теперь их основная задача — ликвидировать секретную улику. Это поважнее, чем следить за тобой: кому ты, на ..., нужен?

Так мы и катили. Чулок выбился из дырки в крыле и развевался, как посольский флажок. «Это когда в машине сам посол, — разъяснял Зябликов, — а если без посла, то шофер не имеет права... Машина посла экстерриториальна. Находясь внутри, вы как в посольстве, на территории своего государства».

Наша машина была экстерриториальна: ГАИ нас не останавливала, а только будто провожала взором и уходила в будку звонить по телефону. Нас, выходит, сопровождали. «Смотри, смотри!» — тыкал Зябликов в заднее стекло: там откровенно ехала черная «Волга», вся в фонарях и антеннах, со всеми примочками.

Так мы и катали Тишку — с флагом и сопровождением.

Нас это развлекало и позволяло пережить. Мы очень смеялись. Все-таки она понимала в котах: Тишка у нее спал и больше не бился. «Это сблизает», — сказал Зябликов.

Это нас и разъединило. Мы закопали его у насыпи Казанской железной дороги и именно тогда позабыли вовремя положить клопа в карман — он

исчез. «Этого им и было надо, — зло сказал Зябликов. — Что ж ты прошляпил... Такая улика!»

И она ушла, не сказав ничего на прощанье, не подымая глаз.

Остались мы с Зябликовым один на один. «У тебя хоть выпить осталось?» — Зябликов вдруг взглянул на меня тем внимательным взглядом, из которого исчезла насмешка, и, вздохнув, будто с чем-то смирившись, пошел за мной, хотя у меня не оставалось. «Почему-то на похоронах всегда зверский аппетит. Недаром поминки...» Он рыскал в поисках одеколона, бадузана, экстракта хинной коры, любого эликсира, зубной пасты, даже ваксы — у меня ничего не было, но он нашел и стал варить суп из пакетика. Я предупредил, что это еще от прошлого жильца, а я вселился вот уже как несколько лет... Но Зябликов был славен своим гастрономическим бесстрашием. «Это что... Я однажды съел яйцо дракона, которому было несколько миллионов лет...» «Яйцу или дракону?» — я был тронут его внимательностью. «Конечно, яйцу! — обрадовался он. — Дракон был бы еще на несколько лет старше. Ну, бронтозавр. В Таджикистане. Я нашабился дури — жрать захотел жутко. Отправился на рынок, купил сразу сто яиц. Поставил их все варить и уснул. Просыпаюсь дурной, но уже без аппетита. А у меня сто яиц, уже крутых. Я, в ступоре, их все очистил и слепил один огромный желток, а сверху, подумал — и соответственно облепил уже белком. Положил на большое блюдо для плова. Что делать? — думаю. Позвонил в местную Академию наук. Так и так, говорю, нашел целое яйцо бронтозавра, найдется у меня. Примчался весь президиум, в тубетейках, в халатах, а поверх — ордена и медали. Сели вокруг блюда по-турецки, стали думать, про Москву рассуждать. Послали наконец за водкой. А я им в водку — дури. Забалдели аксакалы, аппетит опять зверский, они от задумчивости все яйцо и съели. Просыпаются: где яйцо? Будят меня. Не знаю, говорю, я сразу уснул... а вам его под вашу ответственность оставил. Не знаю, говорю, что теперь будет. При упоминании Москвы их как ветром сдуло...»

Не развеселила меня эта история. «Как ты думаешь, *Как грустна наша Россия* — это Пушкин сказал или Гоголь придумал?» «А ... его знает! — в сердцах сказал Зябликов. — Мертвых не умею вызывать, а с живым могу устроить встречу. С кем хочешь». Не понял я, что он имеет в виду. А имел он в виду то, что встреча моя могла состояться не только с человеком, находящимся в пределах, но и с недосыгаемым, как одна моя заморская подруга, видеть которую мне страстно хотелось именно тогда, когда одиночество становилось качественно полным. Зябликов, конечно, был проницательным человеком, достаточно, впрочем, посвященным в мою биографию. Не знаю, чего тут было больше — моего неверия в то, что он осуществит такую встречу, или моего нежелания никого видеть. Однажды он уже лечил меня насильно от головной боли. У меня есть достоинство: она никогда не болит (у меня там кость, как в анекдоте). Так он мне так ее накрутил, что сутки не мог избавиться от острейшей мигрени. И я подчинился. Мне все было легче, чем как-нибудь.

«Ну, — сказал он властно, усаживая меня на кожаный потертый диван и усаживаясь сам справа. — Где она?» «Не знаю». Это затруднило задачу. Он взял меня за правую руку, нащупал пульс. «Закрой глаза». Я закрыл. «Думай!» Я не мог думать. «Что видишь?» Я ничего не видел. Мне не хотелось ему врать.

Странная это была помесь полного недоверия к экстрасенсизму и желания быть предельно честным в эксперименте... «Ну! — Он зло сжал мне пульс. — Не сопротивляйся!» Ничего, кроме потертого же, как диван, пианино, которое стояло напротив и на которое я с удивлением смотрел перед тем, как глаза закрыть, у меня перед глазами не было. Пианино застряло под веками, будто я глаз не закрывал. Оттенок его черноты напоминал воду. Воду в речке Фонтанке, на которую выходили окна моей школы. Так же смотрел я в окно на эту воду, не слушая бубнения учителя, как сейчас смотрел на пианино и не слышал Зябликова... Я смотрел на воду из классного окна и думал, что это венецианское окно, имея в виду стекло. «Где ты?» — донесся до меня издали голос Зябликова. «В Венеции», — усмехнулся я. «Ты знаешь адрес?» «Нет, откуда?» «Так спроси!» «Кого?» «Любого». «Их много». «Первого

встречного! — Он сжимал мой пульс с нетерпением. — Ну что же ты!» «Неудобно как-то... Да я и языка не знаю». «Спрашивай по-русски!» — приказал он. «Не получается». Я чувствовал вину. «Садись в гондолу!» «А что я ему скажу?» «Пусть везет куда захочет, это все равно». «Ну? — услышал я нетерпеливый оклик. — Что?» «Пльвем...» «Скажи, чтоб причалил». Лодка ткнулась о три ступеньки, плескавшись в воде. Школа была напротив. Я ступил на берег у обшарпанного палатца. «Входи!» — слышал я будто из лодки. «Странно, здесь нет входа...» «Входи со двора! Ну?.. Есть вход?» «Есть...» Голос мой достиг меня со стороны, слабый от расстояния. «Входи!» «Да тут только лестница и маленькая дверка...» «Отворяй дверцу!» «Да тут только метлы какие-то, совки...» «Совки... — Нескрываемое презрение звучало в ухе. — Тьфу! Подымайся же!» «Тут две двери... Я не знаю, какая...» «Толкай любую! Ну? видишь кого?» Это была довольно сумрачная и неприбранная, холостяцкого вида пустоватая комната, у скошенного окна помещался канцелярский стол и такой же стул. Никого. «Никого. Это не та квартира...» «Там же еще комнаты есть!.. войди в следующую... Ну?» Кто-то шархнулся от меня. В сумерках я не сразу распознал лицо. Вот уж кого я никак не ожидал увидеть! «Здесь мой брат, — сказал я. — Он испуган». «Это нормально, — услышал я удовлетворенный голос. — Тонкие тела всегда путаются. Спроси, может, у него есть выпить...» Брат мой смущенно заправил неприбранную постель, на которой спал, по-видимому не раздеваясь, и обрадованно достал бутылку из холодильника. Он поспешно прикрыл его. Я успел заметить, что в остальном холодильник был пуст. «Ну, есть у него что-нибудь?» «Есть, виски». «Сколько?» «Чуть меньше полбутылки». «Это уже хорошо... Разливай-те скорее!» Брат засуетился, принес два стакана, наскоро и плохо помытых. Насколько он был напуган моим внезапным появлением, настолько он был рад этому временному выходу из положения. Торопливо разлил, рука его дрожала. «Ну, чин!» — сказал он, и это было первое, что он сказал, и жадно выпил. «Ну, — донеслось до меня с того берега, — ты выпил?» В задумчивости я все еще крутил стакан в своей руке. «Он выпил, а я еще нет», — докладывал я. «Ну что же ты?! Давай скорее! Хлопни... хлопни... хлопни!» — эхом донеслось до меня, будто он сложил ладошки рупором и кричал через реку. Я наконец решился. «Хлопнул», — сказал я. «Ка-й-й-ф...» — громкий шепот прозвучал прямо в ухе, и с руки будто сняли наручник... «Говори теперь с ним о чем хочешь... Я не слушаю». Я растерялся, я не знал, как и о чем его спросить. Мне было его почему-то непереносимо жаль. Непоправимость — вот слово. Как приговоренный... Когда обжалованию не подлежит. Когда ты еще и согласен с приговором. Он был в здравом уме как никогда. И это было несчастье. Нам, собственно, не о чем было говорить: все было ясно. «Зачем ты это все учудил?» — спросил я, чтобы спросить. «Они обещали меня вылечить, и я остался...» — вот все, что он ответил и улыбнулся вдруг слабой и нежной улыбкой отца. Черные волны рояля опять поплыли перед моими глазами... Я высадился, где сидел, напротив пианино... Рядом спал Зябликов, блаженно распавшийся. Я хотел его спросить, почему брат, о природе странного этого перерождения моей заморской подруги из женщины в мужчину. Зябликова было не добудиться. Я заботливо закинул его ноги на диван и укрыл пледом. Плед почему-то был отцовский, который он накидывал себе на зябкие плечи перед смертью.

Все это было не отсюда. И плед, и пианино, и диван... Откуда у меня пианино? Пианино было из квартиры Зябликова, в которой я тогда еще не бывал. Значит, это не тогда. Это потом было. Но плед-то был еще задолго до этого??.

Про кота я тут же навсегда забыл. Он не помещался ни в прошлом, ни в будущем. Никто не заметил: сначала он был только жив, потом он был более жив, чем мертв, потом более мертв, чем жив, потом только мертв... — никто не заметил. Сильные чувства чем хороши — от них устаешь. После этого я не мог жить один.

Господи! как хорошо иметь надежду! С каких пор мы надеждой называем отчаяние? «Это жизнь», — как сказала одна ласковая жена, вставая в доступную позу, узнав, что у мужа умер отец.

Я толкнул систему, подаренную мне заморским другом Ю. Раздал деньги женам. И уже летел в самолете, читая сценарий, в котором дал согласие сыграть пусть и не главную, но одну из центральных ролей. Холливуд из эвривэа.

## 2. Приближение О...

Холливуд из эвривэа... Через три часа я ел шашлык из бараньих яиц, запивая их чешским пивом на берегу Каспийского моря. Была ночь и ветер. Ночь была теплой, а ветер сильным. Он расшатывал жалкий дощатый ларек, создавая дополнительный уют. Снаружи была пустыня, внутри было все. Поскольку я прибыл уже затемно, я еще не знал, насколько подтвердится все на свету. Это была какая-то здешняя (восточная? мусульманская?) особенность: иметь все дома и ничего на улице. Повар с официантом играли в нарды, не глядя ни на цветной работавший телевизор, ни на плиту, — у них и таймер был — неудивительно, что и чешское пиво. Мы были одни на всем берегу. Доброжелательные, обманывавшие себя искусством кинолюди, пьяные не слишком, а в меру, поскольку завтра съемка.

Я был похож на Нейгауза и преподавал фортепьяно. Мой ученик, казах по национальности, был похож на молодого Пастернака. Я оставил жену и женился на домработнице, у которой от меня ребенок. Я должен был провести младенца босыми ножками по роялю, чтобы он оставил на пыльной крышке свои трогательные следы (что-то у меня не так давно, жизнь назад, уже было связано с роялем?). За окном в это время должна была быть гроза: гром, молнии, потоки по оконным стеклам. Приходил мой школьный друг, художник, потерявший на войне руку, всю жизнь безнадежно влюбленный в жену, которую я оставил, приходил меня упрекать за то, что бросил жену. Мы не договорились, и, оскорбив меня, он так хлопал дверью, что из нее вылетало и разбивалось на полу вдребезги стекло. Потом приходила промокшая под ливнем моя новая жена, бывшая домработница, тонкое платье обозначало ее формы, и многое становилось понятно. «Это жизнь», — говорила она. Эту фразу я посоветовал, и она была тут же вписана в сценарий.

Полночи развивал передо мною режиссер Серсов свои планы. Они были далеко идущими. Я должен был написать ему сценарий. В основе будет один действительно бывший случай. Компания молодых астрофизиков едет на рыбалку в горы, на границе Армении и Азербайджана. Дорогу переползает змея. Они пытаются ее объехать... оборачиваются, а змеи — нет. Куда девалась? Едут дальше. Рыбалка проходит удачно. Но когда они укладывают добычу, то обнаруживают, что змея забралась к ним в машину. Они пытаются ее прогнать, а она заползает куда-то там так, что ее оттуда никак... Представляешь?! Пустыня, жара, укусы гюрзы смертелен... Рыба тухнет, характеры обнажаются... Тут вдруг караван. При караване суффи. Он умеет разговаривать со змеями. Они просят суффи уговорить змею вылезти. Суффи долго молится, и змея наконец соглашается. Разъяренные астрофизики начинают ее убивать. Суффи умоляет их не делать этого, но они делают это. Суффи приходит в отчаяние, ибо змеи теперь перестанут верить ему. Суффи проклинает их, пророчит им смерть. Они посылают его подальше, возвращаются домой и напиваются.

Мне нравится слово «суффи», но мне не нравится концовка. Нет, то, что они напиваются, это хорошо. Но это только начало. А потом они один за другим гибнут при самых загадочных обстоятельствах... «Кто же такое пропустит?» — искренне обижается режиссер, и я остаюсь на роли пианиста.

Утром мне не нравится пейзаж. Ни кровинки в его лице, ни травинки. Здесь был человек! До горизонта — издырявленная, черная от горя, замученная и брошенная земля, населенная лишь черными же, проржавевшими нефтяными качалками. Но и они мертвы. Их клювы уже не клюют, потому что нечего. И именно здесь разместились музыкальная школа, в которой я преподаю, видите ли, фортепьяно казахским детям... и тут я увидел неправдоподобно прекрасный гранат, выглянувший из-за глиняного крепостного дувала, — там был рай: розы, гурии и бараньи яйца с чешским пивом... и тут я заступил по щиколотку в нефтяную лужу.



...Младенец отказался идти ко мне на руки. Может быть, я пропах нефтью. Это такой запах... как кровь... начинаешь волноваться сам. Младенец истошно вопил и не хотел оставлять следы на рояле, азербайджанские пожарные израсходовали всю воду, льющуюся по стеклу. Младенца из сценария выбросили совсем, оплатив мамаше съемочный день. Выходило хуже для моего образа: я уже просто женился на домработнице из-за ее прилипшего к формам платья. Жена у меня была бывшая Наташа Ростова, а новая жена — бывшая возлюбленная молодого Сергея Есенина. Вот каков я сердцеед! Пока азербайджанские пожарники кушали, а потом заправлялись новой водой, решили поднять в обратном порядке: сначала мокрую жену. Ее обливали из ведра, которое специально подогревали на газе. Я должен был ей что-то шептать на ушко, а она должна была плакать. Я впервые видел свою новую жену, и она мне не нравилась. Все получилось, но на крышке рояля, что в кадре, был забыт режиссерский видеоискатель с отчетливой надписью «Никон». Это портило правду суровой военной поры. Но теплую воду израсходовали, и актриса начала мерзнуть. Из аптечки скорой помощи была извлечена водка, и актриса поправилась. *Я обнял ее плечи и взглянул, и то, что оказалось за спиной...* Кипятилось новое ведро, азербайджанский пожарный ухаживал за ассистенткой, ели яичницу, поднимали на колготках петли, играли в деберц, вязали свитер, продавали, покупали, менялись, передевались, примеряли обновки и обноски, воровали, выпивали, рисовали, мастерили блесны, сматывали удочки — съемка шла. Дубль.

От жены разлило водкой, от меня керосином. «Где ты так надралась?» — нежно шепнул я ей на ушко, и где надо было расплакаться, она рассмеялась. Она мне начинала нравиться. Дубль.

И каждый раз годился только первый дубль...

Мой друг художник хлопал дверью, разбивалось стекло, а я в растерянности, не зная, как со всем этим быть, начинал собирать осколки, а потом бросал это дело. Ассистенты сработали отлично: стекло вылетело как надо, разбилось на нужное количество осколков в намеченном месте, я прошел как надо, поднял осколок как надо, но тут начал с интересом рассматривать налипший на него кусок пластилина, ибо это именно им так прилепляли стекло, чтобы оно вылетело, а я и не знал, что пластилином... Дубль.

Второе стекло выпало раньше, чем он успел хлопнуть дверью, и порезало ему единственную руку. Пострадавшему — первую помощь. Дубль.

Третье стекло было последним. Больше предусмотрено не было. И оно было толстым. Другу было наказано хлопнуть дверью как только можно сильно, чтобы оно вылетело так вылетело, вдребезги так вдребезги. Друг хлопнул как надо, стекло вылетело как надо... Я впервые видел такое, да и все такого не видели. Это было большое прямоугольное стекло, оно упало как-то на попа и, нисколько не разбившись, покатилося на меня, неуклюже переваливаясь, обсчитывая с тараканьем свои прямые углы, совершая оборот за оборотом, один, другой, и лишь на третьем, постояв и подумав, медленно повалилось набок, опять же не разбившись. Я стоял и, раскрыв рот, наблюдал такое чудо.

Бывает что-то с идеей, а бывает и просто... Это редкая удача — когда никакого смысла. И бывает такое счастье только в кино.

Что-то в очередной раз произошло. Я не мог больше.

Истощение места. Будто весь этот плотный, осязаемый, облюбованный мир был и впрямь лишь плодом воображения. Так же легко он отлетел, как воздушный шарик. Атмосфера.

Атмосфера описания каким-то образом толще и грубее реальности. Реальность не выносит быть описанной. Или она гибнет, или обретает полную независимость, или вообще ее не было? Так или иначе, описав что бы то ни было, можешь удовлетвориться одним лишь фактом законченности текста — сличить его будет уже не с чем: и прошлое куда-то провалилось, да и самого пространства не стало.

И кто кого создал, воссоздал, воплотил, предвосхитил и проч. — лошадь курицу или телега яйцо, — окажется окончательно неясно как последняя

такая природоохранная функция: чтобы ни что ни на что не посягало хотя бы в прошлом. И кто раньше и кто кого — Достоевский ли «Бесов», бесы ли нас? Русская литература успела или революция произошла? Чем гадать, лучше не торопиться сводить с действительностью какие бы то ни было счеты.

В конце концов, Колумб именно Индию, а не Америку открыл.

География — как жена. Путешествие — наша полигамия. Был бы гарем, сидеть бы нам на месте.

Итак, все места, в которые я любил заточать себя с целью написания неких страниц, пали одною и той же смертью: однажды вошли в текст. И сколько я ни давал себе уроков по принципу «не живи, где е..., не ..., где живешь»... Где Токсово, Переделкино, Дилижан, Тифлис, Голузино, Тамыш? Они так или иначе описаны. Может, они и есть. Но я для них умер.

Путешествие — другое дело. ТАМ ты не собираешься жить. ТАМ ты захватчик — и только. Пересечение пространства. Сечение. Иногда золотое. Одно. Хирургическая операция. Срез. То ли ты его пересекаешь, то ли оно тебя. Почему-то не больно. Приключение.

Отправляясь в странствие, я уже знаю, буду ли писать о нем. Знаю, что напишу и как. В этом смысле, хотя география и кончилась, я путешественник-профессионал. Еду за одним лишь правом написать то или иное «путешествие», привожу в качестве сувенира две-три оплодотворенные детали, они хорошо разбухают в подсознании и дают необходимый побег.

Такая деталь у меня уже была — Люсин выпадающий зубик.

Остальное было уже делом техники. Подавался «рафик» (вот восхитительное слово! намек на империю, произведенный в Риге...), в него набивалось шесть, включая шофера и автора, от силы восемь человек, предоставив пространство лишь для одного армянина, возможно, тоже Рафика, одного абхаза, одного грузина, одного еврея, а далее по тесному текстуальному конкурсу — греку, поляку, персу, украинцу, тату, осетину, корейцу, татарину, чечену, заблудшему европейцу, американцу, африканцу — драматургическое единство было обеспечено: вел «рафик» русский водитель, с ним рядом восседал тоже русский (автор). Перевести разговор с обычая обезьян на межнациональные отношения уже не составляло проблемы. Поэтому после таких страстей достижение цели путешествия — контакт с вольной обезьяньей стаей — служил контрапунктом, наводил на мысль и ставил точку. Не исключено, что естественным завершением паломничества был запланированный пикник, и тогда это уже многоточие.

Все было ясно вплоть до названия. ОЖИДАНИЕ ОБЕЗЬЯН... хорошо! Кто кого ждет, неясно. Зубик, «рафик», схватка грека с антисемитом, подмерзшие хвосты, разросшиеся гривы... чего больше? Все и так ясно. Ехать, чтобы написать то, что я так и так напишу, не имело смысла. И я решил написать «путешествие», вовсе не отправляясь в него.

Готовность моя была велика, я был в хорошей форме. Садись и пиши.

Сесть было некуда.

То ли Тамыш умер, то ли я, то ли еще кто-то там умер... У меня не было сил вернуться к моим цыплятам. Я переместился в Тифлис.

Но что-то и впрямь произошло. То есть происходило вокруг на самом деле, за гранью письменного стола. Письменным столом был стул. На нем стояла машинка. Я сидел на кровати и писал на машинке как раз на тему о том, был ли и мог ли быть у поэта ДОМ, в связи с посещением очередного дома-музея. «Родина, или Могила» называлось сочинение, и именно запятая в заглавии была главной. Я писал в центре Тифлиса, на девятом этаже гостиницы, и опять «Абхазии», в четырнадцатом номере, подумывая о том, что всегда и всюду попадаю я именно... этажи бывают разные, а номер всегда четырнадцатый, и в Ереване был тоже четырнадцатый... что это за прописка такая? По вертикали, что ли? Ничего, кроме стрекота машинки, подслушать у меня было нельзя. А все равно что-то происходило вокруг, вроде как потолок обваливался, вернее, понижался, пока я писал, и когда я поднялся, то чуть ли не стукнулся об него головой. Какое-то странное потемнение вокруг, как перед грозой, а гроза и не намечалась, как на закате, но и до заката было еще далеко. Дрожь внутри. Перед глазами такая мелкая серебряная волна, как

рыбья чешуя. Как будто я становился воздухом, только какая-то последняя недорастворенность мешала. Когда я смотрел на человека, то очень удивлялся, что тот меня тоже видел. Он подошел и представился: Валерий Гививович, Гививич, Гивич, Гивович... никак не выговорить! Можете меня называть просто Лерой, так меня все зовут. Я с удовольствием вглядывался в его розовое мускулистое лицо кахетинца. Было в нем нечто располагающее, хотелось ему что-то рассказать из того, что никому пока не рассказывал. Но я не знал, что, и он сам мне подсказал: давно ли я виделся с братом? Я готовно отвечал, вдаваясь в подробности, которые навсегда забыл. Дело в том, говорил я, что когда я впервые влюбился и мне стали нужны деньги, то продал нашу совместную коллекцию, а брат в это время был далеко, а сейчас он где? сейчас он тоже далеко, в другой стране даже, но скоро уже вернется, только это давно было, были даже древнеримские монеты, а доллары были? или фунты? как, вы про корейский лайнер еще не слышали?

Он-то, выходит, мне и сообщил, что произошло за краем моего стола, пока я чувствовал, что что-то происходит. Пахло карибским кризисом и еще какой-то тревогой, как при приступе сенной лихорадки. Все давно отцвело. Вы когда в последний раз выезжали? Тут я ему все выложил, какой я невыездной. «Зачем вам Америка! — восклицал он. — Родину надо исходить всю, пешком, тапочками!» Он так и сказал: тапочками. Тапочки на нем были отличные, фирмы «Адидас». Мы стояли на вершине Джвари, особняком от толпы туристов, как посвященные, признаваясь друг другу во взаимной любви к родине как раз в том самом месте, «где, сливаясь, шумят, обнявшись, будто две сестры»; шума как раз слышно не было, но долго мы смотрели, как, слившись, Арагва и Кура долго продолжали течь двумя разноцветными потоками в одном уже русле — «один серый, другой белый, два веселых гуся». Тапочками, тапочками! — восклицал один гусь, а другой поглядывал на его красные лапки, не уверенный, где он добудет такие же тапочки. Белые он обует скорее. Он мне предлагал исходить родину, как Горький, я же соглашался изъездить ее, как Гоголь. На том и порешили.

Чем я особенно гордился, что обмотал Валерия Гививовича, полковника Адидасова, как ребенка. Я так искренне рвался участвовать в «круглом столе» по поводу феномена грузинского романа, так переживал несправедливость отказа мне даже в этом моем праве человека, что собрался в Сухум, но билетов не было. Уж с этим полковник легко мог помочь. Но и тут он уклонился: «Зачем вам этот вонючий Сухуми? Лучше Батуми». Меня интересуют обезьяны, кисло настаивал я. «Обезьян там хватает. Поезжайте в Батуми, у меня там дом. Поживете у меня...» Он опять же предлагал мне пойти туда «тапочками». Я упорствовал и не соглашался в Батуми. «Это было очень трудно, — намекнул он мне на следующий день, — но вы можете теперь участвовать в дискуссии. Только откажитесь от телевидения, не стоит... Можете сегодня же переехать в гостиницу «Абхазия». Вам забронирован номер вместе с участниками». Замечательно было «вместе!» С этапа на этап. И это был тот же 14-й номер. На этаже нас уже ждали. Двое небритых, младше по званию. Адидасов передал меня им слишком заметным движением глаз, и они кивнули. «Оставляю вас одного», — сказал он, проводив меня до номера четырнадцатого. Я был восхищен и преисполнен самоуважения: нарочно они делают все так открыто или по неумению? — и в том и в другом случае. Вот она, секретная формула психопушки! Внутри компьютера сидит сержант...

Если они меня подчеркнуто замечали, то я их подчеркнуто не замечал. Я писал у себя в номере «Родину, или Могилу», как бы готовясь к сообщению об отличии грузинского романа от латиноамериканского на примере «Жестяного руна победы», подхихикивая от такого своего коварства, которого от меня никто не ожидал. Был канун ноябрьских праздников, участники съезжались девятого: у меня было время, и я его употребил. Был у меня, однако, верный друг, грузинский брат, который вызвался мне помочь. Я ему, впрочем, не все объяснил. Он и так озирался по сторонам. Только про трудность с билетами. Друг тоже недолго любил эти годовщины. Его тоже когда-то крестил отец Торнике.

В ночь с 6-го на 7-е, убедившись в отсутствии наружного наблюдения, я выскользнул из гостиницы: хорошо путешествовать налегке! Давно уже я не вожу с собою ничего, кроме рукописей и носков.

Мы копошились в сумерках, как воры, укладываясь в дорогу, стараясь не будить домашних, шепотом выезжая со двора. Тифлис рассветал по мере выезда из него. Это было самое пустынное, предпраздничное утро, даже без единого милиционера — все спало до парада. Шоссе было столь же пустым. Спали дома, спали трейлеры по обочинам, спали посты ГАИ. Только природа все шире открывала глаза. Господи, что это было за утро! Трудно было поверить, что до всего этого было всего лишь рукой подать. Что же это мы так не спешили всю жизнь проснуться пораньше да податься подальше? Я видел горы. Никто еще, ни Пушкин, ни Толстой, не мог сказать больше. Это было «это». Когда уже не задаешь себе вопрос: что это? Просто вдохнешь и не выдохнешь. Благословенна была земля утром 7 ноября 1984 года по дороге из Тифлиса в Кутаис!

Осень постаралась, отдав все краски, и каждый лист светился своим цветом отдельно. В поредевших кронах вспыхивала хурма. Осень собирала свой последний, свой окончательный урожай — урожай красок. «Замечаешь, насколько это д р у г о й красный цвет?»

Мы были страшно довольны собой и друг другом. Мы с б е ж а л и. Мой друг, к счастью, не догадывался, насколько он прав. Он полагал, что мы сбежали от демонстрации. Пока все там будут собираться в колонны и нести транспаранты... Свобода — это вечность. Туда мы и удалялись. За шестьдесят семь лет, при всех стараниях, ничего ИМ не удалось: видишь, скала, видишь, поток, видишь, небо, видишь, листва... Природа — не большевик. Ее не научишь халтурить.

Так мы расхваливали друг друга. Удовлетворенный, мой друг стал задремывать и уступил руль. Я вел и был счастлив еще раз, уже один. На указателе было написано «Гори», но в Гори нам было не надо. Указатель был, однако, направлен не направо или налево, а в небо. Я был вынужден будить друга, чтобы выбрать направление. Он сонно махнул рукой направо.

Показался городок. Что-то тут было не то, но еще раз беспокоить друга не хотелось. Меня смущало, что дорога повела все круче вниз, в котловину, в город, застроенный все более помпезно и некрасиво. Внизу была площадь. Как ехать дальше, я не знал. Спросить было некого — город еще спал. Может, я сбился с дороги и вернулся каким-то образом в Тифлис? С меня станет... Остановив машину посреди пустынной площади, я вышел.

Из машины была видна только клумба. Выйдя из машины, я увидел постамент. Это был огромный постамент. Скользя по нему взглядом вверх, я увидел сапоги. Это были гигантские сапоги! А дальше все это: полы шинели, рука за обшлагом, взгляд вдаль, фуражка, усы... — и будто он облизнулся, чугунный кот... Дальше было небо. Монумент был так и задуман, что, находясь у его подножья, голова вождя проецировалась на небо, выше окружающего взгорья. Улыбка горийского кота плыла, как облачко.

«Смотри!» — заорал я. «Как ты сюда попал?» — пробудился друг.

Все это показалось нам знаменательно и символично. Обсуждения хватило до Кутаиса. «Видишь, какая сила!.. Он до нас и оттуда дотянулся. Не надо было так хвастаться...» Я соглашался: куда мы, на ..., денемся. Нашлись, беглецы!.. Итак, именно мы оказались первыми во всей стране, единственными на всей нашей одной шестой, сумевшими поклониться, вместе с рассветом, единственному не снесенному памятнику. Здесь ОН родился. Мы посетили эту Мекку. «Ужо тебе!»...

Надо было очиститься. У нас не было умысла, и этого мы не обсуждали. Дорога сама нас привела. Молча оказались мы в Моцамета. Осень насколько могла разогрела день. Запахло обителю — кедром, можжевельником, лавром. Тишина стояла столбом. Кровь звенела в ушах, как цикада. Я не был здесь с того самого дня... Если считать, что в тот день я по-настоящему родился, то во второй раз здесь можно было объявиться лишь для того, чтобы помереть. Я был не прочь. Я прилег на плоский, поросший лишайником теплый камень. Надо мной проплыло облачко, как вся моя жизнь. Что имеют в виду, когда

говорят, что вся жизнь прошла перед глазами в последнюю секунду? Наверно, именно это: не последовательность ничтожных ее событий, а равенство одному мгновению. Мне так хотелось умереть, как жить, а не как-нибудь иначе. Будто из всех способов именно жить — смерть оставалась единственным. Это было нестрашно, сокровенно и желанно, будто вот ждал и дождался: сейчас она войдет, прощая тебе жизнь твою, обнимет за плечи — и ты охотно пойдешь, полностью доверяясь. Состояние этого ожидания — вот что ни за что не хотелось менять. Я лежал и лежал спиной на теплом камне, почти не дыша, только пропитываясь смоленным сухим воздухом, — из неба все состояло, что перед глазами, — они не были ни открытыми, ни закрытыми: странно было сморгнуть все это. Но именно так: я наконец моргнул, а мой грузинский брат тотчас поднялся со своего камня: исповедаться и причаститься. Я тут же согласился с ним: в самый раз — одно не противоречило другому. И все-таки не желание причаститься подняло нас! В том и состояло мое неосмысленное удивление перед собою, пока мы искали Торнике по всей обители, а его не было, — в том и состояло: по чьему приказу я встал? кто сказал, что еще не пора? кто сказал: «Многого не желай, Резо»?.. это я ему сказал, причем цитируя. Это я только думал, что готов, а оказался не готов, вот и встал. Какая сила!.. что за мытарство такое...

Торнике не было нигде. Людей не было. Было несколько кур. Как они напоминали прихожанок в платочках в ожидании открытия храма, степенно поклевывая, как судача... Пятнистый дождик, любимец Торнике, пробежал мимо, не глядя и не лая. Значит, и Торнике должен быть... Мы постучались в дом. Нам открыл монашек с выражением недовольства и смирения. Торнике не было: он отдыхал в кардиологическом санатории ЦК в Боржоми. Я возжелал написать ему письмо — как-никак крестный сын... И служба вдруг беспрепятственно пропустил меня в его кабинет. Правда, стоял у меня за плечом. Я мучительно крутил перо, и он все-таки отошел, не теряя меня из виду. По стенам висели полотна — иконы живописи самого Торнике: то царица Тамар, то отрубленная голова Иоанна Крестителя... Висели — не то слово: они были приклеены за уголки церковными тоненькими свечками, как скотчем. На столе Торнике был аккуратно прибран вид неоконченной работы: раскрытая затрепанная грузинская книжка, не иначе Евангелие, и русская слепая машинопись, самиздат, энный экземпляр... я не мог не заглянуть...

Служка успокоился, увидев, что я пишу, и даже оставил меня одного. Я строчил все быстрее, преисполненный... *«Приидите убо, братие, послушайте Христова гласа, да бодрейши будем на послушание. Сию бо притчу Спас рече нашего ради спасения: не сните бо праведных ради, но грешных ради, да спасутся. Человека, рече, два вындоста в церковь помолитися: един фарисей, а другой мытарь...»*

Так я писал и писал, со странной истовостью и умилением, будто сам, и друг мой нетерпеливо окликал меня с улицы ехать дальше, а служба все более терпеливо меня не беспокоил. Наконец я поднялся, складывая листы, сказал службе, что передумал исповедоваться письмом, что заеду сам на обратном пути, когда Торнике уже вернется из санатория. Последнее, что я помню, было трюмо, все уставленное французским парфюмом. Как жаль, что я не смог поцеловать Торнике в его душистую бороду! Мой друг пересадил меня на автобус, идущий до Сухума, и мы расстались, чем-то тайно недовольные друг в друге.

Никаких «Обезьян!» «Солдаты Империи!» — вот что я должен был немедленно написать. Весь последний не то день, не то месяц, не то год улеглись аккуратной плиткой, как шоколадка, так же и поделенной на прямоугольнички, подтянутые и выпуклые, как живот у культуриста. Дальше все получилось само. В Тамыш я решительно не вернулся, сухумские адреса, как нарочно, забыл еще дома. Вышел на набережную, уверенный, что через минуту обрасту старыми друзьями. Никого. И даже на Амре — никого. Попался один Драгамащенко и тут же все устроил: уже через час сидел я в собственном номере в белоснежной «Абхазии», куда не попасть, и писал этот внезапный роман. Фанерный четырнадцатый номер, по настойчивой иронии доставшийся мне в наследство от англичанина, резонировал от моей пишу-

шей машинки, как перкуSSIONная машина. На потолке выделялся, посреди финской поддельной полировки, подлинный советский белый квадрат. Кошка и крыса за ним по-прежнему жили, дополняя мою оркестровку живыми звуками. С набережной экскурсовод зазывал на морскую экскурсию гнусавым голосом муэдзина.

Мы писали. Не один я. Нас было много на челне. Иные парус натягали... Я выдавал дробь, *ОН* выдерживал паузы, мышка с кошкой расставляли знаки препинания. Ложилось один к одному.

«Солдаты Империи!» Я тоже дошел до Понта. Не метафорически — я видел его из окна: никакой кровью он не отливал. Мне и некогда было выглядывать в море с каким бы то ни было видом задумчивости — я ничего не думал. Я вел свой отряд. Вот он:

Дрюня, в натирающей ему набедренной повязке, сшитой из двух пионерских галстуков, как плавки, как в том детстве, когда никаких плавков не продавали, когда нас всех окрестили выходящими из лагерной речки, и крест блеснул в ослепительном солнце, как меч,

Салтык, спотыкающийся о свою гитару, обижающийся на кличку Анакреон точно так, как когда-то, когда я сказал ему: «русский Фет», обижающийся не на что, а на кто ему говорит,

Глаз, переучившийся держать меч в левой руке, чтобы видеть его,

Афганец, догрызающий свою мозговую лепешку,

Грузинский брат мой, отпустивший бороду и оттого перерождающийся в женщину,

Мурманский бич, волочащий за собой детскую коляску с рукописями, хроникой наших походов,

Торнике, крестивший всех нас из одного стакана, как и положено на роту, а у нас взвод — нам больше капель перепало,

Виктория, наша Виктория! со слепым поводырем, обнимающим арфу,

Зябликов, штурман наш, вылакавший наш НЗ, но обкормивший нас яйцом динозавра и прочими дивными преданиями,

Братья-изобретатели, вычерчивающие непрестанно троянского коня на любом полавшемся песке,

Полковник Адидасов, постоянно подшивающий свои тапочки,

Примкнувший к нам варвар, постоянно плачущий о родине, о Воронеже из туманного Альбиона второй категории,

Миллион Помидоров, легко переносящий каждого из нас под мышкой через бурный поток...

Нас было много на челне! И нас ждала Победа над грузинским узурпатором, присвоившим себе жестяное руно, а там, само собой, и освобождение обезьян, братьев наших меньших, заточенных в так называемой свободе и демократии.

Господи! они все были живые! Они двигались. Им это давалось тяжело, и они не перенапрягались. У каждого нашелся свой подвиг, а они не искали ему места. Как славно они отдыхали до боя!

Мне было достаточно моего слаженного коллектива — мне никто другой был не нужен. Раз в день я выходил, как Язон на берег Понта Эвксинского, побаловаться чашечкой кофе, — и то они увязывались за мной.

Я никого не видел. Мелькнул Драгамащенко. Опять было мелькнул мурманчанин (будто соскочил со страницы). Показалось, что я приметил и Валерия Гививовича. Но только показалось. Потом я, точно, встречал их вдвоем на набережной, держащихся, как дети, за пальчик, — мурманского бомжа в обнимку с полковником Адидасовым. Ах вот оно что! — только и подумал я. Я был снисходителен к слабостям моих подчиненных. Главное, не потерять больше ни одного бойца! Довести их всех до конца живыми. Живыми...

Они и так были живыми. Как много я, однако, присвоил, став командиром! Понизив их до звания персонажа, какую взвалил на плечи ответственность за судьбу личного состава романа. Власть! вот что не рассматривается литературоведами в системе художественных средств. Вот что томило меня целый год как утраченное, вот что окрылило меня наконец как обретенное:

это все — мое, мое! И это хотели у меня отнять? Дудки! не отдам. Понятно теперь, чего ВЫ все от меня требовали, чего добивались, зачем преследовали... Чем интересуется власть, кроме власти? Ничем — и это ее секрет и сила.

И я не интересовался ничем. Я разделял все тяготы своих подчиненных: я не ел, не пил, не спал, не мылся, не раздевался. Иногда варил кофе на подоконнике и тогда удивлялся, что за окном — море. *ОН* что-то иногда воровато жевал в углу, обсыпаясь сухими крошками, *ОН* же и спал не раздеваясь, что он так любил, спал по двенадцать, четырнадцать, шестнадцать! часов в сутки. Я вскакивал, не одетый, даже не мочась, к машинке, начинал записывать следующую главу, что вся была готова за эти двенадцать тире шестнадцать часов, — откуда что бралось? Чем меньше оставалось впечатлений, тем больше онигодились прямо в текст: выглянул в окно, а там Миллион Помидоров о чем-то уже беседует с Валерием Гививовичем — о чем? И у меня убежал кофе...

У меня и Библии под рукой не было. Были три странички, списанные у отца Торнике. *«Человека же два — сердце и душа, в ней же правда и грех. Правда же убо высокоумием ниспадает, грех же смущением потребляется... Сердце убо есть фарисей... Душа же сама скажется мытарь...»*

*«Два человека вошли в храм... Два рече, конника, мытарь и фарисей. И в праже фарисей два коня, да постигнет в вечную жизнь: един конь добродетельный — пост и молитва, а другой конь — гордость и величание и осуждение. И запя гордость добродетели, и разбися конная колесница, и погиге самомнимый всадник...»*

И роман тут же обретает новый поворот. На разбитой машине, с развевающимся, как флаг, чулком, спасая Тишку, спасаясь от преследования, отказывали мне тормоза, ввергнулся автор в пропасть, ввергнулся в стену как раз в тот момент, когда, проделав наконец Тишке жизнеспасительный укол, умудрялся уйти от погони. Живой Тишка мяукал надо мной в конце...

*«...никто же бо, рече, о себе приемлет честь, но званный от Бога. Рече бо апостол: на ветви сидя, не ты бо корень носиши, но корень тебе».*

И я отвергал этот финал, ибо не был корень. Ствол был сюжет, герои ветви, на ветвь главного героя уселся Автор. Я решил назвать главного героя Автор: Автор-хан, смешанного варварско-скифско-кипчацкого происхождения, стал у отряда вождь. Однако именно он сумел провести свой отряд через пылающую пожаром Империю Эн. Вывел их из варварских балтийских болот, миновал кипящую Московию, обошел злых кипчаков дымящимися степями, вышел почему-то к другому, чем рассчитывал, Каспийскому Понту, пришлось долго еще достигать тесных пространств Иверии, долго преодолевать и эти пространства, прежде чем снова достичь болот, теперь уже колхидских.

Но это было все внешнее, одна лишь зависть и преодоление опыта грузинского романиста. Суть же была в том, что внутри отряда зрел заговор, о котором еще никто в отряде и не подозревал, ни даже вождь, ни даже его автор, потому что заговор зрел внутри автора. Авторское «я» столкнулось с собственным «я», и — началось! И кто главнее? кто кого? кто он, кто я? — и вот уже борьба за власть. *«Да никто же от сих блазнится, яко разделяема есть на двое человеческая мысль. Помысел от словеси отсекаем, воюет бо, рече, плоть на душу. Два супостата в нас есть непрестанно борюущая: восстает бо несътость на пост, на добродетель величание, на целомудрие пьянство, блуд на душевную чистоту, на любовь ненависть и гнев, на смирение гордость, на истину лжа и клевета и прочая злая дела».*

Заговор! Не мудрено, что по следу моему шли. Не меня *ОНИ* преследовали, а мой роман, то есть мой отряд... Ничто уже не могло остановить меня: вывести всех и спасти.

И не успел я поставить точку — Гививович уже стучался прямо в мой номер ни свет ни заря, одетый по-походному: тапочками!.. Тапочками нам служил «рафик», предоставленный нам Драгамащенко, который и сам вызвался нас сопровождать к обезьянам. Все это, как я сам должен был понимать, не так легко было Валерию Гививовичу для меня специально организовать...

И это была уже слава! Вся слава мира звучала победно в победившей душе автора. *«Человека же два...»* Один человек сказал как-то в ответ на мой

сетования, поняв меня по-своему: зачем стремиться к мировой славе? — достаточно, мол, достичь ее в областном, в районном масштабе, чтобы умный человек понял, чего она стоит... Так что же? Именно ему не хватило и мировой.

Мы ехали. Новизны в этом для меня не было никакой, как и в будущей славе. Все было уже пережито, пережжено. Просто мне в очередной раз помешали их УЖЕ написать, «Обезьян». Я был опять готов — и мне опять не дали. Раньше они не давали мне достичь обезьян, чтобы я не знал, о чем писать, теперь, когда я окончательно знал, о чем, и, собственно, уже писал их, они мне подсовывали их, чтобы я не мог написать их уже по другой причине: они хотят остановить меня, реализовав мое воображение. Так или иначе... но я не должен их написать. Вот смысл дьявольского задания! Однако... не слишком ли изощренно?

С мыслью об изощренности зла я покорно сажусь в автобусик. И я снова прав: мне отводится почетное место рядом с водителем, а водитель единственный среди всех тоже русский человек. Русский человек водит им их автобусик... Ничего нового! Мысль об изощренности зла сменяется мыслью о его примитивности. Ведь что такое зло?

Прозрачная мысль вращалась на кончике своего острия, как пропеллер. Я был готов изловить ее, как стрекозу... «Посмотрите направо...» Направо был длинный, унылый цементный забор, но уже не было мысли. Истраченная местность, колючая проволока по забору, выпшка... «Самая большая в Союзе детская колония», — сказал Валерий Гививович, поясняя достопримечательность. О, об этом я много знал благодаря рукописи Глаза. Что я тут же все и доложил под вежливое внимание группы, под укоризненный взгляд Валерия Гививовича: зачем говорить при нем лишнее? — заставляя его запоминать. «Не стрелять! Бежит малолетка...» — поведывал я. «Есть такое положение? В первый раз слышу». Нежелание получать информацию было у Валерия Гививовича профессиональным. «Здесь тормозни!» — и он скрылся в проходной колонии. Может, здесь и взрослое отделение есть?.. Ворота тюрьмы — вот еще ожиданье!.. Двое застенчивых переростков вынесли ведро и ящик. Валерий Гививович указал им, куда поставить.

Мы ехали.

И путешествие вступило в свои права. За окном проявлялся пейзаж, набирал силу. Валерий Гививович на поверку оказался непростым человеком: дед армянин, мать еврейка, дядя русский, сам грузин. Вообще-то он оказался пришелец, в предыдущем рождении атлант, потом вавилонский жрец... но об этом потом. Выходит, зря я так — Гививович делал все из лучших побуждений: организовал мне участие в «круглом столе», поездку к обезьянам. Зря я, зря тогда сбежал — подставил его, себе навредил. С ним можно иметь дело: не убежать, не говорить лишнего при посторонних. Договориться с ним было можно. Ну и, конечно, с билетами, с гостиницами никаких проблем. Вы думаете, вас бы прописали в «Абхазии»? Ах вот как... А вы как думали?

Мы останавливались. Нас уже ждали. Еще один сотрудник. Интересный человек. Грек по национальности. С тяжелой коробкой из-под телевизора «Сони».

Мы останавливались. Нас никто не ждал. Возникла суета: кто-то несколько раз бегал во двор автобазы и обратно к «рафику», обещал вернуться через минуту и исчезал на двадцать. Наконец приносил высокую стопку горячих лавашей. Но с нами не ехал.

Мы обрастали. Все они сотрудничали с обезьянником, люди разнообразных интересов: историк, биолог, физик, спелеолог, работник торговой сети — нас бы хватило на серию анекдотов. Встречаются армянин, украинец и еврей; еврей, русский и армянин; украинец, еврей и татарин. Разве что чукчи не было. За чукчу у нас был человек еще более редкого разлива — полунемец-полуосетин, музыкант, барабанщик по национальности.

Даже Драгамащенко оказался интересным человеком. Он ехал с нами не только потому, что руководил научным коллективом и, соответственно, курировал опыт по расселению, — он и над самими обезьянами оказался единственный человеческий начальник: он был альфа-самец! И это было вот



что: дикие ведь звери! маленькие львы! клыки — во! прокусит до кости! руки сильнее, чем ваши ноги! стадные животные — слушаются вожака беспрекословно! вместе могут растерзать кого угодно! вооружены и очень опасны! вожак признает лишь одного человека, зато навсегда! это и есть альфа-самец! Драгамащенко то есть! только с ним можно подойти к стае!

Драгамащенко, выходит, был наш пропуск на территорию.

Обсудив обычаи зверей и людей, порадовавшись сходству и непринципиальности различий, мы въезжали в удачно расположившийся поселок-городок Каманы. Здесь нас должны были встречать, но не встретили. Гививович объявил привал на полчаса и отправился с Драгамащенко в разведку.

Мы разминали затекшие ноги. Перед нами была красота, несколько подпорченная заводиком ЖБИ и карьером. Но было куда посмотреть. Ущелье, в которое мы должны были далее углубиться, выглядело заманчиво, обещало уже совсем нетронутую природу. Левее, на отдельной горке, паря и царя над всем селением, зияла дырами разрушенная церковь — но и в таком виде поражала пропорциями и уместностью. Я возжелал, и группа, преодолев неохоту, потянулась в гору, не оставив гостя без присмотра.

Разруху хорошо наблюдать издали, вблизи слишком виден ее состав. Особенно если в гору. По мере приближения и одышки пропорции скрадывались, а дыры принимали очертания. И — что же все-таки мы наделали! — купол отсутствовал вместе с крестом. Обрушенный, он лежал на полу, камни проросли бурьяном и мать-и-мачехой, образуя самостоятельный пейзаж, такой японский карликовый горный садик. И вошли мы не через ворота, а сбоку, куда нас вела тропинка, через более удобную для входа дыру. Но внутри был уют! И никаких бумажек, бутылок и кучек — вот что удивительно. В уголку, под сохранившейся частью свода, куда менее проникал дождь, стоял аналог, приспособленный из брошенных табуретки и тумбочки, кем-то сюда, наверх, внесенных; самодельная икона самого неумелого письма, но кем-то самим писанная, напомнила мне живопись Торнике; и — свечи горели! — стало быть, кем-то незадолго до нас сюда принесенные, кем-то же и зажженные! Храм был действующий!

И он обладал своими преимуществами: находясь в нем, можно было продолжать любоваться пейзажем, каждый раз по-новому открывавшимся, по-новому заключенным — в каждой из дыр. Как прошлое, настоящее и будущее увидел я: дорогу, по которой мы приехали, наш «рафик» у подножья, тропинку, по которой мы взойшли... непо потревоженный пейзаж открывался в будущем при взгляде на ущелье, куда мы нацелились... и, сквозь третью из стен, взгляд падал на настоящее: ЖБИ, карьер и некую серенькую зону, окруженную точно таким забором, как и детская колония, только без вышек...

Я получил необходимые пояснения. Возможно, это и была когда-нибудь зона, но теперь это дом престарелых, приют. Летом им еще ничего: много паломников... подают, а зимой и холодно, и голодно. Да-да, со всего Союза стекаются сюда паломники: здесь убили апостола Иоанна Златоуста...

В результате я не поверил ни одному слову, тем более что сопровождающие меня историки явно путали Богослова со Златоустом, называя его апостолом. Да как такое может быть! — возмутился я. — Апостолы — это первый век! Ну и что ж, что первый, — сказал наш армянин.

Первый век был им нипочем. В доказательство к нам на гору карабкалась черная старушка, не то толкая вверх, не то держась за, черную же, козочку, не иначе — паломница. Вон тащится, пояснили мне, они снизу видят, если кто пошел сюда... Стало быть, не паломница. Старушка оказалась из богадельни. Она пришла за подаванием, и она была требовательна. Моего рубля ей было мало. И на три она смотрела без удволения. «Я так высоко шла», — сказала она. Старушка была русская. Коза паслась внутри храма.

Мне захотелось умереть. Какие обезьяны? У меня совсем вышли деньги. Я наотрез отказался взять в долг у Валерия Гививовича. Мне надо снова уносить ноги. Господи! почему я не могу отдать ей все? Старушку пошатывало. Взгляд у нее был твердый, за него она и держалась. Откуда завелось во мне представление о «доброй старушке»? Все церковные старухи — злые. И правильно.

А почему это ты не можешь? — сказал мне *ОН*, вырвав у меня бумажник. Сопровождающие с интересом наблюдали сцену. Получив мой последний четвертак, старушка тут же спешно побежала вниз, не без ловкости справляясь со спуском. Коза еле попевала за нею. В магазин, пояснили мне.

И мы спустились к священному месту. Прижавшись к желто-серой скале, источник образовал заводь, становился истоком. Камни вокруг были красны. Что и послужило основным доказательством, что именно здесь и убили «апостола». Железистый источник, пояснили мне. Паломники обязательно окунаются здесь. Очень помогает от подагры. Я окунул палец и вынул его покрасневшим — такова была температура: вода была ледяная. Я, однако, пошел дальше: плеснул в лицо, потер лоб — получилось как-то по-мусульмански.

Сопровождающие меня историки уже спорили, как его убили. Отрубили голову или закололи? Отрубили — было как-то убедительней. Вон на том красном камне. Они пугали его с еще одним Иоанном — уже с Крестителем. Теперь они спорили, на котором камне: один, огромный, возвышался над берегом, лишь основанием погружаясь в воду. Убедительным в нем было лишь то, что он был более удобен для разделки. Другой был уже полностью в воде и потому исторически более оправдан, ибо сам источник образовался как результат убиения, из крови «апостола», почему и красный... образовавшееся из источника озерцо покрыло жертвенный камень водою. По преданию же, кто сможет приподнять этот камень, то сразу очистится от всех грехов.

Такая возможность не могла не вдохновить *ЕГО*. Он сразу же поверил в красный цвет, как и любой нормальный человек. Я не мог тут ничего поделывать: неистовый восторг охватил *ЕГО*, священный ужас жизни — меня. Во мгновение ока содрал *ОН* с себя ВСЮ одежду и уже стоял в заводи, тужась приподнять камень. Я никогда не видел *ЕГО* таким: бешеное веселие озаряло *ЕГО* лицо. Все это было неоспоримо глупо: камень был неподъемен. *ЕМУ* было никак не ухватиться, *ОН* обломал мне все ногти... и вдруг нащупал, как обрел, две словно бы специальные выемки, удобные почти как ручки... жила вздулась на *ЕГО* лбу... «Умер от превратностей пути», — подумал я. Но камень дрогнул и пошел, все с большею легкостью. Ну да, закон Архимеда, подумал я... Но стоило камню чуть приподнять свой красный лоб над поверхностью, как он стал окончательно тяжел. Сопровождающие сочли, однако, это достаточным, единогласно отпустив атлету все грехи.

Вот кто был счастлив, так это они! Как они *ЕГО* полюбили! Как поздравляли! Откуда нашли полотенце... И стакан чаи тут же нашли. *ОН* засосал его, как губка. «Истинно говорю я вам: вы уже получили награду свою»... *ОН* ее заслужил.

Дальше все само собой. Аидасов с Драгамашенкой привели того, кто «нас здесь ждал». Был он весь золотой: и цепочка, и зуб, и часы, и браслет, — не человек, а перстень. Был он весь белый: и рубашка, и костюм, и туфли, и лицо. Был важен и недоволен, что было трудно отличить одно от другого. Однако мы уселись в «рафик» вместе, и «рафик» наполнился дезодорантом, и мы тут же затормозили у проходной. Проходная была дома престарелых, а он был его директор. Старичок вынес нам очередную коробку, шатаясь под ее тяжестью. Коробка позвякивала. Аидасов обменялся рукопожатием с недовольным директором. Наша старушка с пьяной козой попалась нам навстречу.

Она отозвала меня в сторонку, у меня больше не было, но не для этого, оказывается, она меня отозвала. «Потерпи еще годик... Ты бы видел, как они сигналят с мавзолея!» Старушка отвернулась, застенчиво заворачивая смешок в платочек. «Очень уж смешно... Господи, прости!» Было ей видение: Святой Георгий на белом коне на Красной площади. Ка-ак он на мавзолей наехал, ка-ак пикой замахнулся!.. они все и попрыгали с трибуны кто куда, роняя шляпы. «Ты бы только их видел!..» — веселилась старушка, указывая на директора, загонявшего их с козой обратно в богадельню.

И мы ехали. «Рафик» преодолевал все более крутые серпантины. В прошлом году здесь выпал небывалый снег. Невозможно было проехать. Вот тогда и подмерзли хвосты — невозможно было оказать помощь. Чьи хвосты?.. А куда мы едем. А, так мы все-таки к обезьянам едем... Я не хотел к обезьянам.

*ОН* хотел. Почему меня не хватил инфаркт, пока *ОН* упражнялся с камнем?.. «Умер от тягот пути» — прекрасная эпитафия! «Человека же два...»

Тенистая, заросшая дорога вела нас вверх по ущелью. Слева, глубоко под нами, кипела река: нас достигал запах воды. Пахло прелым листом. Эти запахи мешались, рождая запах земли — только что разрытой. Камушки сыпались из-под колес, весело свергаясь в пропасть. У нас еще был шанс свергнуться за ними в эту свежую могилу. Но река была не для этого. Она была для того, чтобы отделить свободных обезьян от несвободных людей. Предыдущие опыты показали, что их нельзя селить в какой-либо близости от человека. Недокормленные обезьяны разорвали посевы, а крестьяне, естественно, их поубивали. Здесь река отделила их от людей, образовала им резервацию между собой и горами. Водобоязнь оградила обезьян от человека. Нет, не все обезьяны, но именно здесь живущие — водобоязненны.

Разговор сзади: 1978 год... всенародный сход абхазов в Лыхны... Вы получили свое телевидение? (Голос Валерия Гививовича.) Университет мы вам дали? — Вы? нам? дали? двадцать минут вы нам дали! один факультет вы нам дали! это мы взяли, а не вы дали! — Это мы дали, а не вы взяли! — Нестройный хор.

Чья земля?

Армянская прежде всего. Нет, грузинская. Нет, абхазская. Нет, греческая. Чья земля? — того, кто раньше, или того, кто позже? Мы переглядываемся с русским шофером: земля-то, конечно, русская...

Богобоязнь или география? Человеку не хватало естественных границ из гор, морей и рек, чтобы не перебить друг друга, — не хватит и церковных. Чья церковь?

Того, кто ее построил? того, на чьей земле она построена? того, чью веру здесь приняли? И опять: не то, что внутри нас...

И снова: чье царство было раньше? Какой национальности царь или какой национальности его подданные?

Тамара не была армянкой? — Зачем вы армянский камень из Джвари вынули!..

*Тоска... «яко не оправдится перед Тобою всяк живой. И паки рече: смирися и спасе мя. Сердце убо есть фарисей, иже не сохрани добродетели, но о исправлениях величается, и на ленивейшие возносится, невесть бо о себе писанного: не хвалитися, рече, не глаголите высокая в гордыни своей, ни да изыдет велеречие из уст ваших».*

Мы остановились в очень красивой местности на берегу речки и стали выпружать ящики. Я уже, конечно, догадывался, что никаких обезьян не будет. Но никак не думал, что настолько. Что настолько их не будет, обезьян...

Нет, мы не сразу принялись за уничтожение содержимого наших картонок. Спектакль, поставленный Гививовичем для меня, еще не был окончен. Вчетвером, Гививович, альфа-самец, барабанщик и я, мы переправились через реку Водобоязнь по канатной дороге. Люлька была рассчитана на одного, так что мы это и проделали четыре раза. Первым пошел альфа-самец, затем я. Было весело надевать рабочие рукавицы, перебирать ими по канату, смотреть с высоты вниз на буруны и водоворотики горной обезьянней реки Водобоязнь. Конечно, страшно — я понимал обезьян. Они и близко к реке не подходили. Во всяком случае, когда я высадился, их там не оказалось. Все-таки я разволновался — если не от достижения конечной цели, то от достижения конечной точки. Я высадился на берег, и альфа-самец приветствовал меня звуками гонга. Гонгом была ржавая рельса, висевшая на удобном для того суку удобного для того дерева.

«Мы немного опоздали, — пояснил Драгамашенка. — Они нас ждали к часу».

Скепсис мой был оправдан. Возможно, обезьяны здесь когда-то были: дощатые домики, вроде преувеличенных ульев, размером с пляжную кабинку, стояли в ряд, но на каждой дверце висело по ржавому же замку. Длинная стойка тянулась перед домиками: не то высокая скамья, не то низкий столик, — совершенно пустая. Да, недаром все остались на берегу... они-то знали. Гививович не мог оставить меня одного, Драгамашенка был в курсе, а барабанщик, возможно, не был.

«Скорей, скорей!» — кричал Драгамащенко якобы ушедшим в лес обезьянам, а на самом деле поторапливал и тех, кто переправлялся следом, и тех, кто остался на том берегу заниматься главным, как впоследствии оказалось, делом.

«Скорей, скорей!» — кричал он противным голосом альфа-самца и бил в рельсу. Звуковые волны взбегали вверх по холмам и предгорьям, проникая в лес, беспокоя призрачных обезьян. Потом Драгамащенко уставал и закуривал. «Далеко ушли», — сокрушался он.

Он делал вид, что они обычно приходят к часу: авось привезут подкормку, — а если никого нет, уходит обратно пасти: желуди, орешки, корешки... Ну да, грибы-ягоды, усмехнулся я. Это летом, сейчас осень, пояснил он. Я спросил Драгамащенко, какая была первая одежда человека, и он не мог мне ответить. Очень заинтересовался Гививович, и я ему подсказал, что — кобура. Барабанщик подхватил тему, наверняка утверждая, что первой музыкой, да и вообще первым искусством был барабан. Вот и барабанщик оказался интересным человеком... С ним мы поговорили о великом Тарасове. «Владимир Петрович?» — насторожился Гививович. Ах, я забыл, что нельзя называть никаких фамилий!

«Скорей! скорей!» — снова замуэдзинил Драгамащенко. Мы беседовали с барабанщиком об экуменизме, отойдя от Гививовича в сторонку. Драгамащенко для убедительности прошелся вдоль домиков и пошатал замки. Сейчас еще тепло, к зиме откроем... оправдался он, поймав мой взгляд, и, чтобы я поверил, один из замков открыл, достал из пустого мешка горсть чего-то вроде, как он пояснил, «транул» и щедрым жестом сыпанул их на пустующий обезьяний бар, потом подумал и сыпанул еще горсточку. «Этого хватит?» — спросил я. «Пока хватит, — сказал он, — пока еще им должно хватать подножного корма».

Барабанщик, найдя на рельсе уязвимые для трех нот места, подбирает на ней обезьянью вариацию собачьего вальса.

С того берега уже звали.

«По-видимому, они зашли слишком далеко», — извинялся Драгамащенко. «Пожалуй, их не стоит больше ждать», — согласился с ним Гививович.

«Нет уж, подождем», — твердо заявил я и пошел обезьянам навстречу.

«Стойте! туда нельзя! — закричал Драгамащенко. — Они вас без меня разорвут!»

«Кто разорвет?» Я уже не мог удержаться.

«Да обезьяны же! Вы не знаете, какая это сила. К ним нельзя подходить и на шаг ближе альфа-самца».

«Где вы видите обезьян?» — продолжал я.

«Да они в любой момент могут появиться!»

«Вот как?..»

Я сделал еще шаг и замер. Что-то остановило меня. Я стал прислушиваться. Ничего. Показалось. Но что-то повисло в воздухе, как еще одна тишина. Она напряглась, натянулась, как незримая преграда, прогибаясь в мою сторону. Я всматривался в поредевшую листву взбегавших вверх дубков и в очертаниях ветвей высматривал обезьяну, как на детской рисованной загадке имени Набокова: найди матроса и мальчика. Они прорисовывались то там, то там, зависнув в неудобных позах, выжидая, что ли, когда мы уйдем. Мы ждали их — они нас. Обезьяна таилась уже за каждым стволом — но как же умели они ждать! ни веточка не шевельнется, ни листик не прошуршит. Звенящими этими листьями был усыпан весь склон — ни шагу здесь нельзя было ступить без оглушительного шороха: как они подкрались?..

Никуда я отсюда не уйду, вот что. Пока не дождусь. А поскольку они не придут сюда уже никогда, поскольку Гививович с фальшивым альфа-самцом все настойчивей демонстрировали топорность своего замысла, предлагая откровенно сыграть в их игру, поскольку никаких обезьян и в помине — тем более дождусь, тем более никуда не умру, никогда не уйду! Мне опять захотелось умереть, как жить, — вот здесь!

И это был третий храм, в котором... Закрытый без Торнике, дырявый со старушкой и вот этот... В конце концов, именно сегодня, второй раз в жизни, на мне нет греха! И чем же это не храм, когда...

Когда вокруг — вот это все. ВСЕ! Понимаете или нет, ВСЕ!.. Только уйдите все, уйдите все Христа ради! Христом Богом вас прошу, в последний раз: уй-ди-те! Оставьте меня одного! жрите, пейте на том берегу, раз вам уже невтерпещ... сгиньте, рассыптесь... Изыди!

Господи! каким золотом усыпал Ты мой последний шаг! Какие голландцы расписали мне этот пейзаж красками, которым сразу триста лет, в не просохшем еще мазке! как светится этот коричневый сумрак! Да святится Имя Твое! Какую тишину развесил Ты на этих ветвях! Да придет Царствие Твое! Заткнись, падла! забудь слова! молись, падла! Скорей, скорей! Молись, сука! Плачь, смейся, рыдай, ликуй, свинья ты моя бестолковая... Да будет воля Твоя!

Тишина разбухла, пропиталась ожиданием, как губка. Какой ливень извергнется из этой невидимой тучи молчания?..

И я услышал, как лопнула тишина, с отчетливым минус-звуком, родив тишину следующую, еще более зрелую.

Я ждал. Уже скоро. Еще чуть-чуть. Скорей, скорей!

Я ждал и не хотел дожидаться. Я хотел вечно вот так нетерпеливо их ждать, которых и нету. Главное, не хотел я... да и не хочу до сих пор, чтобы это кончилось так, как это должно кончиться, тем, чем это неизбежно кончится, по замыслу, по сюжету, по предопределению, по слабости моей и по его склонности к... Не хочу гореть я синим огнем! А хочу вот здесь, просто стоять на все тех же сухих листиках, и не переступлю ни разу, шею не поверну, разве что глазами изредка поворачою, чтобы снова все то же самое видеть: замерших скрытных обезьян за Твоими стволами, в Твоей листве. Сам деревом стану — пусть и за мной спрячется обезьянка... Господи, поймай меня именно в этот момент! Улучи, Богом Тебя прошу, мгновение! Я Тебя даже не о том прошу, о чем еще Гёте просил, — я не о том, чтобы все вокруг остановить, потому что, видите ли, прекрасно это, а я всего лишь и только — чтобы Ты меня остановил в этом мгновении, чтобы миновал я вместе с ним, если уж ему суждено миновать... Не о вечной жизни — о вечной смерти прошу, типун мне на язык! *«Душа же сама скажется мытарь, понеже чиста Богом сотворена быть, и в телеси осквернившись, ни на небо зрети не хочет, но биющийся в перси совестию злых дел, тязжими въздыханиями и неумолчным гласом вопие. Боже, туне мя помилуй, еже есть...»*

Я всматривался и всматривался в недвижимость листвы, что застыла в осенних дубах, как в похоронном венке. Неопишуемая тишина стояла вокруг: шумела река, шуршала листва под ногами. «Скорей! скорей!» — визжал альфа-самец, изо всех сил колотя в рельсу. «Скорей, скорей!» — кричали с того берега, и барабанщик выстукивал на обезьяньем баре, как на тамтаме, подходящий ритм. Но вдруг, даже не вдруг, а внутри слова «вдруг», что-то, даже не что-то, а что-то, находящееся внутри слова «что-то», — случилось, сдвинулось, произошло: картинка сползла вбок, как отклеилась, зависла на одном уголке, свернулась трубочкой, небеса загнулись по краям, на манер китайской пагоды, альфа-самец замер с занесенным над рельсою ржавым болтом в руке, барабанщик не закончил такт, да и река притихла. И именно в этой, а не в предыдущей тишине родилась еще тишина, и напряглась, и вздулась непомерным пузырем, как жила на Божественном лбу, и, прорвавшись минус-звуком, как разгерметизированный вакуум, родила звук доселе в моей жизни небывалый, живой, множественный и общий, неумолимо близящийся и растущий, как дерево, как лавина, как поток, несущийся на нас, и — ничего, ну ровно ничего не менялось перед глазами: ничто не шевельнулось, ни листок, но глаз было не отвести от этого неопишуемого звучания... Нет слов...

### 3. Петух

..С кем-то мы уже толковали о природе неопишуемого? Не Павел Петрович ли то был? Не иначе как. Помнится, мы говорили с ним...

Нас охватывает то неопишуемый ужас, то неопишуемый восторг.

Взялся — значит, пиши, раз ты такой уж писа.эль... О чем же и писать, как не о неопишуемом? О неопишанном — любой напишет, кому оно

подвернется. Писатель же задевает за обе эти стены — восторга и ужаса, продираясь в узком коридоре повествования (нэрейшн — это нерроушн, сказал мне как-то англичанин). Мы хотим раздаться вширь: море — кто написал? а горы? а лес? а небо? Тургенев с Буниным поупражнялись, пока у нас было время. Опять же Тернер (по подсказке ПП). Опять же неопишуемая тишина: звенели цикады и неумолчно шумел прибор, лопнула струна в тумане, и кто-то жалобно дул в бутылку... Мол, неопишемое — так красиво пиши, мол, чем неопишумей, тем красивей. Безобразное, что ли, опишумо? Просто про безобразное можно как бы и похуже написать... А все равно: и красивое — как ..., и безобразное — как ... Без «как» тут никак. Язык же из сравнений не состоит, он из слов состоит. Слова же заключены в словарь. А мы заключены в слова. Муха, так сказать, в янтаре. Так кто же красив — янтарь или муха? Из словаря слова исчезают, выпадая в осадок, как в перенасыщенном растворе. Неопишумый зверь — конь — оказался наконец описан: каждому его сочленению подобрали с любовью исконно русское слово. И что же? Лошадь уходит из словаря по частям: сначала пясть, потом берцо, потом цевка, потом бабка, потом венчик, — остались лишь грива да копыта — роговая оболочка. Исчезают, по частям, за конем и корова, и дом, и птицы певчие, и травы. Что за коллективизация такая? Пришли, мол, комиссары и все со двора свели. Так нет, не одни и комиссары... Мы. А слова, что появились взамен, — это уже анонимы, а не слова: что мне от калькулятора с инкассатором? Ни полушки. Ну, самолет — хорошее слово... Что увижу я, выглянув не в окошко, а в и л л ю м и н а т о р? Не забор и не курицу — неопишумую красоту я увижу, которой до самолета никто не видел: это розово-белое, сплошное, взбитое, безбрежное, клубящееся, а над ним такое, как бы получше выразить? — синее-синее, голубое-голубое, ну прямо как, ну прямо как... прямо как небо. А где ты летишь-то? А в небе я и лечу. Так что же здесь неопишумого, раз — небо? Какие — облака? Как вата... и — ничего, кроме ваты. Арктика, космос. Ну, напишу я: неопишумая тишина. Неопишумая тишина стояла, напишу. Нет, лучше: тишина стояла. Как-то уже емче. Мол, как столб. Или как жара. Еще лучше, чтобы столб стоял, как тишина. Столбу это больше идет. Или жара стояла столбом. Может, достаточно: тишина. Тишина, и все тут.

Тишина.

Однако неопишумая.

«Ну а в комнате нашей, как прятка, стоит тишина...»

Значит, все-таки опишумая?

А прятка?.. В каком словаре вы вскоре отыщете это слово?

Да и тишины не найдете.

Пока она не наступит на вас окончательно. Как слон.

Тишина наступила, как слон... Хорошо ли это?

А вот это не хорошо...

Прошел год, а я так и стоял на склоне этой дубовой горы, поджидая. Страна очнулась, озираясь окрест и не узнавая: кто такие? Все-таки она не пережила 1984-й... С утра она начала новую жизнь: запретила себе опохмелиться и вырубил виноградники. Не имело смысла возвращаться в Тамьш: по знаменитым газонам валялись изрубленные змеевики. Огненное сердце двора было вырвано. Население выкапывало оружие и в тех же грядах хоронило самогонные аппараты. У Заңтариев-сдьмых или пятых, Зантария-пятый или сдьмой, из сладко пахнувшего керосином обреза в упор пристрелил участкового во время демонтажа им установки.

Ехать в Тамьш уже не имело смысла, потому что теперь можно было ехать в Америку. Там мы отдохали от всего, повествуя обо всем. Что они в этом понимали?..

«Так прошло еще пять лет, пролетело сто ракет», — пятилетний сын Даура уже сочинял прекрасные стихи, а я все стоял в обезьянней роще, не трогаясь с места. Пить, конечно, наладились, но лоза была уже вырублена, а оружие выкопано. История вырывала страницы из моего ненаписанного сочинения одну за другой. Как только стало можно, шутить стало неохота, и люди начали

понемногу убивать друг друга. Это только вначале казалось, что шутить перестали, потому что объявилась надежда. Все мои предчувствия обратились реальностью, и я опоздал с пророчеством. Про «рафик» — с армянином и грузином, евреем и русским — стало рассказывать неуместно, а что я еще знал? Про обезьян — я плохо знал. Запоминая, я постарался пропустить мимо ушей. Краткого знакомства с вожаком и более короткого с альфа-самцом — явно не хватало. С годами я уже не был уверен и в том, что их зовут именно гамадрилами, а не иначе. Ну как вы станете писать о племени, не зная даже его имени? Они же не американцы...

И почему все так плохо, когда все наконец у меня хорошо? Вошли, как всегда, без приглашения, но трезвые и выбритые, поорудовав с утра щеточкой из-под ногтей, пахнущие мейд ин Гонконг, и сказали: все можно. А что можно, не сказали. Мол, можете теперь писать ваших «Обезьян»... а кому они, на три буквы, нужны!

Лучше бы они не улыбались. Вошли с ласковыми улыбками тигров, отперли клетку... Зоопарк оказался не снаружи.

Где мои *Солдаты Империи*?

Где Дрюнечка? — торгует кошмариками у Бранденбургских ворот. Где Глаз? — выпустил свой бестселлер в Париже. Где Бомж? — на яхте в Средиземном море с интеллигентным другом. Где Зябликов? — сбежал в Монголию. Где Братья-изобретатели? — открыли патентное бюро совместно с одним из эмиратов. Миллион Помидоров? — ревизует ларьки. Эйнштейн? — моет посуду в Принстоне. Один Салтык поет свои прежние песни. И полковник Адидасов — в прежней должности.

Я ли вывел их на берег Понта? Они ли сторели в пожаре?

Где мои *Живые Души*?

Над чем смеетесь? Не над телевизором же... Над собою? Прошелся тапочками по Империи и плачу, как Гоголь. Товарищи! мы вступили в новый исторический период: свободы смеха над самими собой.

Они добились своего: *ОН* сторел в этом пожаре, и я стал спиваться в одиночку. *Он* или *я*? Остался, как Робинзон без Пятницы. Не шутка простоять семь лет не сходя, все в той же звонкой роще — ни снег не пошел, ни лето не наступило. С осенней роскошью пустоты внутри. А кругом — одни перемены! Дом наконец, жена, ребенок — вернулся из Америки на дачу... вот только картошку выкопаю и в Париж махну. Гласность. Немота, охватившая...

Полнота. Пустота. Ни строки. Что я без *него*? Что Пятница без Робинзона... Сдался. Присоединился к стаду. Поспешающий перед стадом вожак продолжает выкатывать перед собой некое обезьянье дао. Если кто-нибудь подумает, что я знаю, что это такое, ДАО, то это Дальневосточная Автономная Область...

Как, однако, первоначальные птички расклевали мою головку!

Мной овладело беспокойство. Неохота к перемене мест. На карте живого места от меня не осталось. Одна Албания. Туда хоть нельзя. Сосущее чувство бездарности. Воспоминания молодости.

Есть женщины, которых ты не стоишь,  
Есть женщины, которых ты не спас...

Предчувствие, что я упустил время, мною овладело. То есть что я упустил предчувствие.

И Бога нет, и Мамы нет —  
Держу за ручку пистолет:  
И Бога нет, и Мамы нет...

Я проводил лето на даче в ближнем Подмосковье. Весь вечер смотрели телевизор и играли в деберц. Что Руслан Имранович опять сказал Рафику Нисановичу? «Рафик Нисанович», — сказал Руслан Имранович Рафику Нисановичу. А что ответил на этот раз Рафик Нисанович Руслану Имрановичу? «Руслан Имранович», — ответил Рафик Нисанович Руслану Имрановичу. И это было неспроста: жена объявила дау-бассе. Мне пришлось два терца, а ей один, но старше, и я проиграл.

И пошел к себе наверх. Внизу спали дети, укладывалась жена. Я расчехлил машинку, вставил в нее лист бумаги. Клавиатура поросла серой шерстью. Машинально я посмотрел на руки... Вспомнил: пыль на руке... откуда это?

Не так все сразу. Семь лет — и сразу. Будто перестройка ничему не научила... Стоя в роще, я разминал окаменевшие ноги.

Прилег. Подо мной зашуршала чья-то недочитанная рукопись, как листва. Они все теперь писали — а я их читай... Карандаш для пометок. Блокнот для заметок. Я гневно сбил рукопись в неровную стопку...

#### ОЖИДАНИЕ ОБЕЗЬЯН, —

написал я на обороте молодого автора. И подчеркнул.

Никогда я так не рисковал! Никогда не писал название прежде, чем напишу хотя бы страницу. Чтобы не заткнуться с ходу. Ужасно выглядит чистая страница с одним лишь названием наверху! Еще хуже, если оно с эпиграфом. Скажем, «Остановись, мгновенье!». Тут-то и попадаетея русский Фауст. Стоит как вкопанный.

«О...» — написал я со страху.

*О! О — неплохое начало? О, наконец-то! О себе, От себя. О — вот буква! Она же — ноль. Она же — овал. Она же — яйцо. Яйцо — оно. Ему бы начинаться с буквы О... так оно им кончается. Начинается оно с Я. О-жидание о-безьян... Кто — кого? Эти два О гипнотизируют меня.*

*О, я их уже ненавижу!*

*То есть не этих не столько невинных, сколько не виноватых млекопитающих, а самую необходимость писать о них — ненавижу.*

*А почему я, собственно, обязан о них писать? Но и слово ОБЯЗАН так напоминает обезьяну... Обезьяна же — не обязана.*

*Где в замысле помещается его неотвязность?*

Страница кончилась. Я написал цифру 2 и задумался. «Описание ожидания», — написал я и опять задумался. Поставил три точки, в смысле многоточие, вот так... И тут же поставил цифру 3, как бы временно это описание пропуская. Мол, это технический вопрос.

Правы оказались именно те критики! На собственном примере я начинал убеждаться, что всякий формализм есть свидетельство скудости мысли и бедности содержания. Если написать несколько слов, начинающихся с буквы «О», означало мысль, то «описание ожидания» — что такое? Решительно нечего мне было описывать — вот в чем дело!

Ну, жду. В этом что-то было. Помню, что что-то было в этом. А потом, лучше бы они так и не прибегали... Сразу не стало ничего такого. Люди. Обыкновенные люди, такие же, как мы. Может, разве покрасивее нас с их точки зрения. Гривы замечательные. Грудь и руки. Когда они сыпят на вас с горы, с этим неповторимо мощным, живым шорохом, так сказать, анфас, стремительно увеличиваясь в размерах по мере приближения, и будто это не они, а вы наезжаете на них... как в кино. Ибо кино — это то, чего вы не видели в жизни... а тут — в жизни! И это, я вам скажу, что-то! Это жизнь, а не зоопарк...

Но тут он оказывается рядом с вами, обезьян... Он и есть главный, потому что первый. Он вдруг становится меньше своего размера. Наверно, он просто казался больше, когда так быстро бежал. Но еще и потому, что все, что сзади, как-то несравнимо с тем, что спереди. Сзади обезьян недоделанный какой-то. Как перееханный. Бывают такие несчастные собаки, с парализованными задними конечностями... из гладкошерстных, дождей, бульдожьей, боксерской породы... с непропорционально узким задом... так умирала Линда. Царствие ей небесное! Что там, в собаьем раю? Наверное, как здесь...

Значит, полулес-полусобака. Неприветлив, смотрит исподлобья. С ним не следует встречаться взглядом, об этом вас предупредят. То есть встретиться можно, но сразу и отвести. Не смотреть в упор, потому что он воспримет это как агрессию. Может и цапнуть — клыки внушают... Кроме, конечно, альфа-самца. Расхвастался этот Драгамащенко... На самок тоже смотреть не рекомендуется — тоже вожак может принять на свой счет. Мне постоянно приходилось напоминать ЕМУ об этом... Ага, вспомнил наконец: тогда еще



я был с *НИМ*. Мы были вместе тогда, у обезьян. *ОН*... Ну как тут не посмотреть, когда у нее черт знает что сзади творится! Все выворочено наружу, раскрыто и сияет всеми цветами радуги. Возможно даже, меняет окраску в зависимости от зрелости, спелости и готовности... В жизни не видел ничего уродливее! Хотя, с другой стороны, вопрос чисто эстетический, то есть спорный: эти жуткие гениталии предъявляются как основной аргумент не без основания... и разукрашены, возможно, с любовью. Вот именно, с любовью! Без любви тут никак. Эволюция поработала над этим мэйк-апом недаром. В конце концов, не станете же вы отрицать, что... Это мы с вами все попрытали — осталась одна фотокарточка на паспорт. Туда же и штамп... А у них... У них и на лице что-то подобное, вроде седалищной мозоли, только поскромнее... как это у них называется? ну, такие, на щеках, возле носа... тоже в сине-красную полоску... клоуны, маски, карнавал; обнаженная тайна, тайна и есть — маска. Так они, глядя на портрет, то есть в лицо, как бы уже составляют себе представление о прелестях, которые их ожидают там... Надо отдать *ЕМУ* должное: природу *ОН* всегда воспринимал острее и ярче, чем я. Следовало *ЕГО* как-то отвлечь, потому что вожак смотрел уже неодобрительно.

Но пока обезьян был занят уничтожением гранул. Они действительно оказались лакомством, несмотря на свой непрезентабельный вид. Их, собственно, на одного и хватило. Он сгреб все в кучку и уселся на бар. Рядом вились самки и шестерки. Одна была наиболее кокетлива, другой наиболее прилипчив. Им и перепало. Ей — гранула, ему — по шее. Он наблюдал за самкой, я за шестеркой. Шестерка, в частности, наступал вожаку, что за его спиной некий салага осмелился сам съест случайно оброненную вожаком гранулу. Расправа была мгновенной: сначала по шее получил шестерка, потом первый попавшийся. Первый попавшийся стал верещать что-то о справедливости и получил еще раз, но и виноватый на этот раз был предъявлен как доказательство и тоже получил, достаточно формально и снисходительно, и с подчеркнута жалобным воем, свидетельствующим о тяжести руки владыки, убежал оповещать всех о существовании справедливости. Стукачу была наконец выдана одна из гранул. Вожак был мудр и справедлив, он устал от мелких дрызг подчиненных. Справив справедливость как нужно, он отвернулся. Тут-то вожак и поймал *ЕГО* нескромный взгляд на свою любимицу. Некоторое время они смотрели друг на друга в упор, но тут даже *ОН* наконец понял... отвел взгляд и не получил по шее. Вожаку этого было достаточно. Повидимому, он счел это если и не победой, то признанием поражения.

И, кажется, все. Кажется, ничего больше не было. Дальше мы уже сидели на берегу и делали то, зачем сюда и приехали. Мы возлежали неподалеку от «рафика», в тени, у костерка, поджирая шашлык из мяса от малолетних преступников, попивая молодое вино от престарелых, поглядывая через реку на тот берег, кишевший обезьянами, отводя со смущением свой пресыщенный взгляд от их голодного. По взгляду, брошенному вожаком на альфа-самца, я понял, что вождь — мудр. Он первый понял, что больше не будет, что, пока есть корешки да желуди, рассчитывать на большее, чем одноразовое поощрение руководящего состава на глазах у подчиненных, не приходится... Он все это понял, про Драгамащенко, и, сохранив чувство собственного достоинства...

Пропустив описание ожидания, под номером три, я покрыл со спины следующую страницу молодого автора:

*«О без Я... О — О.*

*О — провал, дыра, которая вытягивает все мои мысли, мыслесос, а я сопротивляюсь, кривляюсь и развеваюсь, как флаг, этому ветру и свисту машу руками, сгибаюсь в три погибели (почему в три? оказывается, погибель — это «гнуться», а не «гибнуть»...), на мне жив лишь костюм с его двуполостью, то есть двубортностью, брючностью и — галстук на плече. Киногерой...*

*Два нуля, две дыры. В одну входит, в другую выходит.*

*О — плоское, О — зеркало... я разбиваю морду о собственное отражение.*

*Я не отверженный, я — отраженный. Летранжерный. Камю и Гюго в одном лице. Роман «Кого?».*

*Обезьяна из басни Крылова держит в руке детское овальное зеркальце и кривляется мне в него. Слаба глазами...*

*В младенчестве я так понимал наизусть эту басню:*

Мартышка в старости глазами стала...

*Я тогда не знал, что моими.*

*Не мог заподозрить, что состарюсь».*

Страница кончилась, и я написал цифру 4.

«Огонь... — написал я под ней. — Описание пожара».

Вот оно! Вот чего я не только не мог, но и не хотел описывать! Да и что я могу описать, если ничего не помню! Помню только черный провал моря и обгоревших чаек на берегу, будто они мотыльки большой лампы. Лампа была в виде петуха. Помню, что я один. Без НЕГО. Я отвернулся, чтобы не смотреть. Некоторые головешки выстреливали достаточно далеко и падали в воду, как отгоревшие ракеты, чуть высвечивая жирное, черное море, в котором плавали трупы чаек. Почему-то я думал, что ОН каким-то чудом вынырнет из того, что у меня за спиной, — чумазый, наглый, родной, и надерзит мне, нахамит как-нибудь особенно обидно, и я с НИМ соглашусь и буду счастлив, как никогда. «Сам виноват, — скажет, скажем, ОН. — Уходя, не забудьте выключить электроприборы. Да и роман твой — так сказать... гори оно синим огнем!» «Синим?» — спрошу я и заставлю себя обернуться и посмотреть. Но пламя, рвущееся из окон, не синее и даже не красное, а — черное, как то же море... Только белые стены — розовые, а черное небо — белое, и в нем, уже высоко над пожаром, на вершине свивающегося в шпиль дыма, — трепещет, как флажок, полощется и клекочет, взбивая пожар крыльями, не то красный, не то золотой, красно-золотой петушок... «Да ну ее! — легко скажу я про рукопись. — Мы-то живы...»

Но ОН так и не шел, а я так и не оборачивался, а только повторял непрестанно единственную молитву, которую помнил, — молитву мытаря:

Господи, помилуй мя грешного.

Господи, помилуй мя грешного.

Господи, помилуй мя грешного.

Не в силах поднять голову, не в силах поднять руку осенить себя крестным знаменем, стоя в той же обезьяньей роще.

Раз, два, три, четыре... мышки дернули за гири. Раз, два, три, четыре, пять... вышел зайчик погулять. Пять, — вычерчивал я цифру, пропуская, вслед за обезьянами, и пожар... «Обязан. Обязан. ОН без Я. Я без ОН. О без ДА. Обездарел. Без яиц. Ноль без палочки. Осиротел.

*О — это дао. Да, это — О. О, это да! О, это дао! Я не знал, что такое дао, понятия не имел, — и это опять дао. «Слово, между прочим, самое несуществующее слово. Как оно может само себя называть? Слово равно дао. Слово минус дао равно О. О равно дао минус слово. Слово СЛОВО — это уже коан.*

*К автору, однако, никаких претензий! Как называется то, что написано?*

*О-жидание о-безьян...*

*Вот и ждите!»*

И я грозно проставил дату на первой странице, над заглавием. Было уже утро следующего дня — 19 августа 1991 года.

Считалось, что папа наверху работает. Будил меня обычно голос жены снизу, кричавшей на детей, чтобы они не шумели и не мешали папе.

Разбудила же меня подозрительная тишина. Первое впечатление, когда я увидел их внизу, было, что они стоят на коленях и молятся телевизору. Потом это впечатление исправилось и объяснилось, но лишь отчасти. Просто они все еще не были одеты и длинные их ночные рубашки и... о, дети прекрасно знают, когда притихнуть! Одного голоса диктора было достаточно. Это был такой отлученный демократическими переменами диктор, снова привлеченный для исполнения текста некоего экстренного и необычайного правительственного сообщения. Это еще не было объявление войны, — приговором это уже было. Вдруг показало, что из всей жизни за одну ночь был отснят не очень мудреный эпос — штамп покрывал штамп: ночные рубашки, испуганные дети, жена, цепляющаяся за стремя... я не мог более ни секунды.

Я выехал на шоссе — но кино продолжалось. Какой-то ветер не ветер, тишина не тишина. Пустыня. Именно, что верблюда не хватало. Песок был. Каким-то образом он сначала закрипел на зубах. Я поднял стекло — но и тогда этот змеиный шорох о стекла стал особенно слышен. словно там, впереди, куда я ехал, был бархан и с его гребня, такими выющимися прядями, все это сдувало... Я ехал один. Отсутствие встречных и попутных машин было необъяснимым. Воздух был непрозрачен, несмотря на ясную, без единого облачка, погоду. Да и ветра на самом деле не было. Просто песок висел в воздухе, и я ехал сквозь него. Причем песочек был крупный: можно сказать, почти камешки стучали по лобовому стеклу. Хотелось его протереть. Но протирать следовало небо. Запыленное небо шуршало вокруг, как старая киноплёнка, на которую отснят был, по-видимому, я, куда-то ТУДА едуший... Собственно, машина моя стояла, а по бокам проносили побытершийся пейзаж, как и положено в павильоне. БУДТО я еду. Я делал вид, что вращаю баранку. Никуда я не ехал, я — ждал. Ждал, как КОГДА-ТО...

Ждать — все равно что. Что транспорт, что любимую. Это формула, а не причина. Ждешь, потому что ты предопределен, потому что ты описан, потому что внутри описания ты находишься. Я не ждал самих обезьян — я попал внутрь текста, описывающего ожидание их. Это — то самое, когда не ты, а с тобой что-то происходит. То, от чего вся литература. Это — состав. Литературу не пишут и не читают, когда становятся частью ее состава. Это то самое, изысканно именуемое дежа вю, когда кажется, что точь-в-точь это мгновение уже было: и это пространство, и это время, и ты в нем, что ты завис в этом, бывалом и неузнаваемом, вечном мгновении навсегда. Было, уже было... Конечно, было! Обычное узнавание ненаписанного текста.

Помнится, я сильно повздорил тогда с НИМ. Я застрял там, на той поляне, попирая отдававшую коньячком листву, хотя давно уже перебрался на берег этот, отводя душу с барабанщиком разговорами о тишине. «Понимаю вас, — соглашался перкуSSIONист. — Иначе зачем бы я стал стучать?» Все теперь понимали меня, соглашались со мной — я был исключительно прав. Это ЕГО и раздражало.

Пил я уже один, без НЕГО, я мог это сегодня себе позволить, и быстро делался пьян. Это тоже не могло ЕГО не раздражать, то, что ЕГО обносили. Ко мне подсаживались по очереди то Павел Петрович, то Миллион Помидоров, то доктор Д., то Валерий Гививович убеждался, все ли в порядке. Все было в порядке. Виктория напевала мне свои арии. Каждому находил я ласковое слово, сегодня к утру благополучно выведший всех к понтовому берегу!

— А Семион...

— Да, мы потеряли Семиона, — говорил я, не обращая внимания на ЕГО реплику, — и все-таки вынесли все тяготы повествования и вышли к морю, потому что ВМЕСТЕ.

— Вместе?.. — Я опять не замечал ЕГО пустого просительного стакана.

— Да-да, именно ВМЕСТЕ.

— Ну и дальше что?

— Стихия... свобода... вам что, мало?

— Свобода, мать ... Дальше, спрашиваю, что?

И ОН пошел собирать хворост для затухающего костра.

Что-то заставило меня резко обернуться в сторону реки... Крупный обезьян на том берегу подошел вплотную к воде и смотрел в нашу сторону. Я подумал, что это вожак, мне показалось, что он смотрит в упор. Конечно, глаз его на таком расстоянии разглядеть было невозможно, но я почувствовал этот взгляд. Взгляд был тот же самый, каким я встретился с ним впервые, осторожный и бесстрашный, покорный и прожигающий... Будто он не оттого так быстро убрал его, что опасался нас, а для того, чтобы мы не успели догадаться, что он НЕ боится. Теперь он не боялся, что я это пойму... Наконец, словно убедившись, что я смотрю в его сторону, он подобрал с берега валежину и понес ее в сторонку, где и бросил в кучу. И другой обезьян тут же собезьянничал, подбросив лепту...

Они собирают костер! — догадался я.

Они повторяли *ЕГО* движения!..

Доктор Д. пустился разуверять меня в том:

— Поймите же, они собирают не костер, а — кучу!.. Не станете же вы утверждать, что он сейчас начнет добывать огонь трением...

— Если зайца бить, он научится спички поджигать, — по-своему поддержал меня Павел Петрович.

— Эти русские... — сказал Миллион Помидоров. — Все бы им зайца бить. Некому березку заломати... Ну где? у какого народа?.. кудрявую — так и заломати...

— Сказать тебе, кто ты?! — тут же возмутился за меня *ОН*. — Ты... ты есть лицо кавказской национальности!

Обиднее сказать было нельзя, но Миллион Помидоров обладал одним несчастным свойством: был настолько силен, что никого не мог ударить, чтобы не убить. Поэтому его всегда били. Поэтому он не обиделся, а засмеялся, как бы над шуткой.

— Несчастливая мы национальность...

— Это вы несчастная национальность? — тут же вспыхнул Гививович. — Это мы самая несчастная национальность из-за вас!..

— Кто станет спорить, что самый несчастный народ — армяне?

Мнение прозвучало столь неоспоримо, что все смолкли. У кого еще территория была так мала, что из одной истории состояла?

— А кто Грецию пожалеет? — сказал наш собственный грек, электромонтер обезьянника. — Грецию, которая создала всю культуру, всю Европу, весь нынешний мир?

— Так уж и весь? — удивились мы.

Грек доказал, и иронический взгляд армянина был ему нипочем.

— А что, разве древние греки те же самые, что нынешние?

— Они были белокурыми и голубоглазыми...

— Армяне были тоже белокурыми и голубоглазыми!

— Тогда это точно не русские, — сказал Павел Петрович.

— Как это не русские?..

— Значит, это не русские во всем виноваты. Русские тоже были белокурые и голубоглазые.

— Как, впрочем, и евреи.

— В Израиле и сейчас больше белокурых и голубоглазых, чем на родине белокурых бестий...

— Вот я и говорю, что самый несчастный народ — это русские.

— Это мы несчастный народ?!

— Несчастнее всех немцы, — скорбным шепотом сказал барабанщик.

Он знал природу шума, и все стихло.

— Почему мы не спорим, кто из нас счастливее? — сказал, однако, кто-то из нас.

— А ты знаешь, — сказал Миллион Помидоров, — что стало с тем конем? Ты помнишь того коня?

— Который яблоки ел?

— Ну да. Его пристрелили.

— Такого коня! — *ОН* опять воспринял все на свой счет. — Из зависти, что ли? Или перед скачками?.. Прямо на скачках?! — У *НЕГО* разыгралось воображение.

— Да нет, — смеялся Миллион Помидоров. — Просто пристрелили. Сломал ногу — и пристрелили.

— Небось и съели? — разозлился *ОН*. — Тебе только русскую березку жалко?

— А доктор — ворону ел!.. — Павел Петрович тут же урегулировал национальный конфликт за счет доктора Д.

Поговорили о конине, свинине, про великую страну, где корову не едят, — само собой, о религиях, религиозные разногласия опять перерастали в национальные, и Павел Петрович вывел разговор напрямую — о людоедстве... Это была тема! Никогда не думал, что люди настолько много об этом думали...

Выяснилось, в чем отличие цивилизованного человека, к которым, замечу в скобках, относились все собравшиеся, как армянин, так и грузин, как грузин, так и абхаз, как абхаз, так и русский, как русский, так и еврей, как и единственный среди нас грек, потому что каждого из нас, замечу во вторых скобках, было двое, а иногда и трое... в чем отличие цивилизованного человека от дикаря, который, замечу еще в одних скобках, был почему-то один, и то воображаемый, но всеми почему-то одинаково: черный, в юбочке и с кольцом в носу, единственно мешавшим, по всей видимости, ему есть человека... так вот, выяснилось, что дикарь убивает врага и ест, но не убивает и не ест соплеменника, а цивилизованный человек убивает врага, но не ест, а себе подобного пожирает охотно, причем живьем, многообразнейшими способами, называемыми семьей, обществом и прочими так называемыми человеческими отношениями... Причем, к моему великому неудовольствию, в этой дискуссии инициативу взял на себя именно *ОН*. Как я *ЕГО* прозвал?..

— Вот ты съел армянина? — спрашивал *ОН*...

— Я? армянина? никогда! — возмущался Валерий Гививович.

— А ты съел бы Валерия Гививовича? — спрашивал *ОН* Миллиона Помидоров.

И т. д. И опять Павел Петрович не дал перейти гастрономическим разногласиям в национальные, грызть в резню, удержав на всем скаку норовистый спор над пропастью еврейского вопроса.

— А я бы, — категорически заявил он, — никогда не разделял бы мясо по национальному признаку, а ел бы всех без разбору... Это было бы полезно во всех, и прежде всего в экологическом, отношениях. Я бы ел его, если бы он был вкусный. Но он, я уверен, отвратителен на вкус, ибо более гнилого существа не существует в природе. Да, я берусь утверждать, что он и от природы самое несовершенное существо. Совершенство идет по нисходящей по мере эволюции: муха совершеннее слона и инфузория совершеннее мухи. И все, что бегаёт, оторвавшись от среды, несовершеннее того, что укоренено, не совершеннее растения. Только растение пребывает в земле и в небе, во тьме и в свете, в смерти и в жизни... И все — совершеннее человека! Несовершенство человека и есть его приговор. Не получилось! не получилось. Творение было заброшено на этом этапе. Эволюция прекращена. Нам осталось лишь вырождение, мутация...

— Павел Петрович, — вдруг с вежливой вкрадчивостью встрял *ОН*. — Снимите волосок с губы...

Павел Петрович машинально пощипал губу в поисках...

— Чтобы он не мешал вам пиздеть, — отчетливо произнес *ОН*.

— Что-что? — недослышал я.

— Выключи кипятильник...

В наступившей тишине было слышно, как всхлипывал доктор.

— Не хочу про эволюцию! не хочу про мутацию!.. Про диплодоков хочу! они были веселые, добрые, радовались жизни... любили танцевать...

— Ну да. Белокурые, голубоглазые...

На том берегу что-то сверкнуло, потом еще раз. В наступающих сумерках было не разобрать. Неужто высекают искру?

— Что ты сейчас сказал?? — Я не узнал своего голоса.

— Я просто сказал, не забыл ли ты выключить кипятильник...

— А разве ты его не выключил?

— Я не выключал.

— Точно?

— Точно.

Это вспыхивали глаза! Глаза жоака на том берегу... Но как ярко!

— Не может быть, чтобы ты меня не съел... — доносилось из кустов.

— И даже на необитаемом острове не съел бы! — Гордость звучала в голосе.

— Брезгуешь?!

Трещали кусты, сверкал глаз жоака, на подоконнике раскалялась выкипевшая джезва... Я, *ОН*, ПП и ДД.

— Запрёт на то или иное мясо, табуирование тех или иных животных, по сути, та же мембрана, предзапрет, чтобы не ест мясо человека...

— Мембрана из бифштекса?.. Ха-ха. Нет заповеди «не ешь», есть заповедь «не убий».. Почему число заповедей не соответствует числу смертных грехов?..

— Если это чревоугодие, если ты торчишь на этом мясе, только тогда это смертный грех... Надо страстно хотеть съесть человека!

— Чревоугодие — это не гурманство...

— Человек как башня... Недаром прямоходящий, вертикальный... Зверь — тот всегда очи долу... Башня же у нас — с дырами: рот, нос, глаза, уши, прочее... Семь дыр для семи грехов... Дыры вооружены мембранами... Заповеди, запреты, табу, целомудрие... Если мембрана прорвана, человек разгерметизирован — в дыру свободно входит искушение, грех, зло, дьявол... Вот именно он штурмует... Тараны, приставные лестницы... Поджог... Человек возгорается изнутри... Пожар... Башня пылает... Из окон и бойниц сыплются искры и вырывается пламя... У Брейгеля эти башни, у Босха... сколько хотите...

— Соответствует ли количество дыр числу грехов?

— Если считать пару за единицу, то — шесть. А грехов — семь.

— В глазах нет дыр.

— В детстве я был уверен, что зрачок — дырочка, даже пробовал перед зеркалом иголку туда ввести...

— Ну и как?

— Побоялся. В зеркале все наоборот.

— Человек несовершенен, потому что должен себя совершить. Сам. С Божьей помощью, конечно. Это не приговор — быть человеком, а назначение.

— Не хотите же вы сказать, что человек — это профессия?

— Именно что хочу.

— Профессия... назначение... башня... еще скажите, скудель греха. Дыры... Прав доктор, червь изобрел наше тело.

— Я раб — я царь, я червь — я бог!..

— Дыры же — две. В одну входит, в другую выходит.

— Человека же два... Един был мытарь, а другой фарисей...

— Вы фарисей, Павел Петрович!

— Это я-то?! Да кто больше мытарствовал моего!..

— Это все равно, в какую дыру вам гордыня залетит. Нечем хвастаться. Нынче фарисей куда больше мытарь, чем вы. Фарисей стал мытарем, а мытарь — фарисеем.

— Два человека вошли в храм...

— И оба не вышли.

— Нет, именно оба вышли. Два мытаря вошли в храм, а два фарисея вышли.

— И получился Прометей!

— Не Прометей, а Данко. Прометей был до Рождества Христова.

— А пошли бы вы ... со своим прогрессом! Колесо, огонь, рычаг...

Рабство — вот единственное изобретение человека.

— Прометей изобрел не огонь, а самогонный аппарат. Поэтому у него были нелады с печенью. Цирроз — в переводе «орел».

— С какого?

— С медицинского.

— «Сидеть орлом» — оттуда же?

— Не исключено. Пьянство — это чревоугодие?

— Спорный вопрос. «Ешьте, пейте. Это тело Мое и кровь Моя»... Кто сказал?

— С одной стороны...

— С одной стороны не бывает. Дыры же — две...

— Только одна сторона и есть. Как там? «Пока не станет живое мертвым, а мертвое живым»...

— Внешнее — внутренним, а внутреннее — внешним...

— Мужчина — женщиной, а женщина — мужчиной...

— И это уже было?..

— А как же. Все — было. Это вам только кажется, что вы выворачиваетесь наизнанку, — не видать вам Царствия Небесного как своих ушей!

— Ухо-то хоть — дырка?

— Молотите черт знает что, а сами отняли мясо у детей, вино у стариков, а фрукты у обезьян!.. И Бога своего вы съели.

— То есть как — съели?

— Буквально. Как тело. Он опустился, и вы Его съели.

— Заткнешься ли ты наконец?!

— Съели! съели!

— Не богохульствуй, дурак!

— Фарисей! Ненавижу...

Я рванул за *НИМ*. *ОН* ломился сквозь кусты с треском зверя, уходящего от погони. Крупный экземпляр, однако... Вдруг стихло, стемнело, на четвереньках я шарил вокруг, словно очки потерял. Вдруг слышу...

На четвереньках, всхлипывая, некрасиво отставив задницу, уткнувшись мордой в прелую листву...

— Господи! если я формула, то проклиная Тебя, чтобы продолжать верить в Тебя.

— Господи! если Тебя нет, то проклиная Тебя, чтобы Ты был хотя бы в проклятии моем.

— Господи! если Ты есть и я не формула, то не слишком ли это много для счастья?..

«Все именно тогда произошло...» — вспомнил я, скрипя колесами по шоссе. Пустыня продолжалась. Песок летел все крупнее и все звонче бил в стекло. И тогда, сравнивая ту тишину и эту, тот шорох опавших листьев с этим шепотом песка, то ожидание и это — и находя их одинаковыми, я понял, что я жду и чего. В моем невоенном мозгу такая догадка была ослепительной: я их так же никогда не видел на воле, танков, как и обезьян... Я понял, что передо мной по шоссе прошли танки. Это они перемолотили асфальт и подняли в небо пыль и песок...

Именно тогда все произошло. *ОН* порывался на тот берег с ящиком продуктов, кормить обезьян. Павел Петрович учил блевать доктора Д. Валерий Гививович обнимал Миллион Помидоров... А у меня в глазах стояла плающая башня, из всех дыр которой вырывался огонь, и была эта башня — гостиница «Абхазия». Рукописи замечательно горят, и пожар начинается с рукописи! Особенно когда вокруг нее такая большая фанера...

На обратном пути Павел Петрович еще что-то доплетал об опустившемся Боге. Что поскольку мы не исполнили назначения, а Он уже дал нам свободу выбора, то Он уже не в силах ни вмешаться, ни поправить, но и не снимает с себя ответственности. Он послал нам Сына Своего, и мы не поняли, мы отчислили Ему небеса и храмы, а сами продолжали. И Ему ничего не оставалось как разделить нашу участь, спуститься к нам и раствориться в нас. В этом смысле Он среди нас. И может даже, один из нас. И мы никогда не знаем, с кем имеем дело, при встрече с каждым человеком — не исключено, что с *Ним*...

А я понимал, что все кончено, что сгорела не просто гостиница и не просто рукопись, а живые души... Империя кончилась, история кончилась, жизнь кончилась — дальше все равно, что. Все равно, в какой последовательности будут разлетаться головешки и обломки и с какой скоростью.

Как-то все стало слишком ясно, про будущее.

Безразлично. Безразлично, что теперь будет. Потому что того, что было, уже не будет никогда. Когда исчезает то, что было, вместе с ним исчезает и то, что будет, потому что в том, что будет, не будет содержаться и атома от того, что было. Тебя не будет. Какая разница.

И когда я наконец увидел первый танк и когда я увидел догорающую «Абхазию», когда я уперся в этот бронebarхан и когда жар пожара остановил меня, то ли песок попал в глаза, то ли дым, — но мне стало настолько все равно, настолько не жаль себя, что я заплакал.

— И это ты думаешь про себя, что лишен тщеславия? — услышал я обрыдлый *ЕГО* голос.

— Тщеславие-то тут при чем?! — тут же завелся я.

— Да я ни разу тебя в таком горе не видел.

— Если бы это были сапоги... Разве не имеет права ремесленник плакать над разбитой вазой?

— Работы — да, жалко. Только какая это работа? Ты же кайф словил? — словил. И все тебе мало; ты жаден.

— Жаден, ладно. Но не тщеславен же!

— Какой ты у меня чуткий да обидчивый. Слова тебе не скажи.

— Так ведь неповторимо же! Я же не говорю: хорошо. Неповторимо!

— Нет, не труда тебе жаль. Когда ты трудился? Тебе лотерейного билета жаль. Который мог бы наконец выпасть. А вдруг, чего не бывает... авось наконец гениально и переживет тебя, переживет века... Сам знаешь, что это не так. Ну а вдруг все-таки? А *вдруг* не бывает. Кстати, ты злоупотребляешь этим словечком *вдруг*.

О, *ОН* умел меня завести!.. Я и завелся с полуоборота.

— Кто ты такой, чтобы мне это говорить! Подонок, гной, голубизна латентная!

— Фи-и! Интел-лигентный считается человек, интел-лектуал...

Сколько яда вложил *ОН* в один корень...

— Это я-то интеллектуюал! — возмутился я прямо как *ОН*.

— Но не я же... — царственно парировал *ОН*.

Тут крыть было нечем.

— И потом, — обиженно и самодовольно сказал *ОН*. — Сам посуди, какой же я голубой?..

— Это я сказал или ты сказал? По-твоему, интеллектуюал — так и гомосексуалист?

— А что, это не синонимы?

— Знаешь слово *синоним*?..

*ОН* рассмеялся.

— Кто скажет, что сгорело в Александрийской библиотеке? Множество ли шедевров? Может, это Булгаков ее спалил, чтобы фразочку свою пресловутую произнести? Так ли уж хорош был, вне цитат, Гераклит? Гоголь... Сгорают непременно шедевры. Так нам легче. Как неудобно без пожара! надо целыми чемоданами рукописи терять, как Хемингуэй... Так вот что я тебе скажу: у тебя сейчас непременно шедевр горит! «Живые души»! Что — «Солдаты Империи».... Я бы тебе советовал переименовать сочинение. Я бы этой версии придерживался. Еще лучше было бы тебе самому вместе с ним сгореть. Счастливейший финал! Сразу гением станешь. Миф — славная реклама. Читать тебя начнут, вычитывать, что сгорело, неосуществленные возможности... Кто скажет, что они не грандиозны? За собой надо застолбить как раз возможности, а не тексты. Быть лучше других — слишком мало и долго. Куда легче получить враз то, что тебе не принадлежит. Гибель — и сразу все будущее, целиком. И не надо в петлю лезть, стреляться, жечь шедевры и терять чемоданы... Это уже не твоя забота и работа — *они* оплачут и оплатят: *им* же тоже надо как-нибудь быть. Они *поработают!* За тебя, между прочим. Ты им только предоставь. Уступи. Отойди. Что это ты все есть и есть? Хочешь, правду скажу? Ты никогда этого не знал, а я знаю: *они тоже люди!* Освободи им свое место — увидишь, как много они для тебя сделают, благодарные! Ты им надоел. А так, без тебя, они тебя любят. Сделай их вдовой, ну сделай! Пусть трахается на твоей могиле с могильщиком... это ли не признание! Признание это и есть. Слава. Ты этого хотел? Почему это ни один из великих в несчастном случае не погиб?.. Вот тебе еще возможность стать первым. Так и норовят, чтобы их замочили! А если это никому не надо, то сами себя мочат. А тут не царь, не общество — рок, стихия! Получше соавтор. Так нет... Пьяные ничтожества лезут под трактор, великий — никогда! Слабо?

Я рванулся *в огонь*, с тем чтобы *ОН* меня остановил, и *ОН* меня остановил:

— Соавтор — трактор — рифма?

— Как хочешь... — убитый, сказал я. — Лучше — провокатор. Правда, что ни один из них в несчастном случае не погиб?



- Не востребованы судьбой. Оттого они ее и преувеличивали...
- Сейчас мой роман горит — это не преувеличение.
- Как ты думаешь, крысы и кошки успели сбежать?
- При чем тут...
- Потому что ты будешь виновник их гибели. Может, среди них какой ихний Коперник был...
- Не Коперник, а Джордано Бруно.
- Какая разница...
- Люди тебя, конечно, не занимают.
- Ни один из них не сгорел, успокойся.
- Откуда ты знаешь?
- Да так. Наблюдаю жизнь. Тебе нужно, чтоб сгорел? Разочарую: всего лишь один ожог, и тот получен утром: наш друг Даур с похмелья опрокинул котелок хаши, на не свои, кстати, брюки. Травма обидная и болезненная, но не смертельная. Один только человек может еще сгореть в этом историческом пожаре... Сказать тебе, кто?
- Только не ты.
- Но и не ты. Зачем мне гореть? Вещь же твоя...
- Разве только моя? Совсем-совсем не твоя?..
- Наконец-то! Поджечь тебя надо, чтобы до тебя дошло...
- Так это ты, подлец, нарочно не выключил кипяtilьник! Я так и думал.
- Нанялся я, что ли, ходить за тобой...
- Ну да, ты только под себя можешь.
- Опять же заметь, я — хам, а хамишь всегда только ты. Причем всегда мне. Хама ты побоишься.
- Да не боюсь я тебя!
- Ловко. Иногда и ты за словом в карман не лезешь.
- Только в нагрудный...
- Что это ты так всегда боишься быть заподозренным? Хочешь, чтобы непременно все подумали, что именно из сердца, а не из мошны. А у тебя ни того, ни другого. Расселся тут, греешься у своего костерка. Дай-ка и я пересяду, другой бочок погрею. А то свежее к вечеру, контраст: с одного боку печет, другой стынет. Гордись: ты не слабый пожар раздул — хоть и не мировой. Гоголь, когда учинил кремацию своим мертвым душам, окончательно замерз, а не согрелся.
- Он сам сгорел, как живая душа.
- Ты думаешь?
- Ничего я не думаю. Что ты пристал ко мне с трепотней! Это у меня роман сгорел.
- Детище?
- Вот именно!
- Любимое?
- Ты этого не понимаешь.
- Того я не понимаю, этого... Сам ты что понимаешь! Ты хоть раз о ком подумал? понял кого? Ты называешь меня *ОН*, а себя *Я*... Это справедливо? Как водку пить — так вместе, а как блевать — так мне? Что ж тут такого удивительного, что мне все равно... Да гори роман твой синим пламенем! Это справедливо. Пусть будет по-твоему: это ты его написал, а не я. Так мне и дела нет. Ваши заботы, господин учитель.
- Так писал бы... мастер старинного анекдота!
- Я писать не умею. — Голос *ЕГО* прозвучал неожиданно мягко.
- Неужто? Наконец-то. Признался.
- Я не в твоём смысле. Не в писательском. Я расписаться не могу.
- Врешь!
- Но я знал, что на этот раз *ОН* не врет.
- Ну, так иначе помогал как-нибудь. Наблюдал бы... Запоминал. Раз ты такой наблюдательный... Книжку какую про обезьян прочел да пересказал...
- Я читать не умею.
- И это? Однако ты по-своему последователен.
- Да, — сказал *ОН* самодовольно, — характер — это моя прерогатива.

— Прерогатива... Откуда ты слов таких нахватался. Как старых анекдотов...

— Вот опять... я твоя мусорная корзина. А между тем теперь у тебя только то и осталось, что я из нее, скомканное, разгладил.

— Ты сохранил *это*!?

— А как же! Черновики — это кайф. Их можно разглядывать, а не читать. Как квитанции. Как трамвайные билетки...

— Неужто ты меня так любишь?

— Так... — сказал *ОН* презрительно. — Почему тебя надо *так* любить? Как еврея. А нельзя просто *любить*? Это мало тебе, недостаточно?.. Я ненавижу *тебя*! Но все больше, чем ты меня. Все же я не так равнодушен...

— Как я... Слушай! а тогда, в таком дивном грузинском городке, помнишь... когда ты так напился... когда я с тобой так напился... когда ты со мной... ну, короче, когда мы напились и я умирал, избитый местными армянами за проармянские речи, воспринятые ими как антигрузинские... *помнишь*?

— Не, — сказал *ОН*, — не помню.

— Не помнишь?.. Ты врешь. Я лежал тогда в своем номере, пьяный вусмерть, избитый до смерти, умирающий... Сердце мое останавливалось. Я считал. Оно все-таки ударяло снова. И вот не ударило. Я умер. Никакого там света, коридора, туннеля... Теплый, тошнотворный мрак, как ужас. Будто тебя обратно в матку запихивают. И тут же я лежал голый и обмытый, на животе, но видел всю комнату как бы спиной. И видел себя же, меня витающим под потолком... Это был *ТЫ*?

Теперь *ОН* повернулся другим боком к пожару, то ли чтобы остудить нынешний, то ли чтобы погреть прошлый...

— Помню желтую лампочку, вокруг которой *ТЫ* вился... Свет был особенно желтый, как тело... как *твое* тело. И как мое. С каким любопытством ты смотрел! Будто впервые видел... Кого *ты* видел!?

— Что ты меня трясешь, как следователь в кино... — вяло огрызнулся *ОН*.

— Это был ты или я? Это ты меня вернул к жизни или я тебя?

— Не помню...

— Ты летал надо мною, и ты был очень возбужден. А я был мертв.

— Ну да. Как труп в пустыне ты лежал...

— Кстати, похоже. Только хуже. В кровати. А точнее, на кровати. Потому что это был труп. Живой — *в* кровати, а мертвый — *на* кровати, ты не согласен?

— Мы гимназиев не кончали...

— Это не грамматика. Короче, их было двое, одинаковых, как близнецы, как две капли... Мертвый и живой. И они слились. Стало темно. Я открыл глаза. Было темно. Мертвые не открывают глаз. Я пошарил в темноте. И первое, что нащупал, был вот какой предмет... Круглый, теплый и продолговатый. Твердый. Стоящий вертикально. Не помнишь?..

— Я сам этого не делаю.

— Дурак. Предмет не был частью моего тела.

— Ну так тем более!

— Дурак! Это было горлышко! Это было горлышко глиняного кувшина, наполненного красным вином!

— Ну? — заинтересовался *ОН*. — И что же?

— Как ты думаешь, что?.. Я его ласково потрогал.

— Ну?

— И приник!

— И вырвал...

— Нет, не вырвал, а, насосавшись, воскрес. Включил свет. Заметь, что он не горел. Заметь, что он не был вовсе таким желтым. Но я был в чем мать родила и был обмыт, и кувшина до того не было! Ты принес?

— Это тебе грузины послали за твои антиармянские речи.

— Нет, это был *ты*!

— Типичный делириум.

— Делириум... Неграмотный, а как нахватался.

— У тебя. Лучше скажи, что потом было?

— Потом... Потом я позвал тебя и ты допил остальное.

— Лучше бы ты тогда сдох, — опять обиделся ОН. — Для кого весь этот театр? Что за роль ты мне отвел? Ты творишь, ты пишешь и читаешь, ты духовен, как Бетховен... а я — только пить да спать да еще... ты у нас даже в туалет не ходишь, как Веничка. А у меня даже имени собственного нет! Рабство. Все, что *вы* сумели изобрести, это рабство!

— Кто *мы*?

— Люди.

— А *ты* кто?

— Сам знаешь.

— Не ангел ли?

— Где уж нам уж выйти замуж...

— Это ты придумал *сам*, про рабство?

— А то ты! Откуда у тебя *мой* опыт? Ты всегда нисходишь ко мне, а на самом деле низводишь меня. До роли свиньи, чернорабочего, подонка. Будто мстишь, ей-богу...

— За что?

— Сам знаешь.

— Не знаю!

— За то, что это я одушевленный, а не ты! За то, что это у меня талант, а не у тебя, за то, что это меня бабы любят!..

— Так вот из-за чего мы спорим... Из-за бабы!

— Я с тобой спорить не стану. Какой ты мне соперник!..

— Действительно. Вот странно... Вот в голову пришло! Слушай! Что это мы с тобой ни разу одну бабу не полюбили?

— А мне твои никогда не нравились. А моих ты стеснялся.

— Что же, совсем ни одной, что подошла нам обоим?

— Это уже любовь называется.

— Что ж, разве мы не любили ни разу?

— Я-то любил...

— Слушай, тебе ее не жалко? Треплем нежную, совсем затаскали...

— Поздно жалеть. Спасать ее надо.

— Душу живу.

— Чуть живу.

— А кто виноват?

— Ты!

— Подумать только! Когда было восстание рабов в Египте?

— 2750 лет до нашей эры.

— Помнишь!

— Еще бы не помнить! Назабвенный Федор Иванович! Он когда хотел с двойки на тройку вытянуть, всегда этот вопрос задавал. А ты был двоечник, живой мальчик... Это потом ты стал таким рабовладельцем, ханжой и занудой. Бездарью.

— Ну, ты...

— А что я? Ты мне не угрожай. Мое положение — прочнее не бывает. Да, я подонок. Но я живой. Я Богу молюсь. А ты чего достиг? Чего добился, я спрашиваю? — только бесчувствия. Тебе кажется, что ты самоусовершенствовался, развился, лишился пороков? А ты только *лишнего* порока лишился, потому что он сам отвалился. Ты лучше не стал — ты стал только хуже. Ты скрыл свое безобразие, не предьявляя язвы. Ты маска. Причем моя.

— Почему ты именно сегодня, когда у меня роман спорел, когда у меня, наконец, есть хоть какое-то, в твоём понимании, чувство... что ж ты обижаешься на меня, когда меня, наконец, пожалеть нужно?

— А когда тебе еще что-нибудь сказать можно?! Ты же никого не слышишь!.. Зачем, зачем ты мне это рассказал?? Будто ты меня... ты меня...

— Ну что ты! что ты... не плачь. Наоборот. Это скорее ты меня.

— Я тебе как вешалка. Ты обвесишься на мне — гладить не надо. Просохнешь, примешь форму, которой у тебя нет, заметь, по определению... И — снова затщеславишься как ни в чем не бывало. Ханжа!

- Да ты бы давно спился без моего ханжества!  
 — Вот спасибо. То-то мне никак не удастся. Никак не могу спиться!..  
 — Да не лезь ты в бутылку...  
 — Неужто у тебя осталось?  
 — Я спросить тебя хотел...  
 — Ты? меня?.. У меня нету.  
 — Вот я и спрашиваю тебя, у которого нету... как совесть, как душу, не как раба... Ведь как раз на этот раз я хорошо написал?  
 — Ты! опять ты! все время ты! и снова ты!  
 — Мы... у нас получилось?  
 — Как тебе сказать... в целом неплохо.  
 — В целом... что ты понимаешь...  
 — Ты забыл, я только читать не умею. Чувствовать же мне приходится за обоих.  
 — Перераспределил роли?.. Ну как же ты не раб! Дай тебе волю, ты уже на шее!  
 — Вот видишь, опять ты меня попираешь...  
 — Ловок ты ловить меня... Ну, извини. Согласен. Сам знаю. Не «Мертвые души». Пусть горят. Живые, они дают больше жару...  
 — Да не бойся ты Гоголя! Там были славные страницы!..  
 — Правда? ты находишь?..  
 — Нахожу. Это мертвых жгут, как дрова; живые — сами горят. Это было лучшее из всего, что мы... что ты... Вот увидишь, это станет исторический пожар! Эта «Абхазия» — только спичка. Когда-нибудь ты скажешь: я видел, как все началось.  
 — Ты поджог?!  
 — А хоть бы и я...  
 — И это говоришь мне *ты!* Герострат сучий. Много чести... ты из одной лени кипятыльник не выдернул!  
 Я бросился спасать рукопись, но *ОН* схватил меня за руку. *ОН* всегда был сильнее меня.  
 От боли я присел и завыл.  
 — Тебе правда так дорога эта штука? — спросил *ОН* как бы с удивлением. — погоди...  
 Я же не успел удержать *ЕГО*. У меня просто сил не хватило.  
 Там *ОН* исчез, в дыму да в огне.  
*ОН* был ловок, как обезьяна. Через секунду я увидел *ЕГО* на балконе третьего этажа. Было не разглядеть...  
 Но кому там было быть еще?

Дуло было нацелено мне прямо в лоб, и это как-то успокаивало. Потому что оно было слишком большое или потому что мы привыкли видеть его чаще в кино, чем в жизни. Странно было, что такая дура может еще и стрелять, а не только для устрашения. Автомат как-то опаснее, пистолет еще хуже, но всего противнее нож...

Но ножи и автоматы тоже были у солдат, покинувших свои БТР, чтобы размять ноги, перекурить, прислонившись к теплой августовской броне, и выражение их лиц было тоже не страшным как раз насчет автомата и тесака, которыми они и не собирались пользоваться, которые было лишь положено носить как значки и лычки, зато никакой веры, глядя на них, не оставалось, что они не стреляют из пушки, когда им прикажут. Такова была положительность и предупредительность их интонаций и движений в контактах с гражданами, что веяло инструктажем не поддаваться на провокацию. Они хорошо исполняли первый приказ, значит, из пушки как раз могли тоже выстрелить. Публика свободно с ними беседовала, и из машины казалось, что они договариваются о чем-то на вечер, после... Мне нравились солдаты: не нервные, они ничего не имели против людей, в которых им прикажут стрелять.

Так думал ничего не смыслящий в этом я, сворачивая в объезд на набережную, чтобы перебраться на тот берег, и увязая в пробке. Я подолгу

рассматривал каждое встречное лицо, ибо кому-то почему-то надо было с тою же необходимостью перебраться на берег противоположный. И это было одно и то же лицо не только потому, что так немислимо медленно продвигалась пробка, не только потому, что тот берег, что было видно через реку, был так же забит, как и этот, а потому, что каждый следующий встречный водитель хранил настолько то же выражение, что прямо удивительно, что их там так потрясло, так объединило... Одно их общее лицо было вот какое: не знаю, кто ты такой, что сейчас на меня пялишься, но ты меня не видел, и я тебя не видел, и как я отношусь к происходящему, за тех я или за этих, ты никогда не узнаешь и никому не докажешь... Только костяшки на руле белели, будто его сжимают сильнее обычного. Эта угрюмая бесстрастность, всеобщая номенклатурная замкнутость... вот что меня испугало. Ни одного выражения досады, возмущения, страха, отчаяния — все всё так давно знали назубок! Вот кто был солдат... Знай дыши выхлопными газами! Но ведь и ни одного выражения ликования... с тоской порадовался я. Ни одного!

Продравшись наконец за мост, запарковавшись поближе к оцеплению, я деликатно выполз на рекогносцировку. Было пусто и солнечно: ни машин, ни людей, — разогнали или разбежались? Доброжелательность милиции настроживала. Машин не было понятно почему, но людей не было, оказалось, не потому, что не пускали. Несколько столь же осторожных, как я, любопытных делали вид, что они сюда забрели не с политической целью. Было не страшно и не весело — никак. Брейгелевский идиот, в безухой шапке-ушанке, пересекал это унылое полотно в избранном им самим направлении, в любом случае поперек. Нес он тяжелую железную спинку от кровати, и что-то удивительно знакомое, даже родное, даже до боли, померещилось мне в его ухватке... Павел Петрович!

— Как ты? — сказал он.

Это в смысле «хау ду ю ду», не более.

Мы взяли за спинку вдвоем и понесли. Он впереди, я сзади. Он как бы знал, куда он ее нес... Очень почему-то приятно было видеть его поредевший затылок. Старичок в стоптанных «адидасах»...

— Слушай, ты где пропадал? — сказал он мне.

— Это я-то?!

— А ты не помолодел... — сказал он с удовлетворением.

— Зато ты выглядишь отлично, — парировал я.

— Все-таки ужасно рад тебя видеть, Доктор Докторович... Ну как, дописал роман?

Ну не подлец ли? Семи лет как не бывало. Я чуть кровать не выронил.

— Слушай, а ты захватил с собой?

Оказывается, его и не интересовал мой ответ...

— Ну, ты не огорчайся так уж... Я захватил.

Сказано это было вдруг с такой доброю, что я понял, что он все знал.

И он действительно знал *все*.

— Пожар в «Абхазии» начался с дымохода в шашлычной. Его никогда не чистили — пожарный надзор довольствовался шашлыками. Бараний жир с сажой — очень хорошая горючая смесь.

— Откуда ты знаешь?

— Я же там был.

Я опять чуть не уронил кровать себе на ногу.

— Ты недавно посмотрел фильм «Огни большого города»?.. — догадался я.

— Это что, Чарли Чаплина?

— Куда мы идем? — Голос мой прозвучал неприветливо.

— Там нас очень ждут.

— Ты уверен?..

— Увидишь.

Мы сбросили ношу в кучу металлолома, и это была баррикада.

— Так просто? — восхитился я.

— А ты как думал?

И он пренебрежительно взглянул на танки. Мы уютно расположились с видом на них и на Москву-реку, на гостиницу «Украина».

— Ты демократ? — спросил я.

— Это я-то! — возмущился он. — Ты за кого меня считаешь?

Из ящичков он тут же соорудил костерок и достал из кармана своей непомерной блузы... Чего там только у него не было! Не успевал я подумать, как он это именно и вынимал.

Он *это* вынимал, а я смотрел на его руки — на них трудно было не смотреть. Его характерные ногти — полуклавиши-полукогти — еще более загнулись, а кисти были покрыты жуткими розовыми пятнами — не иначе псориаз... «Водка свою работу знает...» — как говаривал он сам когда-то.

— Ожог, — сказал он, отметив мой взгляд.

Признаться, я онемел.

— Чинил утюг...

И впрямь, *тот* ожог не мог быть таким свежим...

— Сейчас... — сказал он неопределенно. — Сейчас, — сказал он, разливая по первой и концентрируясь.

И по второй мы успели выпить, пока закипал чифирок.

— Нашел! — И он ласково поскреб под рубашкой, где сердце, своей ужасной рукою. — Нашел... — И он ласково взглянул на окружающую действительность, будто она превратилась в котеночка. — Все-то ты перебиваешь, ни разу мне не удалось высказаться тебе до конца... Бедное, бедное!.. Как оно выворачивается наизнанку! И ради кого? И что предложим мы ему, кроме непрерывной, задыхающейся работы... Четыре камеры. Все время переводят из одной в другую. Ни секунды сна. И смерть в каждом пульсе, и счет ей... Счет каждой секунде, чуть чаще, чем она пройдет. Оно быстрее времени — сердце! Как мало ему осталось добежать... Оно рвет финишную ленту! рекорд! орация! И нет тебя. Не ты бежал — ты только думал, что бежишь... Оно бежало! Оно и прибежало, а не ты. Что же это ты так жалеешь себя? Его, его пожалей!

И он опять налил себе одному.

— Не ты ли, доктор, цитировал мне от Фомы... Пока не станут... Странно все это звучало из твоих уст — будто парадокс какой: внутреннее — внешним, мужчина женщиной, жизнь смертью и наоборот... Ничего странного! Это всего лишь описание сердца. Всего лишь... скажешь тоже! Как оно, бедное, бьется... Слышишь, бьется? Бьется — вот и слышишь. Вот и вся музыка. Музыка — потом. Остальное — молчание. Пауза. Пропасть. Космос. Сердце не бьется, а — останавливается. Летит в бездну, умирает, обмирает в нем каждая секунда. И ты еще рассуждал мне о часах!.. Сердце, единственное, измеряет время в природе. Видел шатун у паровоза? Думаешь, он колесо крутит?.. Обыкновенное техническое жульничество! Потому что к нему такая маленькая, хиленькая, застенчивая тяга присобачена, чтобы никто не заметил, что не сам шатун... Она, тягочка эта, его поддергивает, чтобы сдвинулся с мертвой точки, и паровоз — едет, важный, толстый, пыхтит, делает вид, что сам, думает, что это он. Сердце — вот главный замок! На него замкнуто все: и Вселенная с ее дырами, парсеками и карликами, и Земля этой вселенной, и ее жизнь на ней с ее амебой и человеком... И на человека навешен этот замок! Что есть менее искусственное, чем сердце с его желудочками, предсердиями, клапанами и аортами? Оно все *придуманно*. Кем?! Вот кровь моя и вот плоть моя... Вечный инфаркт! вечно прорванная и зарастающая мембрана... Сердце — вот девственность! Цело-мудрие! Это Он разорвал себя на части для каждого!.. Пожалей Его. Бога не сэкономишь... Просто *пожалей*. Оно неисправимо, сердце!..

Мне стало вдруг стыдно за границы, дачи, машины, картошки, и я слишком поторопился выразить свое согласие и восхищение. Как же он возмущился!..

— Через легкие, говоришь?.. Через ВСЕ!! А что ты вдыхаешь? Это ты полагаешь, что воздух... А я говорю тебе: не в легких обогащается кровь, а в сердце. И с этим обогащением поступает она сюда. — И он с презрением постукал по лбу. — В самом общем, в самом отхожее наше место. Котелок у каждого есть, как вещь. Голова и яйца — это у нас снаружи, сердце же есть *внутри*! Оно заточено в нас, как в тюрьму. Оттого мысли у всех одни, а сердца

одинок. Космические аппараты, пролетающие тьму плоти... Сердца разлучены, а не мысли. Мысль есть самая поверхностная вещь, и она никогда не коснется сути. Мозг не поет и не пляшет, он не плачет и не радуется, этот студень. Что мы носимся с этой миской хаши? Это именно *мозг* ни разу не пожалел сердца, самодовольно полагая, что оно ему служит. Все, видите ли, ему подчинено, значит, все его и обслуживает. А потом, раз все его обслуживает, значит, все ему и подвластно. А потом, раз все ему подвластно, значит, он все может. А раз он все может, давай, говорит, сделаем искусственное сердце! Построили министерство, размером с Белый дом: ведомство правого желудочка, департамент левого предсердия... Подключили к нему умирающего человека: давай, говорят, живи! А я: не хочу! Сердится мозг на человека: чего, мол, не хочешь? мы же всем тебя обеспечили, снабжение по высшему разряду, что тебе, мало? сердца, говоришь, не хватает?.. Занялись усовершенствованием: по линии перераспределения функций отделов и сокращения штатов. Значительно продвинулись: вместо микрорайона сердце разместилось в одном квартале — тут пришел совсем умный человек, обвинил докторов, не без оснований, в тупости. Архаики вы, говорит. Зачем, говорит, вы природу пытаетесь скопировать — никогда это у вас не получится; давайте исходить из чисто технических параметров. Поймали для начала теленка; вставили ему электромоторчик... Знаешь, он — жил! Кровь нормально циркулировала. Снабжала всем, что положено. И знаешь, чего не хватило? *Остановки!* Кровь снабжала, но не оповещала о жизни и смерти. У теленка не было пульса! Счет времени был потерян. Теленок сдох, а не умер. Ибо каждый удар *его*... Вот битва! Боже! за что Ты бьешься?.. Господи! — воскликнул он. — *Как же ВСЕ хорошо!*

— Что хорошего? — изумился я, снова увидев тачки.

— А погодка. Праздник. Преображение как-никак.

— «Шестое августа по-старому...» А я и забыл!

— Ты что, не церковничаешь больше?

— А я и не церковничал!.. — обиделся я.

— А я сегодня, первое дело, к храму побежал...

— Ты?

— Там у сторожа похмелиться можно. Смотрю, кровать...

— Ты — вечен! Ты — Феникс! Слава Богу... И ты, конечно, знаешь, что будет?

— Что будет... А ни ... не будет! Слава Богу и будет. Великий Праздник.

— Я не о том... я о *них*...

— Эти-то? — Он даже не посмотрел на танки. — Металлолом. Да ты не на них — ты *туда* взгляни!

И ложечкой, которой помешивал чифирок, не глядя он ткнул куда-то вверх.

Сначала мне показалось... Но потом: нет, думаю... Я еще раз посмотрел вниз на танки, а потом вверх на небо. Нет, не может быть! Однако...

«И видел я воинство в воздухе...»

Опершись на раскаленные добела копы, как на лопаты, в ватниках на белые крылья, в небе подремывали ангелы. Их обрусевшие дюреровские лица были просторны, как поля, иссеченные молниями и разглаженные необсуждаемостью ратного труда. Их набрякшие кулаки молотобойцев, выкованные вместе с оружием, внушали доверие, как и лица... легко стало мне на душе, не трудно: это их ногти проросли сквозь кисти, это их приковали веригами за облака, это к их крыльям пристал, как куриный помет, небесный мусор русских деревень, прикидываясь патиной: избы, заборы, проселки, колодцы, развалины храмов и тракторов... Сон ангелов был тяжел и чуток, как их крылья. Они вздрагивали и всхрапывали, как кони, и наш костерок тогда слегка кольхался от их дыхания, а дымок вытягивался к ним, и тогда казалось, что это ангелы пахнут пожаром своей неустанной битвы. Боже, как же Ты терпим к нам и суров к ним!

— Господи! помоги *им!*

---

---

ОЛЬГА ГРЕЧКО

\*

## ОГОНЬКИ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЕ

\* \*

\*

*В. Пахомовой.*

В золотых волосах кукурузное поле,  
в запеленатых куклах — а иные в подоле.  
Их баюкает ветер, и клонит их в сон  
синий цвет четырех подступивших сторон.  
...подступает к глазам и за горло берет  
то ли свой,

то ли твой,

то ли мамин черед.

А так хочется в куклы еще поиграть!  
Кукурузная куколка, русая прядь.  
Класть за пазуху, будто не летом — зимой,  
согревая другого, согреться самой...  
Чрево, пазуха, лишний денечек в раю,  
лишь бы, баюшки-баю, не лечь на краю.  
Как за каменной, за кукурузной стеной,  
но уж то по пятам, что я чую спиной.  
Приотстала бы, чуя тебя по пятам, —  
а ты весь в горностаях, да все по цветам!  
По лазоревым, аленьким, по золотым.  
Что мне было поделать с таким молодым?  
Сам же, первый, спросил: — Ты в своем ли уме —  
в сорок лет расцвести на потеху зиме!  
Златовласок в сухие шелка пеленать,  
когда все,

что ты помнишь,

пора поминать...

\* \*

\*

А ты еще будешь меня вспоминать.  
Как шелк была, правда? — а травку  
тебе что ни лето сминать да сминать,  
с того и душа — на поправку.  
Была как известка бела, поплыла,  
когда ты сказал, уезжая,  
что зря я веноч васильковый сплела,  
нас аура губит чужая.  
Еще ты прижмешься к известке щекой,  
и тоже ослабнут коленки.  
А правда, не я отнимала покой,  
не я тебя ставила к стенке?  
В той беленькой церкви полно прихожан,  
родные и теплые лица.  
Домой из разведанных топая стран,  
еще ты зайдешь помолиться.  
И всем предсказаньям, всем снам вопреки  
меня, свой потопленный Китеж,  
за каждым крутым поворотом реки  
чем дальше — тем ближе увидишь...



\* \*  
\*

Не беда, что кофе ячменный,  
а беда, что на лицах тень.  
Звякнул денежкой разменной  
наконец-то наставший день.  
Сквозь тебя, как вода сквозь пальцы,  
я прошла с пересохшим ртом.  
Друг сквозь друга прошли, скитальцы, —  
на чужбине искать свой дом...

\* \*  
\*

Ты отдых мой, тепло по коже.  
На шалость детскую с огнем  
так не похоже! — а похоже  
на ситный дождик за окном.  
Вот из чего наш хлебец сытный,  
не тот, который съел — и нет.

В любви я пассажир транзитный —  
в иное у меня билет.  
И у тебя билет — в иное.  
Нам больше нечего делить.  
Нам только бы тепло земное  
мгновенье перед сном продлить...

\* \*  
\*

Под перламутровыми тучами  
себе мы кажемся летучими,  
звоним овсяным серебром.  
А пахнет первым сентябрем.  
И пахнет преющим игольником.  
Паук по воздуху снует.  
И каждый робким-робким школьником  
себя в любви осознает.  
До старости, до бледной немочи  
все второгодники да неучи,  
азы бы только повторять  
да пальчиком бы по букварику —  
как с лодки в чистую Москва-реку  
в Тучкове  
с головой  
нырять!

\* \*  
\*

*Каме.*

Огоньки в художественной школе.  
Снег идет, кудель прядет.  
И в моей, почти что Божьей, воле  
рисовать что в голову взбредет.  
Чистым льном, бегущей вдаль основой  
держится моя живая ткань.  
Хоть перечь, хоть путайся — в сосновый  
запах краски разбегись и кань!  
А не в Лету.

Все начнем сначала.  
Снег идет, серебряный овес...  
С ним на пару шла бы да молчала.  
Ты бы сам, что надо, произнес.



---

---

# ПУБЛИЦИСТИКА

АЛЕКСАНДР БОРЩАГОВСКИЙ

\*

## ОБВИНЯЕТСЯ КРОВЬ

Соплеменник мой, призрак безглавый,  
Как ты мог головы не сберечь?  
— Захотел я свободы и права,  
Вот и скинули голову с плеч.

Соплеменник мой, отрок казненный,  
Почему ты в земле не почил?  
— Сколько пало! В земле миллионы,  
И уже не хватает могил.

*Перец Маркиш.*

I

**В** ночь на 13 января 1948 года в Минске был убит великий актер Соломон Михоэлс. Его тело и тело походя уничтоженного театрального критика Владимира Голубова (Потапова) были найдены на заметенной снегом улице, каждый с проломленным виском.

Едва ли кто принял тогда на веру официальную версию о случайной гибели, о наезде или автомобильной катастрофе. Слухи множились, один другого загадочнее и страшнее, в считанные дни сложилась уверенность, что это злодейское убийство. Анализу возникших версий я, опровергая досужие вымыслы, посвятил немало страниц в книге «Записки баловня судьбы».

Важной уликой было для меня то, что за два дня до отъезда Михоэлса в Минск ему внезапно сменили попутчика: вместо театрального критика Ю. Головащенко, уже оформившего командировку, Всероссийское театральное общество (ВТО) послало критика Голубова, талантливого литератора, автора первой книги об Улановой, в прошлом минчанина, окончившего в Белоруссии Институт инженеров железнодорожного транспорта. Не подозревая своего славного, пьющего коллегу Володю Голубова в сотрудничестве с органами госбезопасности, оплакивая его как случайную жертву убийц, я не мог не подумать о том, зачем его едва ли не силком принудили ехать в Минск. Ему бы радоваться поездке с мудрым и веселым Михоэлсом, который, как известно, не плошал в рюмочных баталиях ни с Фадеевым, ни с Алексеем Толстым, ни с мхатовскими корифеями...

А Голубов нервничал, места себе не находил.

В день отъезда я увиделся с ним дважды — в ВТО, куда я заглянул через Пушкинскую площадь из своей редакции «Нового мира», и на Белорусском вокзале перед отходом поезда. Не зная, что я приду на вокзал, Михоэлс позвонил ко мне домой, сказал моей жене Валентине, чтобы я не тревожился, — он вернется через несколько дней и прочтет труппе мою пьесу: он собирался ставить в ГОСЕТе запрещенную тогда Главреперткомом мою пьесу о временах фашистской оккупации Киева.

На вокзале Голубов как-то сиротливо прижался ко мне, признался, что «вот так» — пухлой рукой он провел по воротнику пальто — не хочет ехать, не думал, не хотел и не хочет... «Зачем же ты дал согласие? Ты в ВТО не служишь, послал бы их подальше». Он посмотрел на меня серьезно и печально, сказал понуро, что нужно, просят, очень просят, потом чуть посветлел лицом — мол, с Михоэлсом все-таки интересно.

Голубов не мог подозревать, что они обречены, что жизнь кончена, но как человек болезненно впечатлительный он заметался, что-то испугало его в поспешности командировки, предчувствия прогнали с лица полудетскую, какую-то незащищенную улыбку. Мягкий, иронический, лукаво-снихождительный человек, он пользовался общей нашей любовью, никому в голову не приходила мысль о его зависимости от страшной карающей силы. «Я, когда напиваюсь, — пожаловался на однажды, — всегда оказываюсь на железной дороге... помню рельсы, рельсы, рельсы, пустые вагоны, стальные плиты на переходных площадках, тамбуры, — ни человеческого голоса, ни гудков, только путейское железо...» Черные, провальные ночи, вероятно, и сделали его заложником.

Организаторам убийства нужен был зависимый, сломленный человек и непременно бывший житель Минска, оставивший там какие-то корни, давние знакомства и связи.

Версии минского убийства с течением времени множились, писавшие о нем вступали в обидчивые споры, и только сорок четыре года спустя газетная публикация, небольшая заметка «Ордена за убийство», положила конец спорам. Газета «Аргументы и факты» (1992, № 19) опубликовала выдержки из письма Лаврентия Берия в Президиум ЦК КПСС, к сожалению, не оговорив ошибки составителей письма, отнесших убийство к февралю (вместо января) 1948 года.

Редакция опустила многие абзацы этого письма, в них заключены сведения, имеющие первостепенную важность, — привожу письмо в более полном виде по архивной копии:

**«Совершенно секретно  
В ПРЕЗИДИУМ ЦК КПСС**

тов. МАЛЕНКОВУ Г. М.

В ходе проверки материалов следствия по так называемому «делу о врачах-вредителях», арестованных быв. Министерством государственной безопасности СССР, было установлено, что ряду видных деятелей советской медицины, по национальности евреям, в качестве одного из главных обвинений инкриминировалась связь с известным общественным деятелем — Народным артистом СССР МИХОЭЛСОМ. В этих материалах МИХОЭЛС изображался как глава антисоветского еврейского националистического центра, якобы проводившего подрывную работу против Советского Союза по указаниям из США.

Версия о террористической и шпионской работе арестованных врачей **ВОВСИ М. С., КОГАНА Б. Б. и ГРИНШТЕЙНА А. М.** «основывалась» на том, что они были знакомы, а **ВОВСИ** состоял в родственной связи с **МИХОЭЛСОМ**.

Следует отметить, что факт знакомства с **МИХОЭЛСОМ** был также использован фальсификаторами из быв. МГБ СССР для провокационного измышления обвинения в антисоветской националистической деятельности **П. С. ЖЕМЧУЖИНОЙ**, которая на основании ложных данных была арестована и осуждена Особым совещанием МГБ СССР к ссылке.

Следует подчеркнуть, что органы государственной безопасности не располагали какими-либо данными о практической антисоветской и тем более шпионской, террористической подрывной работе **МИХОЭЛСА** против Советского Союза.

Необходимо также отметить, что в 1943 году **МИХОЭЛС**, будучи председателем еврейского антифашистского комитета СССР, выезжал, как известно, в США, Канаду, Мексику и Англию и его выступления там носили патриотический характер.

В процессе проверки материалов на **МИХОЭЛСА** выяснилось, что в феврале 1948 года в гор. Минске быв. заместителем Министра госбезопасности Белорусской ССР **ЦАНАВА**, по поручению бывшего Министра государственной безопасности **АБАКУМОВА**, была проведена незаконная операция по физической ликвидации **МИХОЭЛСА**.

В связи с этим Министерством внутренних дел СССР был допрошен **АБАКУМОВ** и получены объяснения **ОГОЛЬЦОВА** и **ЦАНАВА**. Об обстоятельствах проведения этой преступной операции **АБАКУМОВ** показал:

«Насколько я помню, в 1948 году Глава Советского правительства **И. В. СТАЛИН** дал мне срочное задание — быстро организовать работниками МГБ СССР ликвидацию **МИХОЭЛСА**, поручив это специальным лицам.

Тогда было известно, что **МИХОЭЛС**, а вместе с ним и его друг, фамилию которого не помню, прибыли в Минск. Когда об этом было доложено **И. В. СТАЛИНУ**, он сразу же дал указание именно в Минске и провести ликвидацию **МИХОЭЛСА** под видом несчастного случая, т. е. чтобы **МИХОЭЛС** и его спутник погибли, попав под автомашину

В этом же разговоре перебирались руководящие работники МГБ СССР, которым можно было бы поручить проведение указанной операции. Было сказано — возложить проведение операции на ОГОЛЬЦОВА, ЦАНАВА и ШУБНЯКОВА.

После этого ОГОЛЬЦОВ и ШУБНЯКОВ, вместе с группой подготовленной ими для данной операции работников, выехали в Минск, где совместно с ЦАНАВА и провели ликвидацию МИХОЭЛСА.

Когда МИХОЭЛС был ликвидирован и об этом было доложено И. В. СТАЛИНУ, он высоко оценил это мероприятие и велел наградить орденами, что и было сделано.

ОГОЛЬЦОВ, касаясь обстоятельств ликвидации МИХОЭЛСА и ГОЛУБОВА, показал:

«Поскольку уверенности в благополучном исходе операции во время «автомобильной катастрофы» у нас не было, да и это могло привести к жертвам наших сотрудников, мы остановились на варианте — провести ликвидацию МИХОЭЛСА путем наезда на него грузовой машины на малолюдной улице. Но этот вариант, хотя был и лучше первого, но он также не гарантировал успех операции наверняка. Поэтому было решено через агентуру пригласить в ночное время в гости к какому-либо знакомым, подать ему машину к гостинице, где он проживал, привезти его на территорию загородной дачи ЦАНАВА Л. Ф., где и ликвидировать, а потом труп вывезти на малолюдную (глухую) улицу города, положить на дороге, ведущей к гостинице, и произвести наезд грузовой машиной. Этим самым создавалось правдоподобная картина несчастного случая наезда автомашины на возвращавшихся с гулянки людей, тем паче подобные случаи в Минске в то время были очень часты. Так было и сделано».

ЦАНАВА, подтверждая объяснения ОГОЛЬЦОВА об обстоятельствах убийства МИХОЭЛСА и ГОЛУБОВА, заявил:

«...зимой 1948 года, в бытность мою Министром госбезопасности Белорусской ССР, по ВЧ позвонил мне АБАКУМОВ и спросил, имеется ли у нас возможность для выполнения одного важного задания И. В. СТАЛИНА? Я ответил ему, что будет сделано. Вечером он мне позвонил и передал, что для выполнения одного важного решения правительства и личного указания И. В. СТАЛИНА в Минск выезжает ОГОЛЬЦОВ с группой работников МГБ СССР, а мне надлежит оказать ему содействие».

...При приезде ОГОЛЬЦОВ сказал нам, что по решению Правительства и личному указанию И. В. СТАЛИНА должен быть ликвидирован МИХОЭЛС, который через день или два приезжает в Минск по делам службы... Убийство МИХОЭЛСА было осуществлено в точном соответствии с этим планом... примерно в 10 часов вечера МИХОЭЛСА и ГОЛУБОВА завезли во двор дачи (речь идет о даче Цанава на окраине Минска. — А. Б.). Они немедленно с машины были сняты и раздавлены грузовой автомашиной. Примерно в 12 часов ночи, когда по городу Минску движение публики сокращается, трупы МИХОЭЛСА и ГОЛУБОВА были погружены на грузовую машину, отвезены и брошены на одной из глухих улиц города. Утром они были обнаружены рабочими, которые об этом сообщили в милицию».

Таким образом, произведенным Министерством внутренних дел СССР расследованием установлено, что в феврале 1948 года ОГОЛЬЦОВЫМ и ЦАНАВА, совместно с группой оперативных работников МГБ — технических исполнителей, под руководством АБАКУМОВА, была проведена преступная операция по зверскому убийству.

Учитывая, что убийство МИХОЭЛСА и ГОЛУБОВА является вопиющим нарушением прав советского гражданина, охраняемых Конституцией СССР, а также в целях повышения ответственности оперативного состава органов МВД за неуклонное соблюдение советских законов, Министерство внутренних дел СССР считает необходимым:

а) арестовать и привлечь к уголовной ответственности б. заместителя Министра государственной безопасности СССР ОГОЛЬЦОВА С. И. и б. Министра государственной безопасности Белорусской ССР ЦАНАВА Л. Ф.;

б) Указ президиума Верховного Совета СССР о награждении орденами и медалями участников убийства МИХОЭЛСА и ГОЛУБОВА отменить.

2 апреля 1953 года.

Л. БЕРИЯ».

Письмо Берия направлено в ЦК КПСС 2 апреля, вслед за объявленной реабилитацией «врачей-убийц». Не прошло и месяца со дня смерти Сталина, страна еще скорбит, свято чтит память вождя, в скорби слагают стихи поэты; всякий, кто в те дни открыто, громко называл бы Сталина преступником, рисковал быть растерзан-

ным толпой. А между тем Абакумов, арестованный еще в июле 1951 года, в письме, затребованном Берия, рисует Сталина как мстительного, но заурядного уголовного «пахана». Стихия Сталина — приговор, вынесенный изустно, бесстрастно, не повышая голоса, иногда *обозначенный* гневливо сведенными бровями, сердитым ударом ребром ладони по столу, — все что угодно, — но только не то, что предлагают нам в своих продиктованных Берия показаниях Абакумов, Огольцов и Цанава.

Приняв их показания, Берия как бы хочет дать шанс обреченным палачам, чьи услуги больше никому не понадобятся. Продолжается жестокая игра, до поры благоприятствующая Берия. Он быстро, не откладывая, устранил прямых виновников убийства Михоэlsa, но главное, покончит с людьми, которым известно, что и это убийство и начавшийся тотальный поход против евреев в стране одобрены Сталиным и его приспешниками, начиная с Маленкова и самого Берия. Берия услужливо помянет в этом письме жену Вячеслава Молотова — Жемчужину, над которой еще вчера позволено было издеваться самым бесчеловечным образом на потеху Сталину и Политбюро, членом которого был Берия. Он охотно повторит, если позволят обстоятельства, маскарад 1938 года, свою ловко явленную стране маску «освободителя», почти либерала.

Известно, как стряпались и «редактировались» показания подследственных в Лефортове, в Бутырках, на Лубянке, как следователи искажали протоколы допросов, насильем понуждая арестованных подписывать только нужные показания. В том, что Берия позволил (если не продиктовал!) всем трем спрятаться за спину Сталина, они видели какой-то шанс на спасение жизни, просвет, надежду обойтись сроком, а не пулей в затылок. Даже Абакумов, как известно, лучше других стоявший под пытками после ареста, пытался изо всех сил доказать, что убийство Михоэlsa не выношено им самим (как это было в действительности), а навязано высочайшим приказом, столь внезапным, что он и точных сроков не удержал в памяти.

Абакумов сознательно относит приказ о ликвидации Михоэlsa к началу 1948 года, смекает убийство во времени, называя вместо января — февраль. Судя по многим документальным свидетельствам, мысль об устранении Михоэlsa, о *необходимости* устранения, родилась у Абакумова давно, не позднее сентября 1947 года. Именно он испросил согласие Сталина на убийство Михоэlsa в конце декабря 1947 года или в первых числах января. И получил его незамедлительно.

11 октября 1953 года заключенный Верхнеуральской тюрьмы МГБ СССР Исаак Иосифович Гольдштейн, доктор экономических наук, бывший старший научный сотрудник Института экономики АН СССР, писал в Москву в новосозданное, поглотившее и службу госбезопасности, Министерство внутренних дел о несправедливом своем осуждении и просил о пересмотре дела. Гольдштейн, не имевший отношения к деятельности Еврейского антифашистского комитета, был тем не менее брошен следствием в этот адский «котел», обвинен в еврейском буржуазном национализме, объявлен опасным врагом, чей случайный арест положил начало разоблачению всего националистического еврейского подполья. Он был обвинен в пособничестве тем, кто вынашивал планы «террора», кто именно с этой целью поручил ему сблизиться с семьей сестры Светланы Сталиной-Аллилуевой, с мужем Светланы — Морозом, чтобы проникнуть в некие кремлевские тайны и доставить нужные сведения главе всей террористической банды — Михоэlsу...

Вот строки из обращения Гольдштейна к властям:

«Через несколько дней (Гольдштейна арестовали в ночь с 17 на 18 декабря 1947 года, в счастливую для него пору: только что вышла из печати его книга «Германский империализм». — А. Б.) меня привели к майору Сорокину, который заявил мне, что меня вызовут сейчас к министру, которому я должен все подтвердить, что признал в ходе следствия... Он настаивал, чтобы я не отказывался от того, что показал против Евгении Александровны Аллилуевой. Приведенный к министру, я застал там и двух уже упомянутых ранее подполковников (речь идет о двух его истязателях, которые вкупе с Сорокиным избивали Гольдштейна «до потери нормального человеческого облика». — А. Б.). Министр задал мне вопрос — подтверждаю ли я свое прежнее показание. Я подтвердил. Тогда он сказал, что Гринберг отрицает правильность моего сообщения. Затем тут же он спросил: «Значит, Михоэлс подлец?» Я кивнул головой и тут же был быстро выведен из кабинета, не успев сказать ни слова»<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Свод архивных материалов по делу Еврейского антифашистского комитета (ЕАК) состоит из 42 томов Следственных материалов (След. мат.), 8 томов Судебных протоколов (Суд. дел.), томов Дополнительных материалов (Доп. мат.), Материалов проверки (Мат. пров.) и томов Документов (Док.), с отдельной пагинацией по каждому разделу. Хранится в архиве МБ РФ

Не Кремль, не Аллилуева интересует в этот момент Абакумова, а Михоэлс, прежде всего Михоэлс, хотя изуродованный, потерявший от побоев слух Гольдштейн даже не знаком с ним. Абакумов готовится к неординарному шагу: казалось бы, зачем убивать того, кого собираешься казнить по приговору? Ведь посадить можно любого: писателя с мировым именем, великого ученого-селекционера, знаменитого режиссера, жен своих верных соратников; стоит ли трудиться, сочинять сценарии «ликвидации», раздавать ордена?! Другая оправдавшая себя «ликвидация» — убийство Кирова — была задача из труднейших, потребовала и чрезвычайных организационных усилий и великого притворства, лицемерия, выдающегося лицедейства; к гробу Михоэлса Сталин не придет, не пошагает рядом с миной сосредоточенной скорби. «Ликвидация» Михоэлса — убийство в темной ночной подворотне.

Любопытная психологическая подробность: Абакумову — баловню судьбы, непременному посетителю московских премьер и концертов, статному, гвардейской осанки молодцу, часто разгуливавшему по Тверской от Пушкинской площади к Охотному ряду и обратно в сопровождении «друга» — шута Павлуши Закина, низкорослого носатого еврея, по мнению Абакумова, еще более *безобразного*, чем Михоэлс; Абакумову — любителю и любимцу женщин, более удачливому, чем Берия; Абакумову — безжалостному шефу СМЕРШа — зачем-то нужна была вера в то, что «Михоэлс подлец».

Добытые пытками показания сломленного, теряющего сознание Гольдштейна выводили задуманное дело на тропу «террора»: зачем бы еще нужны были Михоэлсу и всей еврейской националистической банде *домашние* сведения о Сталине, будущие ключи к кремлевской квартире?! Именно свидетельства Гольдштейна позволили Абакумову обратиться в Инстанцию (так именовались в официальных бумагах госбезопасности ЦК, Секретариат, Политбюро, Сталин) и получить добро на «ликвидацию» Михоэлса.

Истерзанный вид доктора наук Гольдштейна не оставлял сомнений в том, как добыты его «признания», но это не связывало рук министру: он пошлет в Инстанцию подписанные листы протокола и получит благословение на крайнюю меру, на то, что Берия впоследствии, в письме от 2 апреля 1953 года, деликатно назовет «незаконной операцией» и «вопиющим нарушением прав советского гражданина»<sup>2</sup>.

Но зачем понадобилось убийство Михоэлса? Зачем устранять главного обвиняемого будущего процесса, руководителя преступной «банды», честлюбивого пророка этого беспокойного народа? Именно его свидетельства помогли бы докопаться до истинных мотивов преступления, понять механизм действия разветвленной по стране антисоветской организации, определить меру вины каждого. Зачем «ликвидировать» человека, в чьей лысой сократовской голове хранятся, пока он жив, тайны и секреты, которых тщетно будет доискиваться следствие?

Ни тогда, в дни скорби и слез, ни впоследствии никто не задумался вслух над тем, для чего был убит Михоэлс. Шло время, многие открывшиеся подробности уже не оставляли сомнений, что великого актера убили не власовцы, не бендеровцы, не вступившие с ним в конфликт провокаторы из числа еврейских националистов. Ни у кого, ни у скорбящих друзей, ни у злорадовавшихся врагов Михоэлса, не оставалось сомнений, что убило — государство.

Исследование десятков томов следственного и судебного дела ЕАК, многих томов документов и материалов этого дела, заявлений подследственных, знакомство с другими делами, предусмотрительно выделенными для отдельного рассмотрения, жалоб и просьб тех, кого бросили в тюрьмы и лагеря на сроки от 8—10 и до 15—25 лет, позволяет ответить на вопрос, кому и зачем понадобилось предварительное устранение Михоэлса.

<sup>2</sup> Эпизод допроса Гольдштейна Абакумовым существует и в более полном и откровенном изложении следователя Сорокина, в его показаниях комиссии прокуратуры и военюристов, проверявших дело ЕАК. «По истечении некоторого времени на допрос Гольдштейна в декабре 1947 года в Лефортовскую тюрьму явился Комаров (быв. заместитель начальника следственной части по особо важным делам. — А. Б.) и сказал, что он имеет распоряжение Абакумова о применении к Гольдштейну мер физического воздействия. Эти указания Абакумова Комаров выполнил в тот же вечер при моем участии... Комаров на следующий день вторично применил к нему меры физического воздействия при моем участии. В Лефортовской тюрьме находился и Абакумов, дожидаясь окончания Комаровым допроса. А через несколько дней Абакумов снова вызвал к себе Гольдштейна на допрос и задал ему два лаконичных вопроса, он спросил его: «Итак, значит, Михоэлс сволочь?» Гольдштейн ответил: «Да, сволочь». Тогда Абакумов спросил его: «А Фефер тоже сволочь?», на что Гольдштейн ответил отрицательно. „В то время, — замечает Сорокин, — я еще не знал, кто такой Фефер, и на дальнейших допросах Гольдштейна мы не возвращались к этой фамилии». (Мат. пров., т. I, лл. 57—58).

На каждом из сорока двух томов следственного дела значатся имена Лозовского и Фефера, непременно эти два имени. Когда появлялось на одном или двух томах и третье имя, это означало, что в них собраны материалы следствия по Маркишу или Бергельсону, по Лине Штерн или Зускину, по Шимелиовичу или Тальми и т. д. Имя Михоэлса ни на одну обложку не вынесено, хотя повторяется оно несчетное количество раз, хулиится и очерняется, унижается и растаптывается.

Вторым по значимости и «захватанности» в протоколах можно назвать только имя Фефера, многолетнего недруга Михоэлса, а затем попутчика его по долгой, триумфальной поездке в США, Канаду, Мексику и Англию летом и осенью 1943 года.

Фефер осторожен и законопослушен — качества, не заслуживавшие в той бедственной жизни особого осуждения. В феврале 1948 года, когда никто уже не сомневался, что Михоэлс убит злодейски и с умыслом, и все, кто писал о нем, ограничивались одним скорбным словом «гибель», Фефер упрямо повторял официальную версию о наезде автомашины. 5 февраля 1948 года в газете «Эйникайт» была напечатана статья Фефера под лаконичным заголовком — «Михоэлс».

«Я видел Михоэлса за несколько часов до несчастного случая, — вспоминал Фефер. — Это было в понедельник 12 января, около четырех часов дня. Он был полон жизни и беспокойства. Мы сидели за обеденным столом, и кто мог себе представить, что это его последний обед, последний разговор Михоэлса о театре, о нашей работе, о наших задачах. Когда я узнал, что Михоэлс всю прошлую ночь просидел с артистами белорусского еврейского театра за творческой беседой, я выставил ему претензию, что он не шадит себя, что он не должен тратить столько сил. Но Михоэлс посмотрел на меня с улыбкой и сказал: «Нужно было. Это театр с талантливыми актерами, и была необходимость потолковать с ними». И я сразу увидел перед собой с н а н а р о д а, нового человека — Михоэлса. Около шести вечера мы простились, договорившись о том, что встретимся еще раз для продолжения разговора. Больше мы не встретились, разговор остался неоконченным. Через пару часов *под тяжелыми колесами грузовой машины* перестало биться беспокойное сердце великого художника, великого патриота, славного сына еврейского народа»<sup>3</sup>.

Увы, я прочитал текст давней статьи Фефера, спустя годы переведенной для нужд следствия на русский язык, прочитал его, хорошо зная, как мало оснований имел Фефер считать себя единомышленником Михоэлса, как несправедлив был Фефер к Михоэлсу-художнику, реформатору театра, как превратно он понимал место Соломона Михайловича в истории и судьбах еврейского народа и в театральной его культуре. Я прочитал статью после знакомства с изощренными клеветническими показаниями Фефера о Михоэлсе, добытыми следствием без применения карцера или пыток. Статья огромная, торжественная, велеречивая, а вместе с тем и до мелочей предусмотрительная, иначе Фефер не позволил бы себе пошлых выдумок вроде того, что Михоэлс, вспоминая в минской беседе свою поездку с Фефером в союзническую Америку 1943 года, сказал: «Мы были подобны двум парашютистам, находящимся в окружении!»

А у меня из памяти не идут слова действительного соратника и доброго друга Михоэлса, театрального кудесника Вениамина Зускина, слова из протокола допроса от 17 марта 1949 года, спустя три месяца после ареста:

«Весной 1943 года Михоэлс вернулся из Куйбышева в Ташкент и сообщил мне, что намечается посылка делегации от Еврейского антифашистского комитета в Америку с агитационной целью мобилизовать все американское еврейство на борьбу с фашизмом и что в эту делегацию намечаются: он — Михоэлс — и И. С. Фефер.

Я был поражен, так как всем было известно, что между ними в продолжение многих лет существовали более чем натянутые отношения. Начиная с 1924 года Московский еврейский театр почти ежегодно выезжал на гастроли в Киев и Харьков, где в разное время жил Фефер, и в каждый приезд на встречах со зрителями, на которых обсуждали постановки театра, Фефер всегда выступал с критикой театра и *особенно резко* против Михоэлса как художественного руководителя и главного актера театра.

На мой недоуменный вопрос — почему наметили именно этих двух человек — Соломон Михайлович мне ответил:

— Так наметили свыше»<sup>4</sup>.

Быть может, не стоит корить человека за то, что он прозрел и, стоя у гроба, обдумывая случившееся, находит для покойного самые высокие слова, постигает

<sup>3</sup> След. мат., т. XXXIV, лл. 391—392 (курсив мой. — А. Б.).

<sup>4</sup> Там же, т. XXIII, лл. 102—103.

наконец после утраты его гениальность, видит его не только вровень, но и много выше всех его выдающихся современников.

Но, выставив перед Абакумовым, перед ЦК и Сталиным великого артиста в роли презренного «агента сионизма», продавшегося «Джойнту» и торгующего русской землей, Крымом, как трудно, даже и для поэта, вообразить себя вместе с Михоэлсом — революционным парашотистом — во вражеском окружении...

Соломон Михоэлс был первым казненным по делу Еврейского антифашистского комитета. Любой список жертв этого дела должен открываться его именем. Начиная тотальную расправу, масштабов которой мы и не представляли себе, властям непременно надо было прежде всего казнить Соломона Михайловича Михоэлса.

## II

Почему никому из близких не позволили кинуться в Минск — удержали в Москве жену и двух дочерей от первого брака?

Отчасти на этот вопрос отвечает книга дочери Михоэлса, Наталии Михоэлс, спустя три с половиной десятилетия после его гибели. «Утром 13 января Михоэлса нашли убитым в глухом тупике, куда не могла захватить ни одна машина, — писала она. — Рядом с ним лежал убитый театровед Голубов-Потапов. Свидетель». Она отвергает версию автомобильной катастрофы или наезда, напоминая, что «...Зускин, Вовси и Збарский, которые видели чистое, неповрежденное тело Михоэлса после «автомобильной катастрофы», вскоре были арестованы». Потрясенные горем близкие все еще не понимают очевидного даже и тогда, «...когда в нашу набитую людьми квартиру пришла вечером того же дня Юлия Каганович. Она увела нас в ванную комнату — единственное место, где еще можно было уединиться, — и тихо сказала: — «Дядя (то есть Л. М. Каганович. — А. Б.) передал вам привет... и еще велел сказать, чтобы вы никогда, никого, ни о чем не спрашивали»<sup>5</sup>.

Каганович знал о приговоре, вынесенном Михоэлсу, знал, что Абакумов получил разрешение на убийство, и вовсе не заботился о жене и дочерях Михоэлса. Все проще: в мыслях он уже эту очередную жертву молоху принес и теперь хотел, чтобы молча, по-рабы, униженно принесли эту жертву и близкие Михоэлса, без истерики, а главное, без обращения к нему за помощью. (Знал ли он о том, с какой зловещей настойчивостью домогается министр Абакумов — и сам, и через ближайших к нему следователей — фактов, сведений или, на первый случай, хотя бы *подозрений* и об его, Кагановича, личных связях с Михоэлсом, с Еврейским антифашистским комитетом и вообще с беспокойным, злоумышляющим, «неверным» еврейством?)

Михоэлс приехал в Минск накоротке, он должен был просмотреть два выдвинутых на соискание Сталинской премии спектакля. День-деньской его сопровождали друзья и знакомые, руководители местных театров, режиссеры, журналисты. Подобраться к Соломону Михоэлсу днем невозможно.

Действовали, как свидетельствует Огольцов, через *агентуру*. У службы госбезопасности нашелся советчик, знавший, как легко на подъем Михоэлс, — его страсть к доброй компании, к веселому застолью, его жадный интерес к новым людям, его готовность к бессонной ночи. В Минске лютой морозной ночью на 13 января 1948 года Михоэлса позвали на свадьбу. В номере Михоэлса находился уже собравшийся уходить режиссер Головчинер, когда зазвонил телефон и Голубов взял трубку. В своей книге «Записки баловня судьбы» я писал об этом: «Недолгий разговор, и Голубов, прикрыв трубку, сказал, что звонит его однокашник по институту... у кого-то из близких сегодня свадьба, и друг узнал, что Голубов приехал с Михоэлсом: «Володя! Упроси его, умоли! Если Соломон Михайлович заглянет хоть на полчаса, это будет молодым память на всю жизнь...» Уверен, что Михоэлс и минуты не колебался: свадьба так свадьба! Какие они теперь, еврейские свадьбы, женихи и невесты, свадебные гости в полутемном, разрушенном нацистами городе, который жив, строится и играет свадьбы...»

Близкие Михоэлса, как и многие другие, и я в том числе, считали, что расследование было поручено Льву Шейнину, и, совершив в этой связи какую-то ошибку, он был изгнан из органов прокуратуры, а затем и арестован. «Как могло прийти в голову этому опытному и достаточно искушенному человеку заняться таким опасным делом? — недоумевала Наталия Михоэлс. — Это осталось для нас загадкой. Что ему

<sup>5</sup> Вовси - Михоэлс Н. Мой отец Соломон Михоэлс. Тель-Авив. 1984, стр. 245—246.



было известно? Что ему удалось выяснить в Минске? Об этом он так никому и не рассказал»<sup>6</sup>.

Протоколы допросов по делу ЕАК и тома следственного дела самого Л. Р. Шейнина вносят ясность. Вот показание Шейнина на допросе 28 октября 1951 года: «Вовси, видимо, подавившись широко распространенным еврейми в Москве лживым слухам о том, что я ездил в Минск для расследования причин гибели Михоэлса, спрашивал меня об обстоятельствах смерти Соломона. Я объяснил Вовси, что расследованием причин гибели Михоэлса я не занимался и находился в это время в командировке в Казахстане, что соответствует действительности»<sup>7</sup>.

Вениамин Зускин на допросе в феврале 1949 года показал следователю Рассыпнинскому: «Я встретился с Шейниным в театре Ленинского комсомола на спектакле и подошел к нему, чтобы узнать результаты его расследования по делу убийства Михоэлса. Но он, хитро подмигнув мне, заявил: „Вы, конечно, хотите знать о моей поездке в Минск? То заявляю вам, что я никуда не ездил“»<sup>8</sup>. Человек театра, знающий цену подтексту, хитрым подмигиваниям, лукавым, «подсказывающим» фразам вроде: «Вы, конечно, хотите знать о моей поездке», — в результате мог только увериться в том, что Шейнин ездил в Минск, но как вышколенный служака хранит тайну.

Я заговорил с Шейниным об этом много позднее, когда он, освобожденный из тюрьмы и реабилитированный, был назначен главным редактором киностудии «Мосфильм». Он жил тогда с задержанным дыханием, в постоянной малодушной тревоге, опасаясь касаться многих тем, а тем более писать воспоминания, что ему почему-то настойчиво рекомендовали друзья. Только однажды на «Мосфильме» в гулком, пустом припавильонном коридоре он уступил моим расспросам и сказал, что был отстранен от следствия потому, что, как еврей (как «экс нострис», сказал он), не смог повести следствие справедливо и объективно, «не понимая, кому было выгодно это убийство...».

Так и я укрепился в убеждении, что Шейнин лукавит, что, видимо, он занялся расследованием дела, расследовать которое не надо было, ограничившись какими-то формальными, ничего не значащими шагами, и сразу же был отстранен. Плутуя, он говорил правду: следствия по делу ЕАК не вел ни он, ни любой другой из следователей главной прокуратуры, а тем более Лубянки. Больше того, я убедился в том, что самого убийства тщательно старались не касаться следователи МГБ, задействованные в деле Еврейского антифашистского комитета, и вслед за ними судьи. Подсудимые тотчас же обрывались, едва они заговаривали об убийстве.

Странное, почти мистическое ощущение создает это строгое — словно мы приближаемся к краю бездны — умолчание. Казалось бы, погиб главный обвиняемый всего дела ЕАК, бессменный председатель его президиума, а на все, что касается его смерти и должно более всего интересоваться суд, наложено грозное табу! Вот один из многих примеров того, как председательствующий на процессе судья, генерал-лейтенант Чепцов, резко пресекает попытку заговорить об убийстве и убийцах Михоэлса. Допрашивался подсудимый Шимелиович, бывший главный врач больницы имени Боткина, человек редкого мужества и нравственной силы. Он показывал: «В первый вечер ареста, когда со мной говорил следователь Шишков, он мне сказал: «Ну-ка расскажите, кто убил Михоэлса?» Причем тут же мне назвал...» Судья не дал ему договорить, оборвал властно и бесцеремонно: «Я спрашиваю вас, какие разговоры были у вас о причинах смерти Михоэлса? А что Шишков говорил вам, это суд не интересуется»<sup>9</sup>.

Следствие в этой связи интересовало лишь одно: добиться обвинительных показаний против П. С. Жемчужиной, арестованной жены Молотова, получить подтверждение того, что именно она на похоронах Михоэлса сказала, что он жертва не несчастного случая, а правительства и ненавидящего евреев Сталина.

Нелюбовь Сталина к евреям — давняя, с корнями прочными и разветвленными. Случалось, она забирала власть над всеми его чувствами, а с некоторых пор и над мыслями и политическими расчетами. Нелюбовь эта крепла, «кристаллизовалась» на каждом новом этапе его борьбы за абсолютную власть, за некое право на богоподобие. Исторический парадокс, а для Сталина и мука мученическая заключались в том, что единственный почитаемый Сталиным в Европе политический вождь и государственный муж — Гитлер — с сатанинской энергией принялся за физическое истребление

<sup>6</sup> Вовси - Михоэлс Н. Мой отец Соломон Михоэлс, стр. 217.

<sup>7</sup> Дело № 5214, т. I, л. 236.

<sup>8</sup> След. мат., т. XXIII, л. 97.

<sup>9</sup> Суд. дел., т. 5, л. 60.

еврейского народа, а он, Сталин, волею судеб оказался во главе тех сил, которым суждено было защитить и сохранить уцелевшую часть еврейства Евразии.

Гитлер выкашивал еврейство в Европе, Сталину выпала *нестерпимая* участь спасителя не только евреев Советского Союза, но и безжавших на восток евреев Бессарабии, Польши, Румынии, сотен тысяч «хитрецов» — детей, стариков и женщин, нашедших кров и хлеб на Урале, на Алтае, в республиках Средней Азии, в городах Сибири, — и не только кров, но и доброе участие коренных жителей. Как было догадаться аборигенам, что для Сталина интернационализм — только вериги, только фраза, плакат, поднятый над толпой, за которым постоянная страсть разделять народы, унижать их даже похвалами.

В канун войны Сталин уже не скрывал, что хотел бы в «еврейском вопросе» следовать вдохновляющему примеру Гитлера. Клявшийся с трибун в верности интернационализму, Сталин в беседе с гитлеровским министром Риббентропом откровенно изложил свои планы, касающиеся евреев. Вернувшись в Берлин, Риббентроп порадовал фюрера, уверенного, что «за спиной Сталина стоят евреи», сообщением о сталинской нелюбви к ним, решимости покончить с их «засилием», и прежде всего в рядах интеллигенции страны.

24 июля 1942 года за ужином в ставке германского Верховного командования под Винницей («Вервольф») Гитлер повторил вслух слова Сталина: «Сталин в беседе с Риббентропом также не скрывал, что ждет лишь того момента, когда в СССР будет достаточно *своей* интеллигенции, чтобы *полностью покончить* с засилием в руководстве евреев, которые на сегодняшний день пока еще ему нужны»<sup>10</sup>.

Как все похоже, как родственно: сталинское — «полностью покончить» и гитлеровское — «окончательное решение»! Даже злобное преследование следователями Лубянки и писателями-«экспертами» библейских метафор и сравнений в стихах и прозе еврейских писателей, простых упоминаний персонажей Библии совпадает с каннибальскими выпадами фюрера против великой книги человечества. За полтора месяца до того дня, когда Гитлеру припомнились сказанные в Москве Риббентропу обнадеживающие слова «большевистского тирана», в полдень 5 июня 1942 года фюрер изрек на удивление миру: «Это просто несчастье, что Библия была переведена на немецкий язык и все это еврейское шарлатанство и крючкотворство стало доступно народу».

Мог ли Сталин сомневаться в том, что после победоносной войны пробил час великого свершения и начать надо с интеллигенции, ибо в руководстве страны и не пахло *засилием* евреев, разве что для интернациональной «вывески» и лакейского усердия ради сохранялся в Политбюро Каганович и где-то поблизости от верхов усердствовал на все готовый Мехлис.

Час пробил: «дело ЕАК» с одновременно развязанной кампанией борьбы против «безродных космополитов» набатно обозначили его наступление.

А евреи — и воспрянувшие духом, и убитые горем, ошеломленные потерями, — продолжали жить на огромных пространствах страны, в городах и всех, и он, ничем не ограниченный диктатор самой могущественной военной державы, не в силах, однако, пока осуществить *депортацию* евреев, выдворить, вытолкать их. Нашлись бы, конечно, и вагоны, и конвоиры, и неслучайные километры тайги и тундры, но как свезешь миллионы людей уже не за дымовой завесой войны, не нахрапом, не втайне, а на глазах у человечества, для которого Сталин символ победы над фашизмом? Как соберешь их по всей империи, как обойтись с сотнями тысяч смешанных браков, с полукровками? Как заменить вдруг добрую четверть врачей, десятки тысяч учителей, научных работников, как поступишь со множеством видных деятелей науки, искусства, литературы, мастеров, отмеченных премией его имени?!

Ссылка, депортация евреев страны — не миф, но мифологический, близкий к фантастике образ вождельний и тайных планов Сталина, его неутоленной жажды; дополнительный мотив ненависти из-за сознания *невыполнимости* его мечты. Он не в силах был пока справиться с этим и страдал, исходил ненавистью, его склеротические сосуды напрягались, грозя катастрофой. Всевозрастающая жажда такой расправы породила и новую волну репрессий, о которых писала Светлана Аллилуева, называя это состояние отца паранойей.

Возведя в священный культ борьбу против меньшевиков, а с тем и против всех разновидностей социал-демократии, Сталин видел, как много среди лидеров русского меньшевизма евреев, как они неистощимы в критике и осмеянии его уже в послереволюционные годы, когда он наконец превратился в достойную их внимания мишень.

<sup>10</sup> «Знамя», 1993, № 2, стр. 174.

Если Ленин боролся с программой и организационными усилиями Бунда, с его стремлением к «автономии» внутри революционного движения в России, то Сталин поставил бывших бундовцев вне закона, начав репрессии и уголовные преследования.

Ненавидел он и этнические особенности евреев, порожденные, быть может, тысячелетними скитаниями и преследованиями: скептический склад ума, склонность к иронии и самоиронии, распространенное стремление к книге, к знанию, рожденные преградами, которые в былые времена возникали перед евреями в сфере образования. Молчаливое, а случалось, и крикливое, настойчивое несогласие с постулатами, покорно принятыми большинством; молчаливая, подавленная, но все же мелькнувшая в глазах насмешка, тайная издевка над тем, что он, Сталин, изгнав Троцкого, принял за выполнение пагубную для деревни, гибельную программу Троцкого; его неуверенность в вопросах культуры и искусства, скрытая за решительностью и безапелляционностью, а то и грубостью суждений, — всю гамму неприятия он прочитывал и в молчащем еврее и в поддакивающем ему, а если не прочитывал, то придумывал. Ненавидел их плоть, врожденные их способности, равно как и неспособности, слабости, все проявления их физического существования, даже их имена, в которых, если собрать с десяток, уже, кажется, зреет крамола, покушение, заговор против всех других имен в человечестве. Раздражало его и то — в чем более всего был повинен он сам и установившийся казенный режим, — с какой легкостью иные из них меняли свои имена, словно пародируя то, как поменяли фамилии он сам и многие из его соратников.

Болезнь его была неизлечима, и наступили времена, когда он перестал ее скрывать, оставив в Политбюро, приснопамятного «интернационализма» ради, одного Кагановича — самого ограниченного и жестокого изо всех евреев, когда-либо возникавших в окружении Сталина. Немного поодаль или немного ниже маячил верный раб и прислужник Мехлис — рядом с этими двумя голову не потревожит огорчительная мысль о каких-то завидных качествах еврейской природы или ума. А прирожденные приклички обнаружатся в любом народе.

Стоит ли удивляться тому, что брак Светланы с евреем Сталин встретил в штывы, агрессивно, создал атмосферу, которая вела к неизбежному разрыву; что он посчитал этот брак не только бедой и бесчестьем, но и коварным умыслом враждебных сил — «сионисты подбросили»!

Новая волна арестов 1948 года — результат долго копившейся ненависти, обдуманно начатого особого рода геноцида — «верхушечного», — когда тирания, до поры не находя возможности провести депортацию всего народа, с особой жестокостью уничтожает его интеллигенцию, культуру, язык, самобытность. На подготовку ушли не месяцы — годы. Накопление агентурных данных велось уже в годы войны, а с 1946 года, с прихода в МГБ Абакумова, события приобретают пугающий размах. Усвоив замысел Сталина, уразумев его подспудную черную страсть, Абакумов и его служба повели охоту за сотнями людей, обрекая их аресту и уничтожению. Планировалось прекращение деятельности жалких остатков еврейских культурных учреждений, закрытие издательства, газет, журналов и альманахов, ликвидация творческих объединений писателей, закрытие еврейских театров, четыре из них — московский ГОСЕТ, киевский, минский и одесский — представляли незаурядный творческий интерес, уровень сценического искусства которого, боюсь, не скоро достигнет возрождающаяся сейчас в стране еврейская сцена. Замыслилось прямое устранение тысяч и тысяч евреев — докторов и кандидатов наук из научно-исследовательских институтов и лабораторий и одновременно массированное, но внешне более мягкое, так сказать, либеральное изгнание прочих путем дискредитации, давления печати, хулы, объявления их «безродными космополитами».

Созданный в начале войны ЕАК оказался идеальной площадкой для осуществления злодейских замыслов, для истребления не только ненавистных палачам наборных еврейских шрифтов, так называемых «квадратных» букв, но и живых, добрых, всю жизнь занятых благородным трудом людей.

Вокруг ЕАК и газеты «Эйникайт», издававшейся комитетом, постепенно сгруппировались все еврейские писатели и журналисты, именно все, и — это важно иметь в виду — многие деятели культуры и науки. Трудно назвать кого-либо из еврейских писателей страны — от молодых, начинавших в ту пору, до таких патриархов, как прозаики Дер Нистер или Бергельсон, — кто остался бы в стороне от антифашистской работы, не писал бы для «Эйникайт» или по запросам зарубежных изданий, поступавшим в ЕАК из США, Англии, Мексики, Аргентины, Бразилии и других стран. И почти никто из авторов не избежал ареста, следствия, обвинительного приговора. Тех считанных, кого обошли репрессии и преследования в дни, когда преследовалась и

*обвинялась кровь*, национальность, когда на плаху и на муку шли сотни людей, сохранил, уберег от страданий слепой случай.

Удача сама шла в руки следствия; надо было только закрыть глаза на правду и закон, двигаться вперед властно и жестоко, калеча арестованных пытками, унижениями, матом, угрозами расправы с детьми, с близкими, лишением сна, плевками в лицо, карцером. Сами же следователи, когда и для них наступил час расплаты за содеянное, — а эта пора для иных наступила еще при жизни Сталина, отвернувшегося от Абакумова, — многое рассказали о себе и еще охотнее друг о друге.

«Преступников», собранных по полнейшему произволу, по одному тому, что кто-то присутствовал на каком-то обеде, посетил в интуристовской гостинице журналиста или общественного деятеля из США, страны-союзницы в годы войны; написал для зарубежной печати очерк о киевском враче профессоре Губергрице или авиаконструкторе Лавочкине, ответил на письмо из редакции «Эйникайт» или, не приведи Господь, сам обратился в газету с предложением о сотрудничестве, — таких «преступников» набралось несколько сот. Их оказалось так много, что многие из них группами были выделены по ходу следствия в отдельные слушания, еще до лета 1952 года, когда решалась судьба членов президиума ЕАК.

Следствию удалось довольно быстро составить фальшивые признательные протоколы, обвинить арестованных в «буржуазном национализме», в попытке создания «антисоветского националистического подполья», в измене Родине и даже в шпионаже по заданию американских спецслужб.

Недоставало одного: «заказанного» Сталиным террора или подготовки к террору. Без параграфа о терроре, о готовности к террору обвинение представлялось незавершенным, сиротским. Оно не могло вызвать полного удовлетворения Сталина.

### III

По заключению (от 4 ноября 1955 года) прокурора Главной военной прокуратуры полковника юстиции Н. Жукова, «основанием к аресту Фефера, Шимелиовича и других и началу дела бывших руководителей ЕАК послужили показания ранее арестованных Гольдштейна и Гринберга. Гольдштейн арестован 19.XII—1947 года<sup>11</sup> по указанию Абакумова и без санкции прокурора». По приказу Абакумова Лихачев и Комаров, начальник и заместитель начальника следственной части по особо важным делам, «начали домогаться от Гольдштейна показаний о проводимой якобы им шпионской и националистической деятельности, несмотря на то, что *никаких* данных на этот счет в органах госбезопасности не было». Исполняя волю министра, следователи Комаров и Сорокин «подвергли Гольдштейна избиениям и, таким образом, вынудили его подписать сфабрикованные ими с участием работника секретариата Абакумова — Броверманом протокол допроса, в котором указывалось, что Гольдштейну со слов Гринберга, а затем и путем личного общения с руководителями ЕАК известно, что Лозовский, Фефер, Маркиш и другие, под прикрытием ЕАК, занимаются якобы антисоветской, националистической деятельностью, поддерживают тесную связь с реакционными еврейскими крутами за границей и проводят шпионскую работу». Старший следователь спустя время подтвердил, что выполнил вместе с Комаровым приказ об избиении доктора наук Гольдштейна, что насилие продолжалось до той поры, когда Гольдштейн не показал наконец «о шпионской деятельности Михозлса и о том, что он (Михозлс) проявлял повышенный интерес к личной жизни главы советского правительства в Кремле»<sup>12</sup>.

Внезапно возникшее обвинение Михозлса — личный заказ Абакумова, уже замыслившего его *ликвидацию* как необходимый и неременный шаг для успешного развития всей преступной авантюры, для ареста множества лиц и скорого следствия. Абакумов и его подручные понимали, что Михозлс не шпион, не изменник, не антисоветчик, но пытки сделают свое дело, будет добыто столько ложных обвинительных показаний, что и самим палачам впору поверить в ими же сочиненные протоколы. Когда подписи жертв насилия уже появились внизу каждой допросной страницы, а жертва ненавистна тебе уже по самому звучанию своего имени, по форме ушей, по непременно «короткой» шее (Комарову она показалась короткой даже у Маркиша с его гордой посадкой головы, у стройного Тальми...), по загадочному для палачей языку идиш, а еще и потому, что русским языком жертва владеет лучше и грамотнее следователей-«забойщиков»; когда ненавистна сама его кровь — поверить можно и в нечистую силу.

<sup>11</sup> Описка: он был арестован в ночь с 17 на 18 декабря. — А. Б.

<sup>12</sup> Доп. мат., т. 7, лл. 188—190.

Участь двух ученых — Гольдштейна и Гринберга — поможет нам отойти от принятых и таких шадящих определений, как «побой», «физические методы воздействия», скрадывающие реальный, непереносимый ужас палачества, которым *выбивались* подписи подследственных. Я с растущим беспокойством всматривался в подписи непокорного Шимелиовича на протяжении сорока месяцев следствия и видел, как надругательства изменили его «автограф», опытный графолог прочитал бы по этим подписям всю его судьбу этой поры.

Не все обладали упорством и силой воли Шимелиовича, его мужеством обличать палачество и по ходу следствия и в судебном заседании. Но сохранились письма Гольдштейна из тюрем и лагерей: письмо от 3 апреля 1950 года и от 11 октября 1953-го. Первое письмо из Верхнеуральской тюрьмы, бывшей в начале 30-х годов *политизолятором* для противников Сталина; оно писано еще при жизни диктатора, Гольдштейн осторожно жалуется на то, что он «семь раз подвергался *тяжелым репрессиям*», а из второго письма мы узнаем подробности палачества. Второе письмо адресовано в Министерство внутренних дел СССР, в то время уже ведомство Берия, которому вторично, после 1938 года, пришлось по нечистой, воровской руке роль «освободителя», защитника униженных и оскорбленных. «Я был снова вызван на допрос, — писал Гольдштейн 11.10.1953 года, — на котором, кроме майора Сорокина, присутствовал подполковник Лебедев, а также другой подполковник, фамилии которого я не знаю. Могу сообщить только, что он с лысиной, идущей от лба... Меня стали избивать резиновой палкой по мягким частям (спустив штаны, били по пенису. — А. Б.). Держали меня двое: подполковник Лебедев и еще какой-то майор, а избивал меня майор Сорокин. Затем заставили меня сбросить туфли и стали нещадно бить по пяткам. Боль была совершенно невыносимая... Не имея возможности дольше переносить боль, я стал просить о пощаде, вопя, что все, что угодно, скажу и признаю... Но когда меня, избитого и истерзанного, заставили подняться, я не знал, что сказать. Избиение возобновилось с новой силой»<sup>13</sup>.

Тогда-то Гольдштейн и назвал первое, всплывшее в потрясенной памяти, имя Захара Григорьевича Гринберга, шестидесятилетнего кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника Института мировой литературы АН СССР имени Горького. Сказал, что Гринберг интересовался тем, как живут дочь Сталина Светлана и «ее муж Мороз», интересовался, хотя даже не знал точной фамилии еврейского зятя Сталина — Мороз или Морозов? «Не успел я это промолвить, как меня, не держащегося на ногах, потащили в одну из соседних комнат, в которой я увидел за столом неизвестного мне генерал-полковника. Увидев меня в таком истерзанном состоянии, генерал-полковник спросил, не заболел ли я?»

Опасаясь пожаловаться, Гольдштейн только проговорил: «Да...» «Меня, избитого, с окровавленной рукой, увели в камеру, где я пролежал в полубредовом состоянии всю ночь и весь следующий день»<sup>14</sup>.

Сорвавшееся в бреду имя, эта ложь или обмолвка стоила Гринбергу жизни: арестованный так же без санкции прокурора лихорадочно заторопившимся Абакумовым, он попал в лефортовско-лубянской мясорубку, долго держался, был бит нещадно, по любимому выражению Абакумова, «смертным боем». Искалеченный, он 22 декабря 1949 года умер в тюрьме. По медицинскому свидетельству, умер от инфаркта миокарда: что ж, верно, от боли в пятках или ягодицах не умирают, должно разорваться сердце...

Гольдштейна вновь привели к Абакумову, генерал-полковник «...настаивал, чтобы я не отказывался от того, что показал против Евгении Александровны Аллилуевой...». «Тогда-то министр, посетовав, что Гринберг отрицает правильность моего сообщения об интересе Михоэлса к кремлевской квартире Сталина, спросил: «Значит, Михоэлс подлец?» Все это время и в течение ряда долгих недель меня допрашивали 2 раза в день. Один раз днем от 2-х до 5 часов и второй раз ночью, приблизительно с 12 часов до четырех с половиной и пяти с половиной утра. Ночью я не спал, а с 6-ти утра до 10 вечера не давали ни на минуту вздремнуть надзиратели». «Часто ночные допросы — без допросов, — следовательно читает газету, куда-то уходит, рассказывает об охоте на волков в Брянской области, о том, как он летал бомбить Берлин и т. д. ... Лишь после подписания протокола (признательного. — А. Б.) я позволил себе спросить у майора Сорокина — в чем же конкретно меня обвиняют?... Сорокин сказал: подписав протокол № 1, в котором говорится о передаче сведений

<sup>13</sup> Доп. мат., т. 10, лл. 20—21.

<sup>14</sup> Там же.

об Иосифе Виссарионовиче Сталине, я уже тем самым признал себя виновным в шпионаже»<sup>15</sup>.

Что же так воодушевило Абакумова? Что заставило его торопиться, действовать опрометчиво, заявить в присутствии своих помощников, что «показания Гольдштейна (об интересе Михоэlsa к личной жизни Сталина по заданию иностранной разведки. — А. Б.) он держать не может и обязан о них доложить в Инстанцию»? По свидетельству полковника Лихачева, едва подтверждение версии о нацеленности «еврейских буржуазных националистов» на жизнь и семью Сталина было «выбито» (!) и у Гринберга, оно тоже было немедленно отправлено в Инстанцию.

Абакумов сделал один из ошибочных ходов, роковых для его судьбы, погубивших его в июле 1951 года.

Для атмосферы и методов следствия по делу практически не существующему, сочиненному от начала до конца, типична фигура следователя Комарова; эта фигура повторяется, чуть-чуть варьируясь, буквально в десятках других служебных лиц, причастных к провокации; стоит привести отрывки из письма-исповеди Комарова Сталину, его вопля, последней надежды спасти свою жизнь. Дописывалось это большое письмо 18 февраля 1953 года, Комаров рассчитывал на понимание и сочувствие Сталина — только бы оно попало ему в руки! — мудрый вождь народов, наградивший орденами и медалями *счастливицков*, убийц Михоэlsa, должен понять его, откликнуться его отчаянию и боевой готовности. Кто мог знать, что 18 февраля 1953 года, за две недели до смерти, Сталину уже не до писем.

«В коллективе следчасти хорошо знают, как я ненавидел врагов, — хвалился Комаров. — Я был беспощаден с ними, как говорится, *вынимал из них душу*, требуя выдать свои вражеские дела и связи. Арестованные буквально дрожали передо мной, они боялись меня как огня, боялись больше, чем не только других следственных работников, но и сам министр не вызывал у них того страха, который появлялся, когда допрашивал их я лично... Следователи следчасти, зная, что арестованные больше всего боятся меня, когда приходилось туго и арестованные упорно не хотели разоружаться, всегда прибегали к моей помощи, прося принять участие в допросе».

Напрасно Комаров умаляет следственные таланты своих сослуживцев: тома дела показали, что ему нисколько не уступали в палаческих допросах истязатели Шишков, Сорокин, Лебедев, Жирухин, изобретательнейший садист Рюмин, Рассыпнинский и многие другие.

«Особенно я ненавидел, — писал Комаров, рассчитывая на понимание Сталина, — и был беспощаден с еврейскими националистами, в которых видел наиболее опасных и злобных врагов. За мою ненависть к ним не только арестованные, но и бывшие сотрудники МГБ СССР еврейской национальности считали меня антисемитом и пытались скомпрометировать перед Абакумовым. Еще в бытность свою на работе в МГБ СССР я докладывал Абакумову о своем политическом недоверии Шварцману, Иткину и Броверману.

Узнав о злодеяниях, совершенных еврейскими националистами, я наполнился еще большей злобой к ним и убедительно прошу Вас, дайте мне возможность, со всей присущей мне ненавистью к врагам, отомстить им за их злодеяния, за тот вред, который они причинили государству.

Прошу Вас, товарищ Сталин, не откажите мне в своем доверии»<sup>16</sup>.

#### IV

Доктор Борис Абрамович Шимелиович также обращается с письмом к Сталину в лучших партийных традициях — из тюрьмы. К кому же другому, как не к вождю и первому другу всех народов, Иосифу Виссарионовичу Сталину, — кто другой поймет и защитит?

«Дорогой Иосиф Виссарионович! Третий день нахожусь под арестом. Меня *заставляют* признать преступления. Рад сознанию, что совесть моя чиста перед партией и лично перед Вами. Б. Шимелиович. Москва, 15 января 1949 года».

И на другом клочке бумаги приписка: «Поскребышеву! Прошу Вас передать И. В. Сталину содержание этого моего заявления. Б. Шимелиович (бывший главный врач б-цы Боткина)».

В коротких посланиях, полных достоинства и наивной, вопреки уму и житейскому опыту, веры, в письмах и многих последующих заявлениях, не дошедших до адресатов, — весь Шимелиович. Благородный, нравственный человек, свято приняв-

<sup>15</sup> Там же, лл. 21 и 26.

<sup>16</sup> Мат. пров., т. I, л. 23.

пий свою профессиональную судьбу, свою гордую участь руководителя лучшего в стране медицинского лечебного учреждения и общественный долг коммуниста и гражданина. Он и в июне 1952 года, после дпящегося уже целый месяц судоговорения, напишет личное письмо «Гражданину председателю Военной коллегии Верховного суда СССР» на важнейшую и большую тему, которой ему, коммунистическому Дон Кихоту, негоже касаться публично, принародно, хотя суд и закрытый, без посторонних...

Так уж воспитан он, Борис Шимелиович, член партии с 1920 года.

«Я не считал возможным политически, как это сделал подсудимый Лозовский, когда давал показания суду, — говорить на суде об антисемитизме, с которым он встретился во время предварительного следствия...»

Как это знакомо нам, законопослушным, жившим под давлением неисчислимых партийных параграфов, навсегда определивших, о чем и когда, при каких обстоятельствах можно говорить, а о чем ни-ни! — так как это повредит общему «святому» делу, чуть ли не самому мирозданию.

«Я впервые в моей жизни почувствовал *открытый антисемитизм*, — писал Шимелиович, — услышав это из уст отдельных сотрудников («отдельных»! — срывается почти биологический барьер самозащиты: все-таки «отдельных». — А. Б.) МГБ СССР на суде, так как я считаю, я не должен был бы об этом говорить. Вас, гражданин председатель, и тем самым партию я обязан поставить в известность на суде о следующем...»

Ни в чем не повинный старый человек, вступивший в партию, когда его немилосердный истязатель Вячеслав Шишков только еще готовился к первому классу школы-семилетки, которой и ограничилось его образование; доктор, три десятилетия пестовавший сотни молодых врачей в институтах и в самой Боткинской, человек, измороженный пытками до того, что подпись его становится почти неузнаваема, пальцы уже не держат пера (вспомним признание Рюмина: «До передачи мне дела Шимелиовича его, Шимелиовича, сильно избивали в течение месяца.. Я помню — Шимелиовича на первые допросы буквально приносили ко мне в кабинет») <sup>17</sup>, — Шимелиович — гражданин и патриот, оболганный и искалеченный, печется лишь о том, чтобы его партия узнала правду!

До того как я погрузился в изучение судебного архива дела ЕАК, имя Шимелиовича мало что говорило мне, я рвался навстречу неразгаданной судьбе Михоэлса, думал о людях, которых знал и любил, таких, как Квитко, Маркиш, Гофштейн или Зускин, чувствовал святой перед ними долг человека уцелевшего, не разделившего их участи. Сегодня я смело ставлю доктора Бориса Шимелиовича рядом и вровень с Михоэлсом, ставлю его впереди всех несломленных, мужественных и сильных.

«В первую же ночь моего ареста, — исповедуется доктор «гражданину председателю», — в присутствии секретаря-полковника (он был в гражданском, но сотрудники называли его полковником) Министр Госбезопасности задал мне вопросы:

а) Расскажите о высокопоставленных ваших шефах. — Ответ мой был: «Не знаю».

б) «Ну, кто главный еврей в СССР?» — Ответ мой: «Не знаю» (и действительно, я бы за все годы существования советской власти никогда на этот вопрос ответить не смог).

в) «Ну, кто из евреев самое видное место занимает в партии, даже в Политбюро он член?»

Я ответил: «Лазарь Моисеевич Каганович». (Министр сказал, обращаясь ко мне: «А говорите, что вы не знаете, кто главный еврей в стране».)

г) «Расскажите об этом высокопоставленном вашем шефе». — «Я ответил, что мне известно, что Михоэлс и Фефер посетили его два раза» (Л. М. Кагановича).

д) «Расскажите о втором вашем шефе, о Жемчужиной».

Я сказал то, что вчера, 5 июня (1952 г.), рассказывал на суде: что познакомился с ней несколько недель тому назад на сессии Московского совета, что она посещала ГОСЕТ, что Михоэлс о ней тепло отзывался как о человеке; такой же отзыв о ней я слышал и от директора фабрики «Ява» Ивановой (сказал это, т. е. то, что я знал и что говорил Министру Госбезопасности и при следующих допросах, ни при каких обстоятельствах другого я не произносил, ибо другого я не знал).

е) «Расскажите о Погурском».

Погурского, брата Жемчужиной, я не знал, тогда не знал и фамилии такой, и ничего не ответил, как не мог что-либо добавить о Жемчужиной.

Министр сказал: «Побить его!» (т. е. меня...).

<sup>17</sup> Мат. пров., т. I, л. 4.

Нетрудно почувствовать, как зловонная атмосфера антисемитизма заполняет этажи Инстанции, поднимаясь все выше: не будучи уверен в *полной* поддержке Сталина, в их абсолютном единомыслии по этому пункту, министр госбезопасности не решился бы говорить в таком издевательском тоне о члене Политбюро, портреты которого среди прочих украшали колонны демонстрантов на Красной площади. Допрашивая прилюдно (а соглядатай предполагался непременно в самом узком кругу!) *преступника, антисоветчика, изменника*, министр называет Кагановича не просто «главным евреем» (в контексте следствия это — глава буржуазных еврейских националистов), но и «шефом», «высокопоставленным шефом», первым шефом, ибо арестованная уже Жемчужина названа «вторым вашим шефом». Министр и «при следующих допросах» возвращался к тем же фигурам — Кагановичу и Жемчужиной.

Высоко и невзбранно пагнул государственный антисемитизм.

В ту же ночь подполковник Шишков, пригласив в кабинет нескольких следователей, вдохновленный приказом министра — «Побить его!» — принялся за истязание Шимелиовича.

«Тут я впервые услышал многократно: «Все евреи антисоветские люди». И наконец: «Все евреи — шпионы!» Впоследствии на допросах у подполковника Шишкова я неоднократно слышал от него, что «евреи все до единого, без исключения шпионы». За что я и расплачивался большей частью резиновой палкой немецкого образца, ударами по лицу в кожаной перчатке, постоянными ударами носком сапога по бедренным костям. Все это делается методически, с перерывами по часам. В перерывах следователь Шишков изучает по первоисточникам Ленина и Сталина для сдачи зачетов. Изучает также и Рюмин во время допросов...

Я расплачивался за то, что все евреи антисоветские люди, все евреи без единого исключения — шпионы; что резиновые палки производит Израиль (не мог поверить, но очень сомневаюсь, памятью, что речь идет о 1949 году; скорее всего это импровизация задохшегося от злобы антисемита. — А. Б.), их сюда импортируют, чтобы избивать *еврейскую гниль*; за то, что евреи считают себя умнее других, но наконец-то попали в МГБ, в «святая святых»; за Каплан, которая стреляла в Ленина, потому что она еврейка...

Р. С. Не выполнено только неоднократно обещанное Шишковым и другими: *подвесить меня головой вниз* (умереть не дадут, будет врач при этом). Не выполнена также неоднократно угроза Рюмина, во втором туре, после моего заявления от 15 мая 1949 года (отказ от единственного признательного протокола Шимелиовича, от подписи, полученной у него, теряющего сознание. — А. Б.), угроза отправить меня на Канатчикову дачу.

6 июня 1952 года.

Шимелиович».

Пытаясь сохранить лицо некоего гуманного арбитра в палаческом застенке, арестованный Рюмин солгал военюристам, заявив, что с передачей ему дела Шимелиовича от Шишкова «избиения прекратились». Шишкову все же не удалось сломить волю Шимелиовича. Преуспел в этом именно Рюмин, доведя подследственного до состояния невменяемости. («При неясном сознании», — напишет доктор, приученный к точности диагнозов, в заявлении от 15 мая 1949 года, отменяя фальшивку.)

Рюмин, защищаясь, упирает на то, что признательные показания нескольких других арестованных и свидетелей совпадают с «признаниями» Шимелиовича: как быть с этим?

Для пришедшего в себя, отбросившего страхи (а компромиссов он и не признавал!) Шимелиовича нет вопроса:

«Показания других обвиняемых я объявляю ложными. Показания свидетелей также считаю ложью и клеветой. Даже если мне подсунут бумаги, в которых будут изложены мои выступления антисоветского характера и содержания, то я заранее заявляю, что правильность этих документов я буду оспаривать... Преступной деятельностью я никогда не занимался и не считаю ни в чем себя виновным.

— Вы знали, что Шимелиович потом отказался от своих признательных «показаний»? — спросили у Рюмина на допросе 2 июля 1953 года, когда уже была разоблачена и затеянная им провокация — дело «врачей-убийц».

— Да, он писал специальное заявление, отказываясь от своих показаний.

— И обвинял в фальсификации вас?

— Протокол допроса, о котором идет речь, я записал со стенографисткой, получилось около 66 страниц. Стенограмму просмотрел Абакумов, по указанию Абакумова в протокол было записано, что статья, направленная Шимелиовичем в Америку, содержала информацию шпионского характера<sup>18</sup>. Шимелиович настойчиво не хотел

<sup>18</sup> Статья об истории Боткинской больницы и ее трудах. — А. Б.



подписывать и просил исключить слово «шпионского». По указанию Абакумова были усилены также показания в отношении Шейнина и Жемчужиной, а также о создании Еврейской республики в Крыму; в нашей редакции это расценивалось как акт, рассчитанный на отторжение Крыма от СССР...

— Протокол Шимелиовича направлялся в Инстанцию?

— Да, направлялся.

— А о его заявлениях об отказе от показаний в Инстанцию сообщалось?

— Лихачев докладывал о них Абакумову, но сообщал ли он об этом в Инстанцию, мне неизвестно<sup>19</sup>.

В отказном заявлении Шимелиович писал: «Протокол составлен подполковником Рюминым в мое отсутствие, и никогда я не произносил того, что записано в нем... Рюмин показал мне ключ от сейфа и сказал, что никто никогда в жизни не прочтет этот протокол»<sup>20</sup>.

Понимая, что в руках военюристов оказались все документы, Рюмин вынужденно подтверждает, что «...еще в период следствия многие арестованные полностью или частично отказались от своих показаний. Помню, что Лозовский еще в 1950 году заявлял об этом. Аналогичные заявления в тот же период делали Юзефович, Шимелиович и другие арестованные... После того, как мною был составлен «обобщенный» протокол допроса Шимелиовича, по указанию Абакумова этот протокол был откорректирован в так называемой «кухне» Бровермана; показания Шимелиовича по шпионажу, а также относительно создания Еврейской республики в Крыму были слишком усилены... Должен признать, что в 1952 году, когда я являлся уже заместителем министра госбезопасности, я запретил передопрашивать арестованных и записывать (то есть фиксировать в деле. — А. Б.) их отказ, заявив, чтобы следователи не подвергали ревизии показания, которые арестованные давали ранее». Далее последовало признание, обличающее в Рюмине одного из самых главных виновников трагедии 12 августа 1952 года: «Признаю также, что когда суд пытался возратить это дело на доследование, я настаивал на том, чтобы был вынесен приговор по имеющимся в нем материалам...»<sup>21</sup>

Рюмину это удалось потому, что Инстанция, вся Инстанция — от Шкирятова до Маленкова и Сталина — смотрела на судимый еврейский народ теми же глазами, что и Рюмин, Комаров, Шишков и министр Абакумов. «Ведь приговор по этому делу апробирован народом, — возмутился Маленков, когда возник конфликт между Рюминым и судьей Чепцовым, — этим делом политбюро ЦК занималось три раза...»

Министр госбезопасности не делает тайны из того, что выслеживает евреев, подозревает их и только их, хватая их без санкции прокурора, велит унижать и избивать их при самом начале следствия, а то и до знакомства следователя и подследственного, — вина на них непременно найдется, не может не найтись, ибо она в них самих, в их вере, в их генах. В продолжение следствия министр и его подручные будут справляться — зловеще и будто невзначай — о согнях наших сограждан, знаменитых, как, например, режиссер Марк Донской или Илья Эренбург, и безвестных, о живых и умерших, о врачах и актерах, поэтах и писателях, ученых и генералах, художниках и инженерах, но всегда и неизменно о евреях. Еврейское имя в представлении функционеров Лубянки — реальная улика и основание для подозрения.

«Меня и Комарова вызвал Абакумов, — вспоминал Лихачев, — и заявил, что ему сообщил Шварцман о том, что якобы следователи допрашивают этих арестованных не как преступников, а как евреев... Абакумов дал указание мне и Комарову, а затем и следователям, чтобы по делу вели следствие аккуратнее, что это щепетильное дело и не нужно давать никаких поводов для разговоров подобного рода»<sup>22</sup>.

Какие точные, подходящие случаю слова произнес министр: «аккуратнее», «щепетильное дело», — в них даже не нагоняй, а добрый совет, напоминание о том, что угодная рюминым и лихачевым «справедливость» еще не восторжествовала, палачествовать можно со страстью, но поосмотрительнее, — на все свое время и свой час!

Все это — свидетельство гнилостного распада сталинской аппаратной верхушки, идейного перерождения поколения, если некогда оно и исповедовало интернационализм и социальную справедливость. Рукой, натруженной мордобоем, перелистывали страницы первоисточников, стараясь запомнить железные сталинские постулаты

<sup>19</sup> Мат. пров., т. I, л. 5.

<sup>20</sup> Там же.

<sup>21</sup> Там же, лл. 6, 7, 8.

<sup>22</sup> Там же, л. 37.

углубления классовой борьбы, пролетарского интернационализма, высокой миссии строителей нового мира, и надругались по всем правилам расизма.

Каким карающим моральным контрастом, приговором этому насилию прозвучало на суде последнее слово Шимелиовича: не смирение, не мольба о снисхождении, о сохранении жизни, а полное достоинства слово гражданина. Забота о будущей жизни и страданиях будущего.

«Я прошу суд войти в соответствующие инстанции с просьбой запретить в тюрьме телесные наказания... Я прошу устранить зависимость тюремной администрации от следственной части... Я прошу привлечь к строгой ответственности некоторых сотрудников МГБ. Я никогда не признавал себя виновным на предварительном следствии... Моя совесть чиста, и этим людям из МГБ не удалось меня сломить... Я хочу еще раз подчеркнуть, что в процессе суда от обвинительного заключения ничего не осталось. Все, что «добыто» на предварительном следствии, было продиктовано самими следователями, в том числе и Рюминым».

И самые последние, трепетные слова, величия которых не понял бы никто из палачей, три года терзавших доктора; чтобы понять и принять их, нужен не только совестливый ум, но и усилия сердца, — я люблю жизнь и чист перед ней, мог бы сказать Шимелиович, а он произнес слова, которые надо бы помнить всем, кто когда-либо давал клятву Гиппократу:

« — Я очень люблю свою больницу, и вряд ли кто другой будет ее так любить...»

Убежден: не позволю Сталин Абакумову казнить Михоэлса в январе 1948 года, арестованный, он защищался бы и обвинял с такой же силой и умом, как и Шимелиович.

Как никто другой Фефер, многолетний антагонист Михоэлса, знал, что ни устрашение, ни насилие не заставят Соломона Михайловича оговорить себя и других, признаться в несуществующих преступлениях. В один из дней осени 1947 года Абакумов, разрабатывая сценарий будущего дела еврейских «буржуазных националистов», вслед за главным своим консультантом по этому делу Фефером пришел к убеждению, что живой Михоэлс будет непреодолимой помехой следствию, и решил убрать его. Фефер давно наблюдал сходство мужественных характеров Михоэлса и доктора Шимелиовича, — назвав следователям Шимелиовича первостепенным консультантом Михоэлса, он, конечно, имел в виду не какое-то их деловое сотрудничество, его не было и в помине, а духовное родство двух незаурядных личностей. Так жизнью Михоэлса распорядились преступники, это облегчило страшный следственный путь Фефера, самый мучительный из всех; теперь самым неудобным оставался Шимелиович.

Даже с Лозовским следствию было поначалу куда проще; позади у Лозовского столько прегрешений, покаяний, исключений, такая шкала партийной самокритики, такое неременное повиновение фантому *большинства*, столько колдобин на пути — профсоюзных и гоминтерновских, — что он должен был оказаться легкой добычей следователей, — ведь он уже прошел через наждачные ладони Шкирятова.

Так оно и было поначалу.

## V

Академика Лину Штерн арестовали необычно. Приехал военный чин в штатском, сказал, что ее приглашает на собеседование министр государственной безопасности.

Так она и укатила из дому: обыск, изъятие сотен писем на разных языках (и зачем-то театрального лорнета), другие формальности — все уже без нее. Она отныне в камере Внутренней тюрьмы, потом в Лефортово и снова на Лубянке. Всякую неделю, после первого месяца «работы» с Рассыпнинским, все новые и новые следователи, меняющиеся физиономии допытчиков. Рассыпнинский, Жирухин, Герасимов, Цветаев, Рюмин, Комаров, Меркулов, Погребной, Кузьмин и прочие — то ругатель, брызжащий слюной в юдофобской истерике, то тип зловеще многозначительный, то — презрительный, не скрывающий безразличности к сторбившейся маленькой еврейке, старой деве, родившейся в далеком 1878 году.

Но никому не удастся выбить ее из колеи. Правило ее жизни, ее спасение, ее рыцарские доспехи — прямота и правда.

В середине 30-х она, уже в ореоле мировой ученой славы, переехала в Советский Союз по приглашению академика Баха и даже вступила в 1938 году в партию.

Следственное дело фиксирует портрет Лины Штерн, способный порадовать антисемита: «Рост очень низкий (и правда, даже не понурившись, не придавленная бедой — 154 сантиметра. — А. Б.), полная, нос большой, толстые губы, шея короткая»

под низким лбом карие воинственные глаза, — Абакумов поразился при появлении женщины-академика.

Сохранился рассказ самой Лины Штерн о ее знакомстве с министром. Не успела она пересечь порог кабинета министра Абакумова, как он заорал:

«— Нам все известно! Признавайтесь во всем! Вы — сионистка, вы хотели отторгнуть Крым от России и создать там еврейское государство!

— Я впервые это слышу, — сказала Лина Штерн с сильным еврейским акцентом.

— Ах ты, старая блядь! — выкрикнул Абакумов.

— Так разговаривает министр с академиком... — горько покачав головой, сказала Лина Штерн»<sup>23</sup>.

Короткий диалог, записанный со слов самой Штерн Эстер Маркиш, следовало бы поставить эпиграфом ко всей тюремной драме Лины Штерн. В нем заявлены прямота и бесстрашие этой женщины перед опасностью.

Чины, находившиеся в кабинете Абакумова, охотно подхватили этот тон. Начал допросы Рассыпнинский. За короткое время он 87 раз вызывал ее на допросы и оставил беглый, мало что значащий след только в 17 протоколах. Анатолий Филиппович Рассыпнинский, совсем не старый еще человек (р. 1909), спустя три года после суда, опрошенный военюристами о деле ЕАК и обвинениях против Штерн, заявил: «В настоящее время я не помню, в чем конкретно обвинялись Зускин и Штерн»<sup>24</sup>. Замечу, кстати, что ни один из следователей, опрошенных военюристами из комиссии по проверке дела ЕАК, не смог вспомнить, в чем конкретно обвинялся его подследственный, какое именно преступление ставилось ему в вину.

Лина Штерн ошеломляла следователей. Она давала показания без утайки, словно бы с радостью и облегчением, что вспоминает дорогое сердцу прошлое, что говорит правду, что ей нечего стыдиться за все семьдесят прожитых лет.

Письмо Лины Штерн к Полине Семеновне Жемчужиной?

Как же, как же — было такое. Собственно, ее просьба адресовалась Молотову; оставалось мало времени на оформление выездных документов для нее и двух ее учеников — Кассиля Г. Н. и Амираговой-Куусинен М. Г. — в Австралию, в Сидней и Аделаиду. Надо было помочь, подтолкнуть, ей нужны были ассистенты для демонстрации некоторых опытов, разработанных в руководимом ею Институте физиологии...

Нетрудно вообразить бурю в душах следователей: мало *этим* США и Мексики, Канады и Англии, подай и невообразимо далекую Австралию, да еще с ассистентами, с челядью!

Откуда знакомство с Жемчужиной?

Познакомились в 1945 году на приеме, который Жемчужина давала по случаю пребывания мадам Черчилль.

Старуха будто нарочно злит их: не на *каком-то* дипломатическом приеме, а в честь супруги злейшего врага Сталина и России.

— Поездка в Австралию была необходима? Зачем?

«— Для возобновления связей с зарубежными учеными, которые я до войны очень усердно поддерживала...»

Смеется она над ними, что ли?

— Вы родились в Либаве, то есть в бывшей Российской империи, а в анкете писали — родина Женева?

«— Родиной всегда считала Женеву. В 1917 году я была профессором Женевского университета, заведовала кафедрой физиологической химии...» Теперь и она недоумевает: чего тут не понять? «Отец был богат, живя в Кенигсберге, он экспортировал зерно из России в Германию. Но детство я провела в семье деда, он был раввин и воспитывал меня в религиозном духе... Я с детства изучала Талмуд и в познании еврейской религии подавала довольно большие надежды...»

Нашла чем похвалиться — махровым сионизмом!

— Вы сознательно продвигали по службе врачей-евреев?

«— Только в меру того, чего они заслуживали как ученые». Вот на этом ей бы остановиться из предосторожности, но нет, ей подавай всю правду, как она ее понимает. «Мириться с их дискриминацией я тоже не могла, и не моя вина, что в 1943 году, когда я направила на имя Сталина письмо о *дискриминации в науке евреев*, кто-то из отчаявшихся стал думать обо мне как о ярой, безоглядной их защитнице...»

<sup>23</sup> Маркиш Эстер. Столь долгое возвращение... Тель-Авив. 1989, стр. 314.

<sup>24</sup> Мат. пров., т. I, л. 202.

Упоминание Сталина сдерживает следователя: кто знает, не ответил ли старой ведьме Сталин, стоит ли разрабатывать эту тему?

А Штерн тем временем излагает свое кредо:

«— ...Достижения науки не должны оставаться в тайне от человечества: особенно широкие связи у меня были с сотрудниками английского, австралийского, датского, бельгийского и румынского посольств...»

Иной раз месяцами бьешься, а тут только пиши, записывай.

«— Я действительно проповедовала в науке космополитизм, — без понуждения, с каким-то даже хвастовством признается Лина Штерн. — Точнее, я считала и считаю, что наука должна стоять вне политики. В своем окружении я говорила даже так — наука не должна знать родины. После суда чести над Роскиным и Ключевой я, к сожалению, прекратила многие общения с иностранными учеными; но науке это приносит вред».

На прямые вопросы, когда ее завербовали «сионисты» из Академии наук СССР и не собиралась ли она бежать за границу, — терпеливо объясняет, что никогда не собиралась уезжать в Палестину, но такой отъезд не считает грехом и, хотя она никогда не была сионисткой, «симпатизирует образовавшемуся в Палестине еврейскому государству Израиль».

Человек умный и простодушный, она не знала, что уже долгое время за ней следят. Часто стала захаживать в дом некая гражданка Антохина, кажется, как определила Штерн, из службы «Управления коменданта Московского Кремля»; приходила, собственно, не к ней, Штерн, а к ее домработнице Екатерине Яковлевне Лопаткиной, замечательной женщине из крестьян Тульской губернии, нянчившей до революции детей одного из сыновей Льва Толстого... «знакомых у меня было много»; Лина Штерн называет так, будто кровь еще не пролилась, — Христиана Раковского, Рыкова и его жену Нину Семеновну и других, растоптанных Сталиным. Евгений Викторович Тарле — старый знакомый, еще с 1928 года, когда их познакомили в Париже, на квартире у дочери Плеханова Лидии Георгиевны. Так и мелькают имена академиков — Волгина, Завадского, Шмальгаузена, имена профессоров, лечащих врачей. И не нужно попыткам усердствовать о каждом, даже и казненном, Лина Штерн говорит уважительно, каждому отдает должное...

— А помните, в ГОСЕТе, при посещении театра Голдой Меерсон, там вывесили голубое полотнище с изображенным на нем сионистским знаком? Вы были при этом, — не спрашивает, а обвиняет следователь.

«— Да. Звезда Давида. Это — символ, герб, как у нас серп и молот. Не встречать же посла государства Израиль двуглавым орлом».

Следователь подбегает к Якову Гильяровичу Этингеру, ищет «сионистов» во врачебных кругах, среди знаменитостей, среди тех, кто причастен к лечению и обслуживанию руководителей страны, и все зря, на все — прямые, открытые ответы, добрые, похвальные характеристики.

Все, что я тут привожу, взято не из одного допроса, пусть даже и большого «обобщенного» протокола. Здесь ответы из допросов 8 и 10 февраля, 7 и 28 марта, 19 апреля и 7 июля 1949 года. Тем дороже и прекраснее, что, проходя месяц за месяцем через все тяжкое, оскорбительное, через унижения и голодную жизнь, Лина Штерн всегда верна себе<sup>25</sup>.

За что же судили академика Штерн? За что, если не считать ее национальность достаточным основанием для преследования?

Мы уже знаем, что Рассыпнинский, тиранивший Лину Штерн в первый месяц ее заключения, впоследствии не смог ответить на такой простой вопрос. Не сумели бы ответить и девять других следователей, «мотавших» Лину Штерн все годы следствия.

<sup>25</sup> Допрос Л. Штерн от 28 марта 1949 года.

Однажды ее допрос приобрел странный, с оттенком трагифарса характер. Полковник Герасимов настойчиво допытывался, по чьей протекции в штат института, руководимого Линой Штерн, приняли некую Зубкову, жену еврея, назначив ее, всего лишь кандидата наук, заведующей биохимической лабораторией. Герасимов долго ходил вокруг да около и наконец спросил напрямик:

«— Скажите, у ее мужа, Моисея Гитлера, часто бывают периоды подавленного депрессивного состояния?»

Штерн только руками развела.

— Высказывает ли он в состоянии депрессии антисоветские взгляды?

— О каких-либо антисоветских проявлениях со стороны Гитлера я данными не располагаю

— Скажите, Гитлер являлся бундовцем?

— Принадлежал ли когда-либо Гитлер к Бунду, я не знаю».

Но вот ей поставили в вину эпизод, случившийся на заседании президиума ЕАК, эпизод ничтожный, — как ни перетолковывай его, не отыщешь тут криминальной вины.

Эпизод включен в обвинительное заключение по делу ЕАК, утвержденное постановлением подполковника Гришаева (28 марта 1952 года), и относится прямо к Лине Соломоновне Штерн. Но прежде об общей ее политической и гражданской оценке, как она сложилась по окончании следствия.

«Штерн, являясь выходцем из классово чуждой среды и получив воспитание за границей, враждебно относилась к Советскому строю. Лакейски угодничая перед буржуазным Западом, она проповедовала в науке космополитизм и утверждала, что советская наука должна стоять вне политики»<sup>26</sup>. Впрочем, не более содержательны с юридической точки зрения и схожие пункты обвинения ряда других подсудимых. Так, Вениамин Зускин, поставленный во главе ГОСЕТа после убийства Михоэлса, не пробывший в должности художественного руководителя и семи месяцев, — месяцев отчаяния, растерянности, безвременья, — подведен к казни за то, что «еврейский театр ставил главным образом пьесы, воспевающие старину, еврейские местечковые традиции и быт, возбуждавшие у зрителей националистические чувства»<sup>27</sup>. Примерно с таким же «веским» основанием можно было бы судить русского режиссера за увлечение пьесами А. Н. Островского, А. К. Толстого, Гоголя или Фонвизина! Так, Перец Маркиш должен был понести уголовное наказание за то, что в 1945 году «...имел несколько встреч с приезжавшим в СССР американским разведчиком Гольдбергом, которому *передал сведения* о положении и настроениях еврейских писателей в СССР»<sup>28</sup>. И ничего более, никакого состава преступления!

2 августа 1947 года состоялось внеочередное заседание президиума ЕАК с единственным вопросом в повестке дня: «О погромах в Англии». Функционерам ЕАК Феферу и Хейфецу в ЦК приказали отреагировать на события, обрушить огонь критики на ненавистное Сталину лейбористское правительство Мориссона, заодно пригрозив зарывающемуся Трумену и всем «продажным воротилам западной политики». Шло стандартное, законопослушное обсуждение, произносились речи, исполненные гнева и высокого советского патриотизма, отыскивались самые уничижительные слова для британских *либералов*, только и оставалось, что поставить подписи под письмом, но тут раздался уверенный голос Лины Штерн — я процитирую ее выступление по тексту протокола заседания:

«— Мне хочется знать, есть ли у нас более точные сведения о характере этих погромов? Мы собираемся предпринять здесь очень серьезный шаг — послать воззвание ко всем демократическим силам мира. Есть ли у нас такие подробные сведения о событиях в Англии? Меня интересует, из каких источников они получены. Мы должны опираться на очень точные сведения. У нас существуют еще и другие антифашистские организации: Антифашистский комитет советских ученых, Антифашистский комитет советских женщин, Антифашистский комитет молодежи. Мне думается, что наш протест должен быть не только против погромов; если мы будем протестовать как евреи против еврейских погромов, то этот документ будет звучать не с той силой, с какой ему следует звучать. Мне кажется, что надо объединиться с этими антифашистскими организациями с тем, чтобы они так же подписали этот протест, тогда наш голос будет звучать против *реакции* вообще, против возрождения фашизма»<sup>29</sup>.

Так Лина Штерн преподала коллегам, а с тем и Лубянке тоже, предметный урок здравого смысла и политической трезвости. Вспомним одно из универсальных обвинений в адрес деятелей ЕАК — обвинение в преступном стремлении отгородиться от человечества, обособиться, вести счет только «еврейским жертвам» и от лица евреев, — Лина Штерн предложила возвысить общий голос против фашизма.

Но ею были сказаны и другие слова...

«Когда мы обсуждали вопрос об еврейских погромах в Англии, — показал Фефер на очной ставке со Штерн 10 марта 1952 года, — Штерн настоятельно требовала выяснить действительное положение вещей, заявив, что прежде чем писать протест по этому поводу, нам следует тщательно проверить, действительно ли в Англии были еврейские погромы. Тогда же она заявила, что нужно *выяснить, как у нас* в СССР обстоит дело с проявлениями антисемитизма»<sup>30</sup>.

<sup>26</sup> След. мат., т. X, л. 160.

<sup>27</sup> Там же, л. 177.

<sup>28</sup> Там же, л. 185.

<sup>29</sup> Там же, т. XXXIV, л. 179.

<sup>30</sup> Там же, т. XXXI, л. 450.

На допросе Штерн подтвердила, что «...отказалась подписаться под протестом против еврейских погромов в Англии: я заявила на заседании ЕАК, что сведения о еврейских погромах в Англии для меня неубедительны». Но поняли ее иначе: нам ли, не умеющим совладать со своим, домашним антисемитизмом, поучать англичан?! Именно так доложил по начальству и в Инстанцию заместитель ответственного секретаря ЕАК Хейфец: «Штерн заявила примерно следующее: прежде чем протестовать против антисемитизма и погромов в Англии, следовало бы протестовать против антисемитизма в СССР. Заявление Штерн вызвало резкое по существу, вежливое по форме осуждение председательствовавшего Михоэлса»<sup>31</sup>. Оскорбившись, Штерн поднялась и вышла из помещения президиума, Михоэлс поспешил за ней и вернул ее.

Конфликт, казалось, исчерпан, но это только начало. Следствие то и дело возвращалось к злополучному протесту против «британских погромщиков» и внесло этот пункт в обвинительное заключение, заставив говорить об этом и суд. «Я достаточно хорошо знаю Англию, — сказала Штерн и на суде, держась своей независимой линии. — Знаю, как там живут люди, и говорить о происходящих там еврейских погромах мне казалось неосновательным». Суд вновь и вновь опрашивает обвиняемых, ищет «зацепку» и в конце концов находит ее в ответе подсудимого Брегмана, того, кто вскоре выпал из процесса, заболел от «чрезвычайных мер воздействия» и умер в тюремной больнице. «Слова Штерн таковы, — сказал он, — раньше, чем писать протест, нужно посмотреть, где происходят погромы: я так понял ее реплику, она была двусмысленной»<sup>32</sup>.

На взгляд сотрудников Лубянки, реплика Штерн была не двусмысленной, а злонамеренной, как и все ее поведение на суде. «— Я редактировала один медицинский журнал, — сказала Штерн в судебном заседании. — Редакция имела двух сотрудников, т. е. двух секретарей с нерусскими фамилиями. Это было в 1943 году». Штерн предложили уволить этих сотрудников. «„Почему?“ — спросила я. „Нужно заменить“, — и ничего другого мне не говорят. Потом мне объясняют: существует такое постановление, что нужно уменьшить число евреев в редакции. Видите ли, говорит он, Гитлер бросает листовки и указывает, что повсюду в СССР евреи, а это унижает культуру русского народа...»

— Кто это говорил? — спросил судья Чепцов.

«— Академик Сергеев. Действительный член Академии медицинских наук, директор института. Он сказал, что есть постановление и нужно уменьшить число евреев — ведущих работников, главных врачей — чуть ли не на 90% и т. д. Я сказала, что если так подходить, то меня тоже надо снять, у меня тоже фамилия не русская. Он ответил, что меня слишком хорошо знают за границей, поэтому меня это не касается... В тот же вечер я встретила Ярославского Емельяна на каком-то заседании в Академии, он сделал большие глаза, сказал, что ничего подобного нет и что об этом надо сообщить куда следует. Посоветовал написать И. В. Сталину... Через некоторое время меня вызывают в Секретариат ЦК ВКП(б), там находятся Маленков и Шаталин. Маленков был очень внимателен ко мне, сказал, что мое письмо ему передал И. В. Сталин. Я заявила ему, что ни минуты не сомневаюсь, что это дело вражеской руки, что, возможно, даже в аппарате ЦК завелись люди, которые дают такие указания. Он сильно ругал Сергеева»<sup>33</sup>.

Как тут не вспомнить Абакумова, его совет своим хлопцам действовать осторожнее, осмотрительнее, помнить, что сегодня это дело все еще *щепетильное!*

«Я очень доверчивый человек и не жалею об этом, — сказала на суде Лина Штерн. — Я имела счастье знать очень хороших людей, возможность видеть самых лучших людей нашей страны. У меня было впечатление, что новый мир создается именно в Советском Союзе, и мне очень хотелось принять в этом участие. За то, что я отказалась подписать сочиненный следователем протокол, я очутилась в Лефортове.

— Свои показания, данные на следствии, вы подтверждаете? — спросил Чепцов.

— Нет, ни одного.

— Почему?

— Потому что там нет ни одного моего слова. Я три раза переводилась из Внутренней тюрьмы в Лефортово за то, что я не хотела подписывать романа, написанного следователем.

— Там тюрьма и здесь тюрьма: какая разница?

<sup>31</sup> Док., т. 10, л. 47.

<sup>32</sup> Суд. дел., т. 7, лл. 6 и 7

<sup>33</sup> Там же, л. 16.

— Там, в Лефортове, — преддверье ада. Может, стоило бы вам как-нибудь сходить туда и посмотреть, что там делается. Я не на то жалуюсь, что сидела в одиночке; лучше быть одной, чем в плохой компании. Когда я подписывала самый большой протокол («обобщенный» протокол. — А. Б.), то я увидела, что это был сгусток из нескольких допросов. Я сидела там, в Лефортово, в течение трех недель, когда меня в феврале вызвали сюда, на Лубянку, подписать протокол. Я пробыла здесь десять дней, но так как ничего не получилось, то меня опять увезли в Лефортово. Пол там цементный, камеры плохо отаплиены... питание такое, которым я не могла пользоваться... В конце концов, сколько можно было сидеть, мне ведь не хотелось умирать. Я не хочу умирать и сегодня потому, что я не все еще сделала для науки, что должна сделать...»<sup>34</sup>

После того, как она за минувшие годы открыла в тюремщиках духовную опустошенность, злобу и цинизм, Штерн пытается еще пробиться к сознанию и совести судей.

«— Всю свою жизнь я не умела и не хотела изображать то, чего нет. Я всю свою жизнь хотела быть правдивой, истинной. Я могла бы позволить себе роскошь, но всю свою жизнь прожила совершенно по-иному: я не завела себе даже семью и жила только своей идеей».

О какой еще «идее» болтает эта уродина?! Разве у нас у всех не одна марксистско-ленинская идея победы пролетарской революции во всем мире?

«— Все мои показания, которые предъявляются мне на суде, я отмечаю, я от них отказываюсь... У меня была единственная возможность дожить до суда, а я только этого и хотела. Я не боюсь смерти, но не хотела бы уйти из жизни с этим позорным пятном — обман доверия, измена... Я чувствовала, что дело плохо и я могу сойти с ума, а сумасшедшие ни за что не отвечают»<sup>35</sup>.

Не сошла ли она и впрямь с ума, старуха, что на пороге казни все твердит о деле, о работе, о пользе стране, о науке, совсем как одержимый патриот Боткинской больницы Борис Шимелиович? О Боге подумала бы! Кто-кто, а она свое пожила, поездила, повидала землю, пображничала за такими столами, которые и высоким судейским разве что во сне виделись.

Мысль Лины Штерн парила так высоко, что не всем и разглядеть, задрав голову, — позвонки переломятся.

«— Для меня важна работа, — сказала она в своем последнем слове. — А для хорошей работы мне нужно возвращение доверия и полная реабилитация... Моим арестом Советскому Союзу нанесен гораздо больший ущерб, чем всей деятельностью ЕАК, так как арест дал возможность дискредитировать мою работу и уничтожить все достигнутое. Я считаю эту работу новой страницей в медицине и не считаю себя вправе уносить с собой в могилу все, что я знаю...»<sup>36</sup>

Подписывая расстрельный приговор подсудимым, Сталин *вычеркнул* из списка обреченных имя академика Лины Штерн.

К этой загадке я вернусь.

## VI

«— Откуда взялись в обвинениях по нашему делу «реакционные круги Америки»? — вопрошал на суде ученый-международник Лозовский. — Они ведь из *сегодняшних газет*, из газет 1952 года, а не 1943 года, когда Михоэлс и Фефер были в США. Тогда в Америке было правительство Рузвельта, с которым мы были в военном антифашистском союзе».

Опираясь на факты, на правительственные телеграммы, Лозовский показал, что все встречи в США, в том числе и с Розенбергом и Вейцманом, были согласованы с Москвой, каждый шаг наших эмиссаров в США был известен Молотову. С чего же началась провокация?

«Все началось, как объяснил нам здесь Фефер, с «крымского ландшафта», а кончилось тем, что я, Соломон Лозовский, захотел продать Крым американцам как плацдарм против Советского Союза. Началось с показаний Фефера о том, что Розенберг предложил свою «формулу Крыма», Крым — это Черное море, Балканы и Турция. Потом Фефер заявил, что Розенберг не говорил этого и что это формулировка следователя... Но в памяти подследственных уже засела эта удобная формулировка: Черное море, Турция, Балканы... По мере того как допрашивались другие арестован-

<sup>34</sup> Суд. дел., т. 7, л. 16.

<sup>35</sup> Там же, л. 31.

<sup>36</sup> Там же, л. 146.

ные, каждый следователь прибавлял кое-что от себя, в конце концов Крым оброс шерстью, которая превратила его в чудовище. Так получился *плацдарм*, и хотя уже не докопаться, кто первый произнес это слово, военно-стратегический *плацдарм* налицо. Кто-то уже додумался, что и американское правительство причастно к этому делу. Это значит — Рузвельт. Осенью 1943 года Рузвельт встретился со Сталиным в Тегеране. Смее уверить вас, что мне известно больше, чем всем следователям, вместе взятым, о чем шла речь в Тегеране, и должен сказать, что там о Крыме ничего не говорилось. В 1945 году Рузвельт прилетел в Крым с большой группой разведчиков, на очень многих самолетах. Он не прилетел ни к Феферу, ни к Михоэлсу и не по делу о заселении евреями Крыма, а по более серьезным делам. Зачем же нужно было изобретать формулировку *плацдарма, которая пахнет кровью!*

Кажется, один Лозовский трезво понимал, чем завершится этот закрытый процесс. Он не раз напоминал другим обвиняемым, перебивавшим в уме сроки, что речь идет не о сроках, а о жизни.

Так Соломон Лозовский заговорил не сразу, а пройдя многие круги отчаяния, побои в четыре руки полковника Комарова и подполковника Иванова; так заговорил недавний член ЦК ВКП(б), расставшись с иллюзиями, не уповав больше на высшую справедливость Сталина, *за спиной которого орудуют антисоветчики*.

Потом придет прозрение, и обер-палач Рюмин, лично принявшийся за Лозовского с января 1952 года, будет усердствовать напрасно.

Мысль о том, что он оговорил Полину Жемчужину, будет мучить Лозовского, и в июле 1952 года на суде он наконец получит возможность публичного покаяния — скажет, что за все время следствия он оклеветал трех человек: себя и двух женщин. «Об этих двух женщинах я сказал неправду. Это о Лине Соломоновне Штерн и Полине Семеновне Молотовой».

Уступка Лозовского тюремному насилию была горестна: именно эти показания легли в основу его «обобщенного» протокола, он был отослан в Инстанцию, порадовал ее, утвердил и Шкирятова, и Маленкова, и прежде всего Сталина в старой истине, что *волка* как ни корми, а он все в лес смотрит; что еврей, даже и обласканный и вознесенный к вершинам власти, в душе — оппозиционер и антисоветчик. А Лозовскому пришлось еще тридцать девять месяцев ждать возможности сказать правду, но, увы, не народу и не партии, как ему мечталось, а подсудимым и нескольким старшим офицерам военной коллегии Верховного суда СССР.

Достанет ли когда-нибудь у человечества сострадания на то, чтобы выслушать страдальцев, не спешить списывать их в общие списки потерпевших, в число со многими нулями, в трагическую статистику, но все же статистику, без живых голосов?

Лозовский упрямо вел свое обличение в заседаниях суда, а у судьи Чепцова все реже возникало желание мешать ему.

«— Что могут сообщить о крымском плацдарме Гофштейн, Ватенберг-Островская или Зускин, а также целый ряд других почтенных людей? — не без сарказма спрашивал суд Лозовский. — Ну что могла сказать по этому поводу Штерн? Она ничего не понимает в этом, а между прочим, все они — и Маркиш и Зускин, решительно все стали в ходе следствия большими „специалистами-международниками“...»

Генерал-лейтенант Чепцов прервал Лозовского: здравый смысл разрушает важную позицию обвинительного заключения.

Но Лозовский настойчив:

«— Это мое последнее слово, может быть, последнее в жизни! Мифотворчество о Крыме представляет собой нечто совершенно фантастическое, тут применимо выражение Помяловского, что „это фикция в мозговой субстракции“»<sup>37</sup>.

«Президиум ЕАК признан шпионским центром, это — вздор. Внутри президиума могли быть члены, которые занимаются шпионажем: если Фефер утверждает, что он занимался шпионажем, то это его дело, но чтобы этим занимался весь президиум — это политический нонсенс и это противоречит здравому смыслу. Как же все-таки получились эти 42 тома (на судейском столе громоздились 42 тускло-синих объемистых следственных тома. — А. Б.), как получилось, что все 25 следователей шли по одной дорожке?.. Дело в том, что руководитель следствия, заместитель начальника следственного отдела по особо важным делам полковник Комаров, имел очень странную установку, о которой я вам уже говорил и хочу повторить. Он мне упрямо втолковывал, что евреи — это подлая нация, что евреи — жулики, негодяи и сволочи, что вся оппозиция состояла из евреев, что евреи хотят истребить всех русских.

<sup>37</sup> Там же, л. 72.



Вот что говорил мне полковник Комаров. И естественно, имея такую установку, можно написать что хочешь. Вот из чего развилось древо в 42 тома, которые лежат перед вами и в которых нет ни слова правды обо мне»<sup>38</sup>.

Мог ли Лозовский даже втайне допустить мысль, что по-комаровски смотрит на еврейскую нацию и Сталин, давно убежденный в том, что вся история партии (история, которую сочинил Ярославский, а откорректировал он сам) была историей борьбы против евреев? Полагаю, что нет: такого внутреннего потрясения, такого разрушения всей своей долгой жизни, всего своего *служения* Лозовский не пере-нес бы.

К фигуре Комарова он возвращается неоднократно. Объясняя суду, при каких обстоятельствах довелось ему поставить подпись под признательным протоколом от 3 марта 1949 года, он рассказал, как Комаров в течение восьми ночных допросов изнурил и ошеломил его, непрерывно твердя, что евреи — «подлый и грязный народ», что все они «негодная сволочь», как обрушил на него изошренный, неслыханный, приправленный злобным антисемитизмом мат, как пообещал передать его своим «особым» следователям, сгноить в карцере, избивать резиновыми палками так, что нельзя будет ни стоять, ни сидеть. «Тогда я ему заявил, что лучше смерть, чем такие пытки, — сказал Лозовский, — на что он ответил мне, что мне не дадут умереть сразу, что я буду умирать медленно...»

— А вы испугались? — спросил Чепцов.

«— Нет, я не испугался. Далее Комаров стал спрашивать, у кого из ответственных работников в Москве жены еврейки. У нас в государстве, заявил он мне, никаких авторитетов нет, нужно было — мы арестовали Полину Семеновну Молотову... Он стал требовать, чтобы я дал показания о существующей якобы у меня связи с Кагановичем и Михоэлсом, хотя я ему десятки раз доказывал, что я с ними не встречался, у меня с ними никаких близких общений не было... Я на себя наговорил (в марте 1949), на себя, и ни на кого другого... На себя я имел право наговорить, я хотел дожить до суда и сообщить суду обо всем. Но на других наговаривать я считал морально недопустимым.

Человек, который отрицает свою национальность, — сволочь».

Свою речь в суде Лозовский закончил фразой, которая и стала последним обращенным к судьям и к совести каждого из нас словом:

«— ...Если у вас будет хотя бы пять процентов уверенности в том, что я на полпроцента изменил Родине, партии и правительству, я заслуживаю расстрела»<sup>39</sup>.

## VII

В судебном заседании лета 1952 года Вениамин Зускин повел себя с твердостью, которая поразила бы следователя Рассыпнинского, попади он на процесс.

«— Я себя не признаю виновным ни в националистической, ни в шпионской деятельности...»

Председательствующий Чепцов прервал его:

«— 11 января 1949 года на вопрос: признаете ли вы себя виновным в измене Родине, в проведении антисоветской националистической деятельности? — вы сказали: «Да, признаю, что, будучи настроен против Советской власти, я поддерживал связь с националистическим подпольем».

ЗУСКИН: — Разрешите заявить, что я отрицаю эти свои показания, подписанные моей собственной рукой.

ЧЕПЦОВ: — Задача суда и состоит в том, чтобы проверить эти ваши показания.

ЗУСКИН: — Все мои показания ложные.

ЧЕПЦОВ: — Вы утверждали, что, попав под влияние Михоэlsa, встали на антисоветский, вражеский путь.

ЗУСКИН: — Я это отрицаю категорически.

ЧЕПЦОВ: — Вы показали, что в состав президиума ЕАК вошли в большинстве своем люди, враждебные Советской власти.

ЗУСКИН: — Я отрицаю эти свои показания.

ЧЕПЦОВ: — Вы написали в статье, что еврейский театр доживает свои последние дни, что в Советском Союзе глушится еврейская культура?

ЗУСКИН: — Как я мог это написать, ведь я тогда получил Сталинскую премию. Я написал заметку об умершем 24 января 1948 года артисте Штеймане. И еще о ком-то, умершем в августе...»<sup>40</sup>

<sup>38</sup> Суд. дел., т. 7, л. 77.

<sup>39</sup> Там же, лл. 255—258.

<sup>40</sup> Там же, т. 6, л. 164. — Речь идет о статьях Зускина для зарубежной печати. — А. Б.

«Михоэлс, к сожалению, мертв сейчас, и очную ставку с ним я не могу просить... — сказал Зускин. — Я думал, что раз меня арестовали, значит, будет суд и суд разберется. И я прошу, пусть по моему конкретному делу назовут мне те конкретные преступления, которые я совершил...»<sup>41</sup>

Но именно этого — конкретного дела — нет. Нет даже слова, которое можно было бы поставить в вину подсудимому. Спустя несколько лет и молодые, памятливые следователи не могут вспомнить, в чем уличались подследственные. «Какие конкретно факты вменялись в вину арестованным, я не помню», — сказал спустя три года после суда Жирухин, весьма активный «строитель» дела. Следователь Цветаев: «В чем конкретно обвинялись арестованные по этому делу, я сейчас не помню». Можно было бы привести много подобных ответов: следствие обходилось без фактов, без улик, общими фразами, вынужденным признанием подследственных в... неблагоприятном образе мыслей.

Вениамина Зускина обвинили в преступном сговоре с Лозовским.

«— С Лозовским я в жизни разговаривал один раз и сказал ему всего пять-шесть слов. Это было 3 октября 1943 года в день открытия сезона. Шел «Тевье-молочник», последний спектакль, где участвовал Михоэлс. Подходит ко мне билетерша и говорит: «Соломон Михайлович просит вас подойти к Лозовскому и пригласить его от имени Михоэлса зайти к нему». Я подошел и сказал: «Соломон Абрамович! Соломон Михайлович приглашает вас и вашу супругу за кулисы». Вот и все мое знакомство с Лозовским».

Но тесные преступные связи определены заранее!

«ЧЕПЦОВ: — Вы заявили, что считали и считаете Михоэлса националистом?

ЗУСКИН: — Я с ним никогда не разговаривал на такие темы. Я отрицаю все показания и сейчас говорю правду... Формально я несу ответственность за деятельность ЕАК, хотя меня ввели в президиум, даже не спросив, но конкретно ни в чем абсолютно, ни по линии комитета, ни по линии театра, я себя виновным не признаю»<sup>42</sup>.

«ЧЕПЦОВ: — Когда вас арестовали?

ЗУСКИН: — 24 декабря 1948 года.

ЧЕПЦОВ: — И в тот же день вы дали показания, признали себя националистом и рассказали о националистической деятельности комитета. Вот протокол вашего допроса.

ЗУСКИН: — Мне подсказали все это. Там, например, есть показания о Крыме, но я только здесь узнал о крымском вопросе, о том, что он стоял в январе 1944 года... Почему я дал показания о Крыме? Меня привели на допрос в совершенно одурманенном состоянии, в больничной пижаме... Мне говорят, что я государственный преступник, требуют показаний о моих преступлениях. Мне заявляют, что следствию уже все известно, я отвечаю, что не знаю, за что меня арестовали. Мне начинают читать чужие показания и требуют подтверждения, и я, находясь в полубессознательном состоянии, «говорю», — говорю, пусть это слово будет в кавычках, — о Крыме и обо всем, о чем не имею никакого понятия... Что я знал об американской «разведке» Михоэлса? Я узнал, что он встречался там с Чаплином, с актерами, с деятелями науки, например с Эйнштейном. У Михоэлса жена русская, и у них одна комната. К ним всегда приходили русские родственники, а Михоэлс, как джентльмен, в присутствии русских не будет говорить по-еврейски. Дома вы бы не услышали ни разу ни одного еврейского слова. Дети его тоже по-еврейски ничего не понимают. Его «национализм», может быть, парил в облаках ЕАК, а в театре он ни разу не позволил себе этого»<sup>43</sup>.

Еще и еще, с великой печалью, с протодушием, которое не перестает поражать и подсудимых, Зускин говорит о том, что «...такая жизнь, какая была у меня в тюрьме, она мне не нужна. Жизнь в тюрьме меня тяготит, и я заявил следователю: пишите все что угодно, я подпишу любой протокол. Я хочу дожить до суда, где бы я мог рассказать всю правду, — только дожить, дожить до того дня, чтобы доказать суду, что я ни в чем не виновен, и если даже мне вынесут высшую меру наказания — я буду доволен. Мне жизнь не нужна. Для меня пребывание в тюрьме страшнее смерти. Я жизнью не дорожу».

Всего трагизма судьбы Вениамина Зускина, одного из самых ярких талантов мирового театра первой половины XX века, не понять вне контекста его артистической жизни и особых обстоятельств его ареста.

<sup>41</sup> Там же, л. 159

<sup>42</sup> Там же, л. 149.

<sup>43</sup> Там же, л. 160.

Спящим, в больничной пижаме, он был погружен в машину и пробудился в тюремной одиночке. Длительным лечебным сном врачи пытались справиться с его до предела расшатанными нервами. Психическая травма, о причине которой Зускин расскажет суду, вина в своей болезни Михоэлса, привела Зускина к бессоннице, длившейся месяцами, толкавшей его к мысли о самоубийстве. Гибель Михоэлса, все, что ей предшествовало, а после — нагнетание обстановки вокруг театра, острое ощущение тупика, обреченности ГОСЕТА — убивало Зускина, внушало мысль о безнадежности существования. Вынужденный возглавить театр, в будущее которого он уже не мог поверить, он был не в состоянии обдумывать и планировать пьесы и спектакли будущего сезона, работать с авторами, вселять веру в потерявшихся артистов.

Не шел из сердца и из головы Михоэлс: Соломон Михайлович — загадка для него после двадцати семи лет совместной работы, Михоэлс — самый близкий ему из художников в мире. Михоэлс — чужой и враждебный человек.

«— Он боялся меня, — скажет Зускин на суде, — боялся меня в том смысле, что я актер, всю жизнь изучаю людей и поэтому знал его лучше других. Я не мог равнодушно слышать его голос... Этот Вовси, не великий актер Михоэлс, а Вовси, — между Михоэлсом и Вовси колоссальная разница, этот Вовси довел меня до мысли о самоубийстве...» Великий актер Михоэлс исчез, убит в Минске; с тем большей настойчивостью возникала перед внутренним взором Зускина другая ипостась Михоэлса — Вовси.

Порой в процессе архивной работы во мне возникала жалость к Феферу, которому предательство не сохранило жизни: он тоже жертва. Но стоит вспомнить, с какой сатанинской хитростью сталкивал этот человек и губил других, играя на их слабостях, вере и доверии — на всех открытых, беззащитных струнах их души, — и жалость исчезает.

Еще при жизни Михоэлса Зускин мучительно, до панического страха воспринимал менявшуюся вокруг них жизнь. «Михоэлс пригласил меня к себе в кабинет, — вспоминал Зускин на суде, — в день 30-летия ГОСЕТА, даже не в день, а в три часа ночи после праздника, — и показал мне театральным жестом короля Лира место в своем кресле. Далее Михоэлс вынимает из кармана анонимное письмо и читает мне. Содержание этого письма: «Жидовская образина, ты больно далеко взлетел, как бы головка не слетела...» Об этом письме я никогда никому не говорил, даже жене. Потом Михоэлс разорвал это письмо и бросил. Это было при мне. Вот как было дело до 1948 года»<sup>44</sup>.

Добавлю от себя: не просто «до» 1948 года, а в канун, в преддверье рокового года. Модные ныне угрожающие послания антисемитов через почтовые ящики, а то и через небрежливую печать были тогда крайней редкостью; видимо, началась властная, устремленная психологическая обработка будущей жертвы, психическая на нее атака. Абакумов уже искал у арестованных интеллектуалов подтверждения того, что «Михоэлс — сволочь» и пусть подышает на ночной улице Минска.

В представлении современников два имени — Зускин и Михоэлс — неразделимы, как сиамские близнецы. А между тем люди они разные, порой полярные и несовместимые. Сильная, волевая натура Михоэлс — и мнительный, щепетильный, рефлексивный Вениамин Зускин...

Поразительно, но и в судебном заседании, обращаясь к людям, которым изначально безразличны психологические тонкости, Зускин пытается втолковать, как трудна была его жизнь рядом с Соломоном Михайловичем, как тяжелы были *вериги* их дружбы, любви и сотрудничества. «Когда задолго до войны я пришел в военкомат, — посетовал на суде Зускин, — меня принял военком, взял мой военный билет, читает и говорит: «Почему одна фамилия — Зускин? А где Михоэлс?» Так и в обвинительном заключении — эти две фамилии вместе, а между тем никто в своих показаниях не говорил о Зускине... Тут Маркиш назвал меня теленком, а Фефер сказал, что я ребенок, а ведь мне 53 года»<sup>45</sup>.

Горькая обида и ошеломление: будто у него отнята собственная жизнь, а есть только жизнь двойника, приставка к чужому существованию. Смертельная обида и потрясение: он вчитывается во многие сотни чужих показаний и протоколов, убеждается, что забыт всеми, никто ни в чем не винит его, уже и не упомнить, кто и когда обмолвился, назвал его имя, — но вот перед ним обвинительное заключение и

<sup>44</sup> Суд. дел., т. 6, л. 208

<sup>45</sup> Там же, л. 148.

снова — Зускин, Зускин, Зускин, постылое, тупое, так надоевшее эхо Михоэлса. Почти три десятилетия они вместе в театре, но хозяин Михоэлс, его воля решает, а кому расскажешь, сколько несогласия, споров и даже ссор случилось у них с честолюбцем Михоэлсом, кому объяснишь, что в душе у него, Зускина, своя музыка, свои боги и свой оркестр и вовсе он не «дублер»? Когда, забыв обо всем на свете, он на сцене, в роли, в образе, его никто и ни с кем не спутает, будут аплодировать ему, кричать: «Зус-кин! Зус-кин!» — и в этот миг никто не вспомнит Михоэлса.

Но это сцена — а в жизни? Почему он должен отвечать за то, что кто-то, кто бы он ни был, *предав* театр, превратил его, как считает обвинение, в очаг «буржуазно-националистической пропаганды»? У отчаявшегося, затравленного Зускина как-то даже сорвется возмущенный крик: тридцать лет театром руководили «антисоветчики» Грановский и Михоэлс, «...я же был художественным руководителем всего несколько месяцев; кто направлял репертуар, кто ответствен за него, имел ли я отношение к нему?.. За три года следствия можно было выяснять, кто такой Зускин в театре, а этого сделано не было, хотя я об этом просил»<sup>46</sup>.

«Антисоветчики» — только это слово и услышали обвинители! Грановский — антисоветчик, что и говорить: человек, соблазнивший в эмиграцию часть театральной труппы, невозвращенец. Но вот и важная новость — в антисоветчики попал и Михоэлс, и кем он так наречен — самим Зускиным.

Генерал Чепцов на суде извлекает кое-какие крохи из самых первых показаний против Михоэлса, из протоколов тех недель, когда бесчинствующие следователи вносили туда *любые* обвинения.

«ЧЕПЦОВ: — Вот ваши показания: «Не стану отрицать, Михоэлс мне был известен как убежденный еврейский националист».

ЗУСКИН: — Нет! Нет! Следователь плохо понял: на свете был не один Соломон Михоэлс, их было двое, всегда двое; великий лицедей Михоэлс и плохой человек — Вовси. С этим Вовси у нас с декабря 1939 года и до конца его жизни, до гибели в Минске, была грызня...» Он будто сделал открытие для себя, вспоминая прошлое; большое воображение уже склоняет Зускина к тому, что Михоэлс возненавидел его после давней премьеры гольдфаденовской «Колдуньи», когда газеты впервые больше всего хвалили и превозносили Зускина. «— Он никак не мог мне простить, что мое имя становится рядом с его именем... Начиная с 1922 года он не мог мне этого простить и продолжал меня ненавидеть. Эта вражда продолжалась до самой смерти Михоэлса»<sup>47</sup>.

Театральные страсти не трогают Чепцова, ему подавай политику.

«ЧЕПЦОВ: — Но вы заявили, что он был крайне обозлен, ругал советское правительство, которое якобы издевается над евреями.

ЗУСКИН: — Когда погиб Михоэлс, постигшее наш театр горе ввергло меня в отчаяние. (Большой ребенок не замечает, как противоречит самому себе. — А. Б.) В тот день я сразу вспомнил, как за последнее время Михоэлс много и часто, — понимаете: много и часто! — говорил о своей близкой смерти. Говорил он это не только мне, но и другим работникам нашего театра... Еще 24 ноября 1946 года, в день 25-летия моей сценической деятельности, Михоэлс подарил мне бумажник, за год с чем-то до гибели, в бумажнике я обнаружил письмо следующего содержания: «Хочешь или не хочешь, так или иначе, но если я скоро умру, ты обязан занять мое место в театре. Готовься к этому со всей серьезностью». А буквально за два-три дня до отъезда в Минск я зашел к Михоэлсу в кабинет в театре после репетиции. Он встал, усадил меня на свое место за письменным столом и сказал: «Вот здесь, на этом кресле ты скоро, очень скоро будешь сидеть...»<sup>48</sup>

«ЧЕПЦОВ: — Вы снова умалчиваете об антисоветских взглядах Михоэлса.

ЗУСКИН: — После возвращения Михоэлса из Америки у нас в театре сразу стали появляться какие-то люди. Они сидели в очереди, как к зубному врачу... Однажды я шел на спектакль и вижу, выходит Михоэлс, бледный, буквально садится на ступеньки лестницы (он любил, чтобы его жалели) и говорит мне: «А куда же ты так рано идешь?» «Как рано, — отвечаю я. — 5.30, а спектакль в 7.30». «Неужели уже 5.30, — говорит Михоэлс, — а я еще ничего не ел, меня замучили эти евреи — того в школу не принимают, того на службу». Я говорю: «Разве это ваше дело?» Ведь он был депутатом Московского совета. Михоэлс отвечает мне, что ЕАК может этим делом заниматься. Я говорю: «Кто дал право комитету заниматься такими вопросами?! А если вы считаете, что комитет должен заниматься этим, то пусть идут в комитет». Он стал

<sup>46</sup> Там же, л. 151.

<sup>47</sup> Там же, л. 199.

<sup>48</sup> След. мат., т. XXIII, лл. 118—119.

принимать все большее и большее количество людей, они нам мешали работать; были и такие, которые открывали двери зала и смотрели на репетиции...

ЧЕПЦОВ: — Почему они не ходили на квартиру к нему?

ЗУСКИН: — Если бы я знал... Он их принимал и утром, и после репетиций. Поэтому за 1946 год он не поставил в театре ни одного нового спектакля. Однажды я заявил, что если он не прекратит этих приемов, то я пойду и сообщу куда надо, потому что это мешает работать.

ЧЕПЦОВ: — И что было?

ЗУСКИН: — Он прекратил приемы»<sup>49</sup>.

Не сразу Зускин обрел ясность взгляда, не сразу понял, что Михоэлс так же мало виноват перед человечеством и перед еврейским народом, как и он сам, Зускин. Преступный замысел, согласно которому Михоэлс должен был исчезнуть, чтобы *не мешать сценарию* госбезопасности, торжествовал победу.

На суде Зускин подробно рассказал о горестном дне 14 января 1948 года, когда «в Москву прибыл гроб с телом Михоэлса... В 11 часов, как только привезли тело, прибыли академик Збарский, брат Михоэлса Вовси и художник Тышлер. Когда раскрыли оцинкованный гроб <...> мы увидели проломленный нос, левая щека сплошной кровоподтек, и тогда академик Збарский заявил, что он заберет труп к себе в институт, где обработает лицо, чтобы можно было выставить. <...> В 6 часов (18) академик Збарский со своими ассистентами привез гроб с телом Михоэлса. Гроб поставили на пьедестал, зажгли все прожектора, создали обстановку, при которой он должен был лежать...

Рядом со мной стояла Тарасова, вся заплаканная, она очень любила Михоэлса.

Хоронили актера Михоэлса, а не Вовси, и среди сотен венков было четыре еврейских».

Надо помнить: Москва хоронила великого актера Михоэлса, урожденного Вовси, — русская Москва и многоязычная Москва. Наконец-то на суде он может говорить и об этом, ведь последние три года прошли в кошмаре следствия, для которого все — «национализм», все — жидовский кагал, и Тарасова *не смела* плакать над телом Михоэлса.

«...В почетном карауле стояли Барсова и Козловский, на панихиде выступали Гундоров, Супрун, и только один Фефер выступал от имени комитета, причем говорил он на русском языке... Выступали Фадеев, Зубов и другие <...> Збарский сказал мне, — продолжал Зускин на суде, — что, безусловно, смерть Михоэлса последовала вследствие автомобильной катастрофы <...> «Он умер хорошей смертью», — сказал Збарский. Если бы ему оказали сразу помощь, то, может быть, можно было бы кое-что сделать. Но он умер от замерзания, потому что лежал несколько часов в снегу»<sup>50</sup>.

И на суде больше ни слова о панихиде, о каком-то предсудительном разговоре с Жемчужиной. Чувство вины перед женщиной, которую он чтит и которую его принудили оговорить, спустя три с половиной года все так же терзало его совесть. Он не трогает этого в судебном заседании, и судьи летом 1952 года не вздували полупогасшие уголья костра, на который Абакумов прежде так настойчиво возводил Жемчужину.

Но если в первом протоколе допроса Зускина от 24 декабря 1948 года (в первый его тюремный день) есть несколько довольно расплывчатых фраз, якобы произнесенных Жемчужиной, фраз, которые сообщил следствию Фефер («Как вы думаете, что здесь было — несчастный случай или убийство?») и «Дело обстоит не так гладко, как это пытаются представить»), то во втором, от 11 января 1949 года, Зускина принудили подписать текст, говорящий о «враждебности» Жемчужиной, ее оппозиции властям:

«В конце разговора Жемчужина спросила: «Как вы думаете, это несчастный случай или убийство?» Я ответил, что нужно верить официальной версии, которую нам сообщили из Минска, — что Михоэлс погиб в результате автомобильной катастрофы. Тогда Жемчужина, *как я твердо помню* (слова, вписанные по настоянию следователя! — А. Б.), возразив мне, заявила: «Дело обстоит не так, как это пытаются представить. Это убийство». Заявление Жемчужиной меня ошеломило. Я понял из всего сказанного Жемчужиной, что смерть Михоэлса является результатом преднамеренного убийства с целью лишить еврейский народ его заступника.

Об этом я в тот же день сообщил Феферу... Я спросил у него, что он слышал в Минске по поводу убийства Михоэлса? Фефер ответил, что в Минске циркулировали слухи о том, что Михоэлс убит в результате автомобильной катастрофы. На это я

<sup>49</sup> Суд. дел. т. 6, лл. 161—163.

<sup>50</sup> Там же, лл. 209—210.

заявил Феферу, что, по утверждению Жемчужиной, в убийстве Михоэлса повинна Советская власть и сделано это для того, чтобы обезглавить еврейскую общественность»<sup>51</sup>.

В судьбе Вениамина Зускина эпизод встречи на панихиде с Жемчужиной сыграл особую драматическую роль.

В начале судебного допроса Зускин, отрицая все предыдущие свои показания («подписанные моей собственной рукой»), в качестве примера насилия над истиной привел следующее: «Через несколько дней после ареста меня вызывает министр государственной безопасности Абакумов и задает мне ряд вопросов... Он меня спрашивает об одном человеке, и то, что было мне известно, я ему рассказал. Через день в здании ЦК партии в кабинете Шкирятова состоялась очная ставка, на ней присутствовали: министр государственной безопасности Абакумов, Шкирятов, *то лицо* и я. Все, что мне было известно об этом лице, я сказал, хотя это все им (этим лицом) опровергалось. Мне министр потом заявил, что „вы себя честно вели на допросе“»<sup>52</sup>.

«После этого, — продолжал Зускин, только коснувшись эпизода очной ставки в кабинете Шкирятова, — я три с половиной года сижу в тюрьме; прошу, умоляю, чтобы мне дали очные ставки с членами президиума. В течение трех с половиной лет я сижу в тюрьме, мне предъявлено страшное обвинение и не дают очных ставок, на которых я мог бы доказать свою невиновность...»<sup>53</sup>

Шли годы — 1949-й, 1950-й, 1951-й, время идет к лету 1952-го, но для него все в тупике. Он не нужен следствию. Его не о чем допрашивать. Исчезни он, умри, стоячее болото следствия не кольхнется.

Это была особая казнь, изощренная, не без садистской фантазии: решение на долгое время «забыть» арестованного, похоронить его в тюрьме до дня, когда он снова понадобится и тогда предстанет перед властью потерявшийся и полуживой.

Архивные поиски и случай позволили мне хотя бы отчасти открыть эту загадку.

## VIII

В 1951 году, на третий год заключения Зускина, в одной с ним камере оказался Григорий Акимович Бежанов, бывший министр госбезопасности Кабардинской АССР, генерал-майор, осужденный на десять лет ИТР. Он оказался во Внутренней тюрьме МГБ СССР в камере № 82, где томился Зускин. Потрясенный судьбой Зускина, генерал записал его рассказ и при первой возможности направил его со своим письмом, уже после ареста Абакумова, новому министру МГБ — Игнатьеву. Как и следовало ожидать, министр, в заместителях у которого в это время уже подвизался Рюмин, Бежанова не вызвал и в приеме ему отказал, хорошо если не ужесточил судьбу мужественного Григория Акимовича.

Но вот рассказ Зускина в передаче Бежанова, сохранившийся в архивах МГБ:

«На второй день моего ареста, — рассказал ему Зускин, — вечером я был вызван на допрос к следователю, помощнику начальника следственной части по особо важным делам РАССЫПНИНСКОМУ, и тот по условленному телефонному звонку повел меня в кабинет Абакумова. Последний стал допрашивать меня (без фиксации и протоколирования) о бывшем председателе ЕАК Михоэлсе... В заключение допроса, предложив решительно и безоговорочно дать развернутые показания о «действиях еврейской буржуазно-националистической организации», Абакумов незаметно перешел к вопросу о бывшем члене ЦК ВКП(б) Жемчужиной — жене Вячеслава Михайловича. Он совершенно неожиданно для меня заявил, что предстоит очная ставка с последней и что я *должен изобличить ее*, а в чем именно изобличить, скажет он сам.

На мой категорический отказ от этого гнусного предложения и упорное отрицание подсказываемой им ложной легенды, связанной якобы с националистическими высказываниями Жемчужиной по поводу смерти Михоэлса, Абакумов после серьезных угроз прямо поставил вопрос, что в случае моего отказа *я сам буду ликвидирован*, то есть физически уничтожен».

После этого Зускин не мог уже сомневаться, что Михоэлс был убит «советской властью», что сам он стоит лицом к лицу с силой, которая вправе под любым предлогом умертвить и его, что это не пустая угроза, а условие жизни или смерти.

<sup>51</sup> След. мат., т. XXIII, л. 69.

<sup>52</sup> Суд. дел., т. 6, л. 144.

<sup>53</sup> Там же, л. 145.

Какое счастье, что уцелела эта запись Бежанова, — из нее со всей неопровержимостью следует, что показания против Жемчужиной, помеченные январем 1949 года, составлены самим Рассыпнинским, — Зускин в них неповинен.

Все последующее в рассказе Бежанова я назвал бы последней ролью Зускина, последним заученным текстом, монологом, диалогом, но уже не Шекспира и не Менделее Мойхер-Сфорима, не Шолом-Алейхема или Переца Маркиша, а текстом провокаторов Рассыпнинского и Бровермана.

«Затем тоном, не терпящим никакого возражения, — записал Бежанов, — Абакумов приказал Рассыпнинскому немедленно заняться мной и «подготовить все к предстоящей очной ставке».

В тот же день Рассыпнинским был составлен примерный текст (проект) протокола очной ставки, апробированный Абакумовым. Поздно ночью Рассыпнинский ознакомил меня с этим текстом и предложил изучить на память.

На следующий день Рассыпнинский под утро проверил, насколько я изучил и усвоил и в точности помню содержание проекта протокола, и ушел.

Очная ставка состоялась на второй или на третий день, и я принужден был по заблаговременно составленному и изученному тексту протокола «изобличать» Жемчужину.

На очной ставке присутствовал сам Абакумов, который впоследствии, через следователя, вызвал меня к себе в кабинет, похвалил, похлопал по плечу, назвал меня «настоящим советским человеком» и тут же приказал Лихачеву и Рассыпнинскому отпустить мне из специального фонда денег на выписку продуктов питания, фруктов и папирос. Кроме того, приказал выдавать мне беспрепятственно из библиотеки любую, по моему требованию, книгу».

Какая гармония высших сфер: за бандитское убийство в Минске неведомые нам «настоящие советские люди» по приказу Сталина награждаются орденами и медалями; за участие в моральном уничтожении благородной женщины министр госбезопасности награждает карамелью, пайкой белого хлеба и правом беспрепятственного получения книг из тюремной библиотеки.

Милость министра как проклятие на Зускине. Через некоторое время, сказал Зускин, «...лично Рассыпнинским были оказаны моей семье такие услуги и помощь, какими никогда и никто из арестованных не пользовался. Таким образом, выполнив «задание» Абакумова, я долго находился в особо привилегированных условиях: сортные папиросы, двойной комплект постельной принадлежности и много других льгот. Это все происходило в то время, когда для других арестованных в тюрьме свирепствовал невероятный тяжелый режим, установленный лично Абакумовым».

Кажется, что министра консультировал опытный психолог, точно рассчитавший такой ход. избрать для «милостей» начальства того, для кого эти милости окажутся мукой, причиной страдания и угрызений совести. «Щедрость» Абакумова — новая ловушка, нравственная пытка для такого человека, как Зускин, расшатывающая и без того никудышные нервы арестованного. В запасе у министра готовность Фефера дать любые показания против Жемчужиной, с которой он, к слову сказать, не был знаком. Жемчужина? «Она являлась нашей советчицей и наставницей, — изоцдрялся во лжи клеветник. — Она вообще опекала евреев... посещала синагогу... Это было 14 марта 1945 года, шло богослужение по погибшим во время второй мировой войны евреям. Жемчужина пришла со своим братом и находилась на возвышении, где читают *Tору*, куда по еврейским религиозным обычаям женщине заходить запрещено, но для Жемчужиной было сделано исключение... Михоэлс часто встречался с Жемчужиной в театре, где у него был отдельный кабинет, на службе у Жемчужиной. на приемах, по телефону, а на приемы в посольствах он попадал благодаря ей... Жемчужина не советовала нам обращаться к Сталину — он не любит евреев, не поможет, а Жданову и Маленкову писать не стоит, они безвластны... Окружающие Михоэлса называли Жемчужину не иначе как «Царица Эсфирь» — по священному писанию заступница евреев, а самого Михоэлса «вождем еврейского народа»; Михоэлс, бывало, хвастался письмом с таким адресом: „Москва, Кремль, вождю еврейского народа Михоэлсу”».

Есть свидетельства, что Сталин незамедлительно ознакомился со всеми документами, касавшимися Жемчужиной, — нетрудно понять, как действовали на него все эти фальшивки, какую реакцию провоцировали. Завистливый и мстительный человек проглядывает сквозь каждую строку этих доносов на Жемчужину и Михоэлса, из намека на то, что Михоэлс готов принять бремя славы кремлевского «вождя», хотя бы и еврейского, но все же *вождя*.

Уже в протоколе от 11 января Фефер упоминает об очной ставке с Жемчужиной. Это значит, что вполне благополучный, еще не потревоженный, отдохнувший в

домашней постели и выбритый поутру Фефер явился в кабинет Шкирятова на очную ставку с Жемчужиной, прежде оскорблявшей его невниманием и небрежением.

Страх перед Сталиным обострил в Абакумове чувство опасности, усилил постоянно гложущую мысль: не перебрать бы, не выйти за разумную черту, не послать бы, усердствуя, в Инстанцию документ, который откроет «механизм» провокации. У самого Абакумова, естественно, сложилось полубрезгливое отношение к «винтику», к осведомителю Феферу, — что, как и Сталин однажды отвергнет фальшивку? Нужны и другие уста, другие глаза, другой человек — чистый, страдающий и правдивый. Если запись очной ставки Зускина с Жемчужиной положит на стол вождя Шкирятов, Сталин, вполне возможно, спросит у него, очевидца: «А что этот еврейский актер, этот «великий клоун» — у них ведь все еврейское великое! — как он тебе показался: такой же брехун, как вся их порода?» И может случиться, что Шкирятов под свежим впечатлением от не умеющего лгать, потерявшегося Зускина ответит, что нет, нет, Иосиф Виссарионович, этот оказался скорее правдивым, чем лживым...

Для замысла Абакумова хорошо, что показание Зускина собрано в один узел: только похороны, гражданская панихида, лишнего он не говорит, именно такой малый, прожигающий уголек позволит вспыхнуть и всему нагромождению лжи о Жемчужиной.

...И снова очная ставка, немногочисленная очная ставка в кабинете Шкирятова. Жемчужина могла сначала и не узнать доставленного сюда Зускина. Она только однажды, в горестный день у гроба Михоэла, перекинулась несколькими словами с этим человеком, но на сцене видела его много раз, в гриме, в шутовском колпаке, в черном котелке «торговца воздухом», смешного, с перевязанной щечкой из «Путешествия Вениамина Третьего», но он уже представлен, как положено на очной ставке, потом прозвучал его голос — неуверенный, мягкий, глуховатый. Да, конечно, она знает этого человека — это Зускин.

Она выдержала и это испытание, отвергая навет: она ничего не говорила Зускину ни о советской власти, ни тем более о Сталине. Убийство? Да, могло быть и убийство.

Униженный похлопыванием по плечу как «настоящего советского человека» (в понимании спецслужб!), щедротами Абакумова, дававшими о себе знать при каждой затяжке сортной папиросой, Зускин, по свидетельству Бежанова, жил с отчаянием на сердце, с жадной повиниться перед кем-нибудь, излить душу, очиститься покаянием, — но именно этой возможности ему намеренно не давали. Когда по истечении долгого, показавшегося вечностью времени к нему в камеру № 82 подсадили Бежанова, крик вырвался у Зускина, сбиваясь и повторяясь, он спешил рассказать о приключившейся с ним беде.

Вот ее промежуточный — еще перед 12 августа 1952 года — финал, я снова процитирую Зускина по записи Бежанова.

«По истечении 15 месяцев, перед окончанием следствия по моему делу ввиду отсутствия каких-либо серьезных обвинительных материалов против меня, следователь Рассыпнинский принужден был совершить новое преступление: он ознакомил меня со своими материалами, протоколами допросов всех проходящих по «еврейской националистической организации», с их признательными показаниями о якобы совершенных ими преступлениях, и предложил мне написать собственноручно отзыв, то есть мое личное мнение по этому делу. Я написал и дал суровую оценку антисоветской, подрывной работе, в которой они сознались.

Через несколько дней из моих же собственноручных записей следователь Рассыпнинский смонтировал фальсифицированный «протокол моего допроса». Все мои же обвинительные аргументы он обратил против меня и под сильным нажимом, насильственно заставил меня подписать этот от начала до конца сфабрикованный протокол».

Какая изощренная полицейская интрига! «Настоящий советский человек» наглухо изолирован, ему отказывают в очных ставках, ему приходится на веру принимать чужие признательные протоколы, он вновь и вновь потрясен открывшимися «преступлениями», фальшивками, давно отвергнутыми арестованными, и отзывается на них осудительным словом, — следует воровская манипуляция лубянского «наперсточника», и готов новый губительный самоговор.

## IX

В Киеве потрясенный арестом поэт Давид Гофштейн на первом же допросе винится в поступках, способных вызвать только участие и уважение к нему. Он напоминает о письме академиков Марра и Ольденбурга с просьбой к руководству



кабинета еврейской культуры при АН УССР помочь им получить литературу на иврите: «Мы обратились к правительству, доказывая в меморандуме, что сам по себе язык не может быть ни сионистским, ни националистическим...»

В Киеве обошлось, но впоследствии, с переходом в руки допытчиков Лубянки, все ужесточилось. С падающим сердцем, все более робко говорил Гофштейн о пользе изучения древнееврейского языка — только в ученых целях, только немногими...

И иврит и идиш, в представлении следователей Лубянки, были тайнописью, хитрым снарядом идеологического терроризма, чем-то вроде правоэсеровской бомбы с «секретом». «По линии еврейского кабинета, — продолжал показания Гофштейн, — мы стали проводить в 1944 году в Киеве и других городах Украины литературные вечера, лекции и доклады... («националистического характера» — вписывает в текст протокола рука следователя. — А. Б.). При еврейском кабинете АН УССР нам удалось создать еврейскую библиотеку и небольшую типографию, где мы печатали книги на еврейском языке и распространяли среди еврейского населения».

«— Кабинет, который вы организовали вместе со Спиваком, — вступает председатель суда, — стал центром антисоветской работы?»

Вопросительный знак не смягчает обвинительной категоричности слов судьи, и, поникая, более всего боясь не рассердить, а обидеть судью частыми отказами от прежних показаний, поэт-философ невнятно бормочет:

«— Да... до некоторой степени... Из этого вытекает, наверное, что наша работа имела националистический характер»<sup>54</sup>.

Используя это полупризнание, судья Чепцов пытается развить успех, напоминает Гофштейну о ссоре, разразившейся на президиуме ЕАК в 1944 году. Неотступно размышляя о судьбах еврейской культуры и языка, прежде всего о будущем родной письменности, Гофштейн — парадоксалист, насмешник и лукавый мистификатор — на заседании президиума ЕАК прочел вслух только что написанное стихотворение, вызвавшее протесты присутствующих. Смысл его в отказе от языка *идиш*.

Следственный протокол не дал судье достаточного представления о существе спора.

«ГОФШТЕЙН: — Смысл стихотворения такой, что мы пользовались этим еврейским языком, идиш, а в нем слишком много элементов из немецкого языка...

ЧЕПЦОВ: — Значит, смысл таков, что вы пользовались этим языком, а теперь отказываетесь от него?»

Тогда, в пору, о которой идет речь, продолжалась война против гитлеровской Германии, наличие в идиш *немецких* элементов могло только усилить неприязнь и самого судьи к этому языку.

«ГОФШТЕЙН: — Да. Когда-то раньше тоже были люди, которые называли этот язык жаргоном. Еврейская интеллигенция не говорила на этом языке, она старалась изучить русский язык. Но тут началась другая полоса, изменилась жизнь, и лучшие люди, революционно настроенные, оказались занятыми изучением языка идиш и благодаря щедротам советской власти превратили его в литературу, какой не было еще на земном шаре. Разве я стал бы выискивать другие, лучшие слова, чтобы быть лучшим лириком среди евреев всего мира».

Как осторожен Гофштейн, как старается не оскорбить ни старую еврейскую интеллигенцию, пренебрегавшую языком идиш, ни сам этот язык, ни неслыханно обогатившуюся в XX веке литературу на идиш, обретшую выдающихся писателей и — простим ему самовозвеличение! — «лучшего лирика среди евреев всего мира».

Почти четыре года в десятках следственных кабинетов ему внушали мысль (точнее, вколачивали ее в него), что язык его поэзии — ничтожество и злоумышление, а ведь он умрет, он попросту умрет без этого «квадратного письма», ему нечем будет дышать и незачем жить. Не его ли поэтическая душа исторгла когда-то слова-клятву:

Любая пядь земли ждет пристального взгляда.

И во владенье мне дано живое слово,

Для песен я рожден, иного мне не надо»<sup>55</sup>.

Судье не понять драмы поэта, истинного, а не придуманного рефлексирующим интеллигентом испытания. Судью раздражает неопределенность: на каком же языке пишет Гофштейн?

«ЧЕПЦОВ: — После того, как вы выступили с таким программным стихотворением, вы перестали писать на еврейском языке?»

<sup>54</sup> Суд. дел., т. 3, лп. 58—59.

<sup>55</sup> Гофштейн Д. Избранное. М. «Советский писатель». 1958, стр. 289.

Бог мой! Как объяснить ему, что язык для поэта — это и воздух его и дыхание; и не просто дыхание, но, может быть, дыхание единственное, дремотное, и чтобы ни прописал больному доктор, он будет дышать, как дышитесь, — в старости и походки не переменить по капризу, как ни старайся.

«ГОФШТЕЙН: — Что такое лирическое стихотворение? Это настроение, которым я жил неделю-две... Все знали, что на идиш не нужно было работать. Но работали...

ЧЕПЦОВ: — И вы были такого мнения, но продолжали работать?

ГОФШТЕЙН: — Продолжал»<sup>56</sup>.

Невозможно и представить себе подобного диалога в любом другом судопроизводстве мира, он уникален, по-своему, в «культурной» трансформации, он равен истреблению: разверсты ямы, куда задумали сбросить и азбуку, и типографские шрифты, и книги на обреченном языке. В стране, которая спасла от уничтожения миллионы евреев Европы и на словах, в декларациях чтילה хартию братства народов, обещающая строго, пожалуй, чрезмерное наказание за антисемитизм, оказался возможным такой дьявольский следственный заговор.

Случалось ли такое в истории просвещенных народов, чтобы выдающийся мастер слова, старый писатель перед лицом гибели, расстрела не молил о пощаде и не проклинал палачей, а, горюя, печалась, просил о родном языке; горестно расставался не с жизнью, а с ним, с языком, готовый признать себя националистом, только бы чувствовать в себе и вокруг себя музыку родного языка? «...Суть моего неизжитого национализма состоит в том, — сказал прозаик Давид Бергельсон на суде в заключительной речи, — что я был чрезвычайно привязан к еврейскому языку как к инструменту. Я работал на нем двадцать восемь лет, я его люблю, хотя он имеет много недостатков. Я знаю, что мне предстоит недолгая жизнь, но я его люблю, как любящий сын любит мать»<sup>57</sup>.

Яростный, разбойный, длиною в три с половиной года натиск палачей не сулил пощады языку и национальной культуре, спасти надо было кровь, жизнь народа, и умудренный опытом веков Бергельсон трагически покорствуя: «Я знал, что в конце концов евреям и в Биробиджане предстоит переменить свою речь на русскую; русский язык — один из богатейших языков. Потом, я знал, как советский человек я верил, что дорога Советского Союза — это есть дорога всего человечества. Я знал, что в конце концов в Советском Союзе все народы сольются в одно целое, в том числе и еврейский народ...» Звездная утопия, мечта лучших умов человечества, не унижит его даже и в этом реквиеме по материнскому языку. «Но я считал — дело не в одном языке, а дело в укладе. Тяжело перейти с одного уклада на другой. Это требует очень длительного периода времени. Я хотел, чтобы евреи проделали переход с одного уклада на другой не в каком-либо большом городе, как Ленинград, Киев, Одесса, а в своем утолке. Рассматривается ли это как борьба против ассимиляции, пусть суд определит»<sup>58</sup>.

Работая над томами следствия, исследователь поразится, как буквально рябит в глазах от слова «национализм». Оно лепится ко всему, к месту и не к месту, порой до карикатурности не попадая, как будто арестованным самим не терпится выкрикнуть это слово. Прочитана лекция — националистическая. Написано стихотворение — националистическое. Беседа, диалог, литературный вечер, встреча со школьниками, уроки языка, изучение истории, студийные этюды, репертуар театра, настроение, книги, планы, замыслы, поступки и т. д., — едва ли не к каждому существительному прилеплено это слово, таящее, по умыслу следствия, разрушительную силу. После нескольких недель жестоких допросов и бессонных, мучительных, вынимающих душу ночей притупляется не только бдительность арестованных, но и защитные силы организма.

Поначалу они шарахаются от этого слова, приученные бояться его. Они упрямятся, десятки допросов проходят впустую и не оформляются протоколами, отказы на Лубянке не годятся, здешние мастера должны выглядеть людьми, не знающими поражения. Можно подождать, пока глина разомнется, дать поработать шантажу, кулаку, резиновой палке, карцеру, добротным армейским сапогам. Надо, чтобы арестованный вполне ощутил себя бесправным рабом *второй, тюремной действительности*, где, в отличие от лозунгов улицы и митингов, его народ, его язык и его кровь не равны любому другому и потому все, что применительно к любому другому этносу, — *национально*, в еврейском бытовании — *националистично*. Если сам язык

<sup>56</sup> Суд. дел., т. 3, л. 61.

<sup>57</sup> Там же, т. 7-А, л. 93.

<sup>58</sup> Там же, лл. 94—95.

народа — заблуждение и грех, тормозящий праздник ассимиляции, то попечение о таком языке и культуре, на нем основанной, дело не просто праздное, но и реакционное. Забота о мертвечине, цепляющейся за живую жизнь!

Идею выморочности, ничтожности, второсортности языка, культуры, литературы, веры, самого существования евреев, как показало следствие и множество сопутствовавших ему дел, Инстанция и Лубянка разделяли на всех своих этажах, с той только разницей, что иные из преследователей были серьезные, озабоченные, другие же полны яда и озлобления.

Даже главный судья, генерал-лейтенант Чепцов, кажущийся либералом рядом с Рюминым и Лихачевым, отводил еврейской культуре и религии некую сумеречную, подвальную нишу.

Уличив Гофштейна в нежелании распрощаться с еврейским языком и писать стихи на русском (не на иврите же, признанном на Лубянке языком сионизма!), Чепцов возвращается к одному из самых черных грехов поэта:

«ЧЕПЦОВ: — Ваша связь с раввинами Москвы — Шлиффером и Киева — Шехтманом, ваши консультации по этим вопросам были продиктованы Михоэлсом?»

Все в первозданном тумане: не было консультаций, нет поступков, улик, — разве что на партсобрании или на профсоюзном, еще до войны, можно было вкатить выговор за посещение церкви. Нет наказуемого по закону греха, есть — *синагога*, не церковь, а синагога. Гофштейну брошен спасательный круг: виноват Михоэлс, он продиктовал, он подчинил простодушного поэта своей воле.

Ответ Гофштейна на суде поразителен, как откровение, как взрыв, если вспомнить прежние, выбитые из него насильем показания.

«ГОФШТЕЙН: — Я с Михоэлсом никогда не беседовал».

Правда: жили в разных городах. Пьес Гофштейн не писал. Из скромности и житейской мудрости держался в стороне от громкого, публичного, театрального существования Михоэлса. Люди разные, выдающиеся каждый в своей области, они прожили жизнь, как говорится, на разных улицах, общим был у них забытый с юной поры Бог, небо над головой, два родных языка, оба святые для каждого из них... Они не состояли в сговоре и не были близки. «Я с Михоэлсом никогда не беседовал» — такова правда, та же смахивающая на репризу бравого солдата Швейка, и судья пропустил ее мимо ушей.

«ГОФШТЕЙН: — Я с Михоэлсом никогда не беседовал... Однажды я получил приглашение от Ходченко, он член партии, писатель и ведал в Киеве делами православной церкви; получил приглашение явиться в клуб учителей на какой-то митинг. В президиуме был Бажан, руководил митингом Корнейчук, были еще два-три министра, и выступил патриарх<sup>59</sup> киевский... Значит, это было нужно».

Судья не дает лукавцу спрятаться за церковные стены и православную веру: духовные ценности мира, даже и церковного, тоже поделены на категории, и надо честь знать... Синагога — особ статья.

«ЧЕПЦОВ: — Мы используем все возможности, которые идут на пользу дела. А здесь совсем другое, здесь Михоэлс дает вам задание вести националистическую работу, а для этого связаться с попами. Это совершенно иное, это антисоветская деятельность...»

Как втолковать заблудшему поэту, что кулич и пасха или Великий пост — это традиция, обычай, в худшем случае — пережиток прошлого, а маца и старый еврейский молитвенник — антисоветчина.

«ЧЕПЦОВ: — Зачем коммунисту, писателю, марксисту, передовому еврейскому интеллигенту связываться с попами, раввинами, мракобесами, консультировать их о проповеди, о маце, о молитвенниках, о кошерном мясе<sup>60</sup>? Какие задания вам давал Михоэлс?»

ГОФШТЕЙН: — Не давал<sup>61</sup>.

Рушились версии «продажи» Крыма американцам, измены и шпионажа, и хотя следствие уповало и на силу голословных обвинений, искали и чего-то хотя бы внешне правдоподобного. Так и пришли к «национализму», этой следственной панацее дела ЕАК.

<sup>59</sup> Оговорка: митрополит. — А. Б.

<sup>60</sup> «Кошерное мясо» возбуждает не раз подозрение судьи. Допрашивая Чайку Островскую, он обнаружит, что это мясо можно получить только от резника. «Резник — религиозное лицо, — заявит он. — А что, при убое скота читались молитвы?» «Да». — «Значит, резник при этой операции совершает религиозные обряды» — «Да, безусловно...» (Суд. дел., т. 6, л. 103).

<sup>61</sup> Суд. дел., т. 3, л. 69.

Национализм. Еврейский национализм. Еврейский буржуазный национализм. Таково главное обвинение — тут и следователи и суд чувствуют себя неестественно, дергаются развязно.

Известна ленинская статья «О национальной гордости великороссов»; теоретически можно представить себе и статью под названием «О национальной гордости украинцев» или казахов, но в реальных обстоятельствах недавнего нашего существования — только теоретически. Публикация подобной статьи таила бы в себе смертельную опасность при вспышке очередной кампании борьбы с «местным буржуазным национализмом». Но чего уж и представить себе невозможно в тех обстоятельствах, так это статьи о национальной гордости евреев; в самом названии — вызов, преступная кичливость, опасное обособление народа, которому впервые в истории дарована возможность благорастворения в едином советском народе; историческая неблагодарность, порочная идеализация прошлого, сомнительный интерес к Библии, к мифам, религиозному мракобесию и т. д. и т. п. Этот логический ряд выстраивается незатруднительно — любое движение души, любое обращение к национальному тотчас же окрашивается в зловещие тона.

Буржуазным национализмом следствие нарекает любую попытку самооценки народа. Интерес к истории своего народа. Осмысление себя как нации. Заботу о национальной культуре. Исполнение классических пьес старого репертуара, живущих не только общечеловеческими мотивами и страстями, но и старым, отжившим или отживающим бытом, обычаями, как, впрочем, и в пьесах А. Н. Островского и даже Чехова. Поддержка народной школы. Совершенствование родного языка, национальной письменности. Решительно все, всякое осмысленное движение еврейского интеллигента, все, что составляет не только *право* гражданина, но и его святую *обязанность*; всякий луч света, преломленный через призму Лубянки, превращался в свою противоположность. Не сотни — тысячи раз за годы следствия раздавался этот гневный трубный глас, самые нормальные и добрые поступки нарекались национализмом.

Когда впереди маячит казнь, ты обвинен в предательстве, в шпионаже, в контрреволюционном заговоре, какой безделицей покажется тебе обвинение в избытке любви к своему народу, пусть и в расточительной любви к его языку и вере. Бог с ними: как тут не уступить свирепому «антагонисту», непотребству его ругливых слов и жестоких физических действий.

Мы просто обязаны всякую минуту размышлений о страдальцах Лубянки, о признаниях жертв дела ЕАК помнить об этих реальностях, о пропасти, куда их сбросили, в этом случае мы вполне оценим их подвиг и не предадим его забвению.

Как часто арестованные, уступая насилию, вынуждены были, сцепив зубы, произнести предательское: «Да...» Да — националист. Да — националистическая пьеса. Книга. Стихотворение. Защищаясь, они тут же добавляли слова, которые изредка попадали и в протоколы допросов, но гораздо чаще раздавались в суде: «Но тогда это не считалось национализмом...» Я выписал многие десятки этих «тогда», и оказалось, что *тогда* — это и 1912 год, и 1918-й, и годы гражданской войны, и 20-е годы, и во все времена, когда еще невозможно было представить себе, что однажды в тюрьму бросят *всю еврейскую литературу*, цвет художественной интеллигенции. «Тогда» значит еще — по справедливости, истинно, на самом деле...

Бергельсон допрашивался на суде первым, генерал Чепцов напомнил ему показания на следствии: «Никаких заданий я ни от кого не получал. Будучи националистически настроенным, я знал, что проводимые по инициативе еврейских националистов из еврейской секции ЦК ВКП(б) мероприятия по созданию еврейских школ, различных культурных учреждений и легальных еврейских организаций создают условия для развития еврейской культуры и ведения националистической работы среди еврейского населения».

«— Правильны ли эти показания?» — спросил судья.

«— Да. Только слово «националистической работы» я осознал уже здесь, в тюрьме. В то время, когда я увидел, что все субсидируется советским правительством, как я мог усмотреть в этом национализм?»<sup>62</sup>

Поразительный по самоочевидности пример: после веков национального угнетения, черты оседлости, запрета светских еврейских школ писатель счастлив переменам (следовательно, «националистически» настроен!), люди в центральном партийном аппарате 20-х годов, занятые этой деятельностью (следовательно, «буржуазные националисты!»), дают добро на создание учреждений еврейской культуры

<sup>62</sup> Там же, т. 1, л. 33.

(следовательно, для «националистической работы!»), и сам этот исторический процесс, которому радоваться бы, оборачивается мрачным заговором. В те далекие годы никому и в голову не приходило связывать добрые перемены в судьбах еврейского народа с кознями националистов, но *вторая действительность*, тюремная, меняла знаки, по-своему распорядилась прошлым.

Только выстояв тяжкие, без сна, недели, на синих от кровоподтеков ступнях и пятках, отбиваясь от тягчайших обвинений, можно понять, с каким облегчением может быть принято арестантом «пустяковое», будто и не уголовного ряда, обвинение в националистическом образе мыслей. Да — люблю свой народ. Да — горжусь его страдальческой судьбой. Трепетно люблю звуки родной речи, писал и буду писать на идиш, ибо ни на каком другом писать уже не сумею. Да — сюжеты и образы Ветхого Завета никогда не тускнели для меня, в них первые летописные и мифологические страницы моей древней истории. Да — мне дорога еврейская национальная культура. Если по уродливому тюремному счету все это — национализм, тогда я националист, выходит, что так, и не надо меня калечить, я признаю это, я подпишу, что надо, дайте только привыкнуть к этому перевернутому миру — и я перестану противиться слову «национализм» в протоколах. Но дайте время, чтобы мне привыкнуть к новому имени, я ведь прожил на земле более полувека, прожил в любви к своей нации, не подозревая, что у моего чистого чувства есть другое, черное, предосудительное имя — *национализм*.

Гофштейн, этот, по выражению подсудимого Юзефовича, «живой, вечно бегающий человек», эрудит, искусно надевавший на себя личину местечкового простака, делал все возможное, чтобы разрушить представление о нем как о защитнике древне-еврейского языка. Конечно, он знает иврит, знает с детства, свободно говорит на иврите, побывал в Палестине, очень любит стихи Бялика, писанные на иврите, действительно старался помочь академикам Ольденбургу и Марру раздобыть литературу на иврите, однако к его жизни это не имеет отношения.

Главный судья не дает ему вернуться:

«ЧЕПЦОВ: — Бергельсон говорит, что вы добивались внедрения древне-еврейского языка. Очевидно, вы имели такое задание.

ГОФШТЕЙН: — О защите древне-еврейского языка не может быть и речи. Пускай Бергельсон вспомнит, как он перевел свой роман на древне-еврейский язык...»

Бергельсон подтверждает: такое с ним случилось, но очень давно, в 1912 году.

Судья в недоумении:

«ЧЕПЦОВ: — Кто на древне-еврейском языке говорит и читает вообще?»

Теперь надо успокоить судью: мир еще не рухнул, светопредставления не случилось.

«ГОФШТЕЙН: — Здесь нет такого человека, да и вообще, где есть такой человек?»

ЧЕПЦОВ: — Какой же смысл тогда переводить на древне-еврейский язык?»

Здесь нет такого человека!..

Зускину, сидевшему тут же, на скамье подсудимых, впору бы вспомнить в эту минуту себя в «Короле Лире», рядом с Михоэлсом, и свою реплику из третьего акта: «Эта холодная ночь превратит нас всех в шутов и сумасшедших...»

Нет такого человека! Здесь-то как раз и собрались люди, за вычетом одного-двух, для которых иврит — язык младенчества и детства, народной синагогальной школы, язык Библии и молитв, язык великих песен Соломона, язык, в силу исторических причин отодвинувшийся для миллионов евреев в глубины времени. Здесь собрались те, кто не отдаст иврит на поругание, а, смолчав, отступив перед насилием, будет помнить, что иврит, зачисленный кем-то в мертвые языки, — жив.

8 мая 1952 года, в первый же день судебного слушанья, на допросе Давида Бергельсона возник вопрос об ассимиляции как о святыне национальной политики партии и советской власти. Стараясь объясниться с долгожданным судом как можно мягче и открытее, Бергельсон, как в тайном грехе, исповедовался в боли, которую испытывают еврейские писатели, неотвратимо теряя читателей. В его словах не протест, не дерзость, не покушение изменить ход вещей, но — боль, боль, — как с ней справиться?! «Скажем, есть у тебя недовольство тем, что закрыли еврейские школы, — говорил Бергельсон. — Не говори об этом открыто... Был у нас писатель Годинер, он погиб на войне. В 1935—1936 годах, когда только намечалось сокращение контингента учеников еврейских школ, он открыто поставил вопрос: „Нам надо знать, что же с нами, советскими писателями, будет? Через несколько лет мы будем лишними?“»

Он исповедуется летом 1952 года, когда нет уже не только еврейских школ, но нет и ГОСЕТа в Москве, закрыты театры Киева, Одессы, Минска, сведено на нет многое из того, что кое-как дышало до войны, уцелел и в годы великого террора.

Чепцова не устраивает такая либерализация темы:

«ЧЕПЦОВ: — Вопрос ассимиляции вас лично беспокоил?»

БЕРГЕЛЬСОН: — Я в ассимиляцию не то что не верил, а считал, что это очень длительный процесс, а это значит — длительная агония, и она может быть страшнее смерти.

ЧЕПЦОВ: — Вы и сейчас (на суде!) ассимиляцию еврейского народа среди советского народа называете агонией?»

Отдаленные раскаты политического грома: как можно не воспеть, не восславить благорастворение в лоне огромного великодушного народа!

«БЕРГЕЛЬСОН: — Я говорю не о народе, а о культуре.

ЧЕПЦОВ: — Раз культура, значит, и народ».

Сбившись, кое-как продолжая, Бергельсон говорит о литературных вечерах, лекциях и докладах, проводившихся еврейской секцией Союза советских писателей.

«ЧЕПЦОВ: — Лекции, доклады были на еврейском языке?»

БЕРГЕЛЬСОН: — Да, на еврейском языке.

ЧЕПЦОВ: — Что же вы тогда отрицаете? Разжигание националистических чувств?»

Так преступлением объявляется публичный разговор на еврейском языке, и писатель, которого уже три десятилетия читают на его родном языке, спешит смягчить ситуацию:

«БЕРГЕЛЬСОН: — Да, но во всем этом не было сговора...»<sup>63</sup>

Толкование всякой заботы о национальной культуре как противодействие ассимиляции, а значит, враждебной деятельности, отчетливо выразилось на судебном допросе Фефера. Уличая его в национализме, судья говорит:

«ЧЕПЦОВ: — Но ведь борьба против ассимиляции и составляет *несуществующую* еврейскую проблему, которую пытался разрешить ЕАК. Это правильно?»

ФЕФЕР: — Да, верно... Но в тот период я часть того, что мы делали, не считал националистической работой. Я, например, не считал, что противодействие ассимиляции является националистической деятельностью.

ЧЕПЦОВ: — Вы пришли в «Эйникайт», чтобы бороться против ассимиляции за культурную автономию евреев?»

ФЕФЕР: — Нет, за рост еврейской культуры.

ЧЕПЦОВ: — Но это тоже националистическая задача.

ФЕФЕР: — Я тогда это не считал националистической задачей.

ЧЕПЦОВ: — А борьба против ассимиляции — что это такое? Значит, вы вели с самого начала *антисоветскую* деятельность.

ФЕФЕР: — Националистическую деятельность...

ЧЕПЦОВ: — Всякая националистическая деятельность — есть антисоветская деятельность»<sup>64</sup>.

Софистика в устах военного судьи — убойное оружие.

«Ассимиляция» превратилась в универсальный оселок, на котором удобно править ранащий и разящий инструмент судебного насилия. Сколько усилий ушло на то, чтобы заставить подследственных подписывать протоколы с признанием в «национализме», — уличить заключенного в борьбе против ассимиляции оказалось значительно проще. Если подсудимый продолжал писать книги, стихи или статьи на родном языке, он противостоял ассимиляции, и это давало право записать: «Вел антисоветскую работу по пропаганде идей обособленности еврейской нации».

На радостях, что враг разоблачен, в казенном тексте можно позволить себе называть евреев — н а ц и е й.

## Х

Отдадим должное мужеству Лозовского — для него не была секретом позиция Сталина как активного вдохновителя антисемитизма. Но на процессе он срывал и со следствия и с суда маску «интернационализма». Знал, что чтение судебных бумаг, «дайджесты» из них — вожделенное занятие Сталина, понимал, что Сталин вновь загорится ненавистью к ничтожному еврею из села Даниловка под Запорожьем, возмнившему себя личностью, но держался своей активной позиции. Из партии он уже исключался дважды — в 1914 году и в 1917 году, — теперь его исключают из жизни...

<sup>63</sup> Суд. дел., т. 1, лл. 42, 43, 44.

<sup>64</sup> Там же, т. 4, лл. 84, 86

Обращаясь к годам, когда он возглавлял Гослитиздат, Лозовский сказал: «Я издавал армянский, башкирский и другие эпосы. Почему, когда ко мне приходят писатели-евреи по вопросу об издании своих книг, в этом усматривается национализм? Это не логично». «Почему считают: если на вечер Шолом-Алейхема пришел Лозовский, значит, он еврейский националист?»<sup>65</sup>

Главного судью начинают тревожить вопросы Лозовского, он пытается поставить подсудимого на место:

«ЧЕПЦОВ: — Вам предъявлено конкретное обвинение. В формулировке обвинения сказано: „Занимался шпионажем и был руководителем еврейского националистического подполья в СССР”».

Лозовского такая «конкретность» поражает: *ничто* не доказано, не приведен *ни один факт* передачи кому бы то ни было «секретных сведений».

«Как можно в обвинительном заключении писать о материалах «шпионского характера» и не включить эти материалы в 42 тома следствия?! — говорит он. — Что это, советский метод следствия — обвинить человека в шпионаже, а потом скрыть от него и от суда материал, за который его надо казнить?»<sup>66</sup> «Я спрашиваю, — настаивал Лозовский, — почему на материалах, которые носят так называемый *шпионский* характер (на статьях и очерках из архива газеты «Эйникайт». — А. Б.), нет дат? Почему и как эти даты исчезли, тогда как в действительности они имеются на каждой статье, на каждом листке? Кто, зачем и почему это сделал?»<sup>67</sup>

Лозовский отвергает ложь служащего ЕАК, заместителя Фефера Хейфеца, заявив во всеуслышание, что «Хейфец старый работник МГБ», — и суд не опротестовал этого заявления и не исключил его из стенограммы. Но куда более резким был выпад Лозовского не против бывшего своего подчиненного, а в адрес высокого цеккистского чина Александрова, под чье идейное руководство в 1946 году перешел ЕАК. «Я считаю Александра человеком нечистоплотным. Я 40 месяцев нахожусь в тюрьме и не знаю, что делается на свете. Я не знаю, кем стал Александров за это время, но уверен, что рано или поздно он будет исключен из партии. Такой человек в партии быть не может, партия таких людей не терпит»<sup>68</sup>.

Вскоре сбывшиеся слова, хотя партия терпела и не таких, как Александров, она только в 1953 году освободилась от Берия, более из страха перед ним и в отместку за все миновавшие страхи, чем от омерзения перед безнравственной, злодейской личностью.

Лозовский возвращается к главной теме — он настойчиво и последовательно разоблачает антисемитскую подоплеку дела ЕАК. Уже и Чепцову нелегко сопротивляться напору и логике Лозовского, подсудимый не дает повода оборвать его.

«В конце 1941 года в разговоре со Щербаковым по ВЧ у нас возникла мысль о создании нескольких антифашистских комитетов. (В эту пору — 1941—1946 годы — Лозовский еще и заместитель наркома иностранных дел. — А. Б.) Мы создали сразу несколько антифашистских комитетов: славянский, еврейский, женский, молодежный, антифашистский комитет ученых. Уже по одному названию видно, что это не классовые организации для пропаганды только среди рабочих, а это такие организации, которые должны обращаться ко всем, кто хочет и может что-либо сделать для борьбы с фашизмом... Почему меня обвиняют, что я создал Еврейский антифашистский комитет, а не все пять комитетов? Почему встреча с каким-то Розенбергом хуже, чем встреча с Миколайчиком? Почему славянский комитет по моему разрешению мог принимать Андерса? Он что, друг Советского Союза?»<sup>69</sup>

«Почему, если это правда, что какие-то евреи называли меня «отцом», это должно преследоваться законом? В Киргизии меня часто называли «аксакалом», а в Китае «старым китайцем» потому, что я много занимался Китаем. Разве меня посчитают киргизским или китайским националистом?»<sup>70</sup>

«За время моего пребывания в Совинформбюро я принял трудно сказать сколько сот журналистов. Приходили китайцы, японцы, американцы, англичане и т. д., но выходит, что как только приехал еврей из США, тут я и поскользнулся. Это же курам на смех! Не говоря уже о том, что когда приехал Новик, комитет уже не имел ко мне

<sup>65</sup> Суд. дел., т. 4, л. 35.

<sup>66</sup> Там же, л. 127.

<sup>67</sup> Там же, л. 232.

<sup>68</sup> Там же, л. 231.

<sup>69</sup> Там же, лл. 49—50.

<sup>70</sup> Там же, л. 79.

никакого отношения. К тому же деньги на прием Новика, 40 тысяч, дал Суслов. Что же, он тоже еврейский националист? Трудно и подумать»<sup>71</sup>.

«Возникает вопрос — почему мы позволяли на советские деньги посылать за рубеж статьи Имама Ходжи, который, основываясь на Коране, проповедовал борьбу против фашизма? Это было нужно, и мы это делали»<sup>72</sup>.

Чепцов снова напоминает Лозовскому о его «конкретной» вине:

«— Вы несете ответственность за ЕАК, а деятельность ЕАК признана националистической».

Лозовский возражает. Ни следствие, ни суд не доказали этого обвинения. Когда он, по смерти Щербакова, возглавил Совинформбюро, ЕАК вскорости был переподчинен Отделу внешней политики ЦК ВКП(б), а «Черная книга»<sup>73</sup>, при всех ее недостатках, «сыграла большую роль во время Нюрнбергского процесса. Разве это национализм?»<sup>74</sup>.

Лозовского печалит малодушные слова Бергельсона, так одурманенного на следствии лживой «официальной установкой», что любой *отдельный* разговор об евреях, еврейской культуре, еврейских потерях от нацистов и т. д., национализм чистой воды, что и в судебном заседании он все еще не отваживался громогласно отвергнуть эту ересь. Используя нерешительность Бергельсона, судья заводит речь о брошюре «Немецким матерям», ярком документе контрпропаганды — обращении к матерям Германии от имени еврейских матерей, познавших ужасы депортации и геноцида. «Вы считаете эту брошюру националистической?» — спросил он у Бергельсона — автора брошюры, и тот, жизнью приученный искать вину в себе, покорно ответил: «Я считаю ее националистической потому, что в ней говорится о происшедшем уравнинии прав евреев в СССР наряду с правами других народов, но не иллюстрируется право других народов. А материал, в котором говорится только об одних евреях, считается националистическим...»

ЧЕПЦОВ: — Кем считается?

БЕРГЕЛЬСОН: — По заключению литературной экспертизы мои некоторые статьи считаются националистическими потому, что там говорится только об евреях<sup>75</sup>.

В словах Бергельсона, если вслушаться, нет согласия с дикой позицией, но нет и спора, нет протеста: силы Бергельсона на исходе. Судей же устраивает и эта двусмысленная покорность. «Если еврейская литература мешает евреям ассимилироваться, — говорит Бергельсон, — а у Лозовского есть интерес к этой литературе, из этого можно сделать вывод о его национализме»<sup>76</sup>.

Лозовский не прощает и такой малодушной уступки: «Для того, чтобы писать в еврейскую газету, — говорит он, — надо писать по-еврейски. Но когда Бергельсон вдруг говорит, раз пишут по-еврейски, значит, это национализм, то выходит, что *тут судят еврейский язык*. (Курсив мой. — А. Б.) Это уму непостижимо».

Он снова и снова обращается к практике Совинформбюро и ЕАК, отменяя обвинения в национализме; напоминает о радиомитинге на еврейском языке, проведенном для пропаганды на США по указанию секретариата ЦК, и о том, что все ораторы были проинструктивированы в ЦК, «каждая речь, ее текст, читалась мной, Александровым и Щербаковым», а в ходе следствия только и слышишь, что о каком-то «националистическом митинге», организованном Лозовским. «Что, академик Капица мне подчинен?.. — спрашивал он у суда. — Писатель Эренбург мне подчинен?.. Эренбург сказал на митинге, бросая это в лицо фашизму, что имя его матери — Ханна. И вдруг пошли толки, что это, мол, возвращение к еврейству. Мою мать тоже звали Ханна, что же, я должен стыдиться этого? Почему это объявляется национализмом?»<sup>77</sup>

Имя матери Лозовский назвал не случайно; позади долгая жизнь, горестные наблюдения за тем, как все сильнее забирает Сталина антисемитское помрачение.

<sup>71</sup> Там же, л. 211.

<sup>72</sup> Там же, л. 237.

<sup>73</sup> «Черная книга» — хроника гитлеровских злодеяний против еврейского населения Европы, подготовленная в США созданным там специальным комитетом и изданная в Нью-Йорке в 1946 году при участии Альберта Эйнштейна (со включением части материалов о зверствах фашистов на захваченных территориях СССР). Оригинальное русское полное издание, в подготовке которого приняли активное участие Вас. Гроссман и Илья Эренбург, было задержано, а затем и запрещено распоряжением ЦК ВКП(б).

<sup>74</sup> Суд. дел., т. 4, л. 237.

<sup>75</sup> Там же, л. 91.

<sup>76</sup> Там же, л. 39.

<sup>77</sup> Там же, л. 47.



Позади и очная ставка Лозовского с Полиной Молотовой (Жемчужиной), утнетавшая его очная ставка, неподписанный протокол которой пролежал в сейфе у Абакумова до самого ареста министра. Лозовский понимает, что арест Жемчужиной не только садистская игра деспота, испытание соратника на абсолютную холуйскую верность, но и расправа с женщиной-еврейкой, так близко стоявшей к другой сталинской жертве — Надежде Аллилуевой-Сталиной.

Можно бы опустить такую подробность, как имя матери — его и Эренбурга. Но он его произнесет — Ханна; произнесет как покаяние, как последний поклон ее памяти. За десятилетия жизни в адовом кругу он столько раз шел на компромиссы, глушил свое «еврейство», что на суде, в канун самого страшного, обязан сказать и повторить дважды: Ханна! Ханна!..

Не в силах опрокинуть позицию Лозовского, генерал-лейтенант Чепцов напомнил ему «обобщенный протокол» от 3 марта 1949 года:

«— А зачем же вы подписали?»

Лозовский повторил, что дрогнул только однажды под ударами полковника Комарова, потрясшего его сознание смертным боем, многочасовыми ночными допросами, унижениями, откровенно расистскими инвективами в адрес евреев как народа, назвав его не только грязным, но и откровенно преступным, «негодной сволочью», поставившей своей целью «истребление всех русских». Мир померк. Он понял, что его преследуют не как «шпиона» и даже не как выдуманного «еврейского националиста», а как человека, рожденного еврейской женщиной, и он обязан сохранить себя, дожить до суда, чтобы на суде сказать правду. Когда-нибудь она пробьется к людям.

## XI

Вставали ли перед Чепцовым кровавым укором образы тех еврейских журналистов, кого он два года назад приговорил к казни нерассуждающим судом «тройки» или ОСО, не дав себе труда расследовать, были ли статьи Самуила Персова о Московском автозаводе имени Сталина актом шпионажа и измены, много ли выиграли империалисты США, узнав из его статьи, что начальником инструментального цеха автозавода имени Сталина является еврей Сегалович и какова *технология* изготовления сукна на фабрике «Освобожденный труд»; не дав себе труда разобраться, чем же, собственно, могли повредить стране очерки Мириам Айзенштадт о евреях — Героях Советского Союза? Теперь в долгом слушании дела ЕАК обнаружилось, что обвинения казенных журналистов — блеф, провокация, за которую в пору бы судить клеветников, но поздно.

Мог ли Чепцов не увидеть и не понять, что нынешний лубянский *мор* направлен против людей одной крови? Что же тут диковинного: партия и Верховный суд доверили ему судить людей, по доброй воле выделивших себя в некую *национальную* организацию, центр еврейского буржуазного национализма. Они же и обособились — мог успокаивать себя генерал-лейтенант Чепцов, если его совесть искала успокоения. Они сошлись для дела, на которое не позовешь людей другой национальности.

Были, были основания и для самообмана судьи; в те же годы, месяцы и дни карательный аппарат работал без устали, перемальвая тысячи и десятки тысяч жизней. Абсолютные цифры и тогда, в пору антиссионистской истерии, подтвердили бы, что невинно казненных людей других национальностей по числу куда больше, чем обреченных гибели евреев. Только внимательный и непредвзятый взгляд определил бы две особенности дела ЕАК и ряда выделенных из него слушаний Особого совещания: то, что репрессии захватили *весь* фронт еврейской культуры, всех ее мало-мальски известных деятелей, и то, что в основе преследования не конкретные преступления законоотступников, а требование безоговорочной, по милицейскому свистку, ассимиляции.

За два месяца судебного разбирательства Чепцов пригляделся к подсудимым и, как показало дальнейшее, проникся к ним уважительным чувством. Он не мог не видеть, что иные из них — Зускин, Тальми, Теумин, Островская-Ватенберг — не причастны ни к каким делам ЕАК, ни к добрым, ни к предосудительным, что никто из подсудимых никогда не обладал и крупицей военных тайн или государственных секретов, чтобы поделиться ими с кем бы то ни было. Голос Чепцова, если внимательно вчитаться в стенограммы судебных заседаний, все более терпел резкость и обвинительную интонацию. Рутинга судебного заседания двигалась к концу, несостоятельность всех обвинений, кроме расплывчатого обвинения в «националистических настроениях» и «националистических пристрастиях», становилась все более очевидной.

«...На мои требования к Рюмину и его помощнику Гришаеву представить нам (судьям. — А. Б.) доказательства Рюмин и Гришаев от этого уклонились, — писал Чепцов министру обороны СССР маршалу Г. К. Жукову пять лет спустя. — Ясно, что выносить приговор по этому делу при таких непроверенных и сомнительных материалах было нельзя»<sup>78</sup>.

Генерал-лейтенант юстиции Чепцов прервал процесс, добиваясь возвращения дела на исследование.

Сегодня мы понимаем, что исследование, по обстоятельствам времени, могло подарить всем обвиняемым жизнь. Ведь через семь месяцев умер диктатор, главный заказчик сатанинской «музыки», и они были бы спасены так же, как и врачи, «убийцы в белых халатах», чье дело усилиями Рюмина уже формировалось, просвечивало во многих допросных протоколах дела ЕАК.

Случилось иначе.

## XII

Послушаем бодрый обвиняющий голос Рюмина, как он звучал в августе 1951 года после ареста и начала следствия над Абакумовым, следствия, которым занялся сам Рюмин с озлоблением, сравнимым разве что с насилием над Шимелиовичем.

«...По некоторым серьезным делам расследование проводилось поверхностно, преступная деятельность врагов советского государства полностью не вскрывалась, и было много случаев, когда особо опасные государственные преступники не разоблачались до конца, забрасывались и не допрашивались месяцами, а то и годами. Такое же положение имело место по делам врагов советской власти, еврейских националистов Лозовского, Штерн, Шимелиовича и др.<sup>79</sup>, следствие по делу которых больше года уже вообще не ведется». Затем Рюмин, жестоко палачествовавший, раздавливавший каблуком сапога пальцы рук подсудимым, забегая вперед и сбрасывая все вины на Абакумова, заявил: «К числу грубейших нарушений советских законов надо отнести также самовольные, никем не санкционированные избиения арестованных»<sup>80</sup>.

От позы строгого судьи Абакумова и его «клики» — Леонова, Комарова, Лихачева, Шварцмана, Бровермана — Рюмин не откажется и на допросах 1954 года, куда после смерти Сталина его самого приводят уже из тюремной камеры. Но голос его и тактика заметно меняются: Молотов тревожит его память, Молотов все еще номинально второй человек в державе, а Рюмину хочется выжить и жить, — ему жить на этой земле, а не презренным евреем с Талмудом под мышкой.

«Должен признать, что в 1952 году, когда я являлся уже заместителем министра госбезопасности, я запретил передопрашивать арестованных и записывать их отказ, потребовав, чтобы следователи не подвергали ревизии показания, которые арестованные давали ранее. Признаю также, что когда суд пытался возвратить это дело на исследование, я настаивал на том, чтобы был вынесен приговор по имеющимся в деле материалам».

Это признание отнюдь не покаянное — ничуть не бывало! В ослеплении ненавистью готовый поверить любым обвинениям в адрес целой нации, он настаивал на сатанинском своем безумии, несмотря на смерть Сталина, от которого прежде ждал прощения и спасения в награду за эту безоглядную ненависть. Он признается в поступках, безусловно известных допрашивающему его генерал-лейтенанту юстиции Вавилову, заместителю генерального прокурора СССР, — скрывать эти факты было безнадежно.

«Шимелиовича дважды вызывал к себе в кабинет бывший Министр Госбезопасности Абакумов, — сказал Рюмин. — При последнем вызове Абакумов в моем присутствии заявил Шимелиовичу, что если он прекратит сопротивление и расскажет о совершенных преступлениях, то ему будет сохранена жизнь и он, Абакумов, устроит его работать в лагерной больнице... Абакумов спросил у Шимелиовича о характере связи Жемчужиной с руководителями ЕАК и о роли в так называемом Крымском вопросе одного из руководителей Советского правительства...» (Молотова. — А. Б.) «При рассмотрении дела ЕАК я усмотрел определенное стремление бывшего руко-

<sup>78</sup> Из объяснительной записки генерал-лейтенанта Чепцова Г. К. Жукову. Здесь и далее цитируется по публикации «Литературной газеты» № 11 (5233) от 15.3.89.

<sup>79</sup> Характерно, что Рюмин не называет главного «националиста» Фефера, а упоминает двух ненавидимых Шкирятовым: Лозовского и Шимелиовича, которых тот лично допрашивал в ЦК

<sup>80</sup> Мат. пров., т. I, л. 1—2.

водства МГБ СССР в лице Абакумова к компрометации одного из руководителей партии и правительства. Особенно это было видно из характера одного из допросов Жемчужиной. Непосредственно делом Жемчужиной занимались заместители начальника следственной части: Лихачев, Комаров, Соколов и следователь Кузьмин... По этому вопросу (о Жемчужиной) я рассказал в 1951 году в ЦК КПСС и к основному своему заявлению от 2 июля 1951 года написал в адрес Главы Советского правительства специальное заявление»<sup>81</sup>.

Рюмин не прочь изобразить себя защитником достоинства и чести Молотова, отмежевываясь от тех, кто разрабатывал преступную интригу против Жемчужиной. На деле же он был одним из самых безоглядных исполнителей воли Абакумова, разве что снedaемый завистью к удачливым полковникам, стоявшим ближе к министру.

Сам Абакумов сохранял осторожность, прятал некоторые протоколы очных ставок в сейф, не давая им хода. Только два протокола очных ставок Жемчужиной — с Фефером и сломленным Зускиным — были отосланы в ЦК ВКП(б).

Отдадим должное генерал-лейтенанту Чепцову: в накаленной атмосфере расового преследования он не потерял здравого смысла и мужества. Судебные заседания 1950 года и осуждение многих из тех, кто поначалу был в общих списках с Лозовским и Фефером, а после выделен в отдельные слушания, суровые приговоры, вынесенные после кратких заседаний трибунала, характеризовали и его, Чепцова, как судью послушного и скорого на расправу. Как же случилось, что спустя двадцать месяцев тот же Чепцов позволил себе задуматься и усомниться? Ведь весной 1952 года, когда министр МГБ С. Д. Игнатъев в присутствии своего заместителя Рюмина вызвал Чепцова в кабинет и поручил ему ведение дела ЕАК, судья был предупрежден, что Политбюро настаивает на расстрельном приговоре всех обвиняемых за исключением Лины Штерн: по воле Сталина ее надлежало приговорить к трем — трем с половиной годам тюрьмы — время, которое она фактически провела в заключении, и к высылке в отдаленные местности СССР.

Можно было бы предположить, что такое предупреждение было сделано авантюристом Рюминым на свой страх, если бы не будущее развитие событий и вмешательство Маленкова, действовавшего от лица Сталина.

«Следует здесь указать, — писал Чепцов, докладывая в августе 1957-го о деле ЕАК члену Президиума ЦК КПСС министру обороны Г. К. Жукову, — что, как теперь известно, начиная с 1935 года (то есть уже после убийства Кирова. — А. Б.) был установлен такой порядок, когда уголовные дела по наиболее важным политическим преступлениям руководители НКВД, а затем МГБ докладывали т. Сталину или на Политбюро ЦК, где решались вопросы вины и наказания арестованных. При этом судебных работников, которым предстояло такие дела рассматривать, предварительное, до решения директивных органов, с материалами дел не знакомили и на обсуждение этих вопросов в ЦК не вызывали».

Судьи получали одновременно и грудку следственных томов, с которыми только еще предстояло знакомиться, и непреложный для суда приговор. «Судоговорение» превращалось в формальность, незачем было входить в подробности, вести тщательное судебное следствие, доискиваться истины — она могла оказаться опасной для судей.

«При таком порядке, — писал Чепцов, — военная коллегия приговоры часто выносила не в соответствии с материалами, добытыми в суде. Свои сомнения по делам судьи в ЦК не докладывали либо из боязни, либо исходя из доверия к непогрешимости решений т. Сталина, хотя по ряду дел судьи могли видеть, что дела в директивных органах докладывались необъективно».

К началу 30-х годов стремительно складывалось такого рода «судопроизводство»; если после убийства Кирова, к 1935 году, новый судейский порядок действовал уже автоматически, то началось все гораздо раньше. Вспомним письма Сталина Молотову с юга страны еще в августе—сентябре 1930 года, наполненные циничными требованиями расправ, незамедлительных, заранее назначаемых расстрелов: «Обязательно расстрелять *десять-два-три* из этих аппаратов, в том числе десятка кассиров всякого рода», «Кондратьева, Громана и пару-другую мерзавцев нужно обязательно расстрелять», «надо бы все показания вредителей по мясу, рыбе, консервам и овощам опубликовать немедленно... с сообщением, что ЦИК при СНК передал это дело на усмотрение коллегии ОГПУ (она у нас представляет что-то вроде трибунала), а через неделю дать извещение от ОГПУ, что *все эти мерзавцы расстреляны. Их всех надо расстрелять...*»

<sup>81</sup> Мат. пров., т. I, л. 13.

«Расстрелять всех!» — таков категорический императив сталинского судопроизводства, превративший правовой аппарат страны в бездушный механизм, слепо выполнявший волю партии по всей цепи от Верховного до районного суда. Когда Сталин в 30-х годах «щедро» давал судейским целую неделю на следствие, суд, приговор и сообщение народу о состоявшемся расстреле, речь шла не о единицах, а о тысячах людей, по формуле Сталина, «мерзавцев», которые мерещились ему повсюду.

И вдруг спустя два десятилетия опытный военюрист, сложившийся в уродливых, пыточных «правовых» рамках юриспруденции Вышинского, вышколенный генерал-лейтенант юстиции, пренебрег требованием быстрого суда и длит судебные заседания с 8 мая по середину июля. В перерывах судебного следствия главный судья часто заходил в кабинет министра Игнатъева и ставил его в известность о ходе суда и о том, что на процессе «вскрываются факты фальсификации со стороны Рюмина и его следователей и что Рюмин обманывает его, Игнатъева».

«Рюмина эти мои действия озлобили, — уточнил Чепцов, дорисовывая маршалу Жукову ситуацию тех дней. — Я лишь после смерти Сталина, из объяснений т. Игнатъева, данных им ЦК КПСС по делу врачей, узнал, что Рюмин пользовался полным доверием т. Сталина, который в то же время т. Игнатъеву не доверял».

«В первые же дни процесса у состава суда сразу возникли сомнения в полноте и объективности расследования дела, — свидетельствовал Чепцов. — До начала судебного следствия ряд осужденных заявили ходатайства о приобщении документов, опровергающих их обвинения, в чем им при расследовании дела было отказано».

Отказано было и Чепцову в его требованиях к Рюмину и полковнику Гришаеву о предоставлении суду доказательств обвинений, опровергаемых подсудимыми. Оба они — заносчивый, действовавший самоуверенно и нагло Рюмин и осмотрительный, лицемерный Гришаев — от предоставления документов и доказательств уклонились.

Чепцову пришлось вступить в необъявленную войну с Рюминым: быть может, знай он о покровительстве Сталина разоблачительным замыслам Рюмина, он и не решился бы на открытый конфликт. Чепцову пришлось проводить отдельные допросы в одной из комнат военной коллегии, вне стен министерства госбезопасности. «Это было необходимо сделать и потому, что Рюмин был заинтересован в исходе дела и мешал объективному его рассмотрению, — писал Чепцов. — По поведению отдельных подсудимых можно было предполагать, что следователи в перерывах влияют на них. Рюмин установил подслушивание судей в их совещательной комнате, на ряд недоуменных наших вопросов к нему по поводу следствия он и его помощники явно говорили нам неправду».

Главный судья подробно характеризует подсудимого Фефера, который «...на протяжении многих дней изобличал *всех подсудимых* в антисоветской деятельности», но под влиянием перекрестного судебного допроса «стал давать путаные, не внушающие доверия показания», а затем, как мы уже знаем, на закрытом заседании открыл суду свою службу негласного сотрудника МГБ СССР. В докладной записке на имя Г. К. Жукова Чепцов, спустя пять лет после процесса, ошибся, указав, что закрытый допрос Ицкиа Фефера состоялся спустя месяц после начала процесса. Передо мной все тома стенограммы процесса, все его протоколы, в ни разу не нарушенной временной последовательности: закрытое заседание состоялось 6 июля, затем, по настоянию Фефера, оно повторилось 10 июля, вдогонку новым письменным сообщениям Фефера — страницам, написанным карандашом.

Это уточнение важно: решительный отказ Фефера от обвинительных показаний трех с половиной лет (не говоря о том, что предшествовало его аресту!) последовал не в начале и не в середине процесса, а под самый его конец, когда ложь оказалась слишком очевидна.

Стенограммы судебных заседаний, которые так стремился заполучить Рюмин по ходу процесса, не сохранили речевых интонаций, пауз, жестов, подавленного молчания или взрывов недовольства, гнева, и все же, прочитывая один за другим 8 объемистых томов, начинаешь различать голоса, слышать подтекст судебных диалогов. С течением времени почти умолкают голоса двух других судей, генерал-майоров юстиции Дмитриева и Зарянова, поначалу охотно задававших резкие, агрессивные вопросы. Ощущение такое, что у трех судей постепенно выработалось общее понимание дела, сознание шаткости обвинения, быть может, возникло и некое сочувствие к людям, не заслужившим столь страшной судьбы, судьи ведь знают об уже вынесенном им в ЦК приговоре! И как это неожиданно и трудно объяснимо в людях высоких армейских и судебных чинов, которым поручено не мудрствуя лукаво принять участие в ритуальном убийстве дюжины еврейских интеллигентов.

Только в одном судья Чепцов оставался непреклонным до конца разбирательства. Ассимиляция для евреев страны, — только они и занимали генерал-лейтенанта Чепцова, а не миллионы других евреев, которые прозябают и стонут под пятой капиталистов и, в ожидании вселенской революции, могут только мечтать о Биробиджане, о полном, вплоть до саморастворения, братстве и равенстве наций, — ассимиляция воспринималась им как нечто спасительное, социалистическое по своей природе, а значит, обязательное для евреев. Для *народности*, для этнической общности, которой не суждено стать нацией, — эти марксистские страницы генерал Чепцов вытвердил, как «Отче наш», — для тех, кого царизм удущал и унижал, замыкая их в черте оседлости, возможность раствориться в другом, великом народе, в многомиллионных нациях казалась верхом социальной справедливости. И до самых последних дней судебного следствия голос Чепцова становился непреклонным, едва ему послышится сомнение в том, что партия и правительство до конца разрешили «еврейский вопрос».

Нет такого вопроса и незачем его выдумывать!

Не понимая вполне, как разнятся бытовой, разговорный язык и таинственный, глубинный, поселившийся в творящей душе художника поэтический язык, Чепцов, в сущности, требовал от подсудимых отказа от родного языка в пользу более доступного и понятного, на его взгляд, для еврейских народных масс русского языка. В отличие от следователя-«забойщика» Ивана Лебедева (с неоконченным школьным образованием), который избил прозаика Абрама Кагана, обнаружив, что он, оказывается, грамотей, поправляет орфографию протокола, невольно унижая следователя, знает, подлец, хорошо знает русский язык, но повести и рассказы упрямо пишет на идиш, — в отличие от Лебедева Чепцов не думал, что нужно силой заставлять еврейских писателей переходить на другой язык, важно, чтобы они перестали *печататься* на идиш, не тормозили процесс ассимиляции.

Для языка и культуры, для национальной самобытности он был таким же немилосердным судьей, как и его антагонист, нечаянный противник и, надо думать, нравственный антипод Рюмин. Рискнув назвать подсудимого Соломона Лозовского «большевиком», Чепцов сердито и с искренним недоумением воскликнул: «Что это за большевики, которые утверждают, что у нас еврейская проблема не решена!»<sup>82</sup>

На взгляд Чепцова, все эти образованные люди, знающие другие языки, попидавшие мир, упрямо не расстающиеся со своим обреченным языком (об иврите нечего и говорить: с вузовской поры Чепцов усвоил, что иврит — *мертвый* язык, что он битая карта сионистов, оружие крайних еврейских националистов), запутались в трех соснах национальных проблем, давно и окончательно разрешенных марксизмом. Политически — это отрывка неизжитого «бундовства», житейски — слабость людей, не способных перестроиться, захватить по-новому в семье народов. Но эту «отсталость», косность судье Чепцову трудно было переложить на судебные, уголовные «ноты», на статьи УК, не говоря уже о статьях об особо опасных преступлениях.

Потребовалось гражданское мужество, почти безрассудство, не умерщвленный голос совести, чтобы прийти к решению, «что выносить приговор по этому делу при таких непроверенных и сомнительных материалах было нельзя».

Теперь фамилии казненных и тех, кто был осужден им сверх меры жестоко в 1950—1951 годах, то и дело всплывали на процессе, и когда рухнули обвинения в шпионаже и разглашении государственных секретов, когда среди тысяч публицистических страниц не обнаружилось ни одной предательской строки, трудно было Чепцову не вспомнить недавних смертных приговоров. Защищаясь, подсудимые по главному делу ЕАК защитили и доброе имя тех, погубленных.

Призраки возвращались; страдающие глаза Эмилии Теумин, обращенные теперь к нему со страхом и надеждой, не могли не напомнить других глаз — темных, со следами сломленной гордости глаз Мириам Айзенштадт, талантливой журналистки, трудившейся яростно, как на фронте, и казненной своими...

Теперь перед ним диковинные, истерзанные душевно и физически люди, красивые в приближающейся старости, взывающие не к жалости, а к уважению, к почтительности. Главный судья обнаружил, что пройдет еще неделя, две — и ему придется приговорить к уничтожению людей, которые не заслуживают ни казни, ни тюрьмы; мастеров своего дела, судя по всему, людей значительных, ухитрившихся прожить свою странную еврейскую жизнь нравственно и безгрешно, если судить их по статьям уголовного кодекса. Сознание того, что он вынужден будет лишить их жизни, убить по откровенно фальсифицированным обвинениям выскочки и прохвост-

<sup>82</sup> Суд. дел., т. 4, л. 139.

та Рюмина, манипулирующего на глазах у Чепцова малосведущим, опасливым министром, заставило главного судью действовать энергично.

«Прервав процесс в начале июля 1952 года, — продолжал он свои объяснения Г. К. Жукову, — я обратился к Генеральному прокурору т. Сафонову с просьбой совместно со мной пойти в ЦК КПСС и доложить о необходимости возвращения дела на следствие. Однако он от этого отказался, заявив мне: «У тебя есть указание Политбюро ЦК, выполняй его!» Не поддержал меня и бывший председатель Верховного суда Волин. Тогда я обратился по телефону к бывшему председателю КПК при ЦК КПСС Шкирятову, который сам вел следствие по делу Лозовского и других, но он, узнав от меня, что я хочу ставить вопрос о возвращении дела на следствие, заявил мне, что *убежден в виновности подсудимых*, и отказался меня принять. Я тогда, как и многие, верил ему как совести нашей партии и не мог предполагать, что он был двурушником.

После этого я информировал тов. Шверника Н. М., бывшего тогда Председателем Президиума Верховного Совета СССР, и получил от него совет обратиться с этим вопросом к секретарю ЦК Маленкову. Я позвонил ему по телефону, просил принять и выслушать меня. Через несколько дней я был вызван к Маленкову, который вызвал также Рюмина и т. Игнатъева.

Едва ли кто-либо смог бы сделать больше для подсудимых и пройти по такому опасному кругу: Сафонов, Волин, Шкирятов, Шверник и, наконец, Маленков — единственный теперь для Чепцова у порога сталинского кабинета. Не к Молотову же, у которого жену замарали связью с еврейскими националистами, обращаться с такой заботой.

Поражает не только решимость Чепцова — любой из его звонков мог стоить ему самое малое погонов и службы, — но и простодушие генерала, его неосведомленность, незнание людей верхнего эшелона, чья черная репутация к тому времени была известна всей мыслящей части советского общества, известна как ненавистникам, скажем, Шкирятова, так и тем, кто уповал на него в чернотенных делах.

К часу, когда Маленков принял Чепцова, Игнатъева и Рюмина, все было окончательно решено: недолгий срок, на который эта встреча отодвигалась, понадобился Маленкову, чтобы еще раз испросить указаний Сталина. Дело ЕАК растянулось на годы; пока «разматывалось» ленинградское и другие крупные дела, Сталин отвлекся, попустил Абакумову, а после прогнал, посадил в тюрьму, теперь можно было в полную силу наказать и «сионистов», чтобы не возомнили, не подумали ставить *на колени* партию и советское правительство.

«Я полагал, что Маленков поддержит меня и согласится с моими доводами, — писал Чепцов. — Однако, выслушав мое сообщение, он дал слово Рюмину, который стал меня обвинять в либерализме к врагам народа, в том, что я намеренно тяну рассмотрение дела свыше двух месяцев и тем самым ориентирую подсудимых на отказ от показаний, данных ими на следствии, обвинял в клевете на органы МГБ СССР и отрицал применение физических мер воздействия. Я вновь заявил, что Рюмин творит беззакония, однако Маленков заявил буквально следующее: „Вы хотите нас на колени поставить перед этими преступниками, ведь приговор по этому делу апробирован народом, этим делом Политбюро занималось 3 раза, выполняйте решение ПБ“».

«Приговор по этому делу апробирован народом» — вот типичный для времени демагогический аргумент, рожденный тупой и преступной по своей природе убежденностью, что согласием народа заранее освящено любое решение ЦК и его Политбюро. Воля Сталина — воля народа, значит, приговор, продиктованный им, — приговор народа, горе тому, кто усомнится в этом...

В словах Маленкова поражает и несомненная сталинская цитата, типичный для полемических выпадов Сталина аргумент: «Хотите на колени нас поставить!» В нем надменность, «цезаризм», презрение к слабым, проигравшим в борьбе, высокомерная гримаса произвола. Он объявил крестовый поход против «лиц еврейской национальности» и доведет дело до конца вопреки любым профессиональным ошибкам и нерадивым исполнителям. Нет, не от себя, не от своего имени мог сказать Маленков: «Вы хотите нас на колени поставить...»

«Я тогда, предполагая, что он до приема меня докладывал этот вопрос т. Сталину, чему у меня некоторые подтверждения есть, заявил Маленкову, что я передам его указания судьям, что мы исполнили свой долг, доложив ЦК свои сомнения. Но как члены партии выполнили указание Политбюро с убеждением, что у Политбюро есть по этому делу особые соображения.

После беседы с Маленковым в здании ЦК меня догнал Рюмин. Обругав площадной бранью, он угрожал мне расправой. Как установлено следствием по делу Рюмина, он в августе—сентябре 1952 года начал готовить материал на меня».

Чепцов действует от лица всех трех членов суда. *Мы исполнили свой долг* — сказано ясно и со значением, а не потому только, что он старший по званию и главный судья. Возникли у членов суда принципиальные разногласия, поход Чепцова по кругу важных державных лиц был бы попросту невозможен.

Многого уже не восстановить, о многом можно догадываться, но несомненно, что все три члена суда, зная, какой приговор продиктован им ЦК, прониклись поразительным для того времени чувством справедливости, враждебностью к авантюристу Рюмину и всей атмосфере, созданной им вокруг процесса.

Поступок судей должен быть отмечен в трагической хронике тех лет, отмечен и не забыт, как и упорные попытки Чепцова в этих исключительных и опасных обстоятельствах спасти жизнь людей, не заслуживших казни. Как важно, что почти всегда, в обстановке, кажется, исключочающей благородство и отвагу честности, в застенках и клоаке, в нравственно оглохшем и ослепшем мире находились люди, способные на поступок, возвращающий нам веру в человечность и человечество.

Я еще раз подумал об этом, натолкнувшись на три листика допроса Олимпиады Петровны Скворцовой, состоявшегося в конце февраля 1952 года, когда Рюмин в преддверии суда торопливо сгребал груды несостоятельных протоколов, шантажировал экспертов, прятал заявления и протесты подследственных. О. П. Скворцова с 1935 года, почти с самого появления Лины Штерн в нашей стране и до дня ее ареста, выполняла обязанности личного ее секретаря-стенографистки. При отсутствии у Штерн семьи Скворцова была самым приближенным и осведомленным человеком рядом с резкой, категорической, а то и жесткой одинокой женщиной. Арест и обыск, домашний и в служебном кабинете, должны были напугать немолодую, 1901 года рождения женщину, но ничуть не бывало! С поразительной отвагой отвечала она на вопросы следователя, уверенно говорила о гражданской честности Лины Соломоновны, все ее ответы — точные, краткие, словно от сдерживаемого гневливого чувства, были выражением ее свободной личности. Я трижды перечитал эти странички, так радостно было столкнуться с островком чистоты и неподкупности во взбаламученных, темных, кипящих рептилиями водах лихачевско-рюминского следствия.

Как много рисковала неведомая мне отважная Олимпиада Скворцова! Как просто было следователям, подгасовав какие-то бумажки из взятых у Штерн при обыске, «повесить» на Скворцову любое обвинение и погубить ее в лагере или ссылке. Ненавидеть ее должен был Рюмин: достойную русскую женщину, зачем-то продавшуюся «сионистской ведьме», наглой старухе, уверявшей, что родина ее не Россия, а Женева.

Когда на пороге кабинета Абакумова в конце января 1949 года появилась эта седая, толстогубая, с крупным носом под маленьким лбом женщина, министр, как мы знаем, оглушил ее площадной бранью. Все в ней — чувство достоинства, спокойствие, заметный еврейский акцент, вызывающая прямота ответов, внешняя непривлекательность — бесило и юдофобов типа Комарова или Рюмина, и таких «социалистических бонвиванов», как Абакумов. Допросы Штерн, дерзость ее ответов — все должно было предопределить жестокое наказание. И вдруг — три с половиной года тюрьмы, три с половиной года, уже проведенных в тюрьмах, они уже позади, впереди ссылка, поселение, глушь, урезанная свобода, но все же — жизнь, жизнь и свобода. В списке обреченных к расстрелу волей Сталина, его решением одна поправка: Лину Штерн не казнить. Возможно, этого еще не знал и Маленков, выговаривая Чепцову за либерализм, не сообразил, что «приговор народа» Лине Штерн будет особый.

Что же случилось? Как удалось Лине Штерн «поставить на колени» партию?

Поощадили как женщину? Тогда почему бы не поощадить и Чайку Островскую-Ватенберг, и самую молодую из подсудимых красавицу Эмилию Теумин, не сказавшую на суде и тысячной доли вольностей, из которых состояли все речи и реплики Лины Штерн?

Поощадили ученую? Но скольких ученых с мировым именем, скольких великих сыновей России уничтожили к этому времени Сталин и его клика.

Рискуя ошибиться, выскажу предположение, никакое другое не кажется мне более убедительным.

Милость Сталина к этой пришлой, упрямой, бесцеремонной в защите своих взглядов женщине я объясняю его усилившимися страхами перед смертью; склонностью поверить в чудо; тайной надеждой, что судьба и само мироздание не посмеют отмерять ему жизненные сроки как обыкновенному смертному. Что-то должно случиться, что-то случится непременно, он нужен России и миру, он не может подохнуть, как дохнут все окружающие его бездарности, обжираловки, тучнеющие, подыхающие, — он не они, он — другой, он должен, обязан жить если не вечно, то

по крайней мере *мафусаилов век*. Библию Сталин знал, запомнил огромные сроки жизни многих ее героев, — почему бы снова не случиться чуду?!

Об открытиях Лины Штерн ходили легенды, особенно в еврейской среде. Едва ли кто-либо из неспециалистов мог догадаться, что стоит за терминами «гуморальная регуляция физиологических процессов» или «гематоэнцефалический барьер», — вот и поговаривали, что академик Лина Штерн подошла к разгадке долголетия, отступления старения и старости. Время от времени такого рода слухи возникали в связи с работами Лепешинской или Штерн и весьма занимали Сталина.

А вдруг «жидовская ведьма», «старая блядь», на всю жизнь запомнившая вытверженные еще в Вене страницы Талмуда и Торы, вдруг она набредет на разгадку, подарит стране социализма великое открытие, и если его удержать в тайне (расправиться со старухой никогда не поздно!), тогда сталинское Политбюро будет решать, кому подарить долголетие, — Молотова можно не одаривать, этот бесстрашный большевик от природы, без вмешательства чуда, рассчитан на долгие годы жизни.

Не поручусь, что именно так размышлял Сталин, но двигали им, как всегда, не милосердие, а эгоизм и корысть.

Тем временем Чепцов все еще пытался спасти положение.

«Выполнив указание Маленкова, — продолжал он свою исповедь, — и осудив Лозовского и других к тем мерам наказания, которые нам были указаны, я, вопреки настояниям Рюмина на немедленное приведение приговора в исполнение, предоставил всем осужденным право на подачу просьб о помиловании, с тем чтобы, помимо обсуждения в Президиуме Верховного Совета СССР этих просьб, в которых все подсудимые категорически отрицали свою вину, вопрос этот еще раз был предметом обсуждения в Политбюро, так как тогда существовал порядок: решение о помиловании осужденных к смертной казни утверждалось Политбюро. Кроме того, на имя т. Сталина после вынесения приговора мною было направлено заявление Лозовского, в котором он полностью отрицал свою виновность. Однако никаких указаний не поступило, и приговор был приведен в исполнение».

Примечательная, постыдная подробность: верховные власти страны словно не заметили просьб осужденных о помиловании, пренебрегли этой святой обязанностью, не удостоили ответом — пусть и самым жестоким.

И правда: зачем? — ведь и Сталину, и Маленкову со Шкирятовым, и пока еще преуспевающему Рюмину ясно, что на осужденных нет никакой уголовной вины. Их не то чтобы не за что было казнить, их не за что было судить. Но преследовалась и осуждалась кровь, грех рождения в черте оседлости или просто в обыкновенных еврейских семьях. Проведя такое мучительное многолетнее следствие, не станешь же пересуживать дело по такому пустяковому мотиву, как отсутствие состава и самого факта преступления.

Три недели, с 18 июля по 12 августа, длилось страшное ожидание, затем прозвучали расстрельные выстрелы.





# ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

ЛЮДМИЛА САМОЙЛОВА

\*

## ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДЕТИ

*Наверно, не нова мысль о том, что если кто-то бросает детей, то кто-то и должен их подобрать; и если кто-то кричит «помогите», то может найтись помощь.*

*И не нова мысль о том, что где-то среди нас бродит Иисус Христос, и он в юбке, так бывает. Бывает, и в брюках.*

*Но, в отличие от Христа, новоявленные спасители мира ничего о себе не знают, так просто, помогают, и все. Выручают, и все.*

*Таскаются с сумками к больным подругам, к старикам, берут людей к себе пожить, собирают деньги, если у кого сын-подросток потратил чужое (страшная история), вызывают «скорую», если кто лег на улице. Бесплатно дают уроки детям. Если врачи, то ни дня ни ночи не знают.*

*Дома у них хорошо, хотя лоска нет: дети приличные, собаки и кошки (помоечные) удачные, старики ухожены.*

*Довольно часто эту категорию людей обманывают и увольняют, обирают очень легко.*

*Они не знают, что это так и должно быть, и тайно плачут.*

*Когда они стареют, на улицах их отличают, и они слышат вслед: «Дай Бог здоровья вам».*

*Им не приходит в голову ничего писать: они пишут саму жизнь, ее творят. Поскольку только это жизнь, все остальное иллюзия: войны, кражи, богатство, свирепая любовь, мсть, зависть как революция.*

*Поэтому среди женщин мало писательниц: им некогда регистрировать крики о помощи, они вздыхают, одеваются, включают сирену и мчатся на красный свет без всякой помощи колес...*

*И только иногда, когда помочь невозможно, они пишут, в основном по ночам.*

*Письма в заоблачные инстанции.*

Л. Петрушевская.

**Р**аботать в детский дом я пришла в сорок восемь лет, что называется — по доброй воле. Бывает, кажется, что именно тебя кому-то страшно не хватает. О детдомах я знала понаслышке: бедным сироткам так не хватает добрых тетей, они меня увидят и сразу догадаются, как мы нужны друг другу, мы обнимемся и будем дружно жить. Ведомая собственным порывом, я осталась работать воспитателем. Потом мне, человеку книжному, так пришелся по душе уют из голубого ситчика с воланчиками... Теперь, по прошествии года, когда я вижу на экране столь знакомые занавесочки в клеточку в каком-нибудь очередном показательном детдоме, я усмехаюсь.

По устоявшейся годами привычке записывать все, что вызывает в душе отклик, я почти что с первых дней работы вела дневник. Почему мне захотелось его опубликовать? Да потому, что мало кому известна сама система жизни детей-сирот. Те же, кто знает, как правило, находятся внутри системы, ею живут и потому не могут посмотреть извне. Мне не хотелось бы сообщать ни адреса, ни имен людей, с которыми все это время нахожусь бок о бок. С большинством из них я дружу. Кто-то мне откровенно несимпатичен. Но дело не в людях, дело в тех формальных правилах, которым этим людям приходится подчиняться. Сказать точнее, дело в традиционных условиях детдомовской жизни, которые учитывают все, кроме живого уникального ребенка.

Мои записи отрывочны, не имеют определенного сюжета, но продиктованы они желанием быть по возможности искренней.

10 сентября 1991 года.

Наконец я совершила давно задуманное. Решилась и пошла в детский дом. Директор, кажется, умная, интеллигентная женщина. Она с интересом выслушала все мои бредни и повела в группу, где нужен воспитатель. В группе тринадцать ребятишек-школьников. Все здорово. Все большие комнаты. В первой ребята занимаются, играют, обедают. Я попала в обеденное время. Ребята сидели за двумя столами, покрытыми не клеенкой, а красивыми скатертями. Еду им подавала нянька. Ребята ели быстро и молча. Когда начну работать, постараюсь всех усадить за один общий стол, чтобы не сидели спинами друг к другу, и научу есть, пользуясь вилками и ножами.

Моя напарница — бывшая учительница начальных классов. Звезд с неба, кажется, не хватает, но энергична и, что приятно, веселый человек. Работать мы будем поменно: либо с семи утра до двух дня, либо с двух до девяти вечера. Перед выходным придется работать четырнадцать часов. Выходной один. Трудно. Ну, дай Бог, справлюсь.

5 октября.

Я первый день на работе. Затормозилась так, что и не хочется писать. С утра одела и накормила тех, кому в первую смену. Отвела их в школу. Затем с другими делала уроки. Уроки должно делать только за партой. Странно, но ребята ничего не могут, да и не хотят делать сами. Все требуют помощи: как написать букву, как решить задачу, «пожалуйста, почитайте со мной вместе».

Зарплата воспитателя очень маленькая. Поэтому приходится работать на полторы ставки, поэтому же школа приплачивает за приготовление уроков. Но, получая школьные копейки, приходится брать на себя ответственность: грязно написал, плохо посчитал, получил двойку — виноват воспитатель.

20 октября.

Сегодня омерзительный разговор со своей коллегой. Пропал детский рюкзак. Пропажа мистическим образом связана с моим приходом на работу. Очевидно, моя реакция показалась «мамочке» (так мою коллегу называют дети) неадекватно бурной. Тут же место вора оказалось вакантным и его стали замещать другие кандидаты. В итоге мне показали шкаф, назначение которого было представлено едва ли не как сакральное. Вот якобы отсюда всё и тащат. И пусть уж он всегда будет закрыт, а ключ пусть всегда будет у «мамочки».

Мгновениями «мамочка» до боли напоминает мне небызвестного персонажа из «Трех сестер» Антона Павловича, Наташу: «Право же, если ты не уступишь мне эту комнату, этот шкаф...» Право же, если ты будешь совать нос в мои дела, требовать раздела власти, я, извини, пожалуйста, в порошок тебя сотру.

Вечером нянька открыла мне тайну заповедного шкафа. В нем сладости. «Мамочка» ключ от пряника оставила у себя, предложив мне только кнут.

26 октября.

Валере семь лет. Мы идем с ним в школу за ребятами второй смены.

— Людмила Юрьевна, как вы думаете, кто важнее — «форд-скорпион» или гонка? — Соображаю каверзность вопроса. Ясно, неспроста гонка уничтожилась перед гордым «фордом-скорпионом». Спрашиваю:

— Твой папа, наверное, ездил на «форде-скорпионе»?

— Да. Он гонщик и на «форде» всех в Париже обогнал.

— А где сейчас твой папа, Валерик?

— В Париже.

— Это он тебя привел в детдом?

— Да. И он скоро меня отсюда заберет.

Вчера Валерик вырвал руку из моей и бросился к притертому к тротуару «газика». Помня, что впереди обед, уроки, прогулка, непришитые пуговицы, оттащила его от машины. Уже по дороге домой всплыли его широко открытые синие глазищи. Вспомнила, как он пытался подпрыгнуть до уровня лобового стекла, как забегал сбоку, чтобы заглянуть в кабину. За рулем сидел молодой парень, и Валерка стремился ему показаться. Из-за меня узнавание не состоялось. Скорей всего, поэтому он выкрикивал мне в раздевалке: «Не буду раздеваться, не буду, не буду!..» За что и получил по заднице.

Валеру подобрали. Никакого папы, никакой мамы. Впрочем, он тоскует только по отцу.

На днях услышала такое признание: «У меня очень хорошая мама. Она не знает, где я. Потому что меня родила злая тетка и бросила в темном сарае. Я громко плакала. Дяденька милиционер меня услышал и нашел».

Разговоры о родителях часты при мне, потому что дети знают о моей неосведомленности в этом пункте их биографий. За обедом Ленка сообщает Кристине: «Кристина, тебя ищет мама. Да, правда, я знаю». Худенькая мулаточка Кристина обалдело молчит. Лена запальчиво развивает доказательства: «Моя мама идет по Липецку, а ей навстречу твоя мама. Моя и говорит: „Ваша дочка Кристина вместе с моей Леночкой в детском доме в Москве“». Кристина, в глазах которой я вижу, вместе с отчаянной надеждой, сомнение — ведь все рассказанное слишком невероятно для нормальной логики, — тихо обращается ко мне: «Это правда, Людмила Юрьевна?» Я пытаюсь встроить причинно-следственную связь и запутываюсь сама. Через несколько дней слышу: «Моя мама встретила твою маму...» «Ладно, отстань, надоело».

Детей прекрасно кормят. На завтрак — яйца, сыр, масло, шпроты. Третью летит в ведро. Подсобного хозяйства нет. Отдельно помой не собираются.

Поражаюсь порядку, царящему у «мамочки», и бедламу у меня. Когда она в группе, дети напоминают тихих ангелов. У меня же они мгновенно превращаются в злых бесенят. Ссоры. Драки. Причем старшие не стесняются дубасят малышей. Пытаюсь растащить очередную свару, я стала колошматить Пашку. И тут услышала презрительный крик: «Посмотрите, посмотрите! она и бить-то не умеет!»

Сочувствующие мне воспитатели говорят: «Перестаньте вы с ними церемониться. Все они от алкашей и проституток. Их уже в утробе вытравливали. Думаете, яблоко от яблоньки далеко катится?»

30 октября.

Наконец краем глаза я подсмотрела, на чем держится «мамочкин» авторитет. У нее в руках был кубик-рубик, когда Лена случайно просыпала тетрадки из шкафа. Удар по голове последовал мгновенно. Я увидела вспыхнувшие от пронзительной боли глаза, но ожидаемого крика не последовало. Заглотив воздух, она судорожно рванулась собирать все, что выпало. Реакции детей я не заметила: ни злорадства, ни сочувствия.

Я перестала видеть замечательный уют. И так же, как дети, боюсь случайного греха. Здесь все не наше. Мы временные хранители государственного имущества. Тем хуже, что много ковров. Нельзя нормально разлечься с красками на полу, чтобы в кайф помазать краской по бумаге. Нельзя смять воланчик на подушке, нельзя выбросить случайно разбитую чашку: отчитайся осколками. Я призвана любыми средствами внушить детям любовь к порядку. Господи, какое счастье, что никто не мог вмешаться в мое воспитание Ольки. Мы кое-что могли себе позволить...

Чем пользуются дети? Ящиком возле постели. Туда можно класть ночную пижаму. На двоих или троих есть ящичек в шкафах. Ключей от ящичков не положено. Поэтому все лазают ко всем. Из-за этого бесконечные разборки. Есть ящик в парте. Его под неусыпным взглядом воспитателя должно убирать каждый день. «Что это у тебя? Тебе это не нужно. Выбрось». Когда нет места тайне, нет места личной жизни. И — может быть, в тоске по этой жизни — дети собирают ключи. Мы получили гуманитарные консервы с ключиками. Попробовать консервы было желанием вторым. А первым — оторвать и спрятать ключик. Счастливицы собирают их штук по десять, прикрепляют к поясу и гордо ходят, погромыхивая. Ключи от несуществующего собственного пространства.

Рано утром иду к детдому кварталом многоэтажек. Еще безлюдно. Меня окружают каменные коробки с тысячами пустых окон-зеркал. Вдруг в этом регламентированном мертвом пространстве — громкий писк. Бегу к нему.

Груда щенков на тряпке орет на последней отчаянной ноте. Один сбоку уже молчит. Как все просто. Оставьте народившуюся жизнь на минутку без присмотра, и, издав непродолжительный вопль, она угаснет. Как просто лишить жизнь присмотра — достаточно иметь совесь размером в рогожку, на которой обрekli на смерть щенков. Невинность соблюди и свой интерес не забыли. А главное, никаких проблем.

2 ноября.

— Людмила Юрьевна, Людмила Юрьевна, смотрите — Валерка Алимбеков на своих самолетах фашистские знаки рисует! — Валерка давно уже сидит за партой и жужжит, запуская нарисованные моторы.

— Валерик, зачем ты рисуешь эти знаки? Они же русских убивали.

— А я русских не люблю. Я немцев люблю. Когда вырасту, я, как они, буду убивать русских.

— Валерик, прошу тебя, не рисуй фашистские знаки. Мой папа был летчик, он воевал с фашистами и погиб. На его самолете были красные звезды. Мой папа знал, что немцы убивают всех русских на войне. — Вспоминаю, что Валерик татарин, и, спохватившись, добавляю: — И русских, и грузин, и татар.

Впервые замечаю, насколько же для меня в понятие «русские» вместились все погибшие. Пытаюсь, насколько могу, искренне объяснить, почему против фашизма пошли и казахи, и узбеки, и грузины, и все, все, все. Пытаюсь что-то сказать о любви к Родине, Отечеству — и вдруг понимаю: эти дети лишены почвы, на которой должна произрасти любовь к Родине. Их отвергли родители. Почему же они должны любить абстрактно их родившее Отечество?

Все в ту же пятницу и все с тем же Валериком. Все:

— Людмила Юрьевна, правда же, Христос русский?!

Валерик:

— Нет, Он не русский, не русский, не русский!

Приходится нанести по детским националистическим воззрениям удар:

— Христос не русский, Он был еврей.

— Нет, это неправда, неправда, евреи плохие, а Он хороший, они Его убили!..

Разгоревшуюся сумятицу отчасти удало погасить, рассказав подробно о родителях Христа: раз знает тех, кто Его родил, значит, не врет. Кто обиделся всерьез и надулся — так это наша нянька. Ей шестьдесят лет, и моя «крамола» оскорбила ее личное, страданиями утвердившееся самоуважение. Христос — ее Бог, потому что она русская. Другие не хуже русских. Просто русские лучше их.

9 ноября.

Сегодня мыла ребят. Это приятно и им и мне. У Анечки длинные густые волосы. «Людмила Юрьевна, а вы всем моете голову два раза?» Мне бы по-умному ответить: «Нет, только таким красавицам, как ты», но я, дура душой, честно отчеканиваю: «Конечно, всем». И слышу бесконечно разочарованное: «А-а-а». Генка сидит в тазике и просит: «Погорячее, пожалуйста, погорячее, — сунул душевой шланг себе под попку и блаженствует: — Меня дома в большой ванне мыли. У меня есть дом!» Генкиных родителей лишили прав. Он здесь не так давно. Свято верит, что в скором времени его заберут.

Сижу и не то чтобы отдыхаю, а просто нет сил встать. Дети все вымыты. Рядом в кресле хорошенький Валерка. Я глажу его по головке:

— Ты, Валерик, сильный мальчик.

— Да, — говорит Валерик ласково. — Вот я вам сейчас как дам по голове — и все мозги — наружу. — Не встречая сопротивления, он продолжает, уже твердея зрачками: — Как дам вот сюда, — он показывает на грудь, — сердце сразу вылетит. Я разрежу вам живот, и все кишки вылезут.

Задаю дурацкий вопрос:

— А тебе меня не жалко?

— Нет, — говорит он властно.

— Валерик, но чтобы сделать все, что тебе хочется, нужно быть громадным, злым великаном. Какого роста, покажи!

Валерик показывает, но это не великан, а мальчик-с-пальчик. Тем самым он дает мне понять, что его могущество беспредельно и от материи не зависит.

— Он (я опять вижу малютку) возьмет вас за ногу, вот так раскрутит, и вы — ф-ю-юу — сразу улетите в окно.

Валерик — самый слабенький и потому наиболее часто обижаемый мальчик в группе.

На днях детей взвешивали. Данные нужно вписывать в истории болезни. Все знают, что там домашний адрес, и лезут прочесть. Переворачиваю всю пачку лицевой стороной вниз, боясь, что увидят: «Отказ, лишена родительских прав, подброшен» и т. д.

Леночка дает мне в руки трубку игрушечного телефона и просит: «Поговорите с моим дедушкой». «Как его зовут, Леночка?» Она мне через паузу: «Федор».

— А отчество? Я же не могу пожилого человека называть по имени. — Вижу на лице Леночки смятение и спешу на помощь: — Может быть, Иванович?

— Да, да, Иванович, — говорит она не очень уверенно и спешно добавляет: — У меня и папа, и мама, и бабушка, и дедушка — все есть! — Очевидно, я не смогла скрыть до конца неверия, потому что Леночка, уже с нажимом, стала меня убеждать:

— Вы не знаете. Они все в Липецке живут. У них нет холодильника, поэтому они меня не могут взять. Как только они купят холодильник... (чуть замямвшись) и все, все, все другое, они меня возьмут!

Детдомовские ребятишки, вроде Каптанки, не могут не помнить горькое житье дома. Здесь их сытно кормят, никто не кроет их матом, да и туркают несравненно меньше. И все же — только свистни. Очевидно, стремление в свой дом имеет куда более глубокие корни, чем это кажется на первый взгляд. Оно каким-то таинственным образом сопряжено с любовью и с тоской по утоленной справедливости. Чужая справедливость не нужна. Восстановление утраченной гармонии должно быть в том месте, где ее нарушили.

Однажды мне довелось весной увидеть тысячи лягушек, шедших в одном направлении. Им приходилось переплывать потоки, тонуть. Но ни одна из них не свернула с избранного пути. Они исполняли вековой закон. Все эти ребятишки ежедневно, ежеминутно, с не меньшей затратой энергии и сил совершают духовный путь домой. Это путешествие держит их в жизни прочнее всех усилий воспитателя.

Сегодня отвратительное настроение. Приснился сон: молодое женское лицо с глазами и худенькой фигуркой мулаточки Кристины. Я знаю, что эту милую, хрупкую женщину ждет жених. Как будто она просила меня отнести ее к нему. Пока я замешкалась, смотрю, осталось только лицо. Я беру его в ладони, погружаюсь в темные глаза и думаю с тоской: «Вот оно, олицетворенное страдание». Просыпаюсь с ощущением окруженных рук и растерянности: что же делать?

12 ноября.

Вчера вечером совершила должностное преступление: вышла с ребятами гулять и тут же в темноте их потеряла. Нашла в закутке. Вижу, в руках скомканные листики бумаги. Значит, у кого-то спички. «Отдайте спички, вместе сожжем ваши листики». Так и сделали. Я не ожидала, что этот якобы костер произведет такое впечатление. Все потянулись ладошками с почти мистическим ужасом:

— Ты обгоришь, ой, горячо!.. Пальго, у тебя сторит пальто!.. Людмила Юрьевна, отодвиньтесь, вы сторите... — Весь переполох из-за пяти тетрадных листиков.

18 ноября.

Не пишу эти дни частично из-за усталости, частично — растерянности. Порядка стало больше. Я не всегда, но все-таки стала добиваться того, что дети должны делать: держать в порядке вещи в шкафу, мыть ботинки, прибирать за собой и т. д.

В субботу дали клюкву. Ребятишки в отсеке, который мы называем кухней, растирали ягоды с сахаром. Было 8 часов утра. Вошла наша нянька с ором: «Почему тут околачиваетесь, вон отсюда, явилась без пяти минут, еще никто, а уже командует! Нечего за мной следить! Ничего я не беру, а если мне будет надо, возьму — и ни живой, ни мертвый не узнает!»

Она добрый человек. Но от этой ее фразы, запальчиво-бесстыжей, веет такой звериной могучей хитростью, такой убежденной растленностью, что моя натруженная вера в человека разлетается на мелкие осколки. Теперь сижу и, всхлипывая, склеиваю.

Любит ли она детей? Безусловно. Но это называется «любить по-своему».

Дети при наказании раскачиваются, как болванчики. «Выйди из-за стола и стой!» Стоит и раскачивается. «Сиди спокойно!» М-м-м-м — и раскачивается. «Повернись к стенке и засыпай!» «Не хочу, не буду», — мычание и — с боку на бок. Спрашиваю у своей Ольки, раскачивалась ли она при наказании в детстве. Она говорит, что бывало, но крайне редко, когда горе переходило за край. Значит, приходится признать, что для этих детей отчаяние — норма, а раскачивание — затверженный прием самоуспокоения.

Вчера — крушение. Била Пашку. Потом, когда решила погладить по голове, увидела, как он зажмурил глаза и рванул головой в сторону. На этот раз из-за меня. А ведь он уже спокойно тянул голову к руке.

20 ноября.

Роль воспитателя. Какая может быть роль у тотально зависимого человека? Бить нельзя — бьют все, потому что, при отказе детям в разумной инициативе, стукнуть — единственное средство добиться послушания.

Все — директор, коллеги, медкомиссия — имеют право заглядывать во все шкафы, парты, ящики, все дырки.

Девятилетний Мишка вместе с другими ребятами стал строить корабль. Вытащили гвозди из старых досок, натащили ящиков. Дети где-то раздобыли соломы. Возникла совместная работа и общая радость. В группе убираться не любит никто. А здесь с удовольствием. Еще бы! На своем корабле должно быть чисто. Мы уже придумали, где камбуз, где корма, где клотик и т. д. Основой корабля был деревянный шалашик на нашем участке. Сделали верхнюю палубу, настелив доски на крышу шалашика, и стенку, разграничивающую участки. Была попытка создать свой, себе принадлежащий домик.

Идем из школы.

— Миша, ты назвал свой корабль?

— Нет.

— Хочешь, подскажу? Назови «Стремительный».

Глаза вспыхнули и погасли:

— Я уже не играю.

— Почему?

— Стенка, сказали, может упасть.

— Миша, она же бетонная.

— Все равно. Нельзя.

Девять лет не прошли даром. Человек привык к слову «нельзя».

Мы решили из камешков строить замок. Даю Мише начертить на фанерном листе план — так, как ему хотелось бы. Каждую минуту зовет и спрашивает: «Правильно? Правильно?» «Миша, не бойся, смсем, и все». Но преодолеть его неуверенность в своих силах мне так и не удастся. Впрочем, посилено ли мне это? Свой порочный трудовой опыт здорово сказывается. Когда годами тебе не дают делать ничего разумного, годами никто не говорит доброго слова за хорошо, с твоей точки зрения, сделанное дело, сохранить бодрую уверенность в своих силах довольно трудно. Когда нельзя выразить себя посредством труда, начинаешь выражать непосредственно самим собою. Вот и кричим друг другу: Я!!! Нет, миленький, не ты, а Я-а-а-а!!!

Генка и Наташка побежали провожать меня домой. «Можно, мы вас поцелуем?» Их желание любить сильнее моей беспомощности и неумения.

1 декабря.

Дети обожают телевизор. Они претерпевают многое. Но не дай Бог не включить вовремя телевизор. Отчаянию не будет предела. Телевизор примиряет все недоразумения. Рассаживаются мгновенно. Никто не спорит из-за стульев. Впитывают информацию с телеэкрана, как сухая почва впитывает дождь. Никакое чтение вслух не может конкурировать с этой страстью. Пожалуй, равносильен только выезд с территории детского дома.

Были на старом Арбате. За 50 минут беготни от лавки к лавке (хохлома, картины, глина, кавказские кинжалы...) устали до бледности лиц. Уже на выходе раздался отчаянный Генкин вопль:

— Мы совсем заблудились! Людмила Юрьевна, как мы отсюда выйдем?!

На днях из школы прибежал счастливый Пашка. Он влюблен в одноклассницу. И надо же — девочкин папа пригласил Пашку в гости на ее день рождения. Про Пашкину влюбленность знает вся группа. Прозвище «жених» его не только не обижает, оно ему приятно. Он даже формально не хочет огрызаться в ответ на кличку. И вот приглашение. Я не властна решить этот вопрос. Узнаю, как это можно сделать: оказывается, папа должен прийти к директору и испросить разрешения. Папа работает, директора совсем не просто застать, и радость замерзает. Детдомовец отлично представляет себе, что счастье мимолетно и случайно, поэтому внешне заметной реакции нет.

Общение с «домашними» детьми ограничивается только школой: никто из «домашних» не ходит в гости к нашим, наши не ходят в гости к «домашним». Почему детские дома стоят на отшибе? Почему не там же, где живут нормальные дети с нормальными родителями? Разве нельзя так спроектировать? Все связи этих детей с жизнью нарушены. По сути дела, детский дом — более или менее комфортабельный лепрозорий.

Год приходит к концу. Не знаю, выдержу ли я это испытание. Мне сорок восемь лет. И я устала.

— Людмила Юрьевна, мы на Новый год едем в дом отдыха?

«Дом отдыха» звучит неведомым чудом. Вера в чудеса и ожидание чудес — огромны.

— А что такое дом отдыха? Там ведь нет группы?

Занимаемся в группе. На улице в группе. В школу группой. Быть в группе всегда и везде.

5 декабря.

Моя попытка ввести вилки и ножи в обеденный обиход окончилась неудачей. «Вы, Людмила Юрьевна, совсем не уважаете мой труд, — заявила нянька. — Мало мне посуды, так теперь еще тринадцать ножей и вилок мыть». «А вы не мойте, я сама помою».

— Ну уж нет, ваше дело воспитывать, а мое дело маленькое — ваши капризы выполнять. Ну, давайте, давайте, жрите как интеллигентные, может, профессорами станете.

Обещание превратить бедных детей в мерзких профессоров сделало их сообщниками няньки и «мамочки». Вилки и ножи вышли из употребления как-то незаметно, как бы сами собой.

Перед уходом с работы играла с Денисом в фантики. Он одолжил мне один фантик и тут же отыграл его. Прошу одолжить сразу несколько, клятвенно обещая всё вернуть. Он с недоверием дает мне еще один. И опять его выигрывает. Денис большая хитрюга, но не жадина. Он будет всех по очереди просить показывать ему, как мыть пол шваброй, и с огромным якобы вниманием учиться, но охотно делится лакомствами. Фантики — единственная его собственность, и рисковать столь немногим он не в силах.

19 декабря.

18 декабря у Кристины был день рождения. В детдоме нет практики отмечать эти дни сообща. «Мамочка» обходится скромным чаепитием со скудной выдачей лакомств из «сладкого шкафа». Я решила устроить пусть небольшой, но все-таки праздник. Пока Кристина была в школе, мы с ребятами второй смены приготовили плакат. Каждый нарисовал по две или три буквы к незамысловатому тексту: «Дорогая Кристина, мы поздравляем тебя с днем рождения». На вечер я испекла пирог и припрятала свечи.

О радости девочки не хочется писать — она была куда больше наших затрат. Вечером мы сдвинули столы, накрыли их праздничными скатертями. Я разрешила ребятам одеть нарядную одежду. И вот пирог на столе, зажжены свечи. У семилетней Наташки вырывается восхищенный вздох: «Как красиво...» Все преисполнены торжественностью момента. Шалить и в голову не приходит.

— Людмила Юрьевна, можно, мы поздравим Кристину?

— Ну конечно, ребята!

И вот каждый поднимается и пытается сказать имениннице добрые слова. Звучит это с некоторыми вариациями приблизительно так: «Дорогая Кристина, я поздравляю тебя с днем рождения, желаю тебе слушаться Людмилу Юрьевну (Людмилу Павловну), хорошо учиться, слушаться учителей. Будь здоровой и счастливой...» Бедные дети. Даже когда так искренне хочется сказать, из небольшого запаса слов наготове первое — слушаться.

23 декабря.

На выходной я с разрешения директора прихватываю одного-двух ребяташек домой. Они преобразуются уже на пороге — просыпается неотъемлемая от детей любознательность и они в естественной ситуации мгновенно оживают или, что то же

самое, вочеловечиваются. Как-то взяла Анечку и Валерку. Выбор определила Валеркина влюбленность в Анечку. Этот шустрый малыш страстно влюбился в самую большую, самую румяную, самую глазастую девочку. Аня похожа на городецкую картинку. О том, что ей известны Валеркины чувства, я догадалась только у нас дома. Удивительно, с каким материнским тактом она опекала его. Валерка же купался в волнах ее внимания. Нужно видеть нашу ободранную однокомнатную квартиру, тесноту, чтобы оценить Анечкину фразу: «Как мне хорошо!» и Валеркино «оставьте меня здесь». Я беру их и потому, что хочу доставить радость, и потому, что мне трудно с ними подружиться на враждебной мне территории детского дома. Открытие друга происходит вне ее.

С Денисом мы поехали в Музей изобразительных искусств. С каталогом в руках он звонким щеном мотался по всем залам, пока не нашел все картины, указанные в каталоге. Глядя на него, улыбались даже суровые смотрительницы. Их день был согрет его любовью к музею, и они чувствовали себя польщенными. Сколько раз мне приходилось наблюдать интеллигентных мам, безуспешно натаскивающих на искусство своих ленивых отпрысков. Доведись им увидеть Дениса, они умерли бы от зависти.

Нужно стараться, годами вытраивать веру в добро, чтобы ребенок забыл про него, а потом со злобой отталкивал любую попытку вернуть ему утерянную душу. Как это происходит? Да очень просто. Какая-нибудь скромная, не злая женщина, готовая работать за нищенскую зарплату, приходит с благими намерениями в детский дом. Два месяца подряд у нее от страха и мускульного напряжения болит тело. Дети пользуются открывшейся возможностью раскрутить пружину, закрученную донельзя другой воспитательницей. Кто ж упрекнет скромную воспитательницу за то, что ей хочется выжить? Замечено: с ребенком легче справиться, когда он сидит за партой и делает уроки. Вот и делай их по пять, а то и по шесть часов. Балуются — укладывай всю группу спать. Пусть вместо полутора часов лежат часа по три. Они тебя пугают — а ты испугай их еще сильнее.

Воспитательница, которую мне пришлось сменить, уверена, что порочную систему возможно разрушить только сверху. Поэтому энергичным, толковым людям нужно идти наверх. Но я не могу принять это суждение, поскольку не могу ответить на простой, наивный, но мучающий меня вопрос. Как определить, что есть верх и что считать низом? Если существование этой вертикали принять за аксиому, то получается: сама жизнь распорядилась — детдомовцам вместе с их воспитателями копошиться на дне. Любой бинокль, пусть даже с самыми сильными линзами, оказывается просто ненужным. Взгляд сверху исказит перспективу. Деятельный, энергичный человек определит: им там, внизу, достаточно вот столько — или столько, и детдомовец как был, так и останется дискриминированным по отношению к «домашнему» ребенку. Ситуация изменится, если только мы признаем равенство в правах тех и других.

28 декабря.

На днях директор рассказала историю ее первого прихода в детский дом. Она несла им живых рыбок. Пережитое давно и сейчас откликнулось в эмоционально подчеркнутой детали, что рыбки были дорогие и очень красивые. Что же случилось? Дети в минуту их переловили, и бедняжки всплыли брюшками кверху. Но — человек силен верой. И опыт по смягчению ожесточенных сердец она повторила. На сей раз в жертву был принесен пушистый, ухоженный, любимый домашний кот... Его пришлось трудами нескольких взрослых стаскивать со шкафа, куда он в панике забился. Примеры помогли всплыть на поверхность мысли о том, что некоторая специфичность детдомовца заключается в его неблагодарности. Пусть не покажется странным, но о неблагодарности детдомовцев говорят воспитатели с комплексом совести. Бедных детишек считают замечательными именно те, кому на них глубоко плевать.

Недавно я услышала от одной воспитательницы: «Наверное, мы самые грешные люди на свете. Поневоле от одной усталости согрешишь. Знаете, за семь лет работы здесь я постарела вдвое».

12 января 1992 года.

Пошел четвертый месяц моей тугошней жизни.

Десять дней мы были в доме отдыха. Катание с горок в лесу, игровые автоматы, кино, прогулки на лошадях сделали детей совсем другими. В детском доме я знала лукавого, с желтыми кошачьими глазами, ярким ртом бантиком Дениса. Его чуть



нервный хохоток напоминал, что он, скорее всего, из среды, где человеку говорят: «По тебе тюрьма плачет». Его слишком ловкие, слишком умелые руки свидетельствовали о том же. В доме отдыха произошла история, которая показала совсем другого человека.

Утром мы с Денисом пришли на конюшню. Люди стояли кучками и сдержанно переговаривались. Посреди двора на деревянных санях возвышалось нечто бесформенное, покрытое грязным брезентом. Из-под него мертво свешивалось копыто. Чтобы отвлечь внимание Дениса от этой кучи, я потащила его послушать, что говорят. Оказывается, ночью какие-то пьяные мерзавцы открыли конюшню, вывели оттуда лошадь, стали гоняться за нею на машине... Разбились сами, но и лошадь убили.

Денис оттаскивает меня за рукав: «Давайте отойдем, Людмила Юрьевна». Все это время он стоял рядом со мной и очень внимательно слушал, что рассказывали про ночные события.

— Я сразу догадался, что ее убили.

— Как же ты догадался, Денис?

— По копыту. Людмила Юрьевна, они в рождественскую ночь ее убили. Это страшный грех. Они разбились на своей машине, потому что за это Бог их сразу покарал, правда?

Несколько дней он искал следы машины. Я видела, что ему почему-то страшно важно среди других следов шин отыскать именно эти, злодейские, следы. Когда ему казалось, что он их находил, то с какой-то мстительной радостью он приговаривал: «Вот они, вот они». И тащил меня дальше.

Он хотел найти место божественной казни. Ему нужно было убедиться, что наказание состоялось и, значит, Бог есть. Тогда я, так же как он, была захвачена этой страшной историей. Не знаю, насколько убедительны были мои рассуждения о неотвратимости расплаты, ведь сама-то я не очень верю в силу добра — я, как и большинство моих соотечественников, материалист, я больше верю в пришитую пуговицу, чем в добро и зло. Тогда машинально отметилась, что Денис стал бояться темноты, одиночества. Думаю, что его страх усугублялся еще и тем, что для него, единственного ребенка в группе, существует тема смерти. Он долго приставал ко мне с вопросами: «А вы умрете, Людмила Юрьевна?» Однажды, озлившись, я ему бросила: «И ты, Денис, когда будешь стареньким, тоже умрешь». Он миролюбиво мне возразил: «Да я не про то» (дескать, не волнуйся ты, не спроваживаю я тебя на тот свет). Затем, оказавшись у нас дома и увидев кроме меня еще мужа и дочь, оценив нас по старшинству, он возликовал:

— Я понял, понял! Скоро вы умрете, потом дядя Гена...

— Ну да, Денис, потом умрет Оля.

— Нет, Людмила Юрьевна, Оля не сразу умрет. Она родит детей, дети станут взрослыми, как теперь Оля, а потом она умрет. — Учитывая степень изоляции детдомовского ребенка, понимаешь огромность самостоятельного открытия, сделанного семилетним пацаненком.

Только позже я поняла, что была очевидцем куда большей драмы, чем убитая лошадь. Впервые мне привелось быть свидетелем борьбы света с тьмой в душе человека.

Денис — самый смешливый среди тринадцати. По вечерам, когда начинаются ребячьи игры, он путается у всех под ногами. Если заметит что-то смешное, начинает неудержимо хохотать, даже если ему за это грозит наказание. Как в каждой художественной натуре, в нем нет ни мстительности, ни злости. Ему знакома печаль. «Что-то ты очень молчалив, Денис». «Мне грустно», — произносит он с той душевной грацией, которая вызывает полное доверие к слову. Однажды, когда его уж очень много отшвыривали, он взлетел на середину дивана, вскинул вверх руки и с долей аффектации закричал: «Палачи! вырасту — и всем вам отомщу!» Его лексика богаче лексики остальных.

Он первый заставил меня думать о проблеме одаренных ребят. Я говорю сейчас не о профессиональной одаренности. Она не так уж часто проявляется в раннем возрасте. Я говорю о некоем наборе духовных и личных качеств, которые позволяют думать, что этот человек незауряден. Если в семьях старательно ищут крупную незаурядности, а найдя, развивают и с детства заставляют ребенка уважать в себе любую из найденных в нем способностей, то в условиях детского дома одаренность — наказание. Несхожесть с другими раздражает и воспитателя, и ребят. Она нарушает совокупно установленный штамп поведения, выражаемый незамысловатой формулой «Равным обособление не нужно». Поэтому не нужна и дружба. Она без обособления невозможна. Я видела единственный союз. Его инициатором была

девочка с живым воображением, наблюдательностью, данной ей от природы интеллигентностью. Ей было чем делиться — отсюда и потребность в дружбе. Вначале другая воспринимала внимание Ирочки не без некоторого высокомерного удовольствия. Но, заметив насмешки ребят, тут же постаралась общение прекратить. Ценой недолгой достоверности стала цепь взаимных предательств.

Как только Ирочка осталась одна, ей пришлось демонстрировать остальным исповедание их кодекса. Можно творить чудеса героизма, если ценности, за которые страдаешь, твои. Но Ирочка не знает, что у нее есть ценности.

Здесь конформизм возникает совершенно невинно. Нравственными ценностями не располагают и взрослые. Критерий один: послушание — непослушание. Непослушание смягчающих обстоятельств не имеет.

В науке послушания все средства хороши. В доме отдыха Денис приболел. Уйдя обедать, мы закрыли его в комнате на ключ, так что выйти в туалет он не мог. Грех и случился. Вот тут моя коллега и показала мне урок педагогики. Ни температура, ни закрытая комната не явились смягчающими обстоятельствами. Когда он отстирал свои трусы, то получил приказ: «Теперь пойд и выбрось их».

24 января.

Наташка часто ходит по группе и кричит: «а-а-а». Рот Наташке можно заткнуть. Но как заткнуть душу?..

Я каждый день ухожу отсюда с соблазном никогда не возвращаться. У меня есть выбор, которого Наташка лишена. Когда детей укладываешь спать, нужно проследить, чтобы руки у всех лежали поверх одеяла. «У нас тут много онанистиков», — сказали мне. Их и в самом деле достаточно. Занятию этому привержены робкие, неуверенные в себе ребята, наиболее испытывающие дискомфорт среды. Для некоторых из них увлечение онанизмом имеет последствием неконтролируемость мочевого пузыря во время сна. Про то, что они «писуны», знают все. В доме отдыха со мной в одной комнате жила такая девочка. Она уже полгода излечивалась от энуреза в санатории. Нас с ней подсунули друг другу: вот вы, дескать, Людмила Юрьевна, все задавали вопросы: «А если быть добрее с этими детьми, а если они не порочны, а запуганный», — вот и удостоверьтесь. А девочке дали понять: ты нам остохренела, вот пусть новенькая воспитательница с тобой и возится. Первая же ночь все усилия врачей свела на нет. Провал был полным.

Правда, я из этой «мокрушной» и бессонной истории вынесла один существенный урок. С онанизмом мы справились в эту же ночь — во всяком случае, при мне она больше этого не делала. Всю ту возню, которую мне пришлось услышать в темноте, я категорически не соотносила с ней. И вместе с тем моя боязнь разбойников или чего-то совсем ужасного была непритворной. Она не только убедилась в моем неведении на ее счет, но и поняла: есть человек, которому и в лоб не влетает, что она плохая девочка. Я же убедилась: когда вера в ребенка предлагается ему как бескомпромиссная позиция, ребенок ее оправдывает. Мы жили вместе десять дней. Последние две ночи она не писалась.

Эта девочка была самым забитым ребенком. Когда я увидела ее впервые, она показала мне черепашкой, насильно поднятой на задние лапки: спина скруглена максимально, голова втягивает себя в плечи, походка такова, будто ноги поджимаются к панцирю, глаза упрятаны под брови. Ходит она нехотя, по необходимости, обычно сидит где-нибудь в уголке за книжкой.

Мы собираемся на елку. Платье безобразит ее как нарочно. Предлагаю одеть нарядные джинсы и блузу. Не успев примерить, она начинает с отчаянием все с себя сдирать: «Не хочу, все равно не пойдет, джинсы велики, не нужно, ну не нужно». Все таки с уговорками приспособливаем одежду на ней. Из порозовевшего личика на долю минутки выглядывают ласковые голубые глаза.

В доме отдыха мы играли в настольный теннис. На разминку она выскальзывала из раздевалки всякий раз, чтобы поспеть в строй последней. Будучи влюблена в веселую энергичную воспитательницу Нину, на прогулках плелась след в след за любимой спиной, спотыкаясь о Нинины пятки и ежась от неловкости.

Заметив, что она хорошо помнит прочитанное, я сделала ей комплимент: «Как это славно. Ты много читаешь; вырастешь, станешь мамой и сможешь рассказывать сказки своим детишкам». Зыркнула на меня исподлобья и с презрением, в котором сквозило: «Сама недоделанная, так и меня за такую берешь?!», бросила:

— Я не дура детей иметь.

— А как же? Ведь все девочки вырастают и становятся мамами. Вот у Нины две дочки...



Как-то директор решила нас ознакомить с инструкцией по воспитанию. Обманывая и обманывая, мы не теряем доверия к слову. Директор понадеялась найти разумное и вечное вместе с нами, поверив в инструктивную мудрость априори. Войдя в лабиринт педагогической мысли и окончательно в нем потерявшись уже на второй странице, она махнула рукой: «Будьте с ними строже». Так мы и не узнали, за что и как наказывать. Но что не менее существенно, мы в полном неведении, за что наказывать должно нас. Поэтому система наказаний вырабатывается эмпирическим путем. Единственной путеводной нитью здесь служит интуиция и опыт коллег, если таковым пожелают поделиться. С одной стороны, передо мной открывается пространство для безнаказанности. С другой — оно полно ловушек со стороны администратии. Чуть что не по начальству, и обвинительный вердикт готов.

Детей бьют все. Но большинству наискреннейшим образом уверено, что этого не делает. Как объяснить происхождение такого психологического курьеза? А что считать битьем? подзатыльник, подзатыльник — битье? А прекрасный, бесспорный по эстетической законченности аргумент «с ними и святой согрешит»? Тут не поспоришь.

1 февраля.

Генка воспитательнице: «Скоро я уеду от вас. Меня летом заберут». В ответ: «Тебя обещали уже забрать зимой. Кому ты нужен?» Генка упрямо: «Все равно меня летом заберут». Пока он верует, тепло ему на свете.

3 февраля.

Катаемся с горки. Все кричат: «Людмила Юрьевна, посмотрите, как я еду, как я еду!» В очередной раз вытаскиваю наверх Анечку. Вдруг она отводит меня в сторону: «Пусть они катаются сами. Давайте отойдем, чтобы никто не слышал. Я вам тайну расскажу». По серьезности интонации понимаю, эта тайна не пустяк. Отходим. И я узнаю, что папа Ани жив. Ей недавно исполнилось 10 лет. Мне рассказали, что она попала в детский дом сразу после смерти мамы. Ее навещает полуслепой дедушка.

— Мой папа... — Анечка мнется.

— Что, Анечка, наверное, пьет?

— Да. Однажды дедушка пришел домой, а нас с Сережей нет. Дедушка догадался и пришел за нами к папе с милиционерами, чтобы нас забрать. Мы там сидели, а папа пил с другими. Милиционер спросил, хотим ли мы остаться с папой. А мы с Сережей боялись говорить и молчали. Потом нас дедушка увел. Я помню, Людмила Юрьевна, этот дом. Там много дверей и много таких высоких-высоких стен. Как в тюрьме.

— Анечка, ты же не видела тюрьму.

— Не видела, но там было плохо, как у нас.

— Но ведь у нас красиво и нет высоких стен.

— Нет, плохо. Меня к Сереже не пускают. — Сережа, Анечкин брат, живет в другом интернате. — Папа не знает, где мы с Сережей, ему дедушка не сказал.

— Ну и правильно сделал, Анечка. А то он приехал бы сюда и устроил бы погром.

— Да, — подтверждает она с полным пониманием. — Людмила Юрьевна, а когда станем большими, мы уйдем из детского дома?

— Да, Анечка. Кончите школу и уйдете.

— А куда?

— К дедушке.

— А квартира будет наша с Сережей?

— Нет.

— Никогда?

— После смерти дедушки будет вапа.

— А он умрет?

— Как я, Анечка, как все.

— Значит, тогда мы с Сережей будем свободны!

«Тюрьма» плотно входит в детскую лексику. Не будешь слушаться, тебя в тюрьму отправят. Ты что? Попадешь под машину, из-за тебя Людмилу Юрьевну в тюрьму посадят, как мою маму. Украд у меня! Пожалуюсь «мамочке», тебя в тюрьму отправят. Странно: при информационной блокаде существует определенное понимание угрозы оказаться в тюрьме.

16 февраля.

Я ушла из воспитателей. Не могу и не хочу быть подручным надсмотрщиком. Веду искусствоведческий кружок. Мне хочется здесь остаться. Я привязалась к ребятам.

И еще — я виновата перед ними. Подзатыльники они получали и от меня. Хочу компенсировать свою вину чем-то хорошим для них. Старшим рассказываю евангельские истории с показом иллюстраций, младшим — греческие мифы.

— Ты говоришь, тебе понравился Денис. Мне так же давно понравился один мальчишка. Его звали Дима. И мужу понравился. А сообразительный какой был. В выходной я его, как обычно, взяла домой. Звонит телефон. Он подходит: «Дмитрий Геннадиевич слушает». Я ему и говорю: «Дима, ты же не Геннадиевич». А он мне: «Я хочу, чтобы кто звонит, сразу догадался, что я сынок дяди Гены. А то я скажу «Сергеевич», никто ничего не поймет». Договорились мы его усыновить. Пошли с Геной по магазинам. И пижаму, и костюмчик ему купили, не захотели детдомовскую одежду брать, решили — пусть в детдome остается.

Пошла я к нашей бывшей директрисе просить Диму. А тогда модным афганский вопрос стал. Директриса и говорит: «Мы решили его отдать в семью, где сын погиб в Афганистане». Они старые уже были, отец и мать погибшего. Никогда не забуду: пришла она Диму забирать, я собрала ей все групповые фотографии, на которых Дима вместе с ребятами; она ни одной не взяла, сказала, чем раньше он все ваше забудет, тем лучше. И ни разу с тех пор он нам не позвонил. Значит, сразу отобрали у него номер телефона. Я записала и положила незаметно ему в карманчик. Потому что он такой был: позвонил бы обязательно. А одна к нам устроилась нянкой, чтобы взять ребенка, ей дали.

Мы едем с ребятами из Музея изобразительных искусств. Я рядом со Степкой. Он недавно вернулся в детский дом. Его усыновляли какие-то научные работники. Их сынишка умер. В детдome перед усыновлением они рассказывали, что потеряли талантливого мальчика. Обещал, дескать, быть прекрасным математиком. Степе надлежало его заменить. Но конкурс был заведомо проигранным — Степа всем существованием подчеркивал невосполнимость утраты. Его возненавидели. Иначе поступок этих с позволения сказать «людей» не объяснишь: перед командировкой на два года за границу они отправили Степу в психоневрологический диспансер.

— Степа, устал?

— Устал, Людмила Юрьевна. Мне очень много в психбольнице делали уколов в попку, и потому, когда я много хожу, ноги устают.

— Степа, а сколько ты там пробыл? И как ты там оказался?

— Они уезжали, а меня некуда было деть. Вот они меня в больницу и отвели.

— Степа, а как про тебя узнали в детском доме?

— Одна из врачей, кажется Надежда Николаевна, рассердилась: «Да сколько же ему тут быть» — и спросила у меня, может, я помню телефон детского дома. А я помнил. Она и позвонила.

Степа помолчал, подумал и решил:

— Я теперь ни к кому больше не пойду.

— Больше никому не поверишь?

— Нет, — тихо сказал Степа.

Из-за лечения его приняли только во второй класс. Как-то, увидев наушники в библиотеке, Степа с энтузиазмом заорал: «Я помню! У нас дома такие были, я в них сидел на диване, мама увидела и как закричит!!!» Последнее слово Степа прокричал и замолк. В глазах у него было то сложное выражение, которое бывает у человека, неловко упавшего на глазах у всех.

21 февраля.

Вчера, рассказывая малышам о царстве мрачного Аида, спросила: почему мы рождаемся маленькими, а затем растем, а затем седеем и т. д. Не успела задать вопрос, как все они, как будто ждали, закричали: «Нас родили роботы!» Так весело и дружно закричали. В этой группе все дети не помнят родителей — и вот самостоятельный ужасный вывод.

1 мая.

Я узнала о формальном поводе Степиного заточения в психбольницу. Мы возвращались после съемок из Останкинского телецентра. С нами ехали четверо «домашних» ребят. И мои вздох выстраивали версии, объяснявшие, как они лишились замечательных родителей и оказались в детском доме. Один Степа ругал

усыновителей. Размахивая руками, он повторял: «Они меня клали на мертвую кровать!» «Домашние» никак не могли взять в толк, как это — «на мертвую кровать», и с волнением переспрашивали. Он же никак не мог объяснить. Наконец общими усилиями разобрались, что у этих людей был сын, который умер, и они с настойчивостью идиотов заставляли его спать на постели умершего мальчика. Степа же не мог преодолеть чувство ужаса, и, когда эта пытка становилась уж совсем невтерпёж, он убегал из дома. Его побеги и послужили формальным поводом для помещения в больницу.

11 мая.

— Зачем вы им рассказываете про художников? Им что, профессорами быть?

— Почему бы и нет? Они и так знают намного меньше «домашних» детей.

— Им нужно работать!

— Профессорам как бы тоже нужно.

— Рабочими работать.

— Послушайте, ведь у них ничего нет. Нужно же их хотя бы как-то приготовить к жизни. Нет родных, нет дома. Пусть за душой хоть что-то будет.

— Да что вы переживаете! Пойдут работать, получают общежитие. Женятся; квартиру дадут. Захотят работать, все заработают.

Что тут скажешь? Значит, 30 процентов бомжей среди бывших детдомовцев не захотели работать.

Детей отправляют в Америку. Человек десять. Среди них Пашка, Лена — ребята с заниженным уровнем социальной адаптации. У обоих это выражено. Пашка походкой напоминает дураковатого щенка, который, даже когда ему протягивают лакомый кусочек, идет к нему вялой, неуверенной походкой. Анемичный, мучнистый цвет кожи. Всегда громко и всегда неуверенно орет.

Леночка деревенеет уже при ожидании прикосновения. Когда обнимаешь, чувствуешь затверделые до онемелости ручки, плечики. Онемелость въелась и в психику. Странно слышать, как это худенькое хрупкое существо молотит по воздуху механическим, деревянным смехом. У нее псориаз. Я не удивилась бы, если бы врачи сказали, что ее малый рост и тщедушность — от постоянного внутреннего беспокойства.

Конечно, общение с ними затруднено. Полобят ли их? Не захотят ли от них отделаться? Будет ли проверять кто-либо из России, как они живут? Кроме слухов — больше ничего. Никто из воспитателей не верит, что детям там будет хорошо. Слухи разнообразны. От самых дикарских — вроде тех, в которых рассказни о вырезанных печенках, селезенках, до более или менее достоверных. Что знаю я: американская пара довольно симпатичных ребят приехала за Валеркой. Два дня они возили Валерку по Москве. Тот был счастлив и уже называл их мамой и папой. «Папа» очень похож на тот портрет, который он нарисовал в своем воображении. Здоровый, широкоплечий американский парняга. Вдобавок ко всему хорошо водит машину. Забрать Валерку должны были восьмого марта. Его уже одели, приготовили. С утра он сидел и ждал. В этот день американцы так и не приехали. На следующий день я услышала, что его не могут отдать: медкомиссия выяснила, что Валерка здоров, а здоровые нам самим нужны. Еще два дня их не было. Не знаю, что было с Валеркой, — он помалкивал. Слава Богу, приехали и взяли. Затрудняюсь сказать, что помогло, можно только, по нашей общей испорченности, предполагать, что состояние Валеркиного здоровья зависело от щедрости заокеанских усыновителей...

Американцы рассказали, что семьям, усыновившим ребенка (не важно, советского или нет), государство оказывает разнообразную помощь: снижает налоги, выдает бесплатно землю, дает деньги на учителей, медицинскую помощь. У нас на ребенка государство тратит столько, что, если бы дали эти деньги семье усыновителей, мама могла бы содержать и своего и усыновленного и не работать. Если бы мне трехкомнатную квартиру, конечно, двух ребят я бы взяла. Но — зайкнись я только, и все если не скажут, то уж обязательно подумают, что за счет бедных сирот я хочу увеличить свою жилплощадь. Вот тоска!.. Факт остается фактом. За то время, когда я работаю, нашими не был усыновлен ни один ребенок...

Уезжает из первой группы шестилетний Коля Семин. И впервые мне до слез стало жаль, что больше Коли я не увижу. Если бы Коля был моим сыном, как, явно и втайне, я гордилась бы им! Коля — прекрасный русский мальчик; он весь — глаза и интонация. Именно не голос, а его музыка.

— Ребята, я рассказала вам про геройские подвиги Геракла. Чтобы быть героем, каким надо быть?

Коля, быстрее всех:

— Добрым, смелым, справедливым, честным!

Коля требует историю победителя Геракла. Его глазки до невозможного предела расширяют свои границы. Еще не услышав ответа, подсказывая его мне, Коля утвердительно кивает головкой. «Конечно, Коля», — говорю я и вместе с ним испытываю сияющее счастье. Поразительная эмоциональная память: Зевс — это тот, кто сотворил несправедливость с Прометеем, Афина родилась таким любопытным способом, Персей — конечно, отвернувшись — отрубил голову Медузе: а как же, иначе он не победил бы, а погиб.

Мы занимаемся на улице. Часть ребят отошла в сторону с моей дочкой Ольгой. Слышу там спор. Горчатся Коля и новенький, Максим. Максим — белобрысый, с линиями голубенькими, очень шустрыми глазами. Ему семь лет. Он на голову выше всех остальных ребят и сильнее их, поэтому дерется в аппетит. Коля утверждает, что есть добрый робот. Максим пока берет «на горло»: «Нет никакого Макстара, это только в мультике! Скажи еще раз — есть, — я тебе сразу за это в морду!» Коля отчаянно стоит на своем: «Все равно есть! Я маленький, не могу драться, я Богу помолюсь, чтоб ты меня не бил!»

Максим внимательно оглядел Колю, сделал шаг к нему, схватил за плечо, потряс и тихо сказал: «Кто ж тебя такого ударит?..»

Драма Колиного отъезда заставила меня впервые неутомительно понять, что Родина-предательница выбрасывает за борт тех своих детей, которые ее спасли бы.

Езжай, мне нечем тебя кормить. Ешь у чужих. Не помню, где прочла... Восточный князь-тойон пожалел об убитом им сыне только тогда, когда враги его связали...

Коля уезжает в Америку с братом и сестрой. Их всех берет одна семья. И голос разума подсказывает: дети алкашей верней всего не спасут отчизны, а пополнят ряды таких же, как их родители. От всехней же нашей мамы и так с утречка отчетливо пованивает перегаром. Нам эти трое — лишние пьяницы. Но мы-то кто такие? Мы, растерявшиеся, на кожаный пиджак выворачивающие завистливые глаза? Нет, я никогда не решусь сказать — мы не Родина. Но твердо и отчетливо скажу, что Коля был бы прекрасным сыном отчизны. Она, бедняжка наша, собрала последние свои силенки, чтобы свет увидел такого Колпо. И тут же свои-то глазыньки стыдливо опустила, чтобы не посмотреть в его глаза.

— Ну ладно, мама. Давай заберем его к нам.

Куда, Олечка? В обшарпанную однокомнатную квартиру с разбитыми окнами? Брать — когда непонятно как зимовать будем? Детским домом впроголодь, но кормимся...

18 мая.

Вчера мы с Денисом были в Серебряном бору. Сделали костерок, набрали щавеля. Потом сидели на берегу реки и сушили на солнце мокрые ноги. Денис внимательно разглядывал капли воды у себя на пальчиках. Я была уверена, что он молчит потому, что ему — так же, как и мне, — хорошо.

— Людмила Юрьевна, хотите, скажу?

— Что, Денис?

— А от меня родители отказались. Мне бабушка Маша сказала. Она сказала, что хоть и чужая мне, но будет приходить и меня не бросит.

Денис выпалил все это и ждет. И так — страшная, горькая правда открылась. Я не могу ничем его утешить и поэтому ограничиваюсь сухим подтверждением. Денис пытается выспросить, откуда я знаю, — ему важно определить источник. Если баба Маша, то ведь может оказаться, что она что-то и напугала. Не знаю, правильно ли я поступила, но лгать не было сил.

К этой теме мы больше не возвращались. Потом мы шли домой, весело болтая. Между нами установилось то редкое взаимопонимание, которое позволяет воспринимать окружающее мыслями и глазами другого, делая общение легким и радостным.

Тема неожиданно всплыла еще раз дома. Он шалил, постоянно набирая номера телефонов, и на вопрос, кому звонишь, с лукавой мордочкой отвечал: секрет. Я чем-то занималась, тихо раздражаясь мельканием телефонной трубки. Олька смотрела телевизор. Среди общего словесного сора вдруг тихо прозвучало: «Мама?»... Мы с Ольгой как по команде повернулись к Денису. Трубка уже лежала на аппарате, а он

с вопросительной полуулыбочкой смотрел на нас. «Я, наверное, не туда попал. Я позвонил, — он сделал в воздухе ручкой, — а мне говорят: „Что тебе, сынок?“»

Детдомовец замечательно умеет скрывать свои чувства. Сейчас я точно вспомнила возню с телефоном каждого из бывших у меня ребят. Звонок — это то же самое письмо «на деревню дедушке», но с надеждой немедленного отклика.

Почему дети злы? Потому что клетка сковывает рост. Живое требует пространственной свободы для физического развития и свободы духовной для развития нравственного. «Нас родили роботы» — замечательная догадка для последующего аморального беспредела. Вряд ли в доброй и ласковой атмосфере она созрела бы. Если человека не освобождают для добра, он сам, чтобы выжить, освобождает себя для зла.

Мы с частью ребят занимаемся в спальне. Наказанный дошкольник Вовка не лежит в постели, а бегает по кроватям и плюет на подушки. На требование подойти ко мне он смело, зная, что его бить не будут, подходит и останавливается в наполеоновской позе. Весь он — издевательский вызов и демонстрация силы. Ясно, что мою доброту Вовка воспринимает как слабость. Спрашиваю: «Вов, как ты думаешь, я могу тебя ударить?» Он уверенно отвечает: «Нет». «Выходит, ты слушаешь-ся, только когда тебя бьют?»

Вовке неприятен этот разговор, и он отходит от меня. Через несколько дней Вовка провожает меня после занятий. «Поцелуй меня», — просит он. Я, целуя его, спрашиваю, почему он плевал на постели других ребят. Он надувает щеки, хмурит лоб и объясняет: «Они плохие, они меня бьют». «Вовка, а как ты думаешь: за то, что ты плевал на их кровати, они будут тебя любить?» — и вижу, как он краснеет и мучительно зажмуривает глаза.

Меня подзывает двенадцатилетняя Люба:

— Людмила Юрьевна, я хочу вам сказать на ушко что-то очень важное. Знаете, кого я люблю больше всех на свете?

— Воспитательницу, Любочка?

Она досадливо отмахивается:

— Вы не догадались. Больше всего на свете я люблю Бога.

Смотрю на эту рослую молчаливую девочку растерянно и с немим изумлением. Хотя мы и говорим со старшими о Боге постоянно, мне и в голову не приходило, что дети могут прийти к столь быстрым и достаточно экзальтированным выводам. Если это чувство испытывает спокойная, уравновешенная Люба, то что в душе у эмоциональных ребят? Со временем выясняю, что это же чувство в той или иной степени испытывают почти все дети — и те, с которыми о Боге никто не говорит.

30 мая.

Дети не говорят о родителях. Они выражают надежду, что родители их возьмут. Поэтому проблемы взаимоотношения с ними как бы нет. Но оттого, что вокруг нас молчание, она, не выходя на свет, уходит в подполье.

В подполье не заглядывает никто, а потому никто не знает, есть ли у него дно и что на поверхности. Ребята делятся в собственных глазах на привилегированные и непривилегированные группы по следующему принципу: наиболее уверенны (можно сказать, счастливы) те, у кого родители умерли. Мне, родившейся в войну, это очень понятно: «А где твой папа?» «Мой папа погиб за Родину!» «А твой?» «А мы с мамой живем...» Отвечающий опускает голову, потому что прекрасно понимает, что в глазах вопрошающего прочтет: «Ну, ты, выблядок!»

Серезу воспитательница везет на мамину могилу. Вернувшись с кладбища, он громко рассказывает о поездке, декларируя любовь к маме. Дети понимают, почему он это делает. В отличие от многих он обладает бесспорной реальностью — бывшей маминой любовью. И потому, собравшись было вокруг нас в надежде услышать про кладбище, они быстро расходятся: Серезе не сочувствуют, а завидуют.

Аня безо всяких комплексов сексотит обеим воспитательницам — не потому, что это в ее природе, по природе она, как и большинство из нас, способна к добрым чувствам; но так же, как и Сереза, она себя выделяет обладанием бывшей любовью. Любимые — избранники. Эта валюта подороже доллара: в умелых руках она делает жизнь вполне сносной. Прежде всего дает уверенность, а если в наличии еще хмураватый, практичного склада ум, то место «старшины» при «лейтенантах»-воспитателях обеспечено: сиди полевывай в потолок и потихоньку презирай подкидышей.



Как правило, дети умерших родителей во всех смыслах выгодно отличаются от брошенных. Они развитее физически и умственно, больше знают, любознательнее, лучше учатся. У них более ярко выражен волевой импульс. Брошенные в большинстве рассеянны, рассредоточенны, несамостоятельны, плохо читают, плохо учатся — и не потому, что глупы, а потому, что духовная травма столь значима, что превращается в непреодолимый барьер для любой цели.

У Саши день рождения. Несколько дней он по этому поводу обрывает нам с Ольгой телефон. Мы собираем подарок и едем. Две девочки наперебой та и другая убеждают меня, что Оля на меня совсем непохожа:

— А вы ей старенькая! Вы ей не мама, а бабка! У вас волосы седые! А мы пойдем и будем вас провожать до самого дома, а вы хоть и не хотите, все равно у вас заночуем!!

Понимаю их, не сержусь и, как могу, отшучиваюсь, хотя приставание, поначалу мирное, набирает агрессию. Именинник слушает, поглядывая на ту и другую, потом исчезает: он знает — нужно закопать подарок, по злобе могут и отнять.

Те, от кого родители отказались, создают бесконечные версии о существующем доме и дате возвращения в него. О маме плохо не говорит никто, и дело здесь отнюдь не в добrote, вряд ли они могли ее всосать с молоком матери — если что и всасывали, так это водку.

Дети не в состоянии жить под гнетом непонятого им наказания. Не любят плохих. Наказывают плохих. Отвергают плохих. Адам был изгнан из Рая за проступок. Он об этом знал, и как ему ни было тяжело, но конкретная, понятная вина позволила встать на путь искупления. Этим ребятам нечего испугать. Они, как верно заметил наш славный драматург, «без вины виноваты». Напряжение, с которым они ждут, когда же откроется дверь в дом-рай, непосильно. Сбросить груз отверженности означает получить билет на законный вход в жизнь. Ожидание лишает их сегодняшнего дня. Пусть не сердятся верующие: ничего, кроме любви к Богу, им и не остается. Он — тот абстрактный Родитель, который их любит. В процессе же ожидания детдомовец одинок.

Рассказываю малышам об Орфее и Эвридике. Вижу, что им начхать на тоску по любимой подруге. Пытаюсь объяснить на конкретном примере. Спрашиваю:

— Вот ты, Ванечка, с кем-нибудь дружишь?

— Да, со Славой.

— А если бы Славу забрал бог смерти Танат, ты грустил бы?

— Нет.

— Неужели ты сразу забыл бы Славу?

В ответ не только от Ванечки, но и от остальных ребят ко мне летит легкомысленное, с улыбочками: «Скоро».

Наблюдения вынуждают меня поверить им. Совместные игры бывают редко и очень скоро заканчиваются ссорами и слезами. Если кто-то себя занял, обязательно найдется другой, кто немотивированным, но определенно злым поступком разрушит занятие: отнимет игрушку, рассыплет игру. Слезы у большинства ребят на поверхности, они демонстрируют страх перед угрозой наказания, но само наказание переносят в достаточной степени равнодушно. Постоянную душевную тревогу наказание подчас заглушает и облегчает. Получается, что наказание провоцирует тоску по дому — но сама по себе эта тоска провоцирует новые наказания. Каковы следствия этой душевной травмы? Кроме названного одиночества — недоверие, жажда самоутверждения любой ценой. Конечно, когда-то страданию наступает предел. Что тогда? Я уверена, что нравственная глухота — наиболее распространенное осложнение после пережитого духовного заболевания. Ведь во время болезни врача рядом с ними нет, а самолечение не способствует нормальному выздоровлению.

7 июня.

Олька пришла мне помочь. Она играет с ребятами в мяч. Игра прерывается, потому что Леночка считает, что ее несправедливо вывели из круга.

Когда детдомовец не чувствует властной агрессивности взрослого, он переходит в крикливую и энергичную атаку. Леночка с разыгранной слезой обвиняет Ольку в пристрастности к одним и не любви к другим и с гордо поднятой головой выходит из игры. Сидит отдельно и демонстрирует злость. По размышлению, поняв, что не права, Олька идет и перед Ленкой извиняется, заметив, что если б Ленка не орала, а толково сказала, то все выяснилось бы сразу. И тут кремень Ленка не выдерживает:

вначале она с недоумением смотрит на Ольку, потом закрывает глаза, краснеет от натуги и вдруг начинает неудержимо плакать. Олька обнимает ее, Ленка, которую все дети называют ведьмой, приваливается к ней, и теперь они уже обе ревут.

11 июня.

Выяснилось, почему Максим не верит в Макстара. Неверие в добро почти всегда имеет конкретную причину. Днем я уложила ребят спать. Пришлось повозиться с больным Сережкой. Следом за ним пошла к остальным, сварив раз сорок сорочью кашку и пообещав всех спящих погладить по головке. Максим зажмурился изо всех сил; глядя его по белобрысой головке, я приговаривала: «Вот мальчик, которого можно ласкать только спящим... А как жаль — ведь я люблю его так же, как и других...»

На следующий день мы поехали в цирк. Откровения, как правило, приходится на дорогу. Вот очередная история. Он пятый ребенок в семье. Сестре Тоне сейчас восемнадцать лет, Кате шестнадцать, еще одной тринадцать, братику девять, Максиму восемь. Его папа работал на ликвидации Чернобыльской аварии, в результате чего и умер. Мама в сорок лет умерла от рака.

— Когда маму привезли домой, было очень страшно. У нее здесь (Максим показал на свой живот) было все разрезано и в крови. Чтобы не смотреть, мы закрыли маму одеялом. Наверное, они разрезали, чтобы узнать, что мама правда умерла.

Тоня и две сестры остались дома. А Максим и брат попали в разные детдома.

Есть постановление — не разлучать сестер и братьев. Но оно существует только на бумаге. У Гены была сестренка младше его. Они были в одной группе, и он очень любил свою Леночку. На его беду, сестренка была хорошенькой и ее захотели удочерить какие-то иностранцы. Нянечка Даша рассказала мне, что воспитательница пыталась бороться; но плетью обуха не перешибешь. Каким-то образом бывшая директриса сумела сделать так, что группа уехала, а Леночка осталась. Когда ребята вернулись, Леночки уже не было.

Генка искал ее во всех углах, звал, кричал: «Где моя Леночка?!» Пришлось сказать, что Леночка уехала. Девочке было три года, а ему пять. Сейчас, в восемь лет, он прекрасно помнит сестренку, она перешла в категорию крохотного запаса прошлых ценностей. «У меня б ы л а сестра Леночка», — говорит он.

Генка с ветрянкой застрял у нас. Он большой любитель комфорта и для его создания не щадит сил. К ужину, когда семья собирается вместе, Генка тащит кресло-кровать к телевизору, ставит перед ним табуретку с едой и предается гурманству. Я, посмеиваясь, говорю мужу: «Совсем как один наш близкий. Любители сладкой жизни даже внешне похожи». Генка молча топырит уши. Через несколько дней конфузливо мне возражает: «Я похож на свою Леночку и маму». Уточняя: «Ту Леночку, которую взяли?» «Да. Только ее не мама взяла домой. Ее забрали чужие люди. Мама, если захочет, возьмет меня домой». Подумав, что слово «захочет» случайно, я поправила его: «Если сможет?» «Нет, если захочет. Мама сказала, что уже в с е заявила в роно. Она обещала взять меня зимой и обманула. А потом наврала, что возьмет меня, когда я закончу первый класс. Я же первый класс уже закончил! Просто, может быть, она захочет меня взять».

Генка переходит в категорию выздоравливающих: он уже знает, что его обманывают. Затем, не дай Бог, он узнает, что его не хотят. Этот мальчик далек от богоискательства, он весь — на земле. Вот и думай, как ему верить другому человеку, если верить никому нельзя.

3 июля.

Дениса на все лето взяли в хорошую, интеллигентную семью. Он регулярно звонит. В очередной раз: «Хотите, я вам прочту из книги?» И тишина. Я решила, что он забыл, и положила трубку. Звонок: «Ну что вы, Людмила Юрьевна, я за книгой побежал, а вы трубку положили. Слушайте, начинаю вот отсюда». И вот я слышу евангельские тексты. Он не в силах превозмочь лукавство, но изо всех сил старается быть торжественным и назидательным. Эта том-сойеровская смесь великолепна, и я едва сдерживаю смех.

— Денис, а ты и тете Тане читаешь Евангелие?

— Нет, я читаю тайно. — На вопрос, почему, тоном «дело-то ясное» отчеканивает: — Чтобы быть ближе к Богу.

— Денисик, а сказки не читаешь?

— Нет, мне неинтересно. Я так больше Бога люблю.

— И часто читаешь?

— Бывает, — говорит он неопределенно.

— «Бывает» или «часто»?

— Я же вам сказал: быва-а-а-ет. — Из большого количества прочитанного текста приходится сделать вывод: часто.

— Вы не помните, наверное, Людмила Юрьевна, что мне матушка Екатерина сказала?

— Нет, не помню, Денис.

— Она сказала, что я, когда вырасту, буду батюшке помогать и читать про Иисуса Христа.

— Денисик, а сейчас тебя кто-нибудь слышит?

— Да! Все! И тетя Таня, и девочки, и дядя Юра!

— А ты же говоришь, что тайно читаешь?

— Я же хорошее делаю!

Я задаю ехидный вопрос:

— Денисик, а когда плохое делаешь, долго помнишь?

— Я нормальный мальчик, — замечает он рассудительно. — Сделаю плохое — и забываю. Потому что смеюсь, гуляю и радуюсь. — То, что он сейчас много смеется, гуляет и радуется, слышно по голосу. Я же очень скучаю по своему хитроумному любимцу.

5 июля.

Уроки стали получаться. Тапу все, что может расшевелить воображение. На один из уроков приволокла ракушки. И дальше я рассказывала про царство Посейдона и видела по их напряженным личикам с закрытыми глазками, что они представляют себе, как ползет рак-отшельник, как пошевеливаются актинии и мидии на камнях. Я рассказывала, а они согласно кивали. Потом мы рисовали. Перед уходом я, как всегда, погладила их по головкам, а потом вдруг, неожиданно для себя самой, попросила: «А теперь вы погладите меня». За робкими-робкими прикосновениями открывалось совершенно неизвестное ребятам чувство. Одна ладошка легонько хлопала меня по голове. Я догадалась, что это Вовка. Он, бедолага, уверен, что гладить — это всего лишь тихонько бить.

В следующий раз в одной из групп. Не успела я войти, как ребята со всех ног бросились ко мне: «Смотрите, смотрите, Людмила Юрьевна, Сашка кипятильник сжег! Это Сашка! Вот он, вот он, на диване сидит!» Кто-то с яростным личиком тычет пальцем в Сашку, кто-то хватает меня за одежду и тянет к черному пятну обгоревшего линолеума: «Понюхайте! Слышите? Обгорелым пахнет! Это он, он сжег!» Малышки в едином порыве ждут немедленной расправы.

Молоденькая Даша орет: «Убить его мало! Мой кипятильник! Единственный сжег! Тут поневоле зверем станешь!» Она добра и потому ограничивается истошным требованием: «Иди! Сядь на диван!» Сашка надул свои и без того толстые негритянские губищи. Он готов защищаться до последнего патрона, и никак не может взять в толк, что все наказание в том и заключается, что надо пойти и сесть на диван. Диван ему явно представляется чем-то вроде электрического стула.

Воспитательнице Даше трудно. Она занимается в педучилище на отделении лепки. Еще школьницей она с товарищами опекала в детдоме ребят. Ее компания водила детишек в музей, на Красную площадь, просто погулять. Теперь ее попросили временно поработать воспитательницей. Она и пошла к малышке со всей любовью. Как непомерно много испытаний у любви... Ведь и сожженный кипятильник, единственный и, что куда важнее, неповторимый, может стать источником если и не оправданного, то вполне понятного гнева.

10 июля.

Я провела урок-игру в двух группах. Нас только что из глины вылепил Прометей. Что делать нам? Мы только-только обсохли. Нам холодно. Вокруг враждебный лес и много злых зверей. Нужно защищаться. Где строить дом? Какие возводить стены? Давайте подумаем с карандашом в руках.

Группа, в которой больше ребят не из Дома малютки, а от семей, лишенных родительских прав, с увлечением и сразу включилась в работу. Группа «рожденных роботами» закалякала лист карандашами, так и не сумев проявить инициативу. Свобода, пусть даже губительная, все равно оказывается плодотворнее инкубатора. В

моем мнении нет никакой дерзости: все воспитатели по опыту знают, что самые названные дети — прошедшие Дом малютки.

18 июля.

У меня несколько дней жила Наташа. Каждый день я слышала тот же извечный рассказ: «У меня есть и мама, и папа, и бабушка, и дедушка. Мама пока в тюрьме, папа пока в больнице. Братик Андрюша и братик Игорек дома. Дедушка и бабушка старенькие, и им трудно взять меня домой. Вот мама скоро выйдет и заберет меня». Мы обе с Наташей знаем, что брат Андрюша в нашем детском доме, но я слушаю с сочувствием — и Наташка не может избежать соблазна пожить вымыслом. Вранье про дом — всеобщее заболевание. Иллюзия смягчает безлюбую жестокую реальность. Но жить иллюзией становится потребностью, чем-то вроде духовного допинга. Я знаю пожилую женщину, бывшую детдомовку; она имеет вымышленную семью — дочь, сына, внуков, с их вымышленными болезнями, вымышленными ссорами и примирениями.

8 октября.

К «детям роботов» из училища пришла здоровая деваха Вера. Она могла бы сгрести их всех и упрятать в своих больших ладонях. Но... Гулливер испугался злых лилипутов. Валерка был прав: освобожденная энергия разрушения не знает возрастных границ. Картинку мне довелось увидеть впечатляющую: Вовка размахивал садовой лопатой с намерением раскопать кому-нибудь башку, трое малышей тащили со шкафа аквариум и уронили его вместе с рыбками на себя, остальные потрошили шкафы, оттуда вылетали куклы, коробки и прочая дребедень. У этой летающей мелюзги глаза горели бешеным, недетским напряжением, пружина вседозволенности раскручивалась стремительно и, что называется, со свистом. Верка забилась в угол и оттуда остолбенело наблюдала за происходящим.

Дети дали ей проработать неделю. В эти тяжкие дни никто не пришел ей на помощь. Почему? Да потому, что все знают — нельзя передавать тот педагогический инструментарий, который есть в наличии. Поэтому же и меня никто не вводил в группу. А ведь ясно: кто-то обязан самортизировать психологическое трение между детьми и воспитателем. Но зачем? В тюрьме не должно быть доброго надсмотрщика, иначе маленькие эски пронесут тюрьму в клочья. А злого учить не нужно; он сам быстренько разберется, ему не требуется много опыта, чтобы подавить пяти- и шестилетних малышек.

Из детского дома собралась бежать третьеклассница Юлька. На дорогу прихватила 100 рублей из кошелька группы. Приготовления к побегу открылись. К кому хотела бежать? Конечно, к маме. Но мамы нет! Оказывается, есть: вот мамин телефон. Тут несколько подрастерялись даже видавшие виды воспитатели. По телефону позвонили и выяснили: Юлька, как и предполагалось, соврала. Она лежала в больнице с домашней девочкой, и мама этой девочки пообещала стать и ее мамой. Но человек предполагает, а властью над его предположениями располагает чиновник. Несостоявшаяся мама пошла в инстанцию. Там ей по-хамски объяснили, что, имея четверых своих, нечего еще мечтать о пятом, чужом, ребенке. Мама не смогла сразу остановить благородного порыва. И с подобной же просьбой явилась в детский дом. Результат был тот же. Правда, ей предложили навещать Юльку в третью субботу месяца, но женщине, имеющей четверых, проще взять пятую, чем навещать ее каждую третью субботу.

Юлька не знала всей этой закулисной тяготы, но время шло и, соответственно, лишало шанса на счастливый выигрыш. Необходимо было предупредить крушение надежды. Несколько дней после разоблачения Юлька ссорилась с ребятами, измывалась над ночной няней, затем успокоилась и вошла в общую колею.

Я долго пыталась объяснить ребятам, что ябедничать друг на друга нехорошо. Ябедничают все, никто и не пытается разрешить конфликт самостоятельно.

Вечером вместе со школьниками смотрим телевизор. Максим буравит Женьку своими белесыми глазами и тихо так, но внятно внушает ему: «Вонючка, вонючка, вонючка». Тот молчит, пока не взрываюсь я:

— Ты обабдел? Почему ты позволяешь этому паршивцу измываться над собой? Ну-ка дай ему по шее!

— А можно?

— Жень, даже если бы я сказала «нельзя» — н у ж н о. Странно, почему ты спрашиваешь?

— Я думал, вы сами захотите его наказать.

Здоровый двенадцатилетний Степка идет и докладывает с азартом о том, что семилетняя Машка стучит ногами по кровати. Воспитательница посылает Степку: «Скажи ей по-хорошему, пусть перестанет». Он с готовностью идет. Из спальни слышно: «Вот так! Чего захотела! Я говорил тебе, нельзя!»

Отношения между детьми искривлены. Они все идут через воспитателя. Детдомовец не знает, что можно, да и должно целый ряд житейских мелочей решать самому. Находясь внутри детдомовской системы, ребенок усваивает ее; усвоенное выражается в нелюбви друг к другу. Неверие воспитателя в добро ребенка заражает тем же пороком. Я сколько угодно могу убеждать Юльку, что Степа хороший парень, что, если бы они дружили здесь, они смогли бы помочь друг другу и в другой, самостоятельной, жизни, — она мне не поверит. Ни он ей, ни она ему не сделали ничего хорошего. Они не могут не предавать — их научили только этому. Но точно так же они не в состоянии забыть боль предательства. Не в их силах наказать воспитателя, но бессилие перед ним обязательно оборачивается силовым давлением друг на друга.

11 ноября.

Серезка просится в гости. Приходится сказать, что я бы рада, да не от меня это зависит. Серезка пытается добиться вразумительного ответа, от кого же. И тут стоящий рядом другой мальчик хмуро и тихо отвечает за меня: «Ты что, не знаешь? От директора».

В одну из групп вернулся из психоневрологического диспансера пятилетний Дениsik. Такой был шустрый, с сияющими глазами разбойник. Пришел — с одутловатым личиком, одутловатым тельцем анемичный человек. Глаза мертвые. Не шалит, не играет. Не переносит никакого контакта. Начинает пронзительно визжать. Туда отправляют еще нескольких ребят. Шестиклассник Димка в свое время каким-то чудом избежал ПНД несмотря на неправильные, как он помнит, ответы: на вопрос, чем отличается сахар от снега, Димка ответил: «Сахар вкусный, а снег невкусный». А это неправильно. А как — правильно, даже не сочли нужным объяснить. Так он и не знает. Боюсь, что, как «правильно», знают только врачи. Я думаю так же, как Димка: сахар вкусный, а снег невкусный. Так что от ПНД не застрахована и я.

13 ноября.

В интернат отправлена семилетняя Катька. В детдоме сочли, что Катька не сможет учиться в обычной школе с «домашними» детьми. Разлучили с братом и отправили.

Блестящих интеллектуальных способностей я за ней не замечала. Рассеянна, ленива, изобретательна на шалости. Но вот сидит рисует траву: «Людмила Юрьевна, идите потрогайте. Ну трогайте, не бойтесь, погладьте. Пушистая какая, правда?»

10 декабря.

Заместительница директора среди общей болтовни вдруг вспоминает:

— Ох, Людмила Юрьевна, не забудьте зайти ко мне расписаться в приказе. Все расписались, кроме вас.

— О чем приказ?

Она несколько теряется.

— Да о неразглашении того, что происходит в детском доме. У нас все нормально, ничего особенного нет. Просто не рассказывать, чем ребята болеют, про их жизнь.

Увидеть приказ и хотелось, и боязно было. Откажусь подписывать — придется уходить. Подпишу — повяжут групповщиной. Все обошлось. Администрация сочла за лучшее приказа мне не показывать.

3 января 1993 года.

Перед Новым годом я отправилась на утренник в детский дом. Надела платье, в котором нахожу себя похожей на египтянку. Пояс повязала белым шелковым платком с длинными кистями. Только было собралась войти в зал, как мне передали приказ директрисы: платок снять. И я сняла. Могу себе сто раз объяснить, что сделала это из-за ребят, но про себя-то знаю: сработал инстинкт подчинения. Сколько ни делай вид, что тебе плевать на систему, но, находясь в ней, начинаешь принимать ее правила.

Я давно не захожу в группу, где работала воспитательницей. Да, «мамочка» отказала мне в уроках, тем самым дав понять, что мое появление нежелательно. Зайду — влетит тем, кто станет со мной общаться. И все-таки что-то внутри свербит: «А не заходить-то проще, чем зайти».

Давно не прощу в гости ребят. Мне неоднократно директриса отказывала: незачем их баловать. Все так. Но втайне — что ж лукавить с собой — ясно: не брать их легче, чем брать. Каждый раз напрягаться, отрывать кусок от своих, тратить отнюдь не лишние деньги. И тут удобная подсказка: нельзя, и все тут! Так постепенно превращаешься в предателя. Но сознаваться в этом нерадостно, и я говорю себе: «Да черт с ней, с этой администрацией, ребята ждут в других группах моих уроков. Начну бороться за этих — придется уйти и лишиться пусть маленькой, но радости всех остальных. Да и не всю ведь жизнь знаться с Генкой. Больно надо ему со мной дружить. Вон Юльку удочерили. Что она, сказала кому-нибудь, что не знает этой тетки, что она хотела совсем к другой?.. Пошла как миленькая. Мой домашний телефон знает наизусть. Уже неделя, как ее нет в детском доме, но не позвонила ни разу. Эх, неблагодарные детдомовцы!..» Итак, процесс готов пойти. Углублять его будет намного легче. И как говаривает моя дочь Олька, «чем глубже в лес, тем толще партизаны». Несите, Людмила Юрьевна, свет в размерах, строго определенных администрацией.

За год моей работы в детском доме в Америку отправили около десяти детей. Мне известны два отклика оттуда. Прекрасно прижился Валерка: он хорошо учится, уже получил приз на каком-то конкурсе. Американская жизнь пришлась ему по вкусу. Моим любимым Колей усыновители недовольны. С ним, в отличие от брата и сестры, проблемы. Но вот что удивляет: за этот же год я знаю только одно усыновление ребенка россиянами. Все говорят про громадные очереди на усыновление; между тем, оказывается, проще отправить ребенка за океан, чем в московскую семью. Казалось бы, ребенок не отрывается от родины, намного легче проконтролировать — но своим отказано проявлять любовь к малолетнему ближнему.

10 января.

Я то и дело удивляюсь, хотя пора бы попривыкнуть, но трудно, да и боязно: привыкнешь, а там, глядь — как раз и станешь олигофреном. Ну как не удивиться: из бывшей «моей» группы за год вместе со мной ушли три воспитателя. Принято за норму переводить воспитателя из группы в группу. Я много лет работала в музее и знаю, как вредна там смена кадров: ведь информация о документах накапливается не в день, а без достаточной осведомленности даже талантливый человек не может быть профессионалом. Здесь же речь идет о людях — со своими привычками, характерами, своеобразным духовным складом. Впрочем, о чем я? Каким там «складом»? На детей никто не составляет характеристик. Стало быть, никому не нужна динамика развития ребенка. Исправно проверяя своих воспитанников в ПНД, никому не приходит в голову проверить воспитателя и группу на психологическую совместимость, проверить воспитателей на совместимость друг с другом. В конце концов, разве не нужно периодически проверять воспитателя, не переступает ли он барьера корректных отношений с детьми? А ведь привычка наказывать и поощрять притупляет самоконтроль.

Кстати. С каким негодованием узнали мы о том, что у нас инакомыслие «излечивалось» в психушках. Кто знает, скольких детей-сирот излечивают там от непослушания, дурных привычек и неблагодарности.

Вольнонаемная, я ушла, вначале не сумев, потом не захотев принять предложенных мне обстоятельств. Но детский ГУЛАГ не отпускает своих заключенных.

На днях мне тайком позвонила дезочка. «Людмила Юрьевна, когда придете? Я скачаю»...



# ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

## «НАША ЛЮБОВЬ НУЖНА РОССИИ...»

Переписка Е. Н. Трубецкого и М. К. Морозовой

69. М. К. Морозова — Е. Н. Трубецкому

[7 января 1911 г. Москва. В Рим.]

№ 5<sup>я</sup> 7<sup>го</sup> янв<аря>

Милый и дорогой мой Женичка! Очень хочется написать тебе сегодня о моей жизни, впечатлениях и событиях. Какой ты гадкий, мой друг, что так мало пишешь! Олимпиец ты этакий, гербарий ты неисправимый! Не сердись, ангел мой, я очень добродушно браню тебя, но не бранить тебя нельзя. Про мое настроение скажу тебе, что оно в общем светлсе, тихое и доброе. Очень, очень важно мне получать от тебя письма, и потому особенно я нахожу эгоистичным с твоей стороны, что ты мало пишешь. Ты понимаешь, как каждая твоя строчка поддерживает мне душу. Часто просыпаюсь рано, всегда думаю о тебе, плачу и тоскую, но мрак и отчаяние *редко* охватывают. Как-то, где-то есть много веры и надежды! Бывают минуты мрака, конечно, но еще чувствую себя в силах пока. Что будет дальше, не знаю! Сейчас я как-то особенно увлекаюсь чтением Евангелия и чувствую неудержимое влечение к философии. Вообще тянет ко всему объективному, отвлеченному, хочется погрузиться в сферу мысли. Философия всегда была моей спасительницей и убежищем в трудные минуты. Видишь, что кроме тебя у меня есть спаситель, и единственный, к которому я советую тебе меня ревновать! Хотя ты гордо мне объявил, что я тебя ничем не испугаю. Но к этому я тебе не советук относиться с презрением — это неуловимый соперник, но вовсе не безопасный! Думаю начать с моего милого Канта. Перечту «Крит<ику> практич<еского> разума», потом хочу прочесть «Микрокосм» — Лотце<sup>123</sup>, и Гегеля после! Что ты думаешь? С увлечением приступаю к этому. Как видишь, некоторый запас огня будет перенесен на эту работу. Я очень озабочена вопросом о поездке за границу с Микой. Он в общем очень поправился. Конечно, я поеду, если нужно, и поеду туда, куда велют. Но *мне* ужасно не хочется ехать. Главное, просто ужасает мысль ехать на юг и к морю — я там с ума сойду! Я могу вынести *весну, юг, море* только с тобой вместе, а одна, когда ты далеко, видеть всю эту красоту и поэзию — гореть, кипеть и быть одной — этого я не могу себе представить. Я там или забол<ю>, или, что еще хуже, убегу к тебе! Этого я очень боюсь! Будь совершенно покоен, мой друг, что я этого ни за что не допущу. Если уж нужно будет ехать, то поеду куда-нибудь подальше от тебя, подальше от соблазна! Чтоб и духу его не было. Будь покоен, моя радость, слишком дорога мне твоя душа, слишком люблю я твою милую, светлую душу! Слишком мне хочется, чтобы успокоилась В. А. Пиши ради Бога о ней почаще. Что она, лучше ли ей? На будущей неделе посоветуюсь со Шварцем, и решится вопрос о поездке. Раньше я как-то обо всем этом не думала, когда ты был здесь, а когда тебя нет, то я чувствую, какой огромной силы ключ я в себе заперла, и понимаю, что должна с ним обращаться осторожно. Вообще будь покоен за меня, силы я в себе чувствую немало. Их мне дает бесконечная моя благодарность к тебе и, конечно, к Богу,

который послал мне такой светоч. Вот и сейчас хотела написать очень серьезно о моем мудром житии, а не могу быть серьезной, все разливается в какой-то улыбке, хочется прыгать, носиться и вся душа залита ярким, ослепительным сияньем. И все это только от мысли о тебе, оттого, что ты есть, что ты такой прекрасный и что *такая безумная радость будет тебя увидеть!* Вот что на дне этой мудрости! А так, видит Бог, что трудно найти человека серьезнее и добродетельнее меня. — Ну довольно болтовни. — На днях я пережила сильнейшее впечатление. Я провела вечер с В. М. Васнецовым<sup>124</sup>. Какой это удивительной силы ума и самобытности человек. Сколько в нем жизни и огня. Я была в восторге от него и думаю, что даже больше буду теперь любить его вещи. Больше буду верить в их подлинную, горячую жизненность. Хотя в существе своем он слишком догматичен и тяжел и деспотичен, наверно. — У нас в издательстве — драма. Рачинский совсем болен<sup>125</sup>. К моему ужасу, он избрал меня своим другом и рвется ко мне неудержимо. Слава Богу, сейчас его засадили дома. Пока для дела это неважно, но в будущем, если это не изменится, то придется искать кого-нибудь. К сожалению, наше дело является для него центром жизни. Все его чувства и мысли вертятся кругом этого всего. Пока мы осторожно его обходим и конфиденциально все с Сергеем Никол<аевичем> решаем<sup>126</sup>. Читаю твоего «Григория VII» — очень интересно<sup>127</sup>. Умоляю тебя написать *подробно* о твоём здоровье, помогает ли вегетарианская диета, пьешь ли часто соду? Все напиши. Что твоя работа? Если ты действительно будешь работать так, как пишешь, т. е. 6 час<ов>, то это хорошо. Тогда и немного шляться можно. Радуюсь, что ты видишь такую красоту. Я ее как-то сейчас переживаю. Так и вижу Via Appia, и особенно красив вид на Рим против Pinchio. Что ты скажешь об Аполлоне<sup>128</sup>? Неужели он не прекрасен, по-твоему? Действительно живой носитель муз! Вся красота искусства как-то в нем живая и красота человека. Что тебя там особенно сейчас поражает и захватывает? Напиши обо всем, а то я больше писать не стану и настроение изменится. До свиданья, мой ангел, Христос с тобой. Целую очень, очень крепко.

Твоя Гармося.

#### 70. Е. Н. Трубетшой — М. К. Морозовой

[12 января 1911 г. Рим. В Москву.]

№ 8

12 Января 1911

Милая моя хорошая, прекрасная и дорогая Гармося

Так много хочется тебе сказать, что не знаю, с чего начать. Получил твой № 5 и ужасно доволен твоим настроением, бодрым и даже слегка игривым. Я так надеялся на моего хорошего и милого Ваньку-Встаньку, что ты духом надолго упасть не можешь и сейчас же опять выпрямляешься. С волнением буду ждать, что скажет Шварц про Мику. Я тоже думаю, что для тебя Москва, где ты можешь заняться, — куда лучше, чем Ривьера, где ты обречена бездействию. Волнует меня и вопрос об издательстве и Рачинском. Получила ли Маруся мою открытку? Что касается твоей философии, то крайне удивлен выбору такой рационалистической суши, как Гегель, Лотце же не знаю. Уж лучше прочти ты сначала Куно Фишера — «Историю философии после Канта». Думаю, что тебе Шеллинг во всяком случае роднее Гегеля.

У меня тут сильные переживания — как-то вдруг и Рим и работа о Соловьеве *сошлись в одно*, и не случайно. Пишу я как раз про соединение церкви и папизм Соловьева и все вспоминаю, что он не был в Риме. А между тем какое откровение Рим о католицизме, как тут каждый камень вопиет о его духе. Вижу я тут громадные храмы — Петра, Павла, Maria Maggiore — все без малейшего религиозного настроения — мраморно-золотые, великолепные дворцы, выстроенные папами для Бога. На всех сводах папские гербы — сочетание «ключей царствия Божия», вошедших в герб, — с гербами римских аристократических фамилий, из коих папы выбиравались. Обхожу дворцы этих фамилий — Borghese, Colonne, Doria-Pamfili — и узнаю в них тот же мрамор и золото, тот же стиль и дух, те же гербы, как во храмах. Выстроили для Бога



дворцы, а Бог в дворцах не живет, и народ это почувствовал. Отсутствие молящихся гнетущее, давящее. Сегодня был в соборе Павла в день поминовения обращения Павла. Храмовый праздник, торжественное богослужение. И что же — не было и сотни молящихся, меньше, чем у нас в захудалой деревенской церкви в воскресенье, и все больше любопытных из туристов. А собор в 1½ раза больше нашего храма Спасителя, и в нем — торжественный парад духовенства — без верующих. Вот что сделала «Теократия» и та внешняя власть, которую Соловьев считал условием *действующего христианства*.

Сколько раз я убеждал Соловьева поехать в Рим, но он, кажется, просто боялся. А будь он здесь — гораздо раньше кончилась бы его «Теократия» и глубже бы он оценил православие, которое сделало одно великое дело: положило *грань* между мистическим и здешним, не дало ему слиться с мирским, презрело храмы-дворцы и ушло на Афон — созерцать свет горы Фавора, тот самый, что ни в дворцах, ни в хижинах Петровых не умещается.

И этим спасло веру. Ибо что же остается от веры, если вынуть из нее мистическое? Кто поверит в царствие Божие, если ключи к нему — принадлежность папского и аристократического гербов? Вот тебе вкратце, душа моя, мои последние впечатления. Ах, хотелось бы тебе показать все это, чтобы ты это со мной пережила. Всего труднее не делиться с тобой ежечасно всем этим. И читать тебе не могу, что пишу. А теперь — подвожу итог главы и чувствую, что опять выходит что-то значительное, потому что перо волнуется и переживает подъем. Ну прощай, душа моя, крепко тебя целую.

### 71. М. К. Морозова — Е. Н. Трубецкому

[14 января 1911 г. Москва. В Рим.]

№ 7 14 янв<аря>

Дорогой друг Женичка! Как я рада, что мое письмо из деревни не пропало. Сегодня Маруся получила твое письмо и я получила № 7<sup>я</sup>, спасибо, милый друг, за оба твои письма. Маруся также очень обрадовалась. Посылаю тебе повестку на заседание философск<ого> кружка сегодня. Теперь предполагается целый ряд рефератов кружка. Я очень рада, что эти собрания сами собой возрождаются, без моего усилия. Значит, они нужны<sup>129</sup>. В эти дни много думаю о планах школы, о способах внести и создать в ней дух, соответствующий нашему направлению<sup>130</sup>. Пока это все еще очень неопределенно, потому тебе не сообщаю. Как только что-нибудь выяснится, сообщу тебе. Делать что-нибудь по заведенному и заведомо ложному порядку — не хочется и начинать. Хочу верить и надеюсь, что удастся внести и воплотить что-нибудь свое, особенно дорогое. Очень радуюсь, что ты доволен изданием Киреевского и что он так нужен. Вот когда мы соберем *всех* русских мыслителей, то можно подумать и об изданиях для народа. Вот два очень важных и нужных дела. Сейчас мы обдумываем сборник Соловьева. Напиши мне, *какие две* твоих статьи пустить? Если первой твою первую главу книги (характеристику), то мне нужно дать тогда мою рукопись? А второй поместить то, что ты читал в Психолог<ическом> Общ<естве>? Так целиком, или ты там что-нибудь передделаешь? Все это нужно знать скорее, т. к. скоро начнем печатать сборник<sup>131</sup>. Волжского в нем не будет<sup>132</sup>. Я совсем поправились и чувствую себя хорошо. Настроение покойное. Я радуюсь, что твоя работа идет. Надеюсь, что В. А. теперь будет отдыхать как следует. Как это у тебя нет *твоей* комнаты, не мешает ли это тебе и не утомляет ли? А как здоровье? До свиданья.

Крепко целую.

### 72. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[17 января 1911 г. Рим. В Москву.]

№ 9 17 Января

Милая и дорогая Гармося!

Все мои попытки найти в Риме спокойствие для Верочки и для меня рухнули внезапно и совершенно неожиданно. Я чувствую себя точно раздав-

ленным. *Верочка все узнала* сама, каким-то ясновидением, с такою точностью, что даже определила срок и прямо указала на прошлую *весну*, когда это произошло. Она все угадала по внутренним переменам в моей душе, все чувствовала, о *какой тайне* я умалчиваю, но не решалась сказать из-за сомнений. И в этом причина, почему ничто не могло помочь ее душевной боли. Вдруг вчера прорвало, и она мне сказала это à bout portant\*. Я долго молчал, пораженный громом, а потом *не мог* не сказать всю правду. Все мое нутро восстает против лжи, которая мне окончательно невыносима, а в данном случае и *совершенно невозможна*.

Теперь она в ужасном состоянии, потому что как ни страшно это внутренне сознавать, услышать подтверждение — все-таки еще ужасней.

Теперь она второй день ничего не ест, больна совершенно; все это пребывание в Риме меня тревожит какой-то сухой, упорный и не прекращающийся кашель.

Дорогая моя, милая, хорошая, из глубины отчаяния моего пишу тебе и молю тебя: помоги мне! Верю в душу твою и в силу любви твоей ко мне, оттого и молю. Я чувствую, что если я все оставлю по-прежнему, то убью ее и погибнет и моя душа. Друг ты мой дорогой, помоги, сделай то, что я тебя просил сделать в минуту жизни трудную!

Пойди к Антонию в Донской; а если его нет — за Троицкой лаврой есть сердцеведец, Алексей, кажется (мой брат Гриша знает). Я дошел до того, что не доверяю больше себе: мне не человеческий нужно голос услышать, а божеский и подчинить свою волю ему. Пусть святой какой-нибудь человек скажет, что тут делать и мне и тебе. Пусть будет нам всем трем Божья помощь.

Я знаю одно, что нельзя больше лгать, надо покаяться и сделать правду. Но как ее сотворить так, чтобы была действительно полная правда? Где то, что спасет и ее, и *твою*, и мою душу? Как дальше устроить свою жизнь, чтобы собственная моя вера не *жгла* мукой и чтоб не строить моего благополучия на таком несчастье. Дорогая моя, мне *нужен* выход, и такой, который спасал бы также и *твою* душу, перед которым бы и ты преклонилась бы.

Ах дорогая моя, береги ты свою душу и не делай ей зла. И не может сделать ей зла то, что ты сделала из любви к моей душе. Будь я в Москве теперь, сам бы пошел к Антонию, а теперь не к кому. Но чувствую всеми силами то, что говорил тебе и перед отъездом. Буду говеть перед Пасхой; и если тогда не принесу к алтарю твердого намерения исправиться, в чем грешен, то не будет мне это во спасение. И буду оттого безгранично несчастен. Дорогая моя, — *горячая и страстная любовь* к тебе говорит во мне. Нужно спасти и твою и мою душу. И для спасения не может быть нам нужно разное. Крепко тебя целую.

73. М. К. Морозова — Е. Н. Трубецкому

[19 января 1911 г. Москва. В Рим.]

№ 8 19<sup>е</sup> янв<аря>

Дорогой друг! Получила твое письмо — 7<sup>е</sup>, спасибо большое за него. Ты только ничего не пишешь о своем здоровье, подробностей, как я просила. Что В. А., напиши о ней? Ты наверное знаешь о циркуляре Кассо из газет<sup>133</sup>. В университете тревожно! Веня<sup>134</sup> говорит, что если возникнут беспорядки, то Мануилов и К<sup>о</sup> подадут в отставку и тогда начало конца автономии. Если университету придется это переживать, тяжело тебе будет, и особенно там, вдали. Я очень рада, что ты так *живо* переживаешь в Риме все крушение теократии. Это очень важно, может быть, пережив эту картину так сильно, ты напишешь что-нибудь очень глубоко перечувствованное. Вообще дай Бог, чтобы все это время дало тебе как можно больше. Вообще мысль о *границе* между здешним и мистическим — твоя основная мысль и исходная точка твоей критики. Весь твой Соловьев, весь «Григорий VII» на этом построен. Тебе сейчас Рим все это ярко уясняет, а мне очень ярко это все дает твой

\* В упор (франц.).

«Григорий VII». Для философского анализа, для познания — эта мысль о грани между двумя мирами очень удовлетворяет. В самом деле, насколько же не соответствует миру умопостигаемому наш естественный мир. Чтобы разобраться в том и другом, где кончается одно и начинается другое, необходимо строго разграничивать. Но, по-моему, в религиозной сфере это как-то недостаточно. Нельзя служить Богу и мамоне. С одной стороны, презирать мир, предписывать насилеи аскетизм, а с другой стороны, бежать за властью, силой, корыстью. Разве может не погибнуть подобное начало само по себе. И очень понятно, что католицизм гибнет, как ты пишешь! В этом смысле, как понимал католицизм, необходимо уйти внутренне на Афон, действительно положить внутреннюю грань между двумя мирами, чтобы спасти святое. Но тут-то и наступает самое важное: *любовью* надо снимать эту страшную грань, надо делать то, что делал Христос. Недаром же он не сидел на Афоне, а дни и ночи бился с людьми. Никому насильственно ничего не предписывал, а путь к свету указал через свободное, внутреннее преображение. В этом смысле православие по духу куда ближе к Христу. Никому оно ничего с ножом к горлу не предписывало и внешнему закону не поклонялось. Чтобы снять эту грань, надо найти совсем особый творческий прием, как преобразовать душу, как создавать из души и из жизни творческое, прекрасное изнутри и свободное. Это то, что есть лучшего у Соловьева, — *свободная теургия*. Здесь ни чувство, ни мысль не могут остановиться на мысли о *границе*. Здесь грань снимается, и рождается новое! Пока это только мечта далекая, но дорогая, и не жаль отдать жизнь, чтобы хотя не терять в душе чувства близости к этой тайне, чувство интимного прикосновения к ней. Этого еще нет в мире, но это будет, и надо идти к этому. Все Евангелие проникнуто этим призывом к бодрствованию, потому что близко, при дверях! Это очень, очень важно. И еще тайна в том, что один человек не в силах стать совсем свободным, не в силах преобразить свою душу. Это, по-моему, возможно только во взаимной любви и в деятельности всех вместе. Я бы много могла писать об этом, самая моя любимая тема. Как нужно и как мне хочется, чтобы ты нашел этот синтез в душе, не в уме, и все это написал бы так, как я мечтаю! Ты можешь и найдешь форму для этого. Главное искать — и найдешь.

Целую крепко. Твоя Г.

#### 74. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[20-е числа января 1911 г. Рим. В Москву.]

Милая и дорогая Гармося

С тех пор, как я писал тебе в последний раз, прошло несколько мучительных дней, и теперь стало легче нам обоим. Легче оттого, что с души спал тяжелый камень и что я больше не чувствую себя обманщиком; легче и оттого, что прервалось это невероятно тягостное молчание, в котором скопилось столько душевной боли. *Легче*, но вообще очень мучительно чувствовать себя причиной такого несчастья и такой муки.

Мучительно и тоскливо и по тебе, моя дорогая. Как часто мысль переносится к тебе в Москву и как ясно я воображаю и чувствую все твои мысли, интересы и занятия. И как я молю Бога, чтобы духовная связь между нами и нашими интересами не порвалась, а окрепла. Письма твои — большое для меня утешение и радость. С радостью вижу, что жизнь твоя наполняется. Вижу из твоего № 7 — и заседания кружка с очень интересной программой, и школа (как это ты заведешь там наш дух?), и издательство. Бедный Рачинский меня смущает и огорчает несказанно, во-первых, для него самого, потому что за этими припадками безумия скрывается личная трагедия, а во-вторых, и для издательства. Напиши о нем и как ты из этого выкрутишься.

Окончил небольшую главу об отношении Соловьева к церковному вопросу и славянофилам. Выказал совершенно для меня новую точку зрения на православие и католицизм, чему Рим очень помог. Если удастся найти переписчика, пришлю тебе копию. Думаю пойти к кардиналу Рамполле попросить у него ту докладную записку Штроссмайера о Соловьеве<sup>135</sup>, о

которой упоминается в письмах Соловьева, т. 1, стр. 192. Тогда напишу тебе, если удастся. Также предстоит возобновление знакомства с Monseigneur Duschesne<sup>136</sup>.

Обе мои статьи отдай в сборник для напечатания без перемен, причем 1<sup>я</sup> глава книги должна быть напечатана первой<sup>137</sup>. Ты ошибаешься, что у меня нет *своей* комнаты. Она есть, но в виде крошечного кабинета с одним столом и двумя стульями, и работаете там хорошо<sup>138</sup>.

Ах дорогая моя, милая, хорошая и любимая, как я молюсь, чтобы тебе было хорошо, чтобы силы и бодрость у тебя были, и как я тебя люблю, моя ненаглядная. Верю твоей душе и крепко надеюсь, что все светлое в ней восторжествует и что Господь укажет тебе путь.

Крепко тебя целую, моя дорогая.

P. S. Мое здоровье, т. е. желудок, не выше, но и не ниже среднего. В пансионе последовательно выдерживать вегетарианство невозможно, да и не очень впрок.

### 75. М. К. Морозова — Е. Н. Трубецкому

[23 января 1911 г. Москва. В Рим.]

№ 9 23 янв<аря>

Милый Женичка! Глубоко взволновало меня твое письмо вчера. Поверь мне, дорогой, дорогой и милый друг мой, что я всей душой с тобой! Переживаю, перестрадываю все, о чем ты пишешь. Душа у меня очень болит — тяжело. Надеюсь и верю, что Бог поможет и все будет к лучшему. Собираюсь с силами, чтобы писать тебе. Каждое слово этого письма продумано, выстрадано, потому *каждое* слово прочти со вниманием. В сущности, это хорошо, что все так случилось. Меня это не поразило, и я вполне понимаю В. А., что она должна была к этому прийти. Это *единственный* путь, чтобы у Вас наступили более искренние отношения и вообще стало бы легче между собой. Это все к *лучшему*, поверь мне, хотя и тяжело это переживать. Но лгать вообще ужасно, да и ни к чему. На лжи жизни все равно не построишь. Будь же тверд, мой друг, трудно тебе, но верь, что это все к лучшему. В. А. будет постепенно легче, ты увидишь. О здоровье ее не теряй головы напрасно, мой милый, помни, что доктора сказали, что *органического* ничего нет. Все дело в душевном состоянии и нервах. Нужен отдых и успокоение. Как этого достигнуть, ты постепенно увидишь. А делаешь ты сейчас *все, что можешь*. Ты уехал с ней, а не со мной, и с ней останешься, от нее не уйдешь. Не теряй бодрости духа и будь покоен, что ты все делаешь. Я всю эту ночь переживала В. А. Если бы я могла прийти к ней, как-нибудь успокоить ее, хорошо поговорить с ней. Моя душа полна этим чувством. Затем должна высказать тебе *самое главное* для меня. Ты мне приносишь сейчас очень глубокие огорчения. Особенно все это больно сейчас, когда ты уехал, я совсем одна. Мне вообще очень трудно жить. Все сейчас, даже мое здоровье, изменилось, весь мой организм разладился. *Ты меня глубоко огорчаешь своей неправильной оценкой наших отношений*. Я решила было пока молчать об этом, но вот все твои события меня вынуждают высказать до дна души мою боль. Неужели в наших отношениях была и есть одна страсть, неужели они основаны *только* на эгоизме и грехе? Кто был твоим *живым* и *настоящим* помощником во всех твоих делах и мыслях? Кто *жертвовал* всем, чтобы двигать твое дело, чтобы окружать тебя, сближать со всеми душой? Кто раскрыл и дал всю *ширину, глубину* и *красоту* чувства, *к о т о р ы х* *т ы* *н е* *и м е л*, т. к. иначе не ушел бы от В. А.? Кто есть твоя *истинная* *духовная* *половина*? Кто живет и горит всякой секундой с тобой? *Где тут один грех, от чего тут искать спасенья, что я гублю?* Неужели все это можно назвать злом, грехом, падением? Как досадно и горько, что *мне* приходится самой все это говорить, а не слышать от тебя и не видеть главное, что это все дает тебе действительное счастье и удовлетворение и нужно тебе для дела. Мне жаль, что я должна писать об этом, но *теперь* иначе не могу. Вижу, как ты забываешь все это важное и подчиняешься какой-то *идеэ* *fixe*, которая все затмевает и ты теряешь

твердость, теряешься. Думаешь об одном грехе, видишь один грех! Как будто ничего кроме греха и нет. Еще я хочу тебе сказать, что когда ты будешь исповедоваться, ты не можешь говорить о наших отношениях *как только о грехе* и умалчивать обо всем, что является их *основой* и *смыслом*. Ты не смеешь сравнивать наши отношения с чувственностью и паденьем. Ты не смеешь перед Богом унижать мою святую, в которую я вложила мою душу. Помни, что ты нанесешь мне тяжелую рану. Все это, чего ты не чувствуешь, есть *единственное*, чем ты можешь мне отплатить за все, не оскорбить моей души, и так оскорбленной всем твоим отношением. Ты также не должен забывать, что В. А. знала о твоём чувстве и решила, что *«она не хочет в тебе ничего гасить»*, также и о моем чувстве к тебе она знала и *признала, что оно нужно тебе*. Не странно ли теперь, после *четырёх лет*, начинать все снова, перестрадывать все, что давно уже было ясно? Я смело говорю о своём чувстве, т. к. знаю, что оно не есть прихоть, а смысл и спасенье души и жизни моей. Пять лет борьбы и страданий, пять лучших лет, они стоят двадцати, и опять все страдания без конца. Вообще же уверяю тебя, что я спокойна и уверена во всем. Что касается до «греха», т. е. проявление чувства, то ты борись и побеждай, друг мой. Меня поражает одно, что же я, насилую, что ли, тебя? Заставляю, что ли? Не хочешь, не можешь, ну и не нужно. Ради Бога успокойся на этот счет. Если ты и В. А. видите весь смысл Вашего несчастья *в этом* одном факте, все спасенье жизни и всю действительность христианства *в этом*, то эта задача очень просто разрешается. Не нужно, вот и все. По поводу старца я думала много и пришла к отрицательному результату. Не только я, но и Лёля не решается идти к старцу. Опасно, страшно, можно хуже нарушить свою душу. Где клятва, там и преступление. А потом, боюсь впускать в душу того, кто вне жизни. *А я вся в жизни, в монастырь не пойду*. Я стараюсь молиться, верю, что Бог меня не оставит, даст силы. Видит Бог, что я не хочу зла, не хочу отнять тебя от семьи, а стараюсь любить все твое. Если же ты считаешь злом проявление чувства, то борись с ним. Очень прошу тебя быть покойным. Пиши чаще и подробнее — я тревожусь. Целую крепко.

#### 76. М. К. Морозова — Е. Н. Трубецкому

[26 января 1911 г. Москва. В Рим.]

№ 10 26 янв<аря>

Дорогой друг! Вчера получила твое письмо и немного успокоилась. Очень рада, что теперь легче, хотя я понимаю и чувствую, поверь мне, как трудно и сколько приходится перестрадывать. *Не забывай*, однако, что *нет* на свете жизни без страданий, испытаний и креста. *Поверь*, что мне и всем, кого я знаю, вовсе не легче. Очень мне интересно, что ты написал о католицизме и православии. Если только возможно, вели переписать и пришли. Много можно сказать глубокого, психологического, разбирая эти два пути. Я как раз сейчас собираюсь читать Добротолбие, Несмелова<sup>139</sup> и книжки Новоселова<sup>140</sup>. Все это мне приносит Серг<ей> Ник<олаевич> Булгак<ов> — он очень хороший и отзывчивый человек, мы много с ним беседуем. В этих книгах я ближе познакомлюсь с настроением православия. Я всегда ненавидела дух католицизма, он мне глубоко чужд. Не люблю все это в Соловьеве. Особенно много противного у меня связано с католиц<измом> с детства, т. к. мама и ее родные все ярне католики<sup>141</sup>. Мне очень интересно привести эти чувства и оттенки к сознанию. Напиши об этом. У нас в редакции много волнений. Рачинский все еще в лечебнице, хотя ему лучше. Что и как будет с ним, покажет будущее. Если ему будет хорошо, то это ничего, если будет плохо, то я как-нибудь через родственников постараюсь отделаться<sup>142</sup>. Теперь я очень волнуюсь книгой Соловьева. Я боюсь, что ее конфискуют. Я показывала некоторые места Никол<аю> Васил<ьевичу>, и он их показывал другим, и они находят, что опасно. Мы думаем вычеркнуть опасные места, т. к. Рачинский раньше не подумал и книга уже напечатана<sup>143</sup>. С Солов<ьевским> сборником ничего не выйдет, т. к. мы слишком поздно о нем подумали, и все

статьи, кроме твоих, Булг<акова> и Берд<яева> неинтересны или уже обещаны в журналы. Булгаков не успеет свою написать. Мы или совсем не будем выпускать сборника, или отложим до осени<sup>144</sup>. Это лучше, я думаю, т. к. тогда попрошу Льва Мих<айловича> написать. Л<ев> М<ихайлович> бывает у меня очень часто, мы очень много с ним философствуем и на глубокие темы. Сегодня собираюсь «веселиться» у Якунчик<овых><sup>145</sup>, за ужином моим кавалером будет Серг<ей> Алекс<андрович> Щербат<ов><sup>146</sup>. Наш отъезд за границу, и именно на Ривьеру, решен, мы едем в Бардигеру или в Cannes. Хотя Шварц за Бардигеру, т. к. там санаторий. Я *ужасно* расстроена этой поездкой, т. к. должна нарушить свои занятия. Мы едем 20<sup>го</sup> февраля. Мика и Маруся останутся там 2 месяца, а я вернусь к Пасхе, т. к. мне нужно устраивать все в деревне, потому что Мику сейчас же по возвращении надо отправить туда. Эта поездка, к сожалению, необходима, как я ни старалась ее отклонить. Мне, главное, жаль своих занятий философией, которыми я так увлечена. О моем увлечении, о милом Канте, я напишу тебе потом, и с особой, самой нежной любовью, которой я опять к нему преисполнена. Собрание с Гессеном было интересно, была борьба «меонизма» с реальным идеализмом (не знаю, как назвать). Причем за отсутствием профессоров (было экстренн<ое> засед<ание> совета) разверзлись уста Огнева, Шпетта, Степуна, Фохта<sup>147</sup>. Они разболтались и разострились — но не к своей выгоде. Огнев мне нравится, он тоже у меня бывает теперь. Ну, до свиданья, пиши скорее обо всем. Целую крепко.

#### 77. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[Конец января 1911 г. Рим. В Москву.]

Милый и дорогой друг Гармося

На твое письмо отвечаю тотчас по получении. Дорогая моя, зачем так писать? Где и когда я говорил, что в наших отношениях одна страсть, один эгоизм и один грех? Не говорил ли я тебе двадцать тысяч раз противоположное! И право, если бы наши отношения были таковы, то нечего было бы особенно над ними мучиться! Прекратить их, и конец! И никакой драмы тут нет в прекращении того, что «один грех».

Сотый раз тебе повторяю, моя милая, что совсем не в этом трудность и тяжесть положения, а в том, что тут возвышенное, дорогое и греховное перепутались и сплелись так, что нужны нечеловеческие усилия, чтобы понять, где начинается одно и где кончается другое! Ты предлагаешь чересчур простое разрешение вопроса о «грехе». Но скажи по совести, сама-то ты очень ли веришь в эту простоту?

Я скажу вот что: это «греха просто не нужно» невероятно трудно! Трудно *мне*, потому что, когда я тебя вижу, во мне поднимается страшная сила чувства, и потому что я тебя люблю, и просто оттого, что бывают степени очарования, которым может противостоять только сверхчеловеческая сила. «Не грехи, вот и все тут!» Ну, а как тут быть, если одна улыбка сводит с ума, если ты со своей стороны испытываешь то же? Ограничивать себя во всем? Меньше видеться, считать минуты, «быть осторожным» и т. п., когда от внутреннего давления грудь готова лопнуть и когда в то же время на тебя эта «осторожность» действует как оскорбление! Все это к тому же было, все это испробовано и к чему же это привело?

А между тем бороться надо, Гармося, — во имя всего святого более чем когда-либо надо. Ты знаешь, до какой степени меня измучил этот грех, как он истребал мне душу. Раз в одну из самых твоих милых и дорогих для меня минут ты мне прямо ответила на поставленный вопрос, что рано или поздно я от этого греха должен отойти, иначе я не буду я, если не буду жить по своей вере.

Ты видела много моих мучительных минут! Во сколько же раз это мучительнее теперь, когда *она* все знает и скрывать от нее дальше — *невозможно*. Если я с легким сердцем буду продолжать, говорить ей в лицо, что живу вопреки всему, во что верю, видя, что это — для нее *смерть*, то чем

и кем я после этого буду? Я имею гораздо больше оснований, чем ты думаешь, бояться за ее здоровье, когда *я знаю* от Шварца и от других, что у нее *начинался*, хотя и остановился, туберкулезный процесс; Шварц нередко высказывал по этому поводу *опасения*. Но тут есть многое еще серьезнее болезни. На вопросы о ее здоровье она часто отвечает, что «когда у человека вынули душу, у него не спрашивают, болит ли у него мозоль»; и это правда! Продолжать то, что было, значит вынимать из человека душу! Если другого дать я ей не могу, то одно я ей должен дать. *Она должна видеть, что я живу в правде!* Только это может примирить ее с жизнью, хотя бы и при наличности *чувства* к тебе.

Еще скажу тебе, моя дорогая, что по *правде* у меня теперь такая тоска, от которой временами не знаю, куда деваться! Если эта мука будет продолжаться и расти в Москве, то мне останется одно из двух: или сойти с ума, или в самом деле стать отшельником, уйти от мира.

Дорогая моя, ты писала мне на днях, как неполна жизнь ушедшего от мира, что надо оставаться в миру, *действовать* в нем и давать людям. Гармося, видит Бог, как я этого хочу. Вот почему я и обращаюсь к тебе с мольбой; больше тебя никто не может для этого сделать, чтобы сохранить меня в миру, чтобы я не был вынужден уйти от всего. Господи, как мне хочется сохранить все святое, что есть в наших отношениях. Подумай об этом: ведь если б я предполагал в наших отношениях «один эгоизм и страсть», я не обращался бы к *святым* твоим чувствам, не просил бы у тебя ничего во имя *святого* чувства любви. А между тем я *только* к нему и обращаюсь.

Но, милая моя, чтобы сохранить меня и наши отношения, недостаточно просто пожелать, чтобы не было греха; надо принять какие-нибудь действительные меры для обуздания себя. Пойдешь ли ты на это? Не примешь ли как «оскорбление» или знак холодности?

Я, например, часто думаю вот о чем (пока говорю тебе одной на свете и не сообщай никому). Мне нужна помощь Божия, — я это чувствую всеми силами души. Что ты скажешь на то, если весной, *вместо того* чтобы в мае приехать в Москву, я поеду на Афон (конечно, один) и проведу там в молитве часть лета! Вот тебе испытанье! Примешь ли ты это как «оскорбление», знак холодности или, напротив, как знак того, что я в молитве ищу сил *сохранить* наши отношения? Я пока не остановился на этой мысли; но мне крайне важно знать, как бы ты к этому отнеслась, если бы я это сделал? Это, разумеется, только один из примеров того, что можно делать!

Тебя к «старцу» не решаюсь посылать, хотя мне очень жаль, что ты этого не сделала, потому что Божья помощь нужна *и тебе*; святые люди дают ее *всем существом* и обнаруживают часто великое сердцеведение; потому что быть *над жизнью* вовсе не значит не понимать жизнь. В монастырь тебя никто бы не послал, но облегчение и *проверку* совести ты конечно бы получила. Ну да, впрочем, для этого нужно настроение, которого у тебя, по-видимому, еще нет.

Крепко тебя целую.

78. М. К. Морозова — Е. Н. Трубецкому

[1 или 2 февраля 1911 г. Москва. В Рим.]

Дорогой Женичка! Пишу экстренно по поводу ужасного события. Завтра *все* тебе напишут. Дело в том, что Мануилов, Мензбир и Минаков *уволены* совсем и от ректорства и из профессоров. Сегодня подали в отставку 12 профессоров и 24 приват-доцента. Из профессоров: Вернадский, Хвостов, Петрушевский, Умов, Чаплыгин и др., из доцентов Николай Васильевич Вернадский, Никол<ай> Васил<ьевич> и Хвостов спрашивали у меня твой адрес и решили тебе писать письма. Телеграмму посылать не решились, чтобы не спутать. Все ожидают, что и ты подашь в отставку. Это ужасно, хотя действительно иначе нельзя. Одно горе, что и тут нет настоящей солидарности. Ключевский отказал, Новгородцев, Булгаков и Котляревский колеблются<sup>148</sup>. Не знаю, как ты решишь, но, вероятно, тоже выйдешь. Какое горе! Кругом черные, черные тучи нависли! Главное, жаль твоей работы со

студентами и семинарий по Соловьеву! Если это должно кончиться навсегда, это ведь ужасно! Ну, до свиданья, милый друг, будь бодр. Сделай для меня: не беспокойся и не мучься обо мне. Будь уверен, что с этой стороны будет все хорошо и так, как тебе нужно. Я надеюсь, что Бог мне даст силы быть твоим другом и поддержкой, и ты меня поддержи. Пиши чаще и больше обо всем, не стесняйся, я теперь все могу слушать. Какое горе! Сегодня получила твое письмо и уже послала ответ днем.

### 79. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[Первые числа февраля 1911 г. Рим. В Москву.]

№ 13

Милая и дорогая Гармося

Ко всем бывшим и настоящим волнениям сейчас прибавилась одна гложущая забота — университет. С тревогой и ужасом слежу за событиями в Петербурге и в Москве по итальянским и русским газетам. Сейчас под впечатлением возвещенной телеграфом отставки московских профессоров. *Каких?* Вот источник волнения! Чувствую, что правительство решилось вышвырнуть вон все порядочное или заставить профессоров *выйти самих*, сделав им жизнь невозможною. Вообще положение безвыходное: если победят студенты, университет превратится в революционный клуб. Если, что вероятнее, победит правительство, университет превратится во что-то среднее между участком или чайною русского народа. Я люблю университет, крайне боюсь поэтому, что отставка с минуты на минуту может стать нравственно обязательною. Написал Мануилову, чтобы получить от него точные сведения на этот счет.

Вообще невесело, потому что университет в данном случае — частное проявление зла более общего и большего — разрушения культуры дикарями слева и справа. Неужели не дадут они ничему порядочному у нас образоваться? И неужели придется от *всякой* деятельности уйти — в чистое созерцанье? А что делать тем, кто не может созерцать или созерцанием наполнять свою жизнь? Сколько Шиповых, Г. Львовых<sup>149</sup> и иных полезных крупных сил выбрасывается за борт, когда мы так бедны силами. Просто отчаяние берет!

Сейчас получил твой № 11 и в восторге, что хоть ты не унываешь. Я же нахожу огромное утешение в моей работе, которая сильно двигается. Боюсь, что изо всей моей деятельности одна эта работа останется. Хотя, кто знает, может быть, для дела и нужно временно сосредоточиться на этом одном.

Ты спрашиваешь, приносит ли Верочке пользу Рим. Крайне трудно ответить на этот вопрос. Да, разумеется, сейчас в Москве было бы много хуже. Но ведь как раз теперь и так недавно прибавилась новая и такая невероятная тяжесть и боль. Во всяком случае, эта боль не из тех, которые *излечиваются* переменой места. Лучше в Риме, чем в Москве, но нож сидит в груди и тут.

Мое знакомство с Пальмери<sup>150</sup> продолжается, и очень интересно. На днях он меня ошеломил. Я был у него в келье (он августинский монах), и он показал мне *театр*, устроенный в их монастыре, где итальянская молодежь дает оперы и комедии под руководством католических монахов. Играются исключительно пьесы с нравственным сюжетом, и делается это в целях противодействия безбожному и безнравственному *светскому театру*. Что ни говори, а жизнестойкости и деловитости в католицизме хоть отбавляй! Ни один способ влияния не остается неиспользованным. Но только мало они достигают. Дюшен<sup>151</sup> — вообще большой острослов, на днях зло охарактеризовал папу: «Il veut transformer la barque de St.-Pierre en gondole vénitienne»\*. Папа, к<sup>ото</sup>рый кроме венецианской епархии ничего не знает, это — не в бровь, а в глаз.

\* Он хочет превратить корабль св. Петра в венецианскую гондолу (франц.).



Пальмеры ужасно боится, что узкий [одно слово нрзб] дух, бюрократия и невежество, коим этот папа наводняет церковь, вызовут новую реформу вроде лютеранской, и считает «модернизм» внушительным предостережением<sup>152</sup>.

Ну прощай, моя милая, дорогая и хорошая Гармося. Ужасно досадую на медленность моего переписчика, иначе давно бы прислал тебе 2 главы. Копии со статей Соловьева в Univers для меня снимаются<sup>153</sup>.

Целую тебя крепко.

### 80. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[9 февраля 1911 г. Рим. В Москву.]

№ 14 (?)

Милая и дорогая Гармося

Спасибо за твои письма, которые дают великую радость *вместе* с тобой переживать весь ужас московских событий. Для России это — кошмар. Такой удар тяжелый и грубый по первому рассаднику просвещения, по сильнейшему и лучшему из наших очагов культуры ужасен как симптом, как предвестник *катастрофы*, как крушение всякой надежды прийти к чему-нибудь хорошему мирным путем. Это прямая угроза окончательного *одичанья*.

Поэтому я все это переживаю болезненно. Для *внешней* деятельности исчезает почва под ногами; все рушится. Душа и мысль загоняются внутрь. И с этой точки зрения все эти события — провиденциальны.

Лично для себя я тут вижу прямо перст Божий. Целый ряд мучительных *личных* вопросов разрешается сам собой самыми недвусмысленными указаниями.

Вот, например, эта отставка причиняет в моем бюджете дыру в 8000 р <ублей>. Так как эти годы мы только сводим концы с концами, то существует *принуждение* радикально изменить жизнь, что легче всего будет сделать, переехав на зиму в Бегичево. Совершенно не вижу, как можно сделать иначе.

И вот эта-то *материальная* необходимость всему духовному — на пользу. Пострадают ли от этого мои духовные интересы? Думаю, что наоборот, это будет верным во всех отношениях. Вот ты пишешь про мой семинарий о Соловьеве. Верно, это та утрата, которая в моем расставании с университетом была бы мне всего тяжелее. Но я надеюсь, что ее не будет. Я могу устроить этот же семинарий при университете Шаняевского и надеюсь, что мои семинаристы туда с радостью пойдут<sup>154</sup>. А мне самому достаточно для этого приезжать в Москву раз в две недели! Лекции? Этого мне всего менее жаль. Ты знаешь, что они меня даже тяготили! Деньги? Тоже стать несколько беднее и быть вынужденным кое в чем себя ограничивать — одним упреком меньше. А вынужденное отшельничество теперь, когда как раз кипит внутренняя работа мысли, — да это *милость Божья!* Вдали от университета я делаю вчетверо больше; и нет бесплодной затраты сил на советы, комиссии, кипение в пустоте, нет безнадежной борьбы с глупостью правительства и радикалов (кстати — борьба *ненужная*, потому что они и сами *без нас* сумеют вырыть себе могилу)!

Подхожу к самому интимному. Отпадает то, что меня всего больше пугало, — необходимость постоянного жительства в Москве; а вместе с тем нет и принуждения к разлуке с тобой. *Внешние преграды* эти могут, разумеется, сделать наши свидания менее частыми, но зато и более спокойными и приятными, потому что эти свидания тогда не будут постоянно смешиваться с тревогой о том, *что дома*.

Теперь возможность этих свиданий будет зависеть не столько от внешних, сколько от *внутренних* условий, т. е. от того, какие мы с тобой оба будем. Но тут ты ради Бога не напирай на меня и не торопи меня. *Дай собраться с силами*, потому что слишком велико для меня очарованье, слишком все это горячо и страстно, а потому и трудно. *А надо*, чтобы все было совсем светло между нами.

Одна из главных мук, что для Верочки пребывание в Москве — медленная смерть, тем самым отпадает. Как будто, стало быть, что-то наконец намечается. А мыслей-то дорогих, выстраданных, с *тобой* пережитых, — сколько в голове и в душе! Как нужно уединиться, чтобы поработать надо всем этим. А что делиться всем этим будем, в это я верю и этим живу. Только ты, родная, не впадай в отчаяние; верь, что крепко, крепко и горячо тебя люблю.

Послал тебе одну главу, другую думаю послать на Ривьеру. Напиши скорее, куда адресовать письма и с какого числа. Нужно ли писать в Вену или Берлин. Крепко, крепко целую.

### 81. М. К. Морозова — Е. Н. Трубецкому

[11 февраля 1911 г. Москва. В Рим.]

Дорогой и милый Женичка! Посылаю тебе, во-первых, извещение о засед<ании> Соловьевск<ом>. — Была масса народа. Недурны были доклады Вяч. Иван<ова> и Бердяева, Блока — ерунда, а Эрн бледно<sup>155</sup>. В общем, *все* мысли у тебя есть, и куда интереснее и глубже. Посылаю повестку на мое собрание кружка. Этот Яковенко выступает впервые — посмотрим, каков он<sup>156</sup>. По просьбе Серг<ея> Иван<овича> посылаю тебе вырезку из «Русск<их> Вед<омостей>». Это дело Четверикова, и он счастлив победой. Удалось ему объединить таких тузов на духовной, чуждой интересам почве<sup>157</sup>. Это в самом деле торжество. Может быть, и для правительства будет важно. Получаешь ли ты газеты и знаешь ли все? Пиши ради Бога чаще, тебе ничего не стоит, а мне это *спасенье*, мой ангел, уверяю тебя. Подумай, сколько я должна всей семье давать и дело делать. Целую очень крепко, как люблю.

Твоя Гармося.

### 82. М. К. Морозова — Е. Н. Трубецкому

[Телеграмма. Москва. В Рим. Принята 24 февраля (11 ст. ст.) 1911 г.]

Suis desespoir complete deux mois lutte fait tout ce que toi meme voulais de moi esperant vaincre mes sentiments toutes ces circonstances inattendues brisent mon coer remplissent terreur supplie ne prends aucune decision sans moi perdre force espoir sans ton soutien tu dois connaitre mon amur sans borne ferais toute un monde pour conserver nos relations ne puis admettre que tu veille briser mon ame et ma vie voulais partir immediatement Rome suis retenue deux semaines telegraphies ecris<sup>158</sup>.

### 83. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[Телеграмма. Рим. В Москву. Принята 12 февраля 1911 г.]

Calme toi aucune decision prise lettre suivant deciderons emsemble supplie pas venir Rome\*\*.

\* Совершенно разочарована два месяца борьбы делают все что ты сам хотел от меня надеясь победить мои чувства все эти неожиданные обстоятельства сокрушают мое сердце наполняя ужасом умоляю не принимай никакого решения без меня теряю силу надежду без твоей поддержки ты должен знать о моей безграничной любви сделаю все на свете чтобы сохранить наши отношения не могу допустить что ты хотел бы разбить мою душу и мою жизнь хочу уехать в Рим немедленно задержусь на две недели телеграфируй пиши (*франц.*).

\*\* Успокойся никакого решения не принято письмо следует решим вместе умоляю не приезжать в Рим (*франц.*).

## 84. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[14 февраля 1911 г. Рим. В Москву.]

14 Февраля (кажется, № 16)

Гармося, моя милая

Чувствую, что огорчил тебя вчера; зато хочу сегодня порадовать (так ведь редко что-нибудь радостное бывает). Во-первых, мне сейчас доставлены копии Соловьевских статей из *Univers*, которые мы с тобой издадим вместе<sup>159</sup>. Статьи представляют некоторый интерес, хоть и мало дают нового. Но меня они несказанно обрадовали не этим, а напоминанием о том, что *наша с тобой совместная деятельность продолжается*. И уж от этого небольшого луча у меня в душе посветлело и стало *спокойнее*.

Вот если мы с тобой согласимся относительно основного, — все станет проще и легче, между прочим и вопрос о нашем ближайшем свидании весною. Если правительство не уволит нас *немедленно*, а будет требовать окончания принятых на себя обязательств, то, чтобы избежать напрасных обвинений и быть *во всем правым*, может быть, и лучше проэкзаменовать студентов весною. Если же я буду уволен раньше, то все-таки приезд в Москву необходим по другим причинам.

Если до тех пор мы согласимся с тобой на какое-нибудь решение, то свидание наше будет несравненно менее нервным, более радостным и менее опасным. Ужасно опасны именно те свидания, от которых зависит решение судьбы. Нельзя, чтобы в таком важном деле мешали нервы. Скажу больше: решение должно быть продиктовано *не чувством, а совестью*: только тогда оно нас обоих удовлетворит и прочно успокоит. Поэтому оно должно быть принято *раньше свидания*.

По поводу моего *дела* будь совершенно спокойна. *Сейчас*, т. е. в данную минуту, когда у меня зарождаются страшно важные переживания и мысли, я властно слышу призыв, выраженный Пушкиным:

«Твори, но в тишине, но в тайне,  
Не смея помышлять еще о славе»<sup>160</sup>.

Мыслям, как и доброму вину, нужна выдержка. Я чувствую, напр<имер>, теперь, что мое первое выступление о Соловьеве (в польской библиотеке) было не полезно, а вредно, ибо оно было преждевременно; мысль, *не вполне созревшая*, осталась непонятой и не вылилась в настоящую *захватывающую* форму. Теперь чувствую, что почти все написанное должно быть совершенно переработано, чтобы получилась не книга, а *живое* дело, и знаю, *как* это сделать.

Но для этого необходима тишина, некоторое отшельничество и сосредоточенность. *Без этого творчества нет!* Выступить и действовать необходимо, но для этого нужно иметь готовое, *с чем выступить*. Все прекрасное до рождения вынашивается, вымалчивается, *таится во чреве* и только потом рождается на Божий свет.

Сказать, что это значит «замкнуться в кабинете», — значит ничего не сказать. Скажи, пожалуйста, нужно было Пушкину, Гоголю, Достоевскому, Толстому «замкнуться в кабинете», чтобы произвести «Онегина», «Мертвые души», «Войну и мир»; заслуживает ли осуждения Иванов за то, что всю жизнь прожил в своей мастерской с одной *картиной*.

Ведь у меня в душе зарождается то же произведение искусства. Если оно родится раньше времени, будет недоносок; а торопить выступать с не готовым — вредно. А главное мое дело — все-таки в этом *выстраданном* произведении. Сегодня отослал мою 15 главу и жду *с трепетом*, как ты ее почувствуешь и переживешь; *точно от этого все наше с тобою будущее зависит!* Верю, что еще будем работать и переживать вместе!

А относительно дела и деятельности не бойся. *Живого дела* никакие внешние стеснения и запреты не погубят. Кто нам сказал, что именно *с этого момента*, с этой отставки не начнется настоящая моя просветительная, а может быть, и академическая деятельность! Возможно, что и так, если только

правительство не запретит нам *всякое* преподавание. Но если оно это и сделает, влияние наше сильно возрастет.

Целую тебя крепко.

Р. С. Сейчас получил твою телеграмму о сборнике Соловьева. Все изменения вполне можно сделать в корректуре: вели прислать. Но как быть со статьями самого Соловьева! Их я могу перевести только в Москве, имея под руками летопись [одно слово нрзб]. А Рачинского нет! Ровно через две недели едем в Неаполь и оттуда, вероятно, в Саргi.

### 85. М. К. Морозова — Е. Н. Трубецкому

[Около 15 февраля 1911 г. Москва. В Рим.]

Радость моя, сокровище мое Женичка! Наконец-то я вздохнула немного, наконец-то *некоторое* спокойствие вошло в мое сердце! Я увидела хотя некоторый просвет. Сегодня утром получила твое письмо, где ты пишешь, что Вы будете жить зиму в Бегичеве и что ты можешь работать в Университете Шанявского. Господи, Господи, благодарю тебя! Свет, сила, Бог не уйдет из моей жизни, Бог не покинет меня. Никто бы не допустил и ты сам меньше всего, чтобы В. А. тебя не видала, ее жизнь была бы разломана, полное одиночество во мраке и безнадежности. За что же меня подвергать тому же? Я ничего не прошу теперь, никаких ультиматумов не ставлю, никогда не сомневаюсь, что ты должен любить В. А. и детей и жить с ними. За что же меня бросать одну, без поддержки, без возможности поговорить с тобой, поплакать с тобой, порадоваться на тебя! Это жестокость, которая невероятна! Прости меня, мое сокровище и моя радость. Прости за мое отчаяние. Поверь одному, что оно было действительно безумно, изломало меня вдребезги! Я все это время и хворала и рыдала по целым дням. Не думай, что я боюсь борьбы, что я ослабну, что я не буду радостно идти вперед, быть лучше! Не сомневайся во всем этом. Я думаю и надеюсь, что эти два месяца громадной и трудной и *глубокой* работы тебе видны, ты их признаешь и они тебе могут дать веру и спокойствие за мою жизнь вообще. Но это все так, *только* если я знаю, что тебя увижу, что ты здесь, наше дело общее. Пусть мы будем видеться реже, но это ничего, если этой ценой будет хотя какое-нибудь спокойствие у В. А. и у тебя. Тогда и мне будет лучше. Но отдать *всю* мою жизнь я не могу, так же как и В. А. не может. Каждый хочет сохранить и верить в незыблемость своей почвы. Дорогой, бесценный, любимый мой, ах как я тебя безгранично люблю, как я тебя обожаю. Всю душу хочется отдать на общее дело с тобой. Чтобы *вместе* с тобой работать, чтобы ты весь, милый и прекрасный, проходил тут везде реальный, *живой*. Не могу я не считать смертью для себя, чтобы ты был далеко и по письмам мы общались друг с другом. Это возможно временно, я *все* вынесу, но мне нужно верить и знать, что ты будешь жить тут близко, ты *живой*! Разве может моя «еврейская» природа<sup>161</sup> жить иначе, а не умереть тогда, если солнце мое ушло! Нет, нет, нет, никогда, нельзя! Прости мое вчерашнее письмо, я была сумасшедшая. Пойми и прости. Сейчас я буду уже поправляться. После этого известия я сегодня первый день вышла к завтраку, волосы могли лечь в прическу и вид не с того света. Господи, мне только надо твердо знать, что ты никуда не уйдешь, а вернешься сюда. Я тоже тебе скажу, не торопи меня, дай мне собраться с силами, не бросай меня, не губи меня! Неужели нельзя в меня поверить, что я приду к хорошему так, как ты захочешь, но не одна — этого я не могу. Ты не можешь себе представить, *как* хорошо, что ты решил насчет Бегичева. Для твоей работы — это чудно. Я радуюсь всей душой! Насчет семинария я уже думала то же самое! Я тоже буду работать вовсю. Буду заниматься философией, собрания устраивать. Издательство и школа задают большие задачи. Еще об этом напишу после. Уверю тебя, что и в религиозном отношении я очень углубляюсь и развиваюсь! Уверю тебя! Может быть, во всем шагну вперед! Силы будут и у тебя и у меня! Родной мой, светлый мой, никогда никого не любила кроме тебя, и никто для меня на свете не может существовать кроме тебя, радость моя. Как ты смел воображать даже возможность какого-то господина! Да я тебя если

и люблю, то сейчас люблю еще в тысячу раз больше. Уезжаем мы в конце первой недели<sup>162</sup>, 26<sup>го</sup>, 27<sup>го</sup> или 1<sup>го</sup> марта. Пиши Берлин *Hôtel Continental* и *Bordighera* (кажется, так пишется) *Hôtel Royal*. В Рим я не поеду, будь покоен, мое сокровище! Будь спокоен, будь здоров. Христос с тобой, моя радость. Целую крепко.

Твоя Г.

### 86. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[19 февраля 1911 г. Рим. В Москву.]

Гармося, милая моя и родная

Боюсь писать тебе в Москву, потому что не знаю, когда ты должна выехать. Отправил тебе об этом две *телеграммы*; но одну вернули из Москвы, т. к. не доставало твоего адреса, а на вторую, посланную сегодня, ответа еще не могло прийти. Итак, рискую писать в Москву и, боясь пропажи, пишу немного.

Очень тебе благодарен за присылку открытого письма представителей промышленников. Но я прочел его уже раньше в «Русск<их> Вед<омостях>» — единственной газете, которую я получаю, и, разумеется, догадался, что это — дело С. И. Четверикова. Передай ему выражение моей глубокой благодарности и уважение за это доброе общественное дело: письмо написано с большим достоинством и без лишних фраз; оно мне очень понравилось<sup>163</sup>.

Очень рад видеть, что у вас философская жизнь по-прежнему кипит, и надеюсь еще принять в ней участие. Но сейчас думаю, что, даже и будучи в Москве, к «трансцендентализму» относился бы рассеянно. Уж очень захватывает грандиозная университетская драма, из-за которой работа о Соловьеве идет сейчас значительно медленнее и хуже. Кстати, судя по газетному отчету, Эрн по обыкновению подпустил в свою речь патриотического кваса и, конечно, наврал. Открытие «Софии» вовсе не принадлежит Соловьеву. У Баадера она так и называется «София» и совершенно так же определяется как «идея» или «мир идей»<sup>164</sup>.

Долго меня мучила мысль написать в газеты по поводу нашего ухода, долго останавливала трудность писать издали, не зная всего и с опасностью отстать от событий. Наконец не выдержал, написал и послал в «Речь», где она появится приблизительно одновременно с получением тобою этого письма. Посылаю в «Речь», потому что московским газетам, по-моему, запрещают печатать. Уж и будут же меня ругать и справа и слева. Я чувствовал себя обязанным всыпать и тем и другим, потому что и правые и левые умаляют значение нашей отставки, делая нас «забастовщиками», что вопиющая ложь<sup>165</sup>. Послезавтра (на 1<sup>ю</sup> неделю великого поста) начну говеть, а кончивши говенье, мы поедем в Неаполь.

Мальчики мои поехали в Сицилию *одни*<sup>166</sup>; теперь никаких осмотров я не произвожу (впрочем, уже давно) и ограничиваюсь гигиеническими и деловыми прогулками. Настроение теперь — временами подавленное общественным кошмаром и ужасом, нависшим над Россией; боюсь, что «сие есть начало болезней»<sup>167</sup>. Когда правые будут сметены левыми, эти покажут нам ужасы неизмеримо большие. И мы, т. е. культурная середина, будем опять и всегда гонимы.

Но в гонениях рождается все великое, прекрасное и ценное. А это дает надежду.

Крепко целую тебя, моя дорогая.

### 87. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[20 февраля 1911 г. Рим. В Москву.]

(кажется, 17 или 18; будем считать 18<sup>е</sup>)

Милая и дорогая Гармося

Вчера получил твоих два письма; утром — отчаянное, а вечером — утешенное, и соответственно с этим сам к вечеру утешился, а утром был

весьма мрачен. Сейчас буду говорить по поводу обоих этих писем. А пока утешу тебя еще маленькой весточкой. — Вчера получил копию с той части письма Штроссмайера к Рамполле, где говорится о Соловьеве; очень интересный неизданный документ. Соловьев ожидался в 1888 году в Риме, где *должен был* получить апостольское утверждение и благословение на дело католической проповеди в России (в действительности не явился)<sup>168</sup>.

Одно не знаю — публиковать ли документ в *сборнике* памяти Соловьева. Посоветуйся об этом с прочими членами «Пути» и скажи, что, по-моему, лучше такого рода документы поместить где-либо в другом месте в связи с пространым комментарием о католичестве Соловьева (напр<имер>, в приложении к моему сочинению), а не в сборнике, где, не будучи надлежаще комментирован, он собьет с толку читателя.

Относит<ельно> предложения Кубицкого есть много доводов за и против. *Против* то, что К<убицкий>, хоть и хороший филолог и древнюю философию знает, как рационалист и недаровитый человек совершенно не способен передавать ни мистической глубины, ни мистической *красоты* — поэзии Платона. За то, что хоть какой-нибудь перевод, сделанный человеком знающим, — все же лучше, чем ничего. *Можно* согласиться, хотя энтузиазма это не вызывает; но если остальные члены «Пути» очень запротестуют, я *настаивать* не буду, тем более что хороших переводов иностранных — сколько угодно. Как бы не вышел *мертвым* Платон у К<убицкого>?<sup>169</sup>

А по поводу твоих двух последних писем, дорогая моя, скажу вот что. Завтра начинаю говеть и прошу у тебя от души прощения. Всю неделю до Субботы буду молиться, чтобы все между нами было хорошо, чтобы Бог дал сил нам обоим на хорошую, святую и чистую дружбу и чтобы никакая неправда не вторгалась в наши отношения и не нарушала мир наших душ. Родная моя, вот если бы ты могла поговеть и с той же мыслью. Такие *ответственные* минуты приближаются для нас с тобой — и *страшные, оттого что слишком радостные*. дочитайвай и ты мои письма и пойми, что ведь не видел бы я опасности, если бы с моей стороны было равнодушие. Не холода я боюсь, а чрезмерной горячности *моих собственных* чувств.

А бояться есть чего. И ты и я чувствуем, что неправда, обман в будущем недопустимы. Стало быть, между нами должна быть такая истина, которая *не убивала*. Нужно сделать *сверхчеловеческие* усилия, чтобы это было так. Все мое значение и дело в жизни от этого зависит. Но, впрочем, нужно ли это тебе говорить? Дорогая моя, ты сама все это знаешь не хуже меня. — Но вместе с тем не могу и не говорить тебе этого, потому что сейчас вся душа моя этим полна. Помни, что вся наша задача теперь, предстоящая обоим, — *принять крест* (чего иудеи не захотели)<sup>170</sup>. И через крест мы с тобой не удалимся, а будем много, много ближе. Сколько раз на опыте я убеждался, как общее лишение и общая жертва нас с тобой сближает, милый мой, дорогой ангел и друг. Не потому пишу все это, чтобы сомневаться в серьезности твоих намерений, а потому, что хочу и сам в этих намерениях укрепиться и тебе помочь.

Крепко, крепко тебя целую. Пожалуйста, извести задолго о твоём отъезде. Очень боюсь, как бы все твои дети не переболели корью. Тут заразительность — огромная, даже непреодолимая.

Еще раз крепко целую.

88. М. К. Морозова — Е. Н. Трубецкому

[4 марта 1911 г. Москва. В Неаполь.]

4-е марта

Милый Женичка! Посылаю тебе по просьбе Сергея Ивановича экземпляр воззвания, написанного Сергеем Андреевичем. Пока оно конфиденциально роздано по рукам и собираются подписи<sup>171</sup>. Мы с Серг<еем> Иван<овичем><sup>172</sup> очень пожалели, что не ты это писал, т. к. написано слабо, по-моему, недостаточно для массы, на которую рассчитывают. Дай Бог, чтобы что-

нибудь вышло — это было бы внушительно. Сейчас получены твои корректуры — я еще не прочла, но видела, что ты кое-что исправил. У нас в издательстве все хорошо. Булгаковым и Бердяев<ым> я очень довольна — мы с ними все больше сходимся. Часто много и горячо говорим. Они относятся к делу очень горячо — заходят постоянно. Меня волнует вопрос о сборнике. Ты понимаешь, что мы, издавая ряд сборников, хотим этим выразить нашу боевую линию. Мы задумали поэтому написать предисловие к Солов<ьевскому> сборнику, как первому, и обозначить этим предисловием веги, по которым будем идти, вроде программы. Писать будет Булгаков. Т. к. меня соблазняет *боевая* позиция и увлекает мысль вести борьбу, то я сочувствую этому, но *боюсь*. Поэтому я сказала, что без *твоего* прочтения и согласия я нахожу неловким выступать с этой программой. Тебе будет прислано предисловие скоро. Ты напиши, как ты находишь данное предисловие, прокорректируй его и скажи, вообще согласен ли ты, что предисловие нужно. Ради Бога сделай это и обдумай. Эрн вообще пугает меня своей узостью — он отпугивает всех. Теперь, когда спор двух течений так остер, опасно отпугивать узким догматизмом. Ввиду этого хорошо ли предисловие? А с другой стороны, не определять своего облика, не ставя никогда ребром, — как-то безжизненно. Разреши мои сомнения — я тебе верю. Я тебе не сообщала о двух докладах Яковенко<sup>173</sup> и Степуна<sup>174</sup>. На обоих очень остро вспыхивали столкновения между христианами и неокантианцами или как их назвать. Видно, что спор разгорается по всякому поводу и встают ребром все вопросы по существу. Степун был разбит в пух и прах! Он не бездарен, но поразительно безвкусен и легкомыслен. Яковенко, по-моему, единственный, к которому стоит присмотреться. Несмотря на оболочку меонизма, его конечный идеал как будто религиозен, хотя пока еще бессодержателен. Я забыла тебе сообщить, что у меня явился новый знакомый, Кривошеин, знаешь, министр земледелия. Я его избегала, особенно ввиду университетск<ой> истории, противно видеть представителей власти. Но он очень энергично мне звонил, писал и приезжал. Меня это особенно заинтересовало потому, что он меня явно *интервьюирует*. Знает обо всех наших собраниях, кружках, изданиях и, видимо, очень хочет проникнуть во все. Меня поражает, насколько наивные и ложные у них там взгляды на все — это поразительно. Мы с ним воевали два часа насчет университета<sup>175</sup>. — Вот, кажется, все, что я имею сказать более внешнее. Еще хочется сказать, что я чувствую, что ты мной чем-то недоволен и думаешь, что я тебя не понимаю. Вообще ты ужасно там увлекся своей борьбой! Милый друг, так мне тяжело, так безотрадно жить, а жить так хочется! Ну зачем ты так все ненужно портишь, так не ценишь! Право, я не претендую составлять для тебя все — я сама хочу жить не только личным! Зачем же нам так омрачать и так тяжелую жизнь! Хотя одну минуту отвлекись от *своей* задачи и войди в мою душу и положенье и не будь так сух и суров, не разбивай всего! Будь более доверчив — вспомни, что не одни ужасы ты со мной переживал, а много радости! Почему же ты хочешь губить эту радость, что ты этим достигнешь и к чему?

89. М. К. Морозова — Е. Н. Трубецкому

[7 марта 1911 г Москва. В Сорренто.]

Дорогой, милый Женичка! Спасибо за дорогое письмо, мое сокровище. Если бы ты *понимал*, насколько мне легче, когда я получаю твои письма, то ты так не скупился бы. Спасибо за ласковые слова — долго их не слыхала! Ты меня заморил холодом и голодом! Спасибо за доброе намерение меня повидать! Ты не поверишь, как я устала душой! Конечно, сейчас я, с одной стороны, лучше себя чувствую, т. к. верю, что ты приедешь. Но с другой стороны, после этих потрясений, которые меня подкосили буквально, я стала ужасно как-то интенсивно все чувствовать и оттого страшно устала. Вследствие этого хочу уехать, переменить впечатления. Дети теперь совсем здоровы, и для них специально ехать не велят, но и им хорошо. Я возьму Мику

и Марусю, и мы поедem в Крым, т. к. за границу на короткий срок не стоит. Мы уедem отсюда в субботу 19<sup>го</sup> марта и вернемся 18<sup>го</sup> апр<еля>, конечно, если ты раньше не вернешься, чего я, впрочем, не думаю. *С воскресенья или понедельника* 14<sup>го</sup> марта уже пиши в Ялту *до востребования*. Перешлют ли тебе мои письма из Рима? А их много еще там. На днях пошлем тебе предисловие к сборникам, написанное Булгаков<ым>. Он только что был и читал его. Очень нужно твоё мнение. Я тебе писала, что это будет как бы программной статьёй «Пути», т<ак> ч<то> ты отнесись со всем вниманием, напиши, что думаешь и как находишь нужным выразить то, с чем не согласен. Я вообще сочувствую ясной и определенной постановке вопросов, особенно среди того хаоса, который нас окружает. Хорошо, что где-то есть чистые, светлые и жизненные идеалы. По-моему, тоже нужно трепетно чувствовать миссию России, но одно страшно, как бы во всем этом не пересолить и не вышло бы того, что сделал тогда Эрн в «Еженедел<ьнике>»<sup>176</sup>. Тут я надеюсь на твой ум, такт и, как всегда, на твой скептицизм. Твоя критика очень нужна, она всегда есть внесение предела в беспредельное. Это часто мучительный процесс, но я во многом готова ему добровольно подчиняться. Я склонна поддаваться увлечению чувств и романтизму — также и Булгаков. Хотя правильно проводится линия от славянофилов к нам, но как бы мы также вместо их лучшего тоже не впали в их грехи, с миссией России и православием. И то и другое нужно утверждать, но не заслоняться от мира. Кажется, в общем, все — да все это ты ведь знаешь. Только ты тоже не очень по-«римски» критикуй, боюсь я этого *не меньше*. Твои мысли и постановка многих вопросов меня очень волнуют. Но я во всем этом особенно ярко вижу, как твоей работе и тебе нужно — *мое*. Право, очень нужно! Не я, я не о себе говорю, а *мое*, das Ewig-Weibliche\*! Но и мне тоже *твое* нужно! Прав Соловьев, что только оба начала в соединении дают цельного человека. Ты так глубоко в своей работе забираешься, туда заходишь, откуда, чтобы дать разрешение не только в умозрении, а *в содержании*, нужна бездна подъема, жизни, красок, чувства! Иначе может выйти — провал, крушение, жизненная драма Платона! Это *то*, о чем мучается мое сердце! Но эти вопросы все впереди. — Пиши скорее. Ответь мне, пожалуйста, на следующие вопросы: подробно напиши, как твоё здоровье, что животик? Потом второе, как чувствует себя В. А.? Видно ли, что она отдыхает, есть ли заметная польза от Вашего пребывания там? Потом напиши, как Ваше настроение вообще? Ты писал, что стало «легче, но трудно». *Напиши об этом всем*, очень, очень прошу, мне очень хочется это все знать. Жду на это все подробного ответа. Сию секунду получила твою телеграмму и отправляю это письмо в Sorrento. Но боюсь страшного слова «Loreles»<sup>177</sup>? Что это такое? Это будет ужасно, если мои письма будут пропадать, только этого недоставало, тогда ты совсем писать не будешь. Завоспитываешь меня до смерти! Ужасно тебе хочется, чтобы я высохла и превратилась в «Лизаньку» или вообще в твой *вкус*. К сожалению — это никак невозможно! Все *делать* по-твоему я буду, моя радость и прелесть, но *чувствовать и быть* другой я не могу! Ну до свиданья, мой ангел, не сердись на твою Гармосю. Целую очень крепко.

#### 90. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[14 марта 1911 г. Неаполь. В Ялту, до востребования.]

Милая и дорогая Гармося, красавица моя милая и хорошая

Когда в день приезда твоего в Ялту ты увидишь море, подумай, что в это же время и я гляжу на море *почти то же*. Помнишь, это раз уже для нас было хоть маленьким утешением с той разницей, что тогда я глядел на Черное, а ты — на Средиземное<sup>178</sup>. Точно для того судьба сделала нарочно, чтобы я видел больше ярко-радужных синих красок, а ты — поменьше, чтобы каждый из нас приучался созерцать «свое противоположное».

\* Вечная женственность (нем.).



В этой шутке есть немного и серьезного — даже, пожалуй, и много. Вот сейчас я получил от тебя письмо хорошее, потому что более трезвое. Ты поняла в нем, что не следует так уж пугаться обоюдной нужной нам взаимной противоположности. Я думаю, что между нами всегда будет борьба и что она нам нужна. Поэтому избегать ее во что бы то ни стало, *замалчивать спорное* — большая ошибка. Это значит — замалчивать друг от друга свои особенности и свое нутро; а тогда какое может быть взаимное восполнение? Чтобы оно было, нужно не только до дна высказаться, но иногда и *взаимно рассердиться* (по Гегелю *синтез* должен быть непременно после антитезиса; у детей это называется друг друга прибить, а потом — поцеловаться).

А вот махать рукой и говорить: «все равно друг друга не переспоришь» — преступно [?] и против диалектики любви и против детской логики [этики?]. Все это, впрочем, я говорю теперь не во гневе и не в посрамление тебе, а в ласку. Недавно в письме прибил (антитезис), а теперь крепко целую (синтез).

А теперь отвечаю на твои вопросы. Во-первых, «животик» — плохой диалектик; то тезис, то антитезис (то расстройство, то запор); но гармонического синтеза за последнее время нет; а за предпоследнее время (в конце римского пребывания) было великолепно. Относительно В. А. — ответ на твой вопрос очень сложен. Она сейчас очень много молчит и таит — *избереженья меня*, старается даже выражением лица не выдать свои страдания, потому что видит, как это меня мучит, и вообще обо всем бывшем не заговаривает — все для того, чтобы не мучить меня. Но при отсутствии этих внешних проявлений, я все-таки знаю, что она только внешне овладела собою, но глубоко несчастна внутри.

Очень меня пугает то, что ты пишешь о предисловии Булгакова. Для меня из твоих слов совершенно ясно, что тут есть фальшивая нота. По-моему, не нужно нам *никаких* общих предисловий — пусть каждый отвечает сам за себя, а не так как в «Вехах» все отвечали за Гершенсона<sup>179</sup>. Славянофильства же — не потерплю: это то самое, против чего я борюсь: в нем  $\frac{3}{4}$  вредных иллюзий и  $\frac{1}{4}$ , которую следует продолжать! Достаточно ли этого, чтобы на первый план поставить наше духовное родство? Особенно не верю славянофильству Булгакова, Бердяева и Эрна; если хотят его выставить непременно как знамя, то пусть делают это в сборнике, где моих статей не будет. Мое отношение к славянофильству слишком сложно, чтобы я *просто* мог пойти под славянофильским знаменем, не выяснив, что я в нем отвергаю и что принимаю.

А о «миссии России» не говорить теперь нужно (слишком много было раньше хвастовства и невыполненных обещаний), а надо *делать дела*, свидетельствующие об этой миссии. А то опять наобещаем «русское» царствие Божие, а во исполнение дадим труды Владимира Францевича Эрна — *немецки* педантичное и непримиримое «всеславянство».

Целую тебя *очень крепко*.

## 91. М. К. Морозова — Е. Н. Трубецкому

[Середина марта 1911 г. Москва. Во Флоренцию.]

Дорогой мой Женичка!

Пишу впопыхах, тороплюсь послать тебе корректуру нашего предисловия к сборнику памяти Вл. Соловьева. Это то самое предисловие, о котором я уже тебе писала. Оно написано С. Н. Булгаковым и обсуждено и исправлено всеми нами кроме тебя и Рачинск<ого>, конечно. Все теперь зависит *от тебя*. Примешь ли ты вообще это предисловие как выражающее общий смысл нашего «Пути», определяющее его задачи и выражающее его облик? Это *по существу*. А затем находишь ли ты в *тактическом* отношении правильным и целесообразным такое выступление? Потом удовлетворяет ли тебя *это данное* предисловие, или ты находишь нужным сделать добавление или даже указать на важные стороны, упущенные? Или ты сделаешь исправления чисто стилистические? Так вот, мне поручено так тебя настоятельно просить (это необходимо, чтобы не задерживать выпуск книги, что будет неблагоприятно

для Изд<атель>ства). Сделай, пожалуйста, так: тотчас по получении этого письма и по прочтении *ты реши и телеграфируй* Знаменка 11, Книгоизд<ательство> «Путь» (т. к. меня не будет), согласен ли ты, да или нет, печатать ли предисловие, и добавь, что ты письмом высылаешь добавления или из[м]енения, если ты таковые сделаешь. Нам необходимо по *телеграфу* знать твое согласие или veto, а изменения могут прийти письмом. Но и письмо ты высылай скорее! Письмо с твоей корректурой ты адресуй в «Путь» на имя Булгакова. Напиши ему подробно, он очень принимает к сердцу это предисловие, т<ак> ч<то> ты основательно напиши ему, если в чем не согласен, в отдельности, или если вообще не хочешь этого предисловия как общего выступления. Очень, очень тебя прошу и *мне* телеграфируй то же самое, т. к. и я очень принимаю все это к сердцу и буду жаждать твоего слова. Телеграфируй Ялта, гостиница «Россия». Я досажаю, что не ты все это написал, это было бы важно для «Пути». Вообще, по-моему, желательно предисловие к сборникам как нашей боевой линии. Но я бы хотела, чтобы ты внес большую мужественность и яркость твоей живой и талантливой рукой и головой во все это немного расплывчатое. Представь, что я многое уже там забраковала, и особенно находясь под влиянием твоей чудной критики Вост<ока> и Запад<а> у Соловьева. Но боюсь и сейчас елейности, расплывчатости и неопределенности!

Дорогой, милый, прекрасный, умный, солнце мое, душа и радость! Ты совсем не понимаешь, как я тебя обожаю.

## 92. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[15 марта 1911 г. Капри. В Ялту.]

15 Февраля\*. Капри

Милая Гармося

Если получишь это письмо с большим опозданием, не удивляйся. «Чижа захлопнула злодейка западня». Это сделал со мной Саргі. Мы здесь уже 5 дней. Я буквально очарован совершенно неслыханной красотой, красочностью и разнообразием здешних видов. Весь Крым и всю Ривьеру можно за это отдать; а из неаполитанского залива это — лучшее, но... к сожалению, при этом Капри — остров. Вчера и сегодня буря *crescendo*; говорят, сегодня с вечера перестанет ходить почта, т. к. пароход не может причалить, и мы будем отрезаны от всего мира. Такое положение тут продолжается иногда несколько дней. А мы как раз было собрались выехать отсюда именно на эти несколько дней до Флоренции [в] Амальфи.

Сейчас здесь невыносимо: на улицу носу показать нельзя, холодно, да и прямо несет вас ветром; а ночью нельзя спать от свиста, рева и хлопанья ставень.

Как раз в обстановке такой погоды пришли сюда известия о втаптывании в грязь Думы и о китайской войне<sup>180</sup>; и все эти впечатления слились для меня в одно. Скоро в России засвистит самая жестокая из бывших доселе бурь. При каждом новом известии кажется, что край правительственного безумия уже достигнут; но сейчас же вслед за тем приходит еще известие, доказывающее, что предыдущее безумие уже превзойдено. И никакие уроки прошлого уже не помогают! Опять, совсем как в 1904 году, правительство борется зараз и против всех *внутри* и против Дальнего Востока *снаружи*. Мне все казалось, что до заключительной катастрофы еще ужасно далеко. А теперь она страшно приблизилась, надвинулась совсем! И эта быстрота назревания революции — фатальна. Всю культуру сметут. И чего не разрушили справа, то довершат слева. Левые еще заставят пожалеть о Столыпине. Вот он, крест России. И, сколько бы она его ни несла, ничего приличного в государственной жизни она не создаст. Совсем это не ее дело и не ее призвание: средних добродетелей у нее нет! Безотносительно прекрасное в религии, искусстве, философии она произведет; но в области относительной, житейской все и всегда будет

\* Очевидная описка. (Прим. публикатора.)

безотносительно скверно: тут мы — бездарны. Оттого наша повседневная, будничная жизнь есть и будет невыносима. Кто знает, может быть, именно это нам и нужно, чтобы не дать нам успокоиться и застыть на будничном, повседневном или хотя бы на среднем. Жизнь только и делает что все относительное разбивает. «Захотели конституции — вот вам конституция!» «Университет — вот вам университет!» Все это для того, чтобы русская душа прилеплялась к тому, что больше относительного, против чего ни Столыпин, ни Кассо, ни правые, ни левые ничего не могут.

Так всегда у нас и будет. Величайшее рядом с постыдным и плоским и никогда — среднего. Может быть, это связано с высотой нашего призвания; но если так, то «тяжела ты, шапка Мономаха».

Милая, родная моя и хорошая, среди всего этого думаю много о тебе. И в буре, и в непогоде, и в серой погоде будь ты моим солнечным лучом. Но уж если тебе быть моим солнцем и радугой, то помни, что радужные и солнечные краски не идут к относительному, не там им место. А потому не жалуйся, когда я разрушаю относительное, и говори, что оно — обман. Право, само относительное, особенно наше русское, неизмеримо мрачнее всякого мрачного скептицизма. И особенно не называй мой скептицизм римским. Именно наоборот — в римском настроении скептицизм отсутствует, а есть сильная вера в земную стихию, в относительное, заменившее Христа.

Целую тебя крепчайше

### 93. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[20 марта 1911 г. Неаполь. В Ялту.]

20 Марта

Милая и дорогая Гармося

Буря прекратилась, и я пишу тебе из Неаполя на выезде из [в ?] Флоренции, в последний раз глядя на море, и думаю о том, что как раз и ты сегодня на него смотришь. Хочется мне крепко тебя поцеловать, моя дорогая, и сказать тебе, что очень соскучился без твоих писем, которые ты, очевидно, слишком рано начала посылать во Флоренцию.

Я живу, подавленный ужасом при виде надвигающейся на Россию грозы. Столыпин *один* идет против всех, против инородцев, против Думы, университета<sup>181</sup>, против всей России и всего Китая. Боюсь, что близится *ужасный* конец, и не радуюсь, потому что жду не добра, а настоящей *сатанинской* оргии от будущей революции. Обе борющиеся стороны будут попирать ногами Россию. Левые будут благословлять китайцев, как они благословляли раньше японцев, и это будет невероятно противно.

Ты пишешь в своем письме, что были сделаны какие-то ошибки со стороны Московского университета и что я мог бы их предотвратить, если бы был в России. Этому я положительно *не верю*. Надвигается буря настолько стихийная, что никакими усилиями ее предотвратить нельзя. Случившееся с Моск<овским> университетом так же неизбежно и естественно, как то, что во время грозы молния падает на самые высокие предметы. Делай или не делай тут ошибок, но ведь разгром всего прекрасного, всего не дикого, всего, что содержит какой-либо зачаток культуры, теперь неизбежен. Чья личная мудрость могла бы теперь предотвратить разгром конституции? Так же неизбежен и разгром университета. Сколько ни трать сил, а это — неизбежно будет.

Что меня не было в Москве, об этом я *для дела* нисколько не жалею. Никогда не убежал бы от борьбы по собственной инициативе, но не буду жалеть о том, что сама судьба меня отстранила от этого, дав возможность вместо того здесь делать дело, в плодотворность которого я в самом деле верю.

Не для дела, а скажем прямее — для меня и для тебя это долгое отсутствие очень доскучливо. Писать письмами уж как-то не хочется теперь, а поскорее и непосредственное всю тебе душу вылить. Ну до свиданья, моя дорогая и хорошая и горячо любимая. Целую тебя крепко.

## 94. М. К. Морозова — Е. Н. Трубецкому

[Около 20 марта. Москва или Ялта. В Неаполь или Флоренцию.]

Дорогой мой, радость моя, сокровище и счастье. Сейчас получила маленькую записочку твою — такую милую. А то сколько мне огорчений, сколько грусти от тебя! И за что все это, не понимаю! Я много тебе писала, хотя, правда, отрывочно, потому что, право, у меня нет сил спокойно писать. Как начну писать, столько всего подымается, что чувствую, что нет сил справиться. Когда человек *слишком* чем-нибудь страдает, то говорить нельзя. Можно плакать, можно кричать, можно стонать, можно болеть — но говорить и писать — нельзя! Оттого не могу я до конца все тебе сейчас высказать. Когда придешь — все буду говорить. А так — многое я тебе высказала. Одно меня терзает, что ты всегда думаешь, что ведь и во всем у меня подкладка личная! Уверяю тебя, что я в твоей *постановке* вопроса, главного мирового вопроса — вижу, понимаю и верю — очень большое и глубокое. Это я тебе писала. Но тем более я боюсь, будет ли содержание, положительные ответы соответствовать ширине и огромности постановки этого вопроса! Я уверена, надеюсь безгранично, что это будет, что у тебя все данные на это! *Надо*, чтобы не было драмы Платона<sup>182</sup>, чтобы хватило *любви, творчества* на это! *Здесь* я вижу и верю, что может иметь все объективное значение, мое участие и вынашивание всего твоего! (Помнишь [?] жены-мироносицы.) А вот в этой главе — я боюсь, что ты уклоняешься и замыкаешься в «свое», а не идешь навстречу «вечно женственному» началу любви и творчества. («Свое» я предполагаю не твое личное, а твое мужественное, слишком разумное!) Если бы это не касалось такого самого интимного, душевного в творчестве Сол<овьева> и так близкого моей душе — я бы так не боялась! А тут именно в этом самом нашем с тобой *духовном*, интимном соприкосновении наших душ, тут-то если не пойдут наши души *навстречу* — тут-то и произойдет катастрофа всей жизни и, что неизбежно, всего дела! А мы с тобой так *много* можем сделать! Если бы я не верила, что наша любовь нужна даже России, неужели бы с такой силой ее отстаивала! Неужели можно столько переживать, столько попирать и стольким жертвовать — если не имеешь огромной и непоколебимой веры в идеальный и вместе реальный смысл этого союза! И самое святое *это все* и есть, и подымать руку на это — это совершать преступление! Значит, ты *не веришь*, значит, ты *не знаешь*, что это и во имя *чего это*, если может так затмевать тебя ничтожное тело, чтобы ради него ты заносил кинжал на душу. И душу не личную, а *ту*, долженствующую родиться, ту цель, тот смысл, ради которого все это есть. Он только один оправдывает и разрешает все! *Вот что* я почувствовала в этой главе и вот в чем мое страданье! Если ты и сейчас в моих словах не почувствуешь меня, *в с е й* моей души — то это для меня ужасно! Единственная сила моей жизни в том, чтобы *вся* твоя душа жила, творила и раскрывалась со мной! И когда я чувствую остановку — мне ужасно, я чувствую смерть! Не крест я отрицаю, а требую внимания к жизни и любви. У Гёте так хорошо сказано!

Im tiefen Boden  
Bin ich gegründet;  
Drum sind die Blüten  
So schön geründet<sup>183</sup>.

Радость моя, счастье мое, прекрасный мой, волшебный мой, солнце мое! Мы должны быть вместе! Все я отдам за это, ничего не боюсь, потому что верю!

Кроме всего мы так прекрасно пополняем друг друга.

Целую очень крепко. Твоя Гармося.

\* В глубоких недрах / Я укоренен; / Потому так пышны / Мои цветы (нем.).

## 95. М. К. Морозова — Е. Н. Трубецкому

[22 марта 1911 г. Ялта. Во Флоренцию.]

22° марта

Дорогой, милый, прекрасный мой! Так обрадовалась, приехав сюда, получить твое всегда дорогое и милое письмо! Смотрю на море и утешаюсь, хотя очень мало, что и ты там тоже смотришь на море! Но вместо самого чудного лазурного моря и больше всех красот на свете — для меня видеть твое бесконечно дорогое лицо и всего тебя, моего бесценного и любимого! Вот в чем между нами противоположность и не совсем та, которую и я утверждаю. Когда я с тобой, я вся живу тобой и кроме тебя мне ничего не нужно, я переживаю в тебе реально образ всеединства! И что очень важно, глубоко верю в святость и плодотворность этих минут для всего в жизни! Ты же совсем не то! Ты всегда думаешь, всегда рассуждаешь, никогда беззаветно не отдаешься, все наполовину! Это вечный источник мученья для меня, кроме всех других мучений! Вот, например, как я была бы счастлива, если бы получила *хотя бы одно нетрезвое письмо*, по-моему хорошее! Что может быть счастливее! А ты, наоборот, радуешься моей трезвости! Да неужели ты на самом деле не видишь, что нам с тобой, одинаково, очень опасно сделаться трезвыми, потому что наша жизнь так трудна и сама всегда только и призывает к трезвости. Наоборот, если мы будем иметь минуты полного забвенья и беззаветности, жить всем существом, то только тогда мы и сохраним бодрость духа, а главное, свежесть, отзывчивость и чуткость души! Одинаково страшно для нас обоих заглохнуть душой! — А борьба — это то, что есть самого ценного в наших отношениях! Я знаю, что она всегда будет! Напрасно ты думаешь, что я не ценю этой борьбы и не вижу всей ее глубокой плодотворности! Я вовсе не так глупа и так слепа! Я очень хорошо все вижу, уверяю тебя. Но все-таки, скажу по правде, должны быть и минуты отдыха, ну а потом и опять в путь. Должны быть минуты единения, гармонии и слияния (ай, ай — мое любимое и твое ненавистное слово, не злись), иначе сил и смысла борьбы не будет! Необходимо, чтобы можно было вздохнуть всем существом для того, чтобы идти *вперед*, иначе свалишься и никуда не пойдешь, если не назад! А это все уже трагично! Тезис, антитезис, но непременно синтез! С этим я вполне согласна! Я люблю борьбу и люблю полноту, за то и тебя люблю! В тебе для меня борьба вечная, следоват<ел>ьно, постоянно я должна идти вперед, совершенствоваться! Это самый большой залог хорошего для меня, т. к., слава Богу, никогда не могло быть опасности брака для меня с тобой! Это главная опасность для меня, когда я могла бы погрузиться в тебя как в Женичку. Этой опасности не существует! Поэтому я всегда так отдаюсь моему чувству, до дна, зная, что сама жизнь меня ограничивает. Мало того, этим она меня *вынуждает* к очень большим жертвам, страданиям и очень большой работе над собой, которые не могут не быть плодотворны! Кроме того, хотя моя любовь и мои желанья грешны, я это знаю, но я знаю, что, живя так, я больше в своей жизни сделаю добра и больше буду жить *общей* жизнью, чем живя в безгрешном браке! Это я про *себя* говорю и про любовь свою к такому человеку, как ты! Может быть и обратное. Но я говорю про себя, имея в виду все соблазны и опасности своей души и природы! Потому я и знаю, что ты — мое спасенье!! Мне смешно, что ты *мне* говоришь «не надо замалчивать спорное»! Ну скажи, похоже ли это на меня! Да я *все*, и часто к своей невыгоде, тебе высказываю и выкрикиваю! Вот уж смело могу сказать, что самые *тайные* углы моей души перед тобой! Я даже скорее преувеличиваю дурное, потому что мне ужасно противно впасть в сентиментальность или как будто угождать тебе! Я тогда сама себе могу быть противна, потому что ненавижу сентиментально-добродетельных чувств и боюсь их как огня! Особенно с тобой, мне тогда кажется, что я подделываюсь к твоему любимому тону! Вот видишь, ангел мой милый, что я вся тут! А вот ты — дипломат. Ты со мной всегда ведешь политику, того не скажешь, этого не покажешь! Ну да как хочешь, мое сокровище, делай все как хочешь, только будь со мной! Я ведь и насчет тебя уверена, что хотя и много тяжелого для тебя во все[м] этом, и мучает тебя то, что нет тут *всей* правды, но это и для тебя очень глубокий стимул для больших завоеваний! Потому что и твоя натура двойственная. Два

мира борются! Пусть борются — все равно победит свет, я это знаю и уверена. Потом одно меня *главным образом* утешает, что В. А. всегда была и есть с тобой, и ей предоставлено *в с е*, чтобы тебя свободно завоевать, а этого не происходит. Ведь нельзя же одним законом или жалостью завоевать душу! То, что она действительно завоевала — твою *дружбу* — любовь, твою преданность, Ваше семейное начало, то и есть! А твою настоящую страстную любовь — об этом я буду спорить и не уступлю! Хотя бы ценой жизни — но буду воевать и не уступлю! Как ты можешь вообразить, что я «махая рукой». Ты, значит, ничего там не понимаешь! Вот я боюсь, что разоткровенничалась, а ты меня опять начнешь поучать и останавливать! Ради Бога, уверься ты в одном, что ничем ты моего пыла не успокоишь — это в моей природе! Только с годами это уляжется — не иначе! А вот обратить этот пыл на добро — это в твоей власти. Но, конечно, если ты будешь уезжать без конца и уходить *только* в кабинет, конечно, я в конце концов совсем сломаюсь! Прости за все, что говорю! Ангел милый, я это все говорю очень покойно и «трезво», уверяю тебя. Радость моя, потому ведь, что я скоро тебя увижу! Ты не можешь себе вообразить, *что* со мной делается, когда я думаю обо всем этом. Все свои силы хочу употребить, чтобы встретить тебя так *дружественно-тепло* и *трезво-хорошо*, как *ты сам* об этом хлопочешь! Да кроме того, ты так возмутительно написал, что ты останешься дольше, что это зависит, «какие мы будем». Так вот я буду трезво-хорошая! Может быть, ты тогда и побудешь со мной хотя немного подольше? Хотя, кажется, нужно ликвидировать квартиру! Ах если бы ты был на моем месте, мог ли бы ты все это выдержать и все-таки *так* любить меня, как я тебя. Счастье мое и радость, обожаю тебя, но с удовольствием буду тебя колотить за многое! Достанется тебе! Отольются волку овечьи слезы! Насчет предисловия я со всем согласна — ты прав, и очень умно и глубоко прав. Но может быть, *это* предисловие, исправленное и довольно скромное, — тебя не возмутит и ты согласишься его напечатать. Одно меня *огорчает* очень, это то, что ты говоришь, если Булг<аков>, Берд<яев> и Эрн хотят, пусть выставляют это зная одни. А я скажу нет, тысячу раз нет! Где же опять твоя любовь к России и к нашему *общему* делу? Дорогой мой, не забывай, что *нет* людей сейчас, что нельзя швыряться Булгак<овым>, Бердяев<ым> и даже Эрн<ом>, а *надо* с ними бороться и всем нам соединяться для общего дела. Ты, значит, не любишь «Путь» и не ценишь его как почву для объединения и влияния. Ты всегда это забываешь! Опять гордыня и аристократизм! Я очень радуюсь, когда ты сильно протестуешь. И сейчас, если ты не хочешь предисловия, — то это правильно и его не будет. А отделяться и брезговать *нами*, т<ак> ч<то> (я с «Путем»), дескать, вы печатайте что хотите, — это ужасно! Так же, как печатать твоего Соловьева не в «Пути». Значит, ты порываешь дело со мной и со всеми. Но ты этого не сделаешь. А разве мы все не хотим *делать дела*, свидетельствующ<его> о миссии России. Каждый из нас хочет делать дело по-своему! Ты спорь и не соглашайся, но не презирай и не отворачивайся! Никого ведь нет больше! Не отделяйся от нас — это ужасно. Напиши Булгак<ову> все то, что ты мне написал, но скажи так, что ты не предполагаешь, что тут возможно *их* выступление без тебя! Все *должны* быть вместе! Тогда не нужно предисловия — никто на это не претендует. Но то, что *дело общее*, это дорого всем. И в этом я себя чувствую с ними близкой! Неужели ты ближе с Струве, Котляревск<им>, Лопатиным, Хвостов<ым>? Неужели? Но тогда я уже разойдусь с тобой, потому что *назад* я не пойду! Я найду силу с ними пойти дальше и *делать дело*! Неужели ты не любишь и этого нашего общего дела и оно тебе не нужно! Как это больно! Но хотя для *меня* его побереги пока! Милый, ради Бога!

96. М. К. Морозова — Е. Н. Трубецкому

[23 марта 1911 г. Ялта. Во Флоренцию.]

23<sup>е</sup> м<арта>

Дорогой, милый Женичка! Вчера писала тебе, но сегодня, подумав, осталась недовольна деловой частью своего письма, потому пишу сегодня

как следует о деле! Вчера писала в тумане и забвении чувств. Дорогой мой, хочу все разобрать, что ты пишешь *по поводу* предисловия. Меня оттого так интересует и кажется важным это предисловие, потому что важно и интересно для меня все, что выясняется *по поводу* этого предисловия. Его самого может и не быть — это не важно, но ты не можешь себе представить, как ярко для меня обозначилась твердость или шаткость многого и что важно для ведения *общего* дела и для будущего, ясность или спутанность ума у каждого из наших сочленов. Все, что ты говоришь, меня очень воодушевило. *Я обожаю* в тебе твой смелый, сильный протестующий тон! Что, значит, ты все глубоко продумал и *пережил!* Чем ярче, сильнее ты будешь ставить все вопросы, пусть наперекор всем, тем больше жизни у нас будет в «Пути», тем это все заставит всех глубже продумывать все эти важные положения. Дорогой мой друг, как ты нужен, как полезен, как много ты можешь двинуть не только меня, но и всех других, ставя перед всеми все эти проблемы с твоей ясностью, правдой и силой! Пусть пока это кружок, но ведь мы можем завоевать и молодежь. Потом я мечтаю, что можем пересоздать преподавание по многим вопросам, особенно религиозному. Об этом после. Вообще надо делать, надо верить! Мы все все-таки честные и бескорыстные, а таким ли людям в России не работать! Дорогой, потому умоляю тебя, не отходи от этого дела, а будь душой с нами. Борись, обличай, спорь, не допускай многого — это все будет святое дело! Но не ставь никогда вопроса так, что пусть печатают одни — я не дам статей или не дам книги! Это ужасно. Ну, кажется, ты понял, *что* мне больно и что больно для дела. Я только и верю, когда ты тут. Чувства, горячности к делу много и у Булгаков<a> и Бердяев<a>, но того *ума, той силы, смелости* и независимости, как у тебя, у них нет! Напиши все Булгаков<ову>, что ты думаешь. Насчет Эрн — ты прав тоже. Но не можем мы не поддерживать молодых людей, идущих все-таки этим путем. По-моему, наш святой долг идти навстречу молодежи, которая ищет религиозного пути. Нам придется ежегодно на это давать тысячи три и издавать такие произведения. По-моему, иначе нельзя. Черствости, сухости и академичности не должно быть в нашем деле. Пусть лучше будут ошибки. Ты не можешь себе представить, как я исстрадалась за наш «Путь» в Москве. Все в интеллигентск<их> кружках, конечно, с нами очень считаются. Степун, Яковенк<o> и все Логосы и Кубицкие только и предлагают себя. Степуны и Яковенки чуть ли не от взглядов своих отказаться хотят, лишь бы мы их взяли. Но тут я очень резко и наотрез отказала. Продажных перебежчиков нам не нужно. Это одна сторона. С другой стороны, у нашего «Пути» есть *мелкий* враг — Хвостов, он меня извел. Но что хуже, он возбуждает Льва Мих<айловича>. Я решила по возвращении атаку провести на Левона. У нас было втроем бурное столкновение. Я их обличала в мертвом сне и говорила, что хотя мы плохи, однако у нас собрания, кружки и «Путь», а у них ничего, и если бы не я, и журнал бы, пожалуй, кончился<sup>184</sup>. Этого последнего я не сказала, но ведь это так. У нас с книгой Левона вышла драма<sup>185</sup>. Корректор<овал> ее Эрн и сделал это ужасно. Ошибок тьма. Эрн в отчаянии. Это в последний раз, что мы даем ему такую работу. Но ты посуди, что это всегда может случиться. Особенно в новом деле. Левон *жесток* к Эрну и вообще к нашему делу, ужасно. Хвостов мефистофельски злорадствует. Мне все это больно. Я знаю, как трудно делать дело. Но ты-то уж, ради Бога, не будь таким же жестоким. Вернись к предисловию. Надеюсь, ты все понял, что я думаю. Так, значит, ты и напиши, что ты находишь предисловие излишним. Но для меня вся эта работа и разговоры о предисловии были очень важны, и я рада, что все вообще так было. Всех я сознательнее оцениваю во всех отношениях. За все это время у нас не было заведующего Изд<ательств>ом за болезнью Гр<игория> Ал<ександровича>. По-моему, нам *не надо* такого лица, оно только будет мешать. За это время мы это выяснили. Только одно есть смущение, кто тогда возьмет ответственность перед судом за какие-нибудь недоразумения. Это единственное, что меня заставляет колебаться. Нужно лицо, которое бы *знало* каждую выходящую книгу и отвечало за все. Или можно поручать Рачинск<ому> как знающему просматривать некоторые книги. Как заведующий и Рач<инский> и всякий другой нам будет в тягость. Все вопросы лучше обсуждать коллек-

тивно, а дело мы устроили очень хорошо. Изданы книги технически (бум<ага>, типогр<афия>, обложка) очень хорошо. Все магазины и вообще все это говорят. Отчетность поставлена и все расценки правильны. Переписку можно делить. Я очень хотела бы отменить Рачинск<ого> и всякого заведующего. Но остается вопрос об ответственности. Что делать? Подумай и напиши, мой ангел. Вообще как я вижу твою необходимость для религиозно-общественного дела в России. Как меня мучит вопрос о твоей дальнейшей деятельности!! Но это я оставляю до твоего возвращения. Уверю тебя, что наш «Путь» и Религ<иозно>-филос<офское> О<sup>во</sup> Соловьева — это почва, которой ты не пренебрегай. Очень трудно проводить свои взгляды где бы то ни было. А если не будет университет<ета>, то что будет? Шанявск<ого> — это тоже шатко. Милый, радость, до свиданья! Ах, когда я буду говорить с тобой обо всем, когда я дождусь этого? Целую крепко.

97. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[Телеграмма. Флоренция. В Москву. Принята 25 марта 1911 г.]

Preface Boulgakoff inadmissible envoye texte complet change Troubetskoj\*.

98. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[25 марта 1911 г. Флоренция. В Ялту.]

25 Марта, Флоренция

Милая Гармося

Вчера во Флоренцию приехал и получил сразу три твоих письма. Начну с деловой части.

Предисловие Булгакова ужасно. Безвкусный шовинизм с допотопным славянофильским жаргоном, притом крайне размазан и бездарен. Что мне оставалось делать. Писать *свое* предисловие — во-первых, для них обидно, а может быть, *мое* для них столь же неприемлемо, как ихнее для меня. Поэтому я взял из их же предисловия все приемлемое для меня, сделал полстраницы из трех и в заключение целиком взял булгаковскую последнюю страницу, где излагаются намерения «Пути» относительно последующих изданий. Вышло сухо и бесцветно, но для предисловия *от общего имени* достаточно: то, в чем мы сходимся, — признание религиозной *христианской* задачи России, выражено совершенно ясно в одной *фразе*, и этого довольно<sup>186</sup>. Пусть яркие и красочные статьи пишутся каждым за собственной подписью и ответственностью. Говорить же *от моего имени*, как я решаю или буду решать религиозные вопросы, я не позволю никому.

Помня, однако, твою просьбу, я послал всем четырем «путейцам» чрезвычайно ласковое по форме, но весьма решительное по содержанию письмо, где, между прочим, говорю, что если предисловие будет сохранено, я прошу не печатать моих статей в сборнике. Аргументирую я там обстоятельно и тоном очень мягким и в заключение прошу переслать письмо тебе<sup>187</sup>, чтобы ты сама рассудила, мог ли я поступить иначе. Разумеется, этот «ультиматум» относится к ним, а не к тебе, т. к. ты, конечно, на печатание сборника без моих статей не согласишься.

Что касается тебя, то я пишу тебе в день Благовещенья; и мне особенно хочется, чтобы письмо мое было для тебя благой вестью. Хочу верить, что между нами происходит сплошное недоразумение. Ведь идеал мой — светлое Христово воскресенье — радость всему миру; а крест — не цель, а только путь, который, кстати, *не я же выдумал*. В письмах и писаниях моих я утверждаю только одно: кто не сораспнется со Христом, тот и не совоскреснет с ним. Ты

\* Предисловие Булгакова неприемлемо посылаю полностью измененный текст Трубецкой (франц.).



пишешь, что этого не отрицаешь? Но тогда в чем же дело? За что ты на меня обрушиваешься? За то, что я говорю об этом слишком много. Но если я увижу, что ты это признаешь *вполне*, то писать и говорить об этом не буду. Но почему ты сочла «буддизмом» мое развенчание наивной «русской» теократии Соловьева, этого я не понимаю, когда ты тем же самым раньше восхищалась, этого я не понимаю. Если «третий Рим» мираж, то неужели же все мираж? Если я в этой же главе не говорю о *положительной задаче, положительном значении* России, то ведь одна глава — не целое, а часть. Об *этом* по плану моего сочинения должно говориться в конце его. Ты говоришь: «все это *одно* только разрушение». Но неужели жалко разрушать петровские «три кущи», которые и глупы и кощунственны. Без разрушения немислимо созидание. Ты же, когда читаешь разрушительную главу, *должна знать*, во имя чего я разрушаю. В следующей главе (теперь законченной) — идет знакомая тебе апология государства и апология относительного.

Главное же, чего ты совсем не принимаешь во внимание, сколько во всем этом утверждении «креста» тревоги *от любви* к тебе. Такой страх, что самое мое святое святых останется тобой не разделенным, такое горячее желание приобщить тебя к нему. А при этом столько борьбы против собственной моей страсти, которая во мне кипит и клокочет!

Я тебе скажу вот что. Слава Богу, с детства и до сей поры я каждый год переживаю Пасху как светлую радость, озаряющую на целый год все существование, люблю ее и чувствую ее детски жизнерадостно. И это, между прочим, оттого, что каждый год я сильно и глубоко переживаю неделю страстей Христовых. Если бы на эту неделю я не откликнулся во всю глубину крестной муки, то чувствовал бы себя неспособным к радости, красоте и светлому подъему. Вот что крест для меня — смерть и победа смертью, жизнь, светлое воскресенье. Одно с другим неразлучно. И для того, милая моя, мне хочется, чтобы ты подняла и почувствовала крест, чтобы и ты могла потом и тут же ощущать эту беззаветную светлую и безбрежную радость.

Ах, если бы *ты* могла это почувствовать и если бы на этом произошла наша встреча. А то боюсь, что не я, а *ты* теперь замыкаешься в своем, а моего не вынашиваешь, потому что не хочешь принять. Не сомневаюсь в том, что *в самом себе* я живу. Но неужели же я в самом деле *для тебя* отжил? А я все-таки, хочешь или не хочешь, — настойчиво буду предлагать свое: «Христос воскрес из мертвых, *смертию смерть поправ*».

Христос воскрес, моя бесценная, милая и дорогая. Крепко, очень крепко тебя целую.

## 99. М. К. Морозова — Е. Н. Трубецкому

[28 марта 1911 г. Ялта. Во Флоренцию.]

Во Флоренцию, кажется, 6-е письмо  
28° м<арта>

Дорогой, родной и хороший мой! Сейчас получила твое письмо, накануне перед отъездом из Неаполя. Спасибо за него, мой ангел! Оно было мне страшно нужно — развеяло немного тоску, дало силу жить и ждать. А то иногда совсем невыносимо становится, кажется, что схожу с ума, совсем свалюсь! Тоска и грусть ужасная! Ах как тяжело и больно! Когда-то дождусь луча солнца для себя! Вчера ругала тебя, что ни разу не напишешь сам, по влеченью сердца, а все только ответы на мои письма! Это письмо хотя не такое уж горячее, но, кажется, самостоятельно написано! Хотя это меня утешает, а то совсем леденеет душа! Вообще грустно и тоска! Но я все-таки рада, что уехала сюда, а то мои нервы пришли в ужасное состояние последнее время! Здесь я много лежу, сплю и больше ем. Гуляю и катаюсь, т<ак> ч<то> здоровье здесь уже лучше. Экзема проходит. Пью разные лекарства. Все это делаю с настойчивостью и рвением, т. к. *хочу* быть сильной и здоровой к твоему приезду — это необходимо и это будет! Мике тоже здесь лучше. Он спит со мной, и я целый день с него глаз не спускаю. Марусяка весела и катается верхом. Читаю здесь

очень много, Киреевск<ого><sup>188</sup> и Несмелова, «Наука о человеке»<sup>189</sup>. Киреевский очень симпатичен, много верного говорит, даже верно основное, но, в общем, расплывчато и неглубоко все продумано. Действительно, славянофильская точка зрения в этом смысле опасна и безжизненна! Но самый смысл, искать корней для понимания задачи и пути России в недрах ее истории и психологии, — это глубоко верно! Вот сейчас, как ты верно говоришь, все стихийно разворачивается по каким-то путям, логика ускользает от нашего ума! Смотришь и наблюдаешь и ничего не можешь ни понять, ни предвидеть! Перед отъездом моим был у меня Григорий Никол<аевич><sup>190</sup> и так меня утешил, ясно и очевидно доказывал, что Столып<ин> уйдет и что тогда для Университ<ета>, может быть, все изменится. Хотя *этим* можно было утешаться, т. к. для *России* особенного изменения ни от Столып<ина>, ни от кого другого не произойдет. И вот что же, опять нашлась возможность какого-то приспособления к и этому, казалось, безвыходному. Вот и думаешь, видя это все, что в чем-то и как-то не умели задеть души России или, вернее, не в том ее душа и ее назначение. Ты прав, мой дорогой, что государственная жизнь России будет всегда безобразна, уродлива, бесформенна. И конечно самое важное *сознать* это и обратить весь свой духовный взор и все силы на область Безотносительного! Не это ли главная задача? Не важно ли пробуждать это сознание и в этом смысле продолжать линию славянофилов? Не это ли *твое* дело и дело нашего «Пути»? Но не забудь, что область Безотносительного совершенно реальна, имеет образы и краски и реально преобразует жизнь, оставаясь жизнью! И о России *в этом смысле* можно мечтать и *в этом смысле* верить в ее могущество! Но прежде разбить — рационалистически — западно-внешний идеал ее благоустройства и правопорядка! Я уверена, что *относительное* благоустройство и относительный правопорядок приложатся — лишь бы был создан смысл и верно понята душа России. Это великое дело и святое — я *так* понимаю и только так признаю смысл твоей работы. Это не только для России, но и для всего мира — единственно истинный путь! Какое бы дело делать, хотя самое практическое, надо думать и помнить его непрактический смысл — иначе ничего не выйдет. Тебе непременно надо будет написать потом свою философию Русской истории, органически продуманную и пережитую. Это тоже важно для сознания. Я уверена, что если *все* сознают это, то будет и Университет и все будет. Только надо подойти изнутри и совсем освободиться от политики, а устремить исключительно свой взор к Безотносительному. Вот эта ошибка и была сделана сейчас в Университ<ете>. Это *духовная* ошибка, очень глубокая, а не тактическая. Опять ворвалась политика внешняя и не дала душе проверить свою сущность. Если ты наконец глубоко сознал этот русский умопостигаемый характер, то ты сумел бы повлиять. Надо с умом овладеть русской *стихией*, а не логически рассуждать. Надо медиумически действовать, душевным осязанием, а не разговорами. Оттого такой разлад во всем! Как мы с тобой разны! Будь я на твоём месте, в совете Университета, я бы ни за что не допустила такой ошибки или пришла бы в отчаяние, если бы не овладела Советом. А ты *не веришь* в такое дело! *По-моему*, у тебя это происходит тоже по ошибке! Ты еще стоишь, в духовно-психологическом смысле, на западной почве и потому не можешь овладеть душами, ты слишком логичен, слишком воспитан на рационализме, последовательном умозрении! А по-моему, сейчас в России *творится* новая, настоящая жизнь, и нужно действовать чувством. При Александре III-ем — жизни не было, потому достаточно было мыслить о жизни, а теперь надо жить, т. к. есть возможность, но непонятно, *как* надо творить жизнь. С *твоей* точки зрения ты прав, что *один* человек ничего не сделает, разговорами и *своей* логикой. Но человек, отрешившийся от себя в смысле *своей* логики и ставший до некоторой степени медиумом, — может очень много сделать, я в это верю. Это *мой метод*. Все так хаотично, так стихийно в России, надо очень глубоко захватить все, чтобы объединить. А тут в Университете, в трагическую минуту, вдруг влияние Вернадского, узенькое кадетство, какие-то Хвостовы и подобные. Ну могло ли это охватить весь Университет, состоящий из русских благодушных обывателей, но, может быть, и глубоких душ! Вот и получилась путаница! Это-то и трагично. Я понимаю мучительные чувства

Левона и Серг<ея> Андреев<ича> в этом смысле!<sup>191</sup> В «кадетском» смысле ты не мог ничего сделать, но если бы ты, о чем я молюсь Богу больше всего, снял с себя эту оболочку и проникся *реальной правдой жизни*, не мысленно, а *чувством* Безотносительного, т. е. любовью ко *всем* людям, ты сделал бы великое дело! Положил бы начало духовного воскресенья России. *Этого дела и этой правды* я от тебя жду, и она побольше, с *моей точки зрения*, соблюдения *физической* верности своей жене, хотя бы ее и не любишь! Я даже больше верю, я верю, что только этот путь и это внутреннее освобождение от коры рационалистического метода жизни приведут тебя и меня к воскресенью для новой жизни, не из ревности жене, т. к. это само приложится, а из истинной живой любви к Богу! Ах если бы ты сумел больше слышать мои нескладные слова, мое кажущееся противоречие, чем гладкие слова В. А. и ее последовательность. Я, разумеется, говорю не о В. А. эмпирической, а о ее идее. И говорю слышать не о твоём уме, а о твоей душе и сердце. Победа в том смысле, как ты ее хочешь, есть та же, что и я хочу! Но *пути* мы понимаем по-разному. Твой метод — смерть всего и смерть твоей деятельности. Мой не в смысле моего личного пути — воскресенье. Если бы ты мог меня услышать и *почувствовать*. Понять ты можешь, но это ничто. Мы об этом и спорим! Это очень глубокая, очень сложная область! Но я верю и знаю, что *только* это и нужно! Целую крепко. Ответ на это! Мне очень важно.

Твоя Гармося.

#### 100. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[29 марта 1911 г. Флоренция. В Алупку, переслано в Ялту.]

Гармося, милая моя, хорошая, красавица моя ненаглядная!

Хотел бы я излить тебе в письме всю нежность, которая есть в душе моей к тебе. Но на бумаге этого не сделаешь. Это можно только при свидании, и то на ушко, чтобы никто, никто на свете не слышал, а только ты да я. Ты никому не расскажешь, что я тогда тебе скажу и в чем признаюсь (который раз!); а я ничего не расскажу, что ты мне ответишь! Давай условимся так, что ли, а?

Хотел бы я, чтобы ты почувствовала меня в эту минуту и поняла меня хорошо, в каком я настроении пишу. Если ты подумаешь, что это настроение — весеннее, цветочное, словом, *флорентинское* («Флоренция» по-русски буквально — «цветник»), то ты будешь права. Но если тыобразишь, что оно исключает римское (которое ты называешь мрачным), то ошибешься жестоко. Не исключает, а дополняет. И вот каким образом.

Сегодня я был в монастыре св. Марка — самом мною любимом месте из всей Флоренции, и в третий раз [в] жизни был до дна души потрясен религиозной живописью Fra Angelico, которой равной в мире не знаю. Что это за колоссальная мощь религиозного гения, которая на расстоянии столетий заставляет плакать, и какими простыми средствами, при таком полном отсутствии каких-либо внешних эффектов. Общее настроение — страстной седмицы, сиденья у подножия креста: все это он переживал и творил в бессонные ночи, в молитве, писал с потоками слез.

А после того я поехал в Saschìno (помнишь, чудный загородный парк). Там изумрудная трава, яркая весенняя зелень на деревьях и чудные, весенние птицы, которые, заметь, во всем мире говорят по-русски, т. е., попросту сказать, на общем птичьем и вместе общечеловеческом языке. И я почувствовал, что все это *мое* — и зелень, и птицы, и вечная весна, все это искуплено от смерти и навеки воскреснет. Вот она, *правда креста*, и вот почему я ощутил радость! Всегда после страстной — *сей день, его же сотвори Господь!*<sup>192</sup>

Уверю тебя, моя милая, что, не будь я сегодня утром у св. Марка, не почувствовал бы я с такою силою эту радость, этот призыв к вечной весне и ее обетование. Милый мой ангел, не к мраку я тебя зову, а предлагаю тебе тот единственный путь к весне, в который я верю.

Помнишь ли ты меня немного? Ведь не всегда же я мрачный и грустный! Иногда и во мне птицы поют! И разве можно чувствовать один край душевной

гаммы, не испытав всю силу другого? Нельзя почувствовать всю радость воскресенья, не пережив душою весь ужас смерти и не почувствовав жгучую боль сверхчеловеческого страдания.

Ах прости меня, дорогая, что так много душа твоя приняла от меня страданий. И как я хочу, чтобы все они расцвели в весну, превратились в самую чистую и светлую радость!

Христос воскресе  
Крепко, крепко, крепко тебя целую

101. М. К. Морозова — Е. Н. Трубецкому

[2 апреля 1911 г. Ялта. Во Флоренцию.]

2<sup>о</sup> апр<еля>

Дорогой мой! Наконец-то сегодня получила твое письмо! Очень соскучилась. Пожалуйста, ангел мой, напиши скорее, когда же ты приедешь! Приезжай скорее, ради Бога! Я очень рада и благодарна тебе за твое письмо «путейцам» и вообще за твое отношение к предисловию как к общему делу. Я очень рада, что ты сократил и исправил это предисловие, и сделал это так, как нужно. Вообще еще и еще повторяю, что умоляю тебя спорить. Чем ярче и сильнее будешь ты ставить и критиковать все вопросы с твоим глубоким, брандовским<sup>193</sup> умом, тем больше ты заставишь всех думать и выяснять, тем лучше и серьезнее пойдет наше дело, «Пути» и Религ<иозно>-филос<офского> общества. Я получила телеграмму, что предисловие, исправленное тобой, уже печатается. Все, что я тебе писала о твоей второй главе, относится не к твоей критике, а к психологии. Буддизмом я вовсе не называла твое развенчание русск<ой> теократии, а твою склонность считать все живое, образное — обманом, призрачностью. Потому что ты не позволяешь любить ни Россию, ни женщину — ничего живого! Вот твоя тенденция! В этой главе ты коснулся религиозн<ого> материализма, такой интимной и задушевной области Соловьева, особенно мне дорогой<sup>194</sup>, и всю эту глубокую область, где выразилось чувство Солов<ьева>, — ты отбросил и поставил *крест*. Я останусь при своем убеждении. Вот мы прочтем вместе это, и, может быть, ты поймешь, что я хочу сказать! Ты просто не слышишь того, что я хочу сказать. Ты отлично знаешь, что твоей критикой и опровержением теократии Солов<ьева> я действительно восхищаюсь! Она куда глубже и реальнее всех призрачных построений Солов<ьева>. Весь его диалектический метод в этой области меня отталкивает. Об этом я не спорю и я уверена, что вся эта сторона твоей работы — будет прекрасна, хотя я *хотела бы* верить другому в *этой* жизни, но я *понимаю*, что это невозможно! Действительность слишком мне говорит об этом. Тут твоя трезвость и твой ум на меня очень влияют. Но ведь в этой главе был вопрос не об одних построениях Солов<ьева>. Был вопрос о мечтаньях С<оловьева>, о его любви к России, о его «иудействе», его душе! Об этом ты ничего не сказал! Сказал, что это все аберрация любовного чувства, что не к расцвету, красоте и радости любимого надо стремиться, а крест ему давать! Да Бог и так его нам всем дал, и так мы его от Него приняли! Нет, как хочешь, а я скажу и буду повторять, что *не так, не так и не так* это все! *Не то, не то и не то!* Не понимаешь ты меня, не понимаешь и не слышишь моей души! Хочешь доказать, что ее у меня нет! Пиши скорее, когда приедешь? Целую крепко.

Христос воскресе!

102. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[Начало апреля 1911 г. Флоренция. В Ялту.]

Милая Гармося

С большим огорчением прочел то, что ты пишешь об университете, в особенности то, что ты противопоставляешь «мистицизм» Лопатина и Котляревского моему поверхностному рационализму. Хороши мистики! Просто

им надо оправдать собственное малодушие (у Лопатина всегдашнее), обвинив Вернадского и комп. в кадетстве. Могу на это сказать только одно. Я *горжусь* этими самыми товарищами, Мануиловым и другими, и, будь я в Москве, сделал бы то же самое, что и они. Не понимать, что разгром университета и всего порядочного теперь *неизбежен*, — значит рассуждать крайне поверхностно. Слава Богу, своим подвигом московские профессора явили огромную нравственную силу, спасли нравственный авторитет в России, без чего университет не воскреснет в будущем. Поступок же Котляревского и Лопатина я считаю просто отсутствием личного достоинства и *вредным*<sup>195</sup>. Вредны всякие компромиссы с хамством; вредно со всем примиряться, все терпеть и поддерживать фикцию университета: если бы все эти господа действовали как мы, то правительство, конечно же, было бы сломлено. Будь я в Москве, я бы поступил еще более резко, чем Вернадский и комп., а Лопатину и Котляревскому сказал бы прямо, что их поведение *недостойно*.

Если было бы нужно действовать «медиумически», я бы просто постарался вселить в них побольше негодования. Кроме мистицизма Лопатина, вижу в твоём письме и большую славянофильскую начинку, это от Эрна и Булгакова. Брось ты все эти противоположения «рационалистического» Запада и мистической России, право же, лучшие и глубочайшие мистики жили на Западе. Да и ни при чем тут мистицизм, где идет речь о том, как ответить на поругание науки. По Котляревскому и Лопатину терпеть и смиряться! Если уж говорить о рационализме, то, право же, скорее можно назвать этим именем все попытки малодушных людей слабыми рассуждениями оправдать свое малодушие. Вернадский и комп. те не рассуждали, а действовали по *чувству*. И, так как они люди и благородные, чувство их не обмануло. Погружение Московского университета в хамство было бы хуже его разгона. Думаю, что нравственная сила Вернадского и прочих кадет более пригодится России, чем их дряблость.

В том, что ты пишешь насчет моего «метода смерти» и твоего «метода воскресенья», достаточно гордости. Одного не понимаю, если мой метод — метод смерти, то чего же от меня ждать и на что надеяться? Вообще я умирать еще не собираюсь и очень жалею о том, что ты хоронишь меня в каждом письме. Да и зачем оно нужно? Похоронила раз, похоронила два, но зачем же двадцать раз? В первый раз это меня рассердило, а теперь становится скучно. Если бы ты в самом деле верила, что я отжил, то давно махнула бы на меня рукой и больше бы меня этим не мучила.

А при этом вдобавок и не знаешь ничего. Верочка протестует и бунтует против моего утверждения креста не меньше, чем ты. *Креста никому не хочется: всякий хочет счастья!* Слушай, моя дорогая, оставь все это: не кори, а лучше поддержи меня. Право, я устал душой: терплю пытку с обеих сторон! Как же ждать от меня чего-нибудь, если на эту муку о вас обеих я буду затрачивать все свои духовные силы! Лучше дай отдохнуть, согрей, скажи слово ласковое, любящее, а не все только кори. Не ветром сдернешь с меня плащ, а солнцем, как в басне. Не знаешь ты, через какой мучительный кризис я прохожу теперь, когда ввиду близости Москвы опять открывается у нее рана со всей невероятной жгучей болью! Как мне нужно хоть немного отдохнуть с тобой, моя дорогая! Ну, до свиданья, целую тебя крепко.

### 103. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[4 апреля 1911 г. Флоренция. В Ялту.]

Гармосинька моя дорогая

Душа моя, красота, блаженство и радость. Кажется мне, что должна ты получить это письмо в самый день светлого Христова воскресенья<sup>196</sup>. Никаких споров в этот день; и не только споров, но и никаких рассуждений. Одно только хочется тебе крикнуть из глубины души, — Христос воскрес. Тут мы опять примирены и соединены, тут вся правда и радость, которой требуешь ты, и тех святых страданий, без коих, как утверждаю я, нет полной, святой и безбрежной радости.

Христос воскрес! Бог даст, скоро скажу тебе это с глазу на глаз, из уст в уста, и не на бумаге, а взаправду крепко, *горячо* тебя поцелую. Все нужно сделать, чтобы нам хорошо, от всей души с тобою повидаться и весь накопившийся неимоверный запас любви перелить из души в душу.

Вчера окончил одну из самых ответственных моих глав — «Смысл любви». Молчал до сих пор об этом, потому что все не знал, как выльется. И вылилось! Только уже я теперь робею, как ты примешь мое, так ли? На ту главу, которая тебе не понравилась, она совсем не похожа, потому что в ней — не только отрицание, а *утверждение* моего положительного — защита любви реальной против кастрированной любви «андрогины»; стало быть, тут и разрушение и созидание. Но если смотреть глубже, то и с той старой, не понравившейся тебе, это согласно. Только «миражу» Соловьева, который я разрушаю, я противопологаю то ценное, что я считаю не миражем. Я доказываю, что «андрогинизм» разрушает любовь посредством ложной ее идеализации. Ну да увидишь. Сейчас ищу переписчицу, т. к. бывшая уехала.

Теперь адресуй письма Venice poste restante. Мы там будем на 3<sup>й</sup> день Пасхи (начало возвращения). Вернемся мы все, если будем живы, здоровы, — к 1 Мая. По пути я думаю заехать *через Триест в Загреб* (или, что то же, — *Аграм*), хорватский город, недалеко от адриатического побережья. Это — резиденция покойного Штроссмайера, у которого гостил Соловьев<sup>197</sup>. Есть надежда достать кое-какие документы. Буду в Триесте числа около 20<sup>го</sup>, а в Аграме 21<sup>го</sup>; не знаю, сколько там придется дней пробыть; потом нагоню моих в Вене и домой.....

Ну, до свиданья, моя милая, бесценная, дорогая и хорошая. Кстати, одну маленькую предосторожность. Твои телеграммы, когда приходят, вызывают немалый переполох с расспросами, что да как и почему, потому что прислуга передает их кому попало. На этот случай, если тебе нужно что-нибудь мне телеграфировать, телеграфируй условным знаком — *Avez-vous recu reponse Boulgakoff*. Я пойму, что Булгаков тут ни при чем, а надо искать телеграмму poste restante на имя Tubario.

Ну, до свиданья, моя дорогая, ставлю тебя на кресло, поднимаю над головой, несущую на спине, а потом — бешено кружусь и крепко целую.

#### 104. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[13 апреля 1911 г. Флоренция. В Москву.]

Гармося, моя радость

Пишу тебе накануне отъезда из Флоренции. В Венеции я пробуду всего 3 дня и, *если* ничего не изменится, в Субботу 16<sup>го</sup> сяду *один* на корабль, который довезет меня прямо до Константинополя, откуда я переправлюсь в Одессу и т. д.

Не удивляйся этому решению, *если* оно осуществится. Я уже давно мечтал отделиться от своих, чтобы приехать раньше и повидать хорошенько тебя одну. Всякие выходы я для этого придумывал, то ехать в Загреб для малообещающих изысканий о Соловьеве, то в Брюссель, потому что там в Славянской библиотеке есть рукописные вставки в его сочинения<sup>198</sup>. Но для Соловьева все это не важно; а для моей цели — не годилось, потому что всякий раз выходило, что возвращаемся мы все-таки вместе. Наконец, морской путь выходит удачнее, потому что кроме меня *никто* не переносит качки. Впрочем, может быть, еще в последнюю минуту захотят ехать *все*, несмотря на качку: тогда либо я откажусь, либо все планы изменятся.

Надеюсь, что через два-три дня (стало быть, за день, за два до получения этого письма) ты получишь от меня телеграмму: *Parti tout seul par mer, espere arriver 28*<sup>\*\*</sup>. Это будет значить вот что.

\* Вы получили ответ Булгакова? (Франц.)

\*\* Уехал один морем, надеюсь приехать 28 (франц.).

Мне хочется приехать прямо из Одессы (через Киев) к тебе в деревню, до *Москвы*. Чувствую, что иначе в первые минуты мы не увидимся и не наговоримся как следует. Нужно, чтобы *хоть денек* ничто не мешало, никакие посторонние тревоги не нарушали *полноту* общения. Все еще боюсь надеяться. Если мальчики и Верочка захотят поехать со мной, то отказываться брать их с собой без драмы, страшно опасно (у нас *очень* болезненно), невозможно. Но, впрочем, все тебе скажет раньше моего письма моя телеграмма.

Если ты ее получишь, это будет значить, что давно таившаяся моя мечта близится к осуществлению. Еще одно возможное препятствие — ожидаемая ежеминутно кончина Fr. Kömpfer, которая может заставить Верочку ехать в Висбаден, а меня везти всю семью сухим путем. Я чувствую, что эта мечта — быть у тебя — во мне так засела, что лишиться ее значило бы для меня подвергнуться ампутации.

Слушай же дальше. Мой маршрут: 16<sup>го</sup> выезд, 17<sup>го</sup> (Воскресенье) Анкона, Понедельник 18 — Бари, Вторник 19 — Бриндизи, в Среда — Корфу, в Четверг 21 — Патрос и Афины, в Пятницу 22 — Дарданеллы, в Субботу (23) — Константинополь. Там пересадка на другой пароход, и расписанья я не знаю и потому не уверен, буду ли в Одессе в Воскресенье 24 или Понедельник 25<sup>го</sup>. Если 25<sup>го</sup>, то в Киеве 26<sup>го</sup>, откуда могу выехать в тот же день *только* почтовым, который приходит к вам рано утром. Не знаю, останавливается ли он на разъезде № 15. Узнаю об этом в Малоярославце. Если нет, то слезу в Оболенском, а ты вышли за мною туда. Впрочем, об этом, если хочешь, можешь телеграфировать в Киев *до востребования*. Одно только прошу и даже требую: *ни в каком случае не выезжай сама навстречу*. Встреча при посторонних и потом бесконечная езда при кучере — такое волнение и мука, *что я заболел!* Мне нужно *сразу* видеть тебя совсем, совсем одну.

Ужасно боюсь задержек от бурь. Во всяком случае, *из Одессы*, если буду жив, телеграфирую. Тем временем завтра пошло тебе в Москву мой «смысл любви»! *Невероятно* жажду тебя видеть, душа моя и прелесть. Крепко, крепко тебя целую.

В случае перемены все-таки как-нибудь устроюсь, чтобы интенсивно повидать тебя в Москве. Целую очень крепко.

P. S. На случай, если вздумаешь телеграфировать *poste restante*, справлюсь об этом в Бари, Бриндизи, Афинах и Одессе.

#### 105. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[Телеграмма. Венеция. Принята в Ялте 14 апреля. Помета: «Адресат выбыл в Москву».]

Pars samedi seul par mer serai Athenes Hotel Angleterre 21, Constantinople 23, Odessa 25, Michaelovskoe 28, demanderai telegrammes Ancona dimanche Brindisi lundi ecris Athenes Odessa aspire te voir\*.

#### 106. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[Телеграмма. Бриндизи. Принята в Москве 19 апреля 1911 г.]

Tarda un jour depuis Constantinople attendrai bateau impatience\*\*

#### 107. М. К. Морозова — Е. Н. Трубецкому

[19 апреля 1911 г. Москва. В Одессу.]

Вторник

Дорогое сокровище, бесценный Женичка! Как ты, здоров ли? Хорошо ли доехал? День и ночь мысли мои, вся душа и сердце с тобой, мой ангел милый!

\* Уезжаю среду один морем буду Афинах отель Англиетер 21, Константинополь 23, Одесса 25, Михайловское 28 буду спрашивать телеграммы Анкона воскресенье Бриндизи понедельник пишу Афины Одессу мечтаю тебя увидеть (франц.).

\*\* Опоздал на один день начиная с Константинополя ожидаю пароход нетерпением (франц.).

Глубоко, безгранично благодарю тебя за твой подарок мне! Никогда этого не забуду и постараюсь заслужить всю твою доброту! Сокровище мое! Не могу передать словами того, как я счастлива и что я переживаю сейчас! Все поражаются, какой у меня лучезарный вид, и приписывают Ялте! Ангел мой, как меня умилило, что ты пишешь, чтобы я тебя не ездила встречать! Я тебе буквально то же написала уже давно в Афины! Да это совершенно невероятно нам встретиться при посторонних. Я пришло Михайлу на станцию «Разъезд 15<sup>а</sup>», т. к. *почтовый* поезд останавливается в 5 1/2 ч. утра. Во всяком случае, я тебе об этом телеграфирую в Одессу же! Приезжай скорее, ради Бога! Может быть, ты успеешь приехать в среду 27<sup>го</sup>. Ты можешь ехать и с курьерским, если это скорее, а я пришло лошадей в *Малоярославец* за тобой, того же Михайла. Телеграфируй из Одессы об этом, т. к. я должна тогда раньше быть в деревне, во всяком случае накануне твоего приезда! Ты входи в дом скорее и иди прямо в мой кабинет. Боже мой, как я рада, как счастлива! Боюсь, доживу ли? Иногда кажется, что сердце не вынесет такой радости! Твоя Гармося. Крепко, крепко, крепко, крепко тебя целую!

### 108. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[Начало июня (?) 1911 г. В вагоне поезда. В Михайловское или Москву.]

#### Милая и дорогая Гармося

Пишу тебе опять из вагона. Не понимаю, по какому недоразумению ты считаешь больною Соню. Больна не она, а Саша. Он было выздоровел совсем, и я ехал, как писал тебе, к Осоргиным<sup>199</sup>, откуда намеревался в Москву; но с полпути из Калуги должен был вернуться вследствие известия о появлении у Саши сыпи, <ото>рая очень меня напугала. К счастью, это — только последствия прививки, а не скарлатина, и я еду сегодня опять к Осоргиным, т. к. теперь у нас дезинфекция и в доме только две комнаты свободны, где и живут Верочка и Саша. Во вторник вернемся все. Приезд же в Москву я отложил числа до 15<sup>го</sup>, т. к. до полного поправления Саши все еще страшно: уж очень опасная болезнь и с последствиями!

Крепко тебя целую и благодарю за письмо. Ты меня спрашиваешь, верю ли я в наши отношения? Да, верю, потому что твердо надеюсь, что они станут другими. Если бы я был убежден, что они измениться не могут, я сказал бы, что я в них не верю. Я верю вот во что: уж очень сильно чувство в нас обоих — в тебе и во мне! Неужели же оно не найдет в себе силы быть нам обоим во спасенье? Право, тут ведь дело идет прямо о спасении души. Неужели для этого мала какая-нибудь жертва? Я убежден, что ты *все* сделаешь, чтобы снять с моей души тяжелейший камень, который меня давит. Я твердо убежден, что с этим камнем на совести ничего ни великого, ни святого, ни творческого не сделаешь. Это *больше*, чем убеждение: я это *ощущаю* всеми силами моей души. Только тогда буду иметь силу всем возвещать радость воскресенья, когда воскресенье у меня у самого будет в душе, — когда свыше будет прощенье. Вот я и думаю: ведь не сводятся же наши с тобой отношения к одному этому камню; есть же в них что-то светлое, хорошее и святое, что может от этого самого камня и мою и твою душу освободить. Вместе споткнулись, вместе и поднимаемся. Я был бы безутешен, если бы наши отношения оборвались *теперь* на точке, на которой они стоят. Тогда у меня осталось бы сознание, что я — источник огромного и несправедливого зла в твоей жизни. А я хочу, чтобы тебе было от меня добро. Зачем ты говоришь, что сейчас нам переменить отношений нельзя? Ведь их можно изменить только *сразу*: *постепенно* такие перемены не совершаются никогда. Нужно только побольше религиозности и веры — *положить между нами меч*, как сделал Зигфрид с Брунгильдой<sup>200</sup>, т. е. просто загипнотизировать себя на мысли, что ничего не должно не может [быть] и не будет. Ведь только этим мы можем спасти наши отношения! Я тут не о разлуке говорю, а о большем. Надо спасти в наших отношениях их *светлый смысл* от окончательной утраты! Нужно, чтобы было что-нибудь, что бы оправдывало в них веру. Ведь если они будут продолжаться без *веры*, разве это легче разлуки? Что нужно для веры, т. е. для ее



поддержания? *Нужен подвиг*, который бы и тебе и мне доказал всю силу и всю святость чувства, всю его способность на жертвы, готовность скорее перенести какие угодно лишения, чем видеть пятно на наших отношениях и допустить хоть какое-нибудь омрачение души.

Милая моя и дорогая, ведь от нас с тобой зависит быть светлыми, радостными и счастливыми все время. Зачем же мы этой светлой и постоянной радостью будем жертвовать для радости *минутной*, которая оставляет по себе такой долгий и такой невыносимо мучительный след в нас самих и разбивает, прямо *разбивает* другие души!

Ах, Маргося, Маргося моя милая, будь ты всегда моя любимая, обожаемая, светлая и радостная. Будь светла и бодра и не на свои силы надейся, а на помощь свыше, которая не обманывает.

Крепко, крепко и нежно тебя целую.

### 109. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[27 июля 1911 г. Бегичево. В Михайловское.]

Милый мой ангел дорогой

Не писал тебе эти дни, потому что слишком много разного во мне бродило и бродит. Хотелось мне, чтобы утряслось все в душе моей... Сейчас пришло твое письмо, за которое несказанно тебе благодарен. Дорогая и милая, спешу тебе сказать, что верю и надеюсь на окончательную победу; верю, что силы найдутся в самой нашей любви друг к другу. Ты у меня в этот приезд часто просила прощения; как-то странно звучали эти слова у меня в ушах, так как *винил* я одного себя, потому что знаю, что все в конце концов от меня зависит, и уверен, что во всем хорошем ты мне поможешь. Не совладел я на *этот* раз с волной восторга, которая меня унесла. Не совладел с чудным вечером, с одуряющим запахом сена, с невероятной красотой природы, а всего больше — с твоим очарованием! Ну что же, отчаиваться нечего, будем бодры и тверды, не будем падать духом и предаваться «ужасу», а лучше будем бороться против него. И Бог даст сил. На этот раз тяжелым был только самый день возвращения, — молчание и чувство накопившейся тяжести. Но ведь все-таки тем не менее и со стороны видно, что мы оба боремся, ты и я, и все-таки не отдаемся увлекающему нас потоку, как бы он ни был соблазнителен. И это в конце концов облегчает душу! Ах, дай Бог окончательно освободить и твою и мою душу от тяжести. Верю и надеюсь, что это будет.

По возвращении на другой же день бодро принялся за работу и двигаю ее вперед. Много положил на бумагу из того, что было переговорено, пережито и перечувствовано *с тобой*, моя милая. Это всякий раз в моей работе большая, *очень большая* для меня радость и утешение, потому что я нежно и крепко, крепко тебя люблю.

Здоровье мое по всем статьям хорошо. Переписное заведение — Мирновой (угол Воздвиженки, возле церкви Бориса и Глеба).

Радость моя, милая, хорошая и ласковая, не унывай, будь бодра.

Крепко и нежно тебя целую.

### 110. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[13 августа 1911 г. Бегичево. В Москву.]

Милая, дорогая и бесценная Гармося, красота моя и радость

Вот я здоров теперь и бодр. Работа идет, актовая речь наклеивается, и солнце вливает бодрость в душу. Часто за это время нападало уныние и тоска — двоякая тоска: одна по тебе, моя милая и родная. То подступает какая-то волна, целая буря, которая поднимает меня и несет, как щепку: это — чувство к тебе. То снова мучительно чувствую всю невозможность осуществления этого чувства, всю необходимость сдерживать его ради Бога, и тогда нападает тоска по тебе и тоска обо мне самом, мучит сознание греха. Мучит сделанное *ей* зло, *выражение подстреленной птицы*, которое так всегда гнетет душу. Ничего нового и острого тут нет и ничего нового не произошло:

в общем у нас лучше. Все это — старое, постоянное, хроническое, но и мучительное.

Освобождается от этой тоски и бури моя душа, когда чувствует подъем в работе, когда наклеиваются мысли и образы, а еще больше, когда получается какое-нибудь хорошее письмо от тебя, такое, которое заставляет подняться на победу всего хорошего, светлого между нами. Родная моя, как неудержимо, крепко и сильно я тебя люблю!

Уже назначен день моих занятий в универс<итете> Шаняевского — *по Пятницам*<sup>201</sup>. Это великолепно по близости к Четвергам и Субботам. Возражения твои основаны на недоразумении. Раз Соловьев видел в половой любви путь *выше ангельского* и *универсальный путь спасения*, он, очевидно, ее переоценил. Но ведь я же и говорю, что возвести относительное в абсолютное значит — растворить его в абсолютном и разрушить; именно переоценка и разрушительна в данном случае: именно потому, что любовь для С<оловьева> — «выше ангельского пути», он принужден был отбросить от нее все естественное: оттого и ложный «стыд». В сущности, во всей этой теории говорит неудовлетворенное *земное желание*, которое Соловьев бессознательно разжигал, принимал его за небесное откровение. Как же не сказать, что истину здесь заменяет *земная величина*?

Очень рад, что ты стала «коллегой» по земской деятельности. Думаю, что опрос земских деятелей — верный путь, чтобы сделать очень много. Что касается колонии, то я не сторонник преувеличенного практицизма. Пусть это будет место летнего отдыха; но если там есть труд, то труд обязательно должен быть целесообразен, т. е. бесцельный и фантастический труд не может заинтересовать и служить воспитательным средством. Поэтому, напр<имер>, огород *обязательно* должен быть поставлен так, чтобы давать колонии настоящие овощи<sup>202</sup>.

Милая моя, дорогая, радужная, целую тебя бесконечно крепко.

### 111. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[27 сентября 1911 г. Бегичево. В Москву.]

Милая моя, дорогая и бесценная Гармося

Получил твое милое, радостное письмо, и все у меня вертятся в голове стихи:

Я тебе ничего не скажу,  
Я тебя не встревожу ничем<sup>203</sup>.

Ах моя дорогая, как хочется ничего тебе не говорить, ничем тебя не тревожить, чтобы хоть ты радовалась. Но ты все равно и без слов и сама знаешь, что я страдаю, что я грустен. Прости меня, что я грустен, душа моя, прости, что мне больно, но иначе не может быть, потому что слишком горячо мое чувство к тебе и слишком огромно и свято все то, с чем сталкивается это самое сильное мое искушение. Боже мой, что борется в моей груди, что в ней подымается, точно грудь порой хочет лопнуть. Родная моя, найди в глубине твоего милого и любящего сердца силу мне помочь. Родная моя, хорошая и милая, в этом никто, никто мне не может помочь кроме тебя! Это из людей. А чтобы ты мне помогла, для этого тебе самой Бог должен помочь. Пусть Он дает силу и тебе и мне. Знаешь, какое мое самое большое желание на свете? Чтобы ты полюбила Бога горячо, страстно, всем порывом и пылом твоего глубокого и сильного сердца, так, чтобы не заслонял я эту любовь, и чтобы, напротив, это чувство взяло в тебе верх над чувством ко мне, и чтобы ты была им счастлива. Почему я этого так страстно хочу? Потому что обожаю, люблю тебя безгранично и потому что не вижу другого спасенья и просветленья для нас обоих.

Ах душа моя, дорогая моя, чувствуешь ли ты, сколько горячности, сколько огня в этом письме! А если чувствуешь, то не предавайся унынию и отчаянию. Люблю тебя крепко, крепко, безгранично и крепко целую.

## ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Переписка Е. Н. и М. К. продолжалась и в последующие годы. И, может быть, придет время представить ее читателю в полном объеме. Настоящую публикацию мы решили завершить последним из писем, отправленных Е. Н. к М. К. перед его отъездом из Москвы в армию Деникина. (Обстоятельства тайного отъезда Е. Н. подробно изложены в книге С. Е. Трубецкого «Минувшее».) Этим письмом и последовавшим за ним последним свиданием завершается история их любви: Е. Н. умер от тифа в Новороссийске в 1920 году, во время эвакуации Белой армии; М. К. незаметно скончалась в Москве в 1958 году.

Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[Август 1918 г. Москва. В Михайловское.]

Дорогой друг

Теперь вынужденное решение принято, и я — накануне отъезда; изыскиваются для него только способы, но самое решение уже принято. — Я взял отпуск у патриарха и больше ни на соборе, ни в церковном совете не буду.

Когда я уеду, не знаю. Это может случиться в зависимости от того, когда представится случай, — через два, три дня, через неделю или две, не знаю, но, во всяком случае, как только можно будет, ибо, повторю, обстоятельства вынуждают. Увидимся ли мы с Вами, дорогой, бесценный друг, перед отъездом, увидимся ли вообще и когда, вот вопрос, который я с ужасом себе ставлю: времена такие, что не знаешь, будешь ли еще жив завтра. Ломаю себе голову, как сделать, чтобы увидеться. — Это трудно. Приехать в Михайловское я не могу, т. к. должен быть настолько близко, чтобы мой Сережа, хлопочущий о моем отъезде, мог ежеминутно меня найти, переговорить о необходимом и чтобы можно было в любую секунду собраться — выехать. Завтра, Вторник, я еще буду в Москве (хотя домой не захожу, и писать туда мне бесполезно). Но послезавтра в Среду думаю быть в И.....<sup>ве\*</sup> и остаться там впредь до окончательного отъезда. Но этим не исключается возможность приехать в Москву без ночевки — повидать Вас. Поэтому мы условимся так.

Раз Вы мне писали, что будете 1 Сентября, то, буде я к этому времени еще буду близко (в И.), я приеду нарочно для Вас утром и около десяти часов буду у Вас (увидю сегодня Дуню и, если она мне укажет какой-нибудь другой срок Вашего приезда, сделаю изменение в *Post scriptum*). Есть еще и другой способ Вам видеть меня, когда приедете. Почту и телеграф надо исключить, т. к. эти способы там не действуют и письма доставляются с охами, неаккуратно из Москвы. Можно только послать ко мне кого-либо — Василия или мужичка из Михайловского. Имение И.... находится или в 20 мин. ходьбы от платформы 17<sup>а</sup> верста (Переделкино тож или Лукино) по Киево-Воронежской, или в 40 мин. ходьбы от полустанка 20<sup>а</sup> верста Брестской дороги. Буду тотчас, как только укажете.

Посылаю Вам книгу, которая соединена с бесконечно дорогой памятью о Вас — друге и поверенном всех моих любимых и сокровенных дум. — Больше чем где-либо я в ней выпился, и поэтому больше других она и Вам должна меня напоминать<sup>204</sup>. Хотелось бы сказать до свидания, но на всякий случай — прощайте, дорогой друг и бесценный. Да сохранит Вас Бог и да поможет в бесконечно трудных предстоящих испытаниях. Да соблюдет он Вас, Мику, Марусю и да пошлет он Вам свое благословение и благодатную помощь. — Ах дорогой друг, как тяжел этот скачок в неизвестность, как тяжело это в лучшем случае долгое расставание с Вами. Да будет над Вами ангел Божий. А я крепко, крепко, с бесконечной любовью мысленно прижимаю Вас к сердцу.

Видел Дуню и, получив подтверждение, что Вы будете 1<sup>го</sup>, запечатываю письмо.

\* Название места тщательно зачеркнуто.

## КОММЕНТАРИИ

<sup>123</sup> Л о т ц е Рудольф Герман (1817—1881) — немецкий философ; упомянутый М. К. «Микрокосм» написан и переведен на русский язык в 50—60-е гг. В начале 900-х гг. пропагандистом философии Лотце был С. Л. Кобылинский, брат поэта Эллиса (см. прим. 73).

<sup>124</sup> Художник В. М. Васнецов нередко бывал в гостях у М. А. Морозова, продал ему некоторые свои работы.

<sup>125</sup> Р а ч и н с к и й Григорий Александрович (1859—1939) — литератор, переводчик и философ, председатель Религиозно-философского общества. Страдал периодически обострявшейся психической болезнью (см. также письмо 76 и прим. 142).

<sup>126</sup> С. С. Н. Булгаковым.

<sup>127</sup> См. прим. 120.

<sup>128</sup> Имеется в виду мраморная копия со скульптуры Леохара (IV в. до н. э.), хранящаяся в Ватикане.

<sup>129</sup> Литературно-художественный кружок возник в доме М. К. весной 1905 г. «Она приглашала несоединимые, вне ее дома не встречавшиеся элементы: для «дружеских», интимных чаев с музыкой и разговорами <...> я стал встречаться в ее салоне с людьми, доселе меня ненавидевшими: профессорами Лопатиным, Хвостовым, Сергеем Трубецким, Фортунатовым, Кизеветтером...» (Б е л ы й А. Начало века, стр. 505). Постепенно вечера трансформировались в философский кружок с регулярными рефератами. Организован он был «частным образом» после того, как Л. М. Лопатин отклонил выступление Анри Бергсона в Психологическом обществе, сорвав его намечавшийся приезд в Москву. Цель кружка состояла в том, чтобы «дать возможность приезжающим из-за границы, окончившим там университет, прочесть доклад» (Морозова М. К., «Мои воспоминания», 104). Упомянутая М. К. повестка в письме отсутствует.

<sup>130</sup> Школа для крестьянских детей была построена М. К. в селе Белкино, неподалеку от Михайловского. В данном случае речь идет, очевидно, о планах детской колонии, организованной в 1911 г. педагогом С. Т. Шацким на земле, специально купленной для этой цели М. К. (см.: Ш а ц к и й С. Т. Педагогические сочинения. М. 1962, т. 1, стр. 303—449). После октября 1917 г. колония была реорганизована в Первую опытную станцию Наркомпроса и перешла под патронаж Н. К. Крупской. С. Т. Шацкий быстро освоил «новый дух» и, по словам Крупской, заслужил похвалы от Ленина (см. там же, стр. 29).

<sup>131</sup> Речь идет о сборнике «О Вл. Соловьеве» (обстоятельства его издания излагаются в последующих письмах). Е. Н. поместил в нем две работы: «Личность В. С. Соловьева» (расширенный вариант статьи «Владимир Сергеевич Соловьев (По личным воспоминаниям)». — «Московский еженедельник», 1906, № 5; вошло в кн. «Миросозерцание В. С. Соловьева») и «Владимир Соловьев и его дело», которая была прочитана на заседании Психологического общества в память В. С. Соловьева 6 ноября 1909 г. (см.: «Вопросы философии и психологии», 1910, кн. 106(1), стр. 126).

<sup>132</sup> В о л ж с к и й (наст. фам. Глинка) Александр Алексеевич (1878—1940) — историк литературы, автор статей на религиозные темы. В 1914 г. в издательстве «Путь» вышла его книга «В обители преподобного Серафима».

<sup>133</sup> К а с с о Лев Аристидович (1865—1914), был назначен управляющим министерством народного просвещения в конце 1910 г. по инициативе П. А. Столыпина (см.: В и т т е С. Ю. Воспоминания. М. 1960, т. 3, стр. 538—539). 16 января 1911 г. на основании решения совета министров Л. А. Кассо разослал в университетские советы циркуляр, в котором последним было предложено выработать меры «для установления действительного надзора за учащимися»; одновременно советы предупреждались, что в случае неисполнения требований министерства это «приведет общегосударственную власть к необходимости принятия особых мер к упорядочению внутренней жизни высших учебных заведений» («Русские ведомости», 1911, 16 и 17 января). О последовавших вслед за этим событиях см. в последующих письмах.

<sup>134</sup> В. М. Хвостов (см. прим. 60).

<sup>135</sup> С е п и с к о п о м Босненским и Сремским Иосифом Георгом Штроссмайером (1815—1905) Соловьев встречался в 1886 и 1888 гг. в Загребе и обсуждал перспективы церковного объединения. В апреле 1888 г. Штроссмайер представил через кардинала-секретаря Рамполлу большую записку папе Льву XIII, в которой сообщал, что «этой весной прибудет в Рим Владимир Соловьев, человек настолько же ученый, насколько и благочестивый, который много хлопочет по делу о соединении церквей» («Письма Владимира Сергеевича Соловьева». СПб. 1908, т. 1, стр. 192). См. также письмо, опубликованное нами ранее («Новый мир», 1990, № 7, стр. 225—226), и настоящую публикацию, письма 84, 87 и прим. 159.

<sup>136</sup> Д ю ш е н Луи (1843—?) — французский исследователь древней церковной жизни и литературы. Его основной труд, «История древней церкви», был выпущен издательством «Путь» (т. 1, 1912; т. 2, 1914).

<sup>137</sup> См. прим. 131.

<sup>138</sup> Ср. прим. 112.

<sup>139</sup> М. К. читала сочинение профессора богословия Казанской духовной академии Виктора Ивановича Несмелова «Наука о человеке» (впервые опубликовано в 1896—1898 гг., затем несколько отдельных изданий). Философией Несмелова особенно увлекался Н. А. Бердяев — см. его работу «Опыт философского оправдания христианства (О книге Несмелова «Наука о человеке»)», прочитанную в качестве доклада в московском, петербург-

ском и киевском религиозно-философских обществах («Русская мысль», 1909, № 9, стр. 54—72).

<sup>140</sup> Новоселов Михаил Александрович (1863—1938 или 1940) — религиозный писатель, в 1902—1917 гг. выпускал «Религиозно-философскую библиотеку» (в Вышнем Волочке, Москве и Сергиевом Посаде), всего 39 выпусков, — маленькие книжечки, включавшие наряду с написанным самим Новоселовым в основном фрагменты религиозных сочинений разных авторов. (Благодарю С. М. Половинкина за консультацию.)

<sup>141</sup> Мать М. К. — Маргарита Оттовна Левенштейн; ее отец, Отто Иванович, «был ревностный католик и принимал деятельное участие <...> в постройке римско-католической церкви в Москве, где был постоянно старостой» (М о р о з о в а М. К. Мои воспоминания, стр. 91).

<sup>142</sup> Семьи Рачинских и Мамонтовых состояли в свойстве: Г. А. Рачинский был женат на двоюродной сестре М. К. Татьяне Анатольевне Мамонтовой; сестры последней, Наталья и Прасковья, были последовательно замужем за Александром Константиновичем Рачинским (см. также прим. 125).

<sup>143</sup> Речь может идти либо о брошюре В. С. Соловьева «Русская идея», либо о его книге «Россия и вселенская церковь» (вышли в «Пути» в переводе Г. А. Рачинского в начале и конце марта 1911 г.).

<sup>144</sup> Сборник «О Вл. Соловьеве» удалось выпустить в мае 1911 г.

<sup>145</sup> Якунчиковы и Мамонтовы состояли в родстве: знаменитый богач В. И. Якунчиков был женат на Зинаиде Николаевне Мамонтовой, тетке М. К., его сын от первого брака — на Марии Федоровне Мамонтовой, двоюродной сестре М. К.

<sup>146</sup> Князь Сергей Александрович Щербатов, художник и коллекционер живописи, автор книги «Художество в упешдней России» (Нью-Йорк. 1955), — родной брат жены Е. Н.

<sup>147</sup> О г н е в Александр Иванович, Ш п е т(т) Густав Федорович, С т е п у н Федор Августович, Ф о х т Борис Александрович — философы, группировавшиеся вокруг «Логоса» (см. прим. 106).

<sup>148</sup> В ответ на циркуляр Л. А. Кассо (см. прим. 133) 28 января на экстренном заседании совета университета ректор А. А. Мануйлов «представил совету доклад о создавшемся в университете положении и заявил, что при таких условиях он не видит возможности нести на себе обязанности ректора и подает прошение об отставке. Такие же заявления были сделаны помощником ректора М. А. Мензбиром и проректором П. А. Минаковым. Совет <...> признал, что при создавшемся положении выборная университетская администрация не может нести возложенные на нее обязанности» («Русские ведомости», 29 января). 2 февраля в «Правительственном вестнике» появился высочайший указ, согласно которому Мануйлов, Мензбир и Минаков увольнялись от должности. 3 февраля подали прошение об отставке профессора: В. И. Вернадский, Н. А. Умов, В. А. Хвостов, С. А. Чаплыгин, Г. Ф. Шершеневич, Д. М. Петрушевский, А. А. Эйхенвальд, И. П. Алексинский; приват-доценты: Ф. Ф. Кокошкин, А. А. Кизеветтер, В. И. Сыромятников, П. Н. Сакулин, В. И. Полянский, Г. В. Вульф, Н. В. Давыдов, А. Э. Вормс, Н. К. Кольцов, И. А. Кистяковский, Н. Н. Шапошников, А. А. Боровой, Г. И. Россолимо, А. В. Цингер, М. К. Гернет, Д. Ф. Сеницын, В. М. Устинов, А. В. Кубицкий, Н. Д. Виноградов (см. «Русские ведомости», 4 февраля). П. И. Новгородцев и С. Н. Булгаков подали прошение на другой день (там же, 5 февраля). В последующие несколько дней отставки продолжались.

<sup>149</sup> Ш и п о в Дмитрий Николаевич (1851—1920) и князь Л ь в о в Георгий Евгеньевич (1861—1925) — крупные деятели земского движения; впрочем, возможно, Е. Н. намекает на И. П. Шипова, министра торговли и промышленности, оставившего свой пост из-за разногласий со Столыпиным в 1909 г.

<sup>150</sup> П а л ь м ь е р и Аурелио — священник, «ученый августинец, влюбленный в Россию и православие», дружил с многими русскими религиозными мыслителями, в частности с В. Ф. Эрном и Вяч. Ивановым (см.: И в а н о в а Л и д и я. Воспоминания. Книга об отце. М. 1992, стр. 52).

<sup>151</sup> См. прим. 136.

<sup>152</sup> Модернизм — направление в религиозной мысли, стремившееся согласовать католическое вероучение с современным научным и философским мышлением. Неоднократно осуждался в декретах и энцикликах папы Пия X. В 20-е гг. Пальмьери примкнул к этому движению (см.: И в а н о в а Л и д и я. Воспоминания..., стр. 52).

<sup>153</sup> См. письмо 84 и прим. 159.

<sup>154</sup> В университете им. А. Л. Шанявского семинарий Е. Н. начал действовать в 1911/12 учебном году и был посвящен философии В. С. Соловьева; состав участников в основном остался прежним, как и в университете. «Преимущественной формой обсуждения являлось чтение рефератов и обмен мнений по поводу прочитанного. В случае отсутствия следующего по очереди реферата прочитывалась и подвергалась обсуждению соответствующая часть работы кн. Е. Н. Трубецкого о Вл. Соловьеве, тогда появлявшейся в печати». В 1912/13 учебном году семинарий был посвящен новейшей русской философии, а в 1913/14-м — философии трансцендентального идеализма. В числе семинаристов были Л. В. Успенский, А. М. Ладьяженский, Н. В. Устрялов, Н. Н. Фиолетов и другие. Семинарий закрылся, так как «дальнейшее общение членов семинария и его руководителя могло протекать во внеакадемических формах» («Научные бюллетени Московского городского университета им. А. Л. Шанявского». Вып. 1. М. 1914, стр. 198).

<sup>155</sup> Речь идет о заседании Религиозно-философского общества, посвященном десятилетию кончины В. С. Соловьева, состоявшемся 10 февраля 1911 г. в здании Политехнического музея. Вяч. Иванов прочел доклад «О значении Вл. Соловьева в судьбах нашего религиозного сознания», Н. А. Бердяев — «Проблема Востока и Запада в религиозном сознании Вл. Соловьева», А. А. Блок — «Рыцарь-монах» (текст был прочитан М. И. Сизовым), В. Ф. Эрн — «В. Соловьев как философ» (отзывы современников о заседании) см.: Б л о к А л е к с а н д р. Новые материалы и исследования. «Литературное наследство», т. 92, кн. 3, стр. 378—381. М. 1982). Первые три доклада вошли в сборник «О Вл. Соловьеве».

<sup>156</sup> Яковенко Борис Валентинович (1884—1948) — философ, весной 1911 г. вернулся в Москву из Сорбонны и был восторженно встречен группой философов «Логоса» (о кружке см. прим. 129). Упомянутая повесть отсутствует.

<sup>157</sup> «Русские ведомости», 11 февраля, под заголовком «Письмо в редакцию». Инициатор протеста Сергей Иванович Четвериков, крупный промышленник (шерстяное производство и др.), дальний родственник М. К., много лет спустя вспоминал о своем участии: «Крупный промышленник и видный общественный деятель А. И. Коновалов устраивал у себя два раза в месяц собрания, на которые приглашались представители промышленности и видные профессора <...> для обмена мыслей по экономическим вопросам. Помню как неизменных посетителей профессоров П. И. Новгородцева и С. А. Котляревского. <...> С этим временем совпало гонение со стороны правительства на передовые элементы московской профессуры. В очередном собрании Александр Иванович возбудил вопрос о том, не следует ли также купечеству, много сыновей которого числится в числе студентов Московского университета, тоже присоединить свой голос к общему протесту московского общества. Мысль эта нашла полный отклик со стороны собрания, и решено было, не теряя времени, опубликовать такой протест за подписью возможно большего числа лиц московского купечества; составление текста этого протеста было поручено мне <...> Было составлено два экземпляра текста, и, разделив между собой список лиц, от которых было желательно получить подписи, Коновалов и я на другой день отправились их собирать. <...> Было собрано 66 подписей. <...> Так как я был знаком с главным редактором «Русских Ведомостей», Соболевским, то мне было поручено упросить его поместить этот протест в следующем же № «Р. В.». Соболевский настолько этим заинтересовался, что при мне вызвал метранпажа, распорядившись переставить текст уже почти готового № и поместить наш протест на первой странице» (Ч е т в е р и к о в С. И. Безвозвратно ушедшая Россия. Берлин, 6/г, стр. 53—54; см. также: Б у р ы ш к и н П. А. Москва купеческая. М. 1990, стр. 295—301; там же воспроизведен текст протеста). Заметим, что М. К. имела влияние на В. М. Соболевского через свою свекровь В. А. Морозову, состоявшую с редактором «Русских ведомостей» в гражданском браке.

<sup>158</sup> Очевидно, телеграмма связана с подачей Е. Н. прошения об отставке: 10 февраля «Русские ведомости» сообщили, что «от профессора князя Е. Н. Трубецкого из Рима на имя Н. В. Давыдова получена телеграмма с извещением, что он посылает и. о. ректора Московского университета заявление о своей отставке». Возможно, в сообщениях своим коллегам (либо в утраченном письме к М. К.) Е. Н. высказывал предположение искать место в университетах Европы.

<sup>159</sup> В 1888 г., будучи в Париже, Соловьев опубликовал в католической газете «L'Univers» две статьи: «Владимир Святой и христианское государство» и «Ответ на корреспонденцию из Кракова». На русском языке впервые были изданы «Путем» в переводе Г. А. Рачинского, с предисловием Е. Н. и с приложением отрывка из письма еп. Штросмайера кардиналу Рамполле в 1913 г. (вошли в издание: С о л о в ь е в В. С. Сочинения в 2-х тт., т. II).

<sup>160</sup> Измененная пята из «Моцарта и Сальери».

<sup>161</sup> См. письмо 12 и прим. 32, 33.

<sup>162</sup> То есть в конце первой недели Великого поста (начался 21 февраля).

<sup>163</sup> См. прим. 157.

<sup>164</sup> «В религиозно-философском обществе» («Русские ведомости», 11 февраля, то есть в одном номере с протестом 66 промышленников). Е. Н., похоже, относился к В. Ф. Эрну несколько пристрастно. Его выступление было передано корреспондентом в следующем виде: «В. Соловьев первый после Платона сделал огромное новое открытие. В царстве умопостигаемого бытия В. Соловьев открыл определенные ослепительные черты «вечной женственности» <...> Он мог <...> с полной внутренней свободой отнестись и к западной философии, на которую он сумел взглянуть <...> взглядом зодчего, и поэтому только он и осмелился поставить знак идеального равенства между нею и духовными сокровищами Востока». Доклад Эрн включен в его книгу «Борьба за Логос» («Путь». 1911). В книге «Мирозерцание Вл. Соловьева» Е. Н. развил полемику с Эрном по поводу Софии (т. 1, стр. 51; на стр. 355 имеются ссылки на соответствующие труды Баадера).

<sup>165</sup> Трубецкой Е. Н., «К уходу профессоров (Письмо в редакцию)» («Речь», 23 февраля). Е. Н. объяснял коллективную отставку как «протест против всякой политики в университете» и возлагал ответственность за нее в равной мере «на революционные комитеты и на правительство».

<sup>166</sup> «Из Рима мы с братом ездил в Сицилию, которую объехали кругом по железной дороге, останавливаясь в разных местах. В Неаполе мы вновь встретились с нашими родителями и сестрой. Проведя некоторое время в окрестностях Неаполя и на Капри, мы — с остановкой в Сиене — проехали во Флоренцию» (Т р у б е ц к о й С. Е. Минувшее, стр. 72).

<sup>167</sup> Евангелие от Матфея, 24, 8; от Марка, 13, 8.

<sup>168</sup> См. прим. 135 и 159.

<sup>169</sup> К у б и ц к и й Александр Владимирович — философ неокантианской ориентации. Перевод Платона в «Пути» не выходил.

<sup>170</sup> См. прим. 35.

<sup>171</sup> Вероятно, речь идет об одном из многочисленных воззваний в поддержку ушедших в отставку преподавателей, регулярно появлявшихся на страницах «Русских ведомостей» и др. газет. Воззвание, подписанное С. А. Котляревским, нами не обнаружено.

<sup>172</sup> Видимо, с С. И. Четвериковым (см. прим. 156).

<sup>173</sup> Очевидно, речь идет о докладе Б. В. Яковенко, о котором сообщалось в письме 81; доклад прошел бурно: в письме от 19 февраля 1911 г. Э. Метнер писал А. Белому: «Он (Яковенко. — А. Н.) прочел реферат <...> где высек жестоко Эрна, но, конечно, не прямо, а косвенно; были ожесточенные прения, и наши обскуранты (Бердяев, Эрн) договорились до *sic et non quia absurdum est*, до мыслей типично инквизиционно-иезуитски-католических; нет, уж знаете, *тогда* я лучше на стороне Когена, ибо в этом возмутительном рабском догматизме больше жидовства, чем в сдвинутом со своих арийских скреп кантианстве Когена» (ОР РГБ, ф. 25, к. 20, ед. хр. 7, л. 5; благодарю К. Ю. Постоутенко, любезно предоставившего данный документ для настоящей публикации).

<sup>174</sup> Тему доклада Ф. А. Степуна высказать не удалось. В своих позднейших «Воспоминаниях» (Нью-Йорк. 1954, т. 1) Степун посвятил М. К., которую остроумно назвал «княгиней Елагиной XX века», немало доброжелательных, но скептических по отношению к ее философским способностям строк.

<sup>175</sup> К р и з о ш е и н Александр Васильевич (1858—1923) — был главноуправляющим земледелием и землеустройством в 1908—1915 гг., активно проводил аграрную политику П. А. Столыпина. С кругом художников и промышленников сблизился в бытность юри-консультантом у С. И. Мамонова; был женат на дочери Тимофея Саввича Морозова, таким образом, состоял с М. К. в дальнем свойстве (см.: К р и з о ш е и н К. А. А. В. Кривошеин. Его значение в истории России начала XX в. Париж. 1973).

<sup>176</sup> Видимо, имеется в виду статья В. Ф. Эрна «Нечто о Логосе...» (см. прим. 106).

<sup>177</sup> Телеграмма Е. Н. (принята в Москве 7 марта): «Passerai une semaine (пробуду одну неделю. — Франц.) Hôtel Londres Loreles» (7, 1а, л. 51).

<sup>178</sup> Весной 1909 г. (см. письмо 1).

<sup>179</sup> Сборник «Вежи» вышел с предисловием М. О. Гершензона, в котором была сформулирована «общая платформа» его участников. В результате ряд авторов после выхода книги вынужден был отмежеваться от скандально знаменитой «ужасной фразы» в статье того же Гершензона (см.: Колеров М. А., «Архивная история сборника „Вежи“» (прим. 22); также: «К истории создания „Вех“». — «Минувшее», вып. 11, стр. 288, комм. В. Проскуриной и В. Алдоя).

<sup>180</sup> После того как закон о западном земстве, подготовленный советом министров, не получил одобрения в Думе и Государственном совете, 13 марта занятия этих органов власти были прерваны на три дня, в течение которых П. А. Столыпин этот закон и провел. Поскольку приостановка деятельности Думы и Совета не имела юридического обоснования, процедура в целом представлялась незаконной. Одновременно назревал конфликт между Россией и Китаем, связанный с отказом последнего следовать договору 1881 г. о беспопытной торговле для русских подданных в Маньчжурии и Западном Китае. Слухи о возможности военных действий со стороны России действительно активно циркулировали в прессе, однако волнения Е. Н. оказались преувеличенными — не в последнюю очередь из-за известных пророчеств В. С. Соловьева о «панмонголизме» и «китайской угрозе», которую тот обсуждал в последние дни жизни с братом Е. Н., С. Н. Трубецким.

<sup>181</sup> П. А. Столыпин был инициатором «жесткого» ответа на поданные прошения об отставке московской профессуры: 2 февраля «Русские ведомости» сообщали, что, по слухам, «на совещании между председателем совета министров и министром народного просвещения решено отнестись к отставке ректора и проректора как к явлению, имеющему демонстративный характер» (см. также прим. 148).

<sup>182</sup> Намек на работу В. С. Соловьева «Жизненная драма Платона».

<sup>183</sup> Источник цитаты нами не установлен.

<sup>184</sup> В 1909 г. бюджет Психологического общества складывался следующим образом: поступило 4060 р. 84 к., из них от М. К. 3000 р.; в контору журнала ВФП выдано 3741 р., то есть журнал фактически выходил полностью на деньги М. К. (см. ВФП, 1910, кн. 102, стр. 195—196).

<sup>185</sup> Речь идет о книге Л. М. Лопатина «Философские характеристики и речи» (М. «Путь». 1911), вышла в начале марта 1911 г.

<sup>186</sup> Первоначальный вариант предисловия, написанный С. Н. Булгаковым, нами не отыскан. Имеется текст, полностью написанный Е. Н., текстуально совпадающий с опубликованным, за исключением снятой С. Н. Булгаковым (см. его письмо к М. К. — ф. 171, к. 1, ед. хр. 7, л. 1) фразы: «Потребность в новом церковном самоопределении давно чувствуется той частью образованного общества, которая сохраняет свою связь с родной церковью, хотя и не закрывает глаз на язвы современной нашей церковной жизни» (ф. 171, к. 9, ед. хр. 10). Фраза, о которой пишет Е. Н.: «Книгоиздательство «Путь», однако, ставит вне вопроса и сомнения общую религиозную задачу России и ее призвание послужить в мысли и в жизни всестороннему осуществлению вселенского христианского идеала» («О Вл. Соловьеве», стр. 1)

<sup>187</sup> Письмо к путейцам в значительной части опубликовано (см. «Новый мир», 1990, № 7, стр. 228; там же подводящее итог дискуссии вокруг «Предисловия» и принципиально важное для понимания разногласий Е. Н. с идейным ядром «Пути» письмо Е. Н. к М. К. от 1 апреля, опущенное в настоящей подборке, а также — письмо С. Н. Булгакова к М. К. с оценкой сложившейся вокруг предисловия ситуации).

<sup>188</sup> Вышедшее в «Пути» полное собрание сочинений И. В. Киреевского в 2-х тт., под ред. М. О. Гершензона.

<sup>189</sup> См. прим. 139.

<sup>190</sup> Г. Н. Трубецкой.

<sup>191</sup> Л. М. Лопатин и С. А. Котляревский не присоединились к коллективной отставке и продолжили преподавать в университете.

<sup>192</sup> Выражение пасхальной стихир.

<sup>193</sup> Бранд — герой одноименной драматической поэмы Г. Ибсена.

<sup>194</sup> См. письмо 12 и прим. 31, 32.

<sup>195</sup> См. прим. 191.

<sup>196</sup> В 1911 г. Пасха приходилась на 10 апреля.

<sup>197</sup> См. прим. 135.

<sup>198</sup> Славянская библиотека основана в 1855 г. иезуитом о. И. Гагариным. Ее активные деятели оо. иезуиты П. Пирлинг и И. Мартынов поддерживали дружеские отношения и переписку с В. С. Соловьевым, его письма к ним хранятся в библиотеке. В 1901 г. из-за гонений на иезуитов со стороны государства библиотека была вынуждена перебраться в Брюссель, куда и собирался Е. Н. В настоящее время находится в Медоне, близ Парижа.

<sup>199</sup> Михаил Михайлович Осоргин был женат на сестре Е. Н., Елизавете Николаевне. Имение Осоргиных Ферзиково находилось в селе Сергиевское, близ Серпухова.

<sup>200</sup> В «Гибели богов» (финал сцены 3, действие 1) Зигфрид обращается к своему мечу: «Будь стражем верности братской, нас с женой ты врозь держи!» (Пер. В. Коломийцева.)

<sup>201</sup> См. прим. 154.

<sup>202</sup> См. прим. 130.

<sup>203</sup> Несколько неточная цитата из стихотворения А. А. Фета.

<sup>204</sup> Очевидно, «Смысл жизни» (М. 1918).





---

---

# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ЮРИЙ КАРАБЧИЕВСКИЙ

(1938—1992)

\*

## ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОЗА

*Имя Юрия Карабчиевского еще два-три года назад было новым в литературе. А сегодня мы вынуждены представлять его творчество уже как литературное наследие. Писательская судьба Карабчиевского даже по меркам нашего недавнего времени выглядит на редкость жестокой, несправедливой: без малого сорок лет интенсивной литературной работы — и только в последние четыре года он получил наконец возможность печататься на родине.*

*Юрий Аркадьевич Карабчиевский родился в Москве в 1938 году. Окончил Московский энергетический институт по специальности инженер-электронщик. Работал в биологических и медицинских лабораториях, а с 1974 по 1989 год — рабочим по ремонту электронных приборов. Опыт работы в далеких от литературы сферах Карабчиевский считал очень важным для писателя. И не только потому, что опыт этот дает жизненный материал для творчества, но потому еще, что избавляет писателя от некоего специфического комплекса неполноценности перед людьми других специальностей и одновременно — от нелепой, а порой и оскорбительной позы «избранника», позы «учителя». Работа в медицине и электронике по-своему увлекала Карабчиевского, об этом можно судить хотя бы по участию его в научных разработках.*

*Литературой Карабчиевский, по его словам, занимался «всегда». Писал стихи, литературно-критические эссе, прозу. Дебютировал как поэт в 1955 году в газете «Московский комсомолец». Но за последующие десять лет смог напечатать в различных изданиях всего четыре стихотворения (одно из них — в журнале «Юность», 1961, № 11). А затем до 1988 года Карабчиевский печатался только в русских изданиях на Западе (журналы «Грани», «Вестник РХД», «Время и мы», «22» и др.). Его литературная деятельность привлекла внимание «компетентных органов». Особенно тягостный, угрожающий характер специфическая «опека» органов госбезопасности над ремонтником Карабчиевским, имеющим подозрительно тесные связи с эмигрантскими изданиями, приняла к концу 70-х годов.*

*В 1979 году Карабчиевский принял участие в составлении независимого альманаха «Метрополь» и после шумного «метропольского» скандала как бы получил неофициальный статус писателя-диссидента с международной известностью — соответственно прессинг КГБ стал гораздо мягче, а в узких литературных кругах возник интерес к творчеству Карабчиевского. Но настоящую известность — сначала на Западе, а потом и у нас — принесла ему книга «Воскресение Маяковского». Жанр ее автор определял как «филологический роман». «Воскресение Маяковского» вышло в издательстве «Страна и мир» в 1985 году в Мюнхене. А в 1986 году книга была удостоена премии имени Даля. (Решение об этом парижском жюри — в составе И. Иловайской, М. Геллера, Ж. Нива, Н. Струве и под*

---

Публикация СВЕТЛАНЫ КАРАБЧИЕВСКОЙ.

Составление, подготовка текста, предисловие и примечания СЕРГЕЯ КОСТЫРКО.

\* Вот две научные работы, среди авторов которых значится и имя Карабчиевского: Голубых Л. И., Чиладзе З. А., Бибилишвили И. Н.; Карабчиевский Ю. А., Зимин Н. К., Прилуцкий В. И., Глузман А. А. Автоматическое управление регионарным давлением крови. Тбилиси. «Сабоча Сакартвело». 1970; Гурвич А. А., Еремеев В. Ф., Карабчиевский Ю. А. Энергетические основы митогенетического излучения и его регистрация на фотоэлектронных умножителях. М. «Медицина». 1974.

председательством В. Некрасова — было, по сообщению журнала «Страна и мир», принято единогласно.)

Первой более чем за двадцатилетний перерыв публикацией Карабчиевского на родине стала короткая рецензия на книгу Арсения Тарковского «От юности до старости» в «Новом мире» (1988, № 5). А немного спустя vyšли номера журнала «Литературная Армения» (1988, № 7—8) с публикацией одного из центральных произведений Карабчиевского — повестью «Тоска по Армении». В последующие два-три года ведущие журналы страны («Театр», «Дружба народов», «Октябрь», «Юность» и др.) широко печатали стихи, прозу, эссеистику Карабчиевского. С 1990 года начали выходить его книги. Новое литературное имя было замечено критикой сразу же — о Карабчиевском писали Лев Аннинский, Наталья Иванова, Ал. Михайлов, Леонид Бахнов и другие; Карабчиевского стали приглашать на литературные вечера и встречи с читателями, им заинтересовалось телевидение, в газетах появились интервью и беседы с ним. Нормальная писательская жизнь Юрия Карабчиевского только начиналась...

Летом 1992 года его не стало.

При удивительной работоспособности Карабчиевского творческое наследие его сравнительно невелико. Это обстоятельство свидетельствует прежде всего о степени его выскателности к себе и о серьезности задач, которые он ставил перед собой. Основной корпус его произведений составляют несколько десятков стихотворений, три поэмы: «Юбилейная прелюдия» (1969), «Осенняя хроника» (1970), «Элегия» (1972); повести «Утро и вечер» (1976), «Тоска по Армении» (1978), «Незабвенный Мишуня» (1986) и «Каждый раз весной», над которой автор работал до последних дней; роман «Жизнь Александра Зильбера» (1975), «филологический роман» «Воскресение Маяковского» (1983); литературно-критические эссе: «Улица Мандельштама» (1970), «Товарищ надежда» (1975), «И вихорцы и ээки» (1981), «В поисках уничтоженного времени» (1987) и некоторые другие\*.

Неопубликованными остались пока стихи, не включенные автором в сборник «Прощание с друзьями», повесть «Утро и вечер» (отрывок из нее был помещен в журнале «Огонек» /1991, № 29/). Публикация повести «Каждый раз весной» объявлена журналом «Дружба народов» на конец 1993 года. Не нашлось пока издателя на книгу лирико-публицистических эссе Карабчиевского последних лет, написанных для газет и радио и хранящихся в его архиве.

Для Карабчиевского в литературе не существовало периферийных жанров. И в стихах, и в прозе, и в эссеистике он работал с одинаковой ответственностью, с полной «выложенностью» в текст. Литературно-критической эссеистикой он начал заниматься с начала 70-х годов. Темы, к которым он обращался, — творчество Мандельштама, Битова, песни Галича и Окуджавы — не были обжиты в тогдашней критике, более того, темы эти не всегда и замечались официальным литературоведением и критикой. «Я писал эту статью в те времена, — вспоминал Карабчиевский в 1986 году работу над «Улицей Мандельштама», — когда стихи Мандельштама еще только-только начинали расходиться в списках; когда в любом среднеинтеллигентском кругу сказать о нем «гений» или «великий» — означало попросту эпатировать общество; когда вряд ли кто-либо в целом свете (так мне, по крайней мере, казалось), кроме разве что Льва Пинского и Александра Морозова, понимал, с ч е м он имеет дело...» Возможно, это и определило стилистическое и содержательное своеобразие эссеистики Карабчиевского — перед нами прежде всего сугубо личностный, не претендующий на научность разговор-исповедь, в котором автор делится с читателем своими открытиями в русской культуре XX века. В тональности этого разговора отчетлив отзвук тех споров и того воодушевления, с каким встречалось тогдашней интеллигенцией появление новых имен, новых явлений неофициальной русской культуры. Стилистика эссе Карабчиевского подчеркнута игнорирует традиционные нормы академического литературоведения, равно как и статистический стиль советской литкритики. Единственное, что смущало Карабчиевского в выбранном жанре, это его название: «Что слышится русскому уху при слове «эссе»? Ему слышится нечто обтекаемо-светское, респектабельное, обобщенно-культурное. Наши разодранные,

\* Большинство из перечисленного здесь опубликовано в книгах:

«Воскресение Маяковского». Мюнхен. «Страна и мир». 1985; М. «Советский писатель». 1990;

«Улица Мандельштама». Сборник эссе. США. «Antiquary». 1990;

«Незабвенный Мишуня». Повесть и рассказ. М. «Правда». 1990;

«Тоска по дому». Роман, повести. М. «СЛОВО». 1991;

«Прощание с друзьями». Стихи и поэмы. М. Литературно-художественное агентство «ТОЗА».

напряженные споры, наши непристойно отверстые раны едва ли подходят под эту конструкцию — среднего рода, неизменяемую, симметричную, ни конца, ни начала, с двойным свистящим «с» и манерным «э», такую краткую в написании, такую важную в произнесении, каждый раз требующую особой разделительной паузы. *Панталоны, фрак, жилет... история старая. Но здесь-то как раз дело не в этом, не в чужеродном происхождении, а в неточном смысле и чужеродном звучании. Как хотите, но есть такое чувство, что кровью сердца эссе — не напишешь...»* В России, считал Карабчиевский, всегда был жанр свободного очерка. «*Что писали Достоевский и Глеб Успенский, Розанов или, наоборот, Жаботинский? Они писали заметки, записки, статьи, фельетоны и очерки.* Однако специфически советская идеологическая окраска всех этих перечисленных жанров лишила их обозначение традиционного смыслового наполнения. И возникновение нового жанрового определения, видимо, закономерно. «*Та птица, что прошла четырех редакторов, не считая автора, прорвалась, теряя лучшие перья, а то и крылья, та, значит, пусть остается статья и очерк. А та, что по мере сил худо-бедно летает сама, та отныне, в общем нам назидание, будет называться неудобным западным именем. (Ведь в конце концов и «фельтон» — нерусское слово, а с другой стороны, и в словес «Россия» — тоже два почти таких же свистящих «с»...)*».

В своих эссе Карабчиевский абсолютно свободен в высказываниях и оценках, и свобода эта может кого-то покоробить. На мой взгляд, писатель нигде не переступает этических границ. Как бы резок он ни был в оценках творчества, скажем, С. Маршака, на эту резкость дает ему право опыт прежней, а может, и все еще живой любви. Карабчиевский всегда стремился к разговору с читателем на равных, он никогда не становился в позу «учителя», в читателе видел прежде всего собеседника, и вот это делало его как автора открытым для возражений, более того, как бы предполагало спор. «...во всех главных вопросах не надеюсь ни переубедить, ни склонить, а надеюсь скорей на совпадение взглядов, на заведомую близость и понимание. С годами все явственней осознаешь, что спор с противником — это бессмыслица, спорить можно только с единомышленником. И предметом спора могут быть только частности — общее должно разуместься само собой».

В этой публикации мы предлагаем вниманию читателя три произведения, относящиеся к «филологической» прозе Карабчиевского: последнюю редакцию эссе «Точка боли», заметки о творчестве С. Маршака и «Послесловие к повести «Тоска по Армении»».

## ТОЧКА БОЛИ

*О романе Андрея Битова «Пушкинский дом»*

### ОТ АВТОРА

Итак, снова «Пушкинский дом»... Но уже не в громоздкой машинописной копии (я лично кровную свою тридцатку отдал когда-то за второй экземпляр); и не в красном рассыпающемся томе издательства «Ардис», осторожно передаваемом из рук в руки (двадцать книжек на всю Москву); и не в отрывочной журнальной публикации, изошренной и наивной одновременно, где, к примеру, резкое и однозначное «сидел» заменялось на многозначное и мягкое «строил»... Нет — целиком, как и был написан, — на страницах самого толстого из толстых журналов<sup>1</sup>. Роман, «читанный-перечитанный», как уже неоднократно повторили критики, и, конечно, обсужденный-переобсужденный, у нас — устно, за рюмкой водки, а у н и х — и печатно...

И все же — событие, конечно, радостное, и даже радостнее многих других, уж хотя бы тем, что автор — жив и может порадоваться вместе с читателем.

Итак, миллионный тираж, доступно, удобно, кто не читал — прочтет, кто читал — перечтет или в крайнем случае непременно просмотрит, ну хотя бы на предмет наличия острых мест. Я как раз просмотрел, сличил и могу заверить: все острые места на месте, ни одно не упущено. Есть некоторые редакторские сокращения, но они действительно на самом деле продиктованы экономией места, и только ею.

И уже обсуждают роман не за рюмкой (с этим как раз теперь посложнее), а публично, печатно и как угодно.

Но случилось так, что в те давние годы, когда существовала еще только рукопись, прочтя сначала чужой четвертый, а затем и свой собственный, второй, экземпляр, я, в надежде на лучшие времена (а скорее так, без всякой надежды), написал об этой книге статью. И теперь, когда лучшие времена действительно вроде бы наступают, когда о «Пушкинском доме» пишут много и еще больше напишут, справедливо

соотнося сегодняшний текущий момент со вчерашним куда не текшим временем, — мне показалось вдруг, что и моя тогдашняя, современная исходному тексту, работа тоже может быть по-своему любопытна читателю. Я перечитал ее и нашел, что единственное, что я мог бы добавить, это несколько актуальных замечаний, скорей даже присказок, приближающих тему и тон разговора к сегодняшним дням. Я не стал их вписывать, авось и так обойдется. Хотелось бы думать, что не только роман, сочиненный пятнадцать лет назад, но и статья о нем — не нуждается в этом. Ведь в конце концов и в области критики, пусть с тем же, неизбежным уже, опозданием, — тоже может и должна начать торжествовать справедливость.

Москва, 1988.

1

...И вновь перед нами проза Андрея Битова, писателя, чьи повести и рассказы уже давно и несомненно выдвинули его в первые ряды, а на мой пристрастный взгляд — и гораздо дальше. Но сегодня — случай особый. Мы решительно перепрыгиваем через всю пятнадцатилетнюю работу Битова, более или менее отраженную в печатной критике, чтобы раскрыть его новую книгу, в которой одна только первая часть значительно превышает по объему любую из повестей. А всего таких частей (разделов, как называет их автор) — три.

И то ли от ощущения всей предстоящей толщины рукописи<sup>1</sup>, то ли от размеренности и неторопливости начала — эпиграф, пролог, опять эпиграф — мы сразу же осознаем важность, значительность, известную итоговость этой книги.

Мы перелистываем первые страницы романа, и начинается разговор о герое, об извечной тайне его «несуществования», о законном соответствии этой тайны бесконечной тайне материи...

«...И выплывает бабушкино слово «эфир», чуть ли не напоминая нам о том, что и до нас такая тайна была известна, с той лишь разницей, что никто в нее не упирался с тупым удивлением тех, кто считает мир постижимым, а просто знали, что тут тайна, и полагали ее таковой...»

Взяв такой радостный, легкий разбег, мы с удовольствием знакомимся с героем, который, как мы и думали и как надеялись, не представляет ничего неожиданного в битовском мире. Хотя, впрочем, как знать... Вот, например, он по происхождению — князь. Академическая среда, кабинет отца, запретный чай через макаронину, мечты о профессорской камиллавке, обеспеченном будущем и заслуженной посмертной славе. Отец, деловитый, цветущий, занятой, не умеющий, не нашедший времени научиться делать ребенку «козу». Робеющая, вечно озабоченная мать, мать как мать, лишь бы все было спокойно и пристойно. Детство, отрочество, юность... нет, отрочества не было. Лева Одоевцев как-то не запомнил себя в отрочестве. Он «был зачат в «роковом» году», и, значит, — прикинем в уме — 1949—1953, еще один «роковой» период, никак не отразился в его сознании.

«Мы могли бы лишь подменить эти его годы историческим фоном, но не будем этого делать: столько, сколько нам здесь понадобится, известно уже всем».

«В институте уже в пору «Юности» (журнала) приучился он расправляться в максимальных (оптимальных), но допустимых (допущенных) пределах: заполнять предоставленный объем».

Вот он и весь, Лева: оптимальный, допущенный, разрешенный. И когда он уже в основном сформировался и так удачно получился и все хорошо и прекрасно — появился первый выходец с того света, от Левиных именитых предков, «из глубины сибирских руд».

«„Куда прешь, падло!“ — крикнул он, тыча кулачок в ребро дворнику, и голос его был русский, как у священника».

<sup>1</sup> Статья была написана до публикации романа в издательстве «Ардис». (Здесь и далее примечания автора.)

## 2

Дядя Митя, который «воевал во всех войнах, а в остальное время, за небольшими промежутками, сидел», «дядя Диккенс», на котором довоенный костюм выглядит элегантнее Левиного, сшитого по английскому журналу, — вот тот человек, вот та личность, появление которой мы, оказываясь, ждали с первых строк романа. Графинчик водки, настоянной на чае, — и безапелляционное «говно» по любому поводу, невообразимая мебель — и безукоризненный вкус, босые ступни на желтом стерильном полу — и дворянский унитаз в прихожей, на котором «сизивал» Бог знает кто...

Этот удивительный человек написан с такой резкой достоверностью, с такой осязаемостью невозможных качеств, с такой безоговорочной уверенностью, что не остается никаких сомнений: он существовал, он был, он не придуман, а вспомнен.

Существует в литературе некое чудо, которому мы не устаем поражаться. Это чудо — возникновение образа из сопоставления обычных, вполне достоверных и, может быть, прозаических явлений. Заземленность и ненарочитость этого акта, полная самостоятельность каждого из компонентов как бы исключают авторское волевое усилие, наводят на мысль не о рождении даже, а именно о возникновении, не о построении, а о создании. Это, по-видимому, высшая степень метафоричности, и доступна она только большим художникам.

Вот таким редким случаем органического возникновения и представляется мне дядя Митя, с его нищим изяществом, скребкой полов и щек, бесконечным мытьем и припороживанием. Это поразительное соответствие внутреннего и внешнего — конечно же, образ, но, конечно же, и действительность. Что здесь что обозначает и что что символизирует: моральная чистота — символ физической или физическая — символ моральной? Вопрос этот не имеет смысла. Ясно одно: появление дяди Мити привносит в Левину жизнь возможность иного ракурса, иной точки зрения; с этого времени и у Левы и у его родителей возникает смутное ощущение некоего абсолюта.

## 3

Появление деда, Модеста Платоновича Одоевцева, тщательно подготовлено в романе.

Сначала простое упоминание о давнем, до рождения Левы, аресте деда. Затем — отец, занимающий кафедру деда и «продолжающий его дело». Потом — дядя Митя, отсюда и такой, а рядом уже всплывают забытые дедовы статьи, и вот уже Лева рассматривает старые фотографии, которых в доме оказалось так неожиданно много.

«Куда делись все эти дивные люди? Их больше физически не было в природе. Лева ни разу не встречал ни на улице, ни даже у себя дома...»

Странная какая вещь. Следуя залевой в его взаимодействии с окружающим миром и отождествляя себя с ним, как это и полагается читателю, мы постепенно обнаруживаем, что это отождествление не только художественно оправдано — оно к тому же еще и социально с п р а в е д л и в о!

Произнесем традиционное заклинание. Нас не должен волновать (хотя, конечно же, волнует, и даже очень) вопрос о степени автобиографичности. Речь сейчас не о совпадении тех или иных событий в жизни автора и героя. И вообще не о событиях. Речь идет о типе мышления, об особенностях восприятия, о системе реакции, которые отличают наше общество, точнее, интеллигенцию, еще точнее — поколение, родившееся в «роковом» году или около него. И в этом смысле у нас не остается никаких сомнений в тождественности Левы Одоевцева и автору, и каждому из нас, и получается, что Лева вполне соответствует тому классическому определению «типичного героя в типической обстановке», над которым так часто иронизирует Битов. Лева типичен, но, конечно же, не потому, что подобрал в себя различные черты многих людей, а потому, что те стороны его ума и характера, которые могли бы быть сочтены в нем главными, суть главные черты и нашего ума и характера, и предопределенность его поступков, в которой мы каждый раз с неизменным удивлением убеждаемся, проистекает именно из этого полного соответствия героя оригиналу, который нам он как хорошо известен. Возникает нечто вроде крутовой поруки между автором, героем и читателем, когда то, что принято называть недостатками, воспринимается просто как свойства, о которых можно судить, но которые нельзя осудить, можно ненавидеть, но нельзя уничтожить, поскольку все это вместе в каждом конкретном случае — есть именно то, что мы собой представляем, и так уж нам, видно, на роду написано...

Вообще надо было бы отметить, что, когда речь идет о прозе Битова, слова «достоинства и недостатки» звучат несколько упрощенно.

Великая война и фантастический террор не могли не повлиять на нашу оценку «положительного» и «отрицательного» в человеке. Мы стали с большей терпимостью, а иногда и с симпатией относиться ко многим естественным человеческим качествам, таким, которые раньше подлежали безоговорочному клеймению и осуждению. И наоборот, такие, например, эпитеты, как «твердокаменный», «кристально чистый» и даже «беззаветно преданный», вызывают в нас ужас одним своим звучанием. И это не оттого, что смысл этих понятий бывал часто извращен, скорее наоборот, ужас в нас вызывает именно первоначальный, истинный их смысл. Мы могли убедиться, что сила, решительность, последовательность — всегда потенциально угрожают человечеству, в то время как слабость, нерешительность, непоследовательность — в худшем случае оборачиваются несчастьем для их обладателя.

Мы дошли до того в своем отрицании, что человека, который под пытками повторяет все, что захочется палачу, и подписывает всякую бумажку, которую ему подсунут, мы уже не считаем преступником и предателем, жалеем его и сочувствуем ему насколько хватает нам нашего воображения и не требуем для него, искалеченного врагами, какого-нибудь еще сверхчеловеческого наказания от друзей.

## 4

Итак — Лева и дед Одоевцев.

Звонит дед, приглашает Леву; этот звонок как бы рассеивает некоторый успевший уже образоваться туман, и мы с удивлением обнаруживаем, что все предыдущее было фактически уточнением, развитием, переключкой двух жизненных линий: одной реальной, другой воображаемой, Левы — и деда, через голову отца, который все отъезжает и отъезжает на задний план, чтобы в недалеком будущем вовсе исчезнуть из поля зрения. Образ легендарного деда, в профессорской камиллавке, обложенного чужими фолиантами и своими гениальными рукописями, абсолютно совпадает с той высшей точкой движения, какую мог представить себе Лева.

Что же оказалось, вернее, чего не оказалось, чего не было в этой встрече из того, что ожидал с таким волнением Лева? На это можно ответить коротко: не было праздника. Лева ждал праздника, а его не было. Его не было уже давно, вся жизнь была вокруг сплошной неспрашки, Лева как-то не заметил этого, прожив двадцать лет в комфортабельном родительском гнездышке.

На месте кожаного кабинета, заваленного фолиантами, оказалась заплеванная, вопиюще грязная комната, с неаппетитными огурцами на мокром столе и... без единой книжной полки. Вместо почтенного ученого — страшный хромой старик с полумертвым лицом (буквально: мертвым наполовину; опять — образ реальности, реальность образа). И наконец, вместо радостного общения «на высшем уровне», вместо восторженно-торопливого обмена замыслами и оценками, вместо нарастающего чувства взаимной близости и обоюдной душевной тонкости, вместо всего этого — тоска одиночества, пустота отчужденности, острая боль от сознания собственного ничтожества.

«„В семени уже предательство! В семени!“ — орал, сидя на стуле, дед, не то стонал. Бескорыстно уже, абстрактно!..»

Поразительная абсолютная независимость деда, ему не к кому приноравливаться, не перед кем заискивать: ни перед настоящим, ни перед будущим, ни перед «народом», ни перед собственной совестью.

«Почему же незаслуженно? — возмущался он. — Я именно заслуженно пострадал... За-слу-жен-но! Меня посадили за де л о... <...> Господи, они еще спрашивают и удивляются, когда, мол, все это началось? Да давно, давно началось! Когда интеллигент впервые вступил в дверях в разговор с хамом — тогда и началось. Гнать надо, в шею! В отношении меня все справедливо у этой власти. Я не принадлежу к этим ничтожным, без гордости, людям, которых сначала незаслуженно посадили, а теперь заслуженно выпустили. Власть — есть власть. Будь я на ее месте, я бы себя посадил. Единственно, чего я не заслужил, — так это вот этого оскорбления реабилитации. Меня уже не страшно: я — шлак...»

И совсем уже убийственная точность:

«Восхищение осколками, периферийным мусором бывшего здания девцовского духа служило ему дополнительным, непереносимым уже оскорблением».

Круг замкнулся, действующие лица пришли в окончательное взаимное соответствие, а вернее будет сказать — в окончательное несоответствие, несовместимость, полную невозможность сосуществования.

«Раздеваясь, он почувствовал, что стал хуже за этот день», — замечает Битов.

Есть в этой фразе один — особый — отгенок, который уже не раз обращал на себя внимание на страницах романа, есть одно слово, которое теперь нельзя не подчеркнуть. Битов не пишет, что Лева стал хуже, он пишет, что Лева «почувствовал», как стал хуже. Эта незначительная, казалось бы, оговорка, эта естественная уже для Левы рефлексия выдвигает на передний план тему, которая вообще, на мой взгляд, является главной темой битовской прозы. Это — тема совести.

«Дом, честь, достоинство, как и девственность, употребляются лишь один раз в жизни, когда теряются. Им пришлось подсознательно сделать вид, что никакой измены не было, и никогда больше не прикасаться к этому вопросу, чтобы, не дай Бог, не расковырять его и не выпустить на свободу джинна совести, *испепеляющего русскую душу со скоростью света*» (курсив мой. — Ю. К.).

Это — об аристократах, к которым по рождению принадлежит Лева Одоевцев.

Тема совести — традиционная русская тема. Вся наша литература — об этом, и все главные проблемы, терзающие русских писателей на протяжении ста лет, могут быть сведены к взаимоотношениям с совестью. Любые муки может претерпеть русский писатель — нищету, обиды, издевательства — все выдержит и еще спасибо скажет. Одного он не может терпеть — мук совести. Не может, и оттого постоянно терпит...

И вот уже Лева готов окончательно, и начинается новая про него история, в которой главную роль играют женщины (мальчик вырос...), женщины — ж Митишатьев.

## 5

Кто такой Митишатьев? Митишатьев — это вроде бы некое злое начало, которое не противостоит Лева (в этом случае мы должны были бы признать Леву добрым началом, а он таковым, конечно же, не является), но обвиняет его как змея, проникает в него повсеместно и постоянно всасывает, впитывает его в себя. Митишатьев — бес, и оттого он вьется вокруг Левы и встречается всюду на его пути, что ведь и Лева — не праведник, а очень даже подходящий объект для растления и совращения.

И вот начинается эта жуткая история с кольцом Фаины, где сплетаются в тесный клубок любовь и ненависть, застенчивость и нахальство, порок и добродетель, радость и отчаяние, преступление и наказание — и какие еще бывают пары?

И уже автор, по-прежнему сочувствуя Лева и понимая его, не очень-то ему доверяет и порой перекладывает на свои многотрудные плечи заботу о его совести.

«Никто не виноват, что жизненность воплощается в наше время в самых отвратительных и, прежде всего, подлых формах. Никто не виноват, потому что все виноваты, а когда виноваты все, прежде всего виноват ты сам.

Но жизнь уже строится по такому костяку, чтобы люди никогда не сознавали своей вины, этим способом и будет воплощен рай на земле, самое счастливое общество».

Это сказано прекрасно, но это сказано автором, Лева — теперешний — этого сказать уже не мог бы.

Ну — нет так нет, не можем же мы укорять автора за эту Левину разрыхленность, за распылчатость его характера. Таков Лева, автор не брал на себя обязательства написать железного парня, к примеру, Левинсона или Павку Корчагина.

Но беда в том, что другая распылчатость, другая разрыхленность начинает беспокоить нас при чтении второго и третьего разделов, а точнее, последней трети романа.

Перед нами проходят уже упоминавшиеся Левины женщины: Фаина, единственная, всегда желанная (потрясающе написанная вечеринка с мучительной ревностью

и кражей кольца, вездесущий Митишатъев, которого нельзя вынести, но от которого и невозможно избавиться); затем Альбина, интеллигентная, умная, своя и ненужная; и, наконец, Любаша, совсем уже неважная и незаметная. И вот, читая такие достоверные, такие насыщенные чувством и действием страницы о частной жизни Левы Одоевцева, мы постепенно, к концу второго раздела, начинаем ощущать какую-то вялость, замедленность, как бы усталость мышц. Реальность, не только блестяще описанная, но и многократно подтвержденная автором, как бы заверенная его словом и подписью, становится в нашем восприятии все менее реальной. И все чаще встречаются авторские сомнения в достоверности и необходимости того, что происходит, и попытки возвести в сознательный прием выход ситуации из-под контроля.

«Так ли они говорили? <...> Не так, конечно, они говорили, но именно это!»

Но читатель уже набрал инерцию, и он уже сомневается дальше, уже сам, без помощи автора: а это ли? а быть может, не это? Заданная условность повествования, закреплённая на протяжении сотен страниц совместным трудом автора и читателя, не выдерживает настойчивого саморасшатывания. Мощное автолитературоведение также не укрепляет структуры романа, а, напротив, наваливается на его условную плоть всем своим безусловным весом и порой почти целиком заменяет собой.

Здесь находит свое выражение главная опасность на трудном, полном опасностей пути Андрея Битова. И об этом, конечно же, надо не вскользь, а весомо, подробно и обоснованно. Но уж лучше где-нибудь в другом месте, в другое время... а лучше и вовсе не надо. Что бы ни было, Битов всегда остается Битовым. Мы могли бы сказать о нем теми же словами, какими он сам говорит о Диккенсе: что у него «и недостатки были черткою и их можно было любить. Личность!».

И вот, любя своего автора, со всем тем, что мы считаем его недостатками, мы и отодвинем подальше в сторону те куски текста, которые, как нам кажется, теряют свойства реальности — то ли сами по себе, а то ли под натиском многослойной авторской рефлексии. Мы, конечно, не вправе изменить композицию романа, но собственный наш разговор о нем мы можем вести в любом порядке. И теперь мы переходим к особой главе под названием «Дуэль Тютчева» — главе, тоже вроде бы выходящей за рамки, но в которой на самом деле сплелось столь многое, что она в читательском восприятии становится едва ли не центром всего повествования.

## 6

Глава эта впервые сталкивает нас вплотную с профессией Левы, которая играет немаловажную роль в романе и о которой до сих пор (до конца второго раздела) говорилось совсем немного и лишь в общих чертах.

Вопрос о профессии героя — специфический вопрос современной литературы вообще и русской в особенности.

Вся наша жизнь все более и более связывается с профессиональной деятельностью. Дифференцировка общества по сословиям и классам фактически уже заменилась дифференцировкой по специальностям. Современное наше общество производительно, производственно, профессионально.

«Кто это?» — спрашивали когда-то прежде. И отвечали: «князь такой-то», или «воронежский помещик», или, в крайнем случае, «адвокат» — с ударным нерусским «о». Редко когда мелькал инженер: строитель или путеец.

«Кто это?» — спрашивают теперь. И отвечают... Ну, тут список бесконечен.

И как бы мы ни презирали «производственные» романы недалекого прошлого, следовало бы нам признать, что они плохи не тем, что производственные, а тем, что плохие. Вся литература теперь — производственная, в том смысле, что она не может не касаться профессиональной деятельности.

И вот я хочу высказать такую реакционную мысль, вполне, может быть, согласную с официальной точкой зрения. Мне кажется, что современный художник, а особенно писатель, а особенно русский, — непременно должен, просто обязан, знать хотя бы одну «положительную» профессию. И не только знать, но и владеть ею. Только в этом случае им может быть достигнуто равновесие с окружающей средой, необходимое для точного ощущения реальности.

И тут важно вовсе не «уважение ко всякому труду», важно скорее обратное: только профессиональные знания могут избавить человека искусства от пьютета по отношению к неизвестным ему и таким снаружи таинственным профессиям. И тут достаточно знать одну, чтобы не падать ниц перед остальными.



Вспомним хотя бы бесчисленные романы, фильмы и пьесы об ученых, где тщеславный бездарь крадет открытие (или чертежи) у одинокого гениального фанатика; где к пожилому ученому обращаются, как в студенческих анекдотах, «профессор», как будто это звание дается взамен имени-отчества, и где старый академик и молодой аспирант за рюмкой водки решают проблему фотонной ракеты на уровне приложения к газете «Известия»...

Но вернемся к Битову. Я уже дал однажды клятву не касаться личности автора. Теперь я ее с легким сердцем нарушаю. Мне, например, чрезвычайно важно знать, что Битов по образованию — инженер, что он, худо-бедно, имеет представление о математике, и о физике, и о пресловутом сопромате, что он знает, отчего течет ток и чем занимаются (и чем не занимаются) в загадочных «почтовых ящиках». И я вполне допускаю, что были времена, когда он проклинал свою первую профессию и всю связанную с ней работу за то драгоценное время и совсем уже бесценные душевные силы, которые она отнимала у литературы, но я в то же время несколько не сомневаюсь в наличии у него чувства благодарности по отношению к своему традиционно халтурному специальному образованию, к своей непрошенной работе «по распределению» (если она была), к вынужденному, не туристскому общению с техникой и работягами.

Что дал ему этот недолгий опыт? Знание жизни? Да, но не только. Он дал ему чувство равновесия с окружающими людьми, дал способность переливать не только из себя — в них, но и из них — в себя, и он дал ему, наконец, чувство меры, позволяющее с достоинством и юмором, без пренебрежения, но и без излишнего пиетета говорить о любой профессиональной деятельности.

«Пушкинский дом» — роман о филологе, и то, что он филолог и потомок филологов, не менее важно, чем то, что он потомок князей.

Мы уже слышали от автора о его одаренности, слышали мимоходом упомянутое название статьи: «Три „пророка“»\*, слышали, но не очень-то верили в то, что реальность Левиной работы сможет приблизиться к реальности его самого как героя романа. И вот — произошло чудо материализации, и статья эта — перед нами, как «объективная реальность, данная нам в приложении».

Собственно, перед нами не сама статья, а ее пересказ, но это как раз еще интереснее.

«Статья эта, — замечает Битов, — не о Пушкине, не о Лермонтове и, тем более, не о Тютчеве, а о нем, Леве».

И не о Леве, а о нем, Битове, — так и хочется нам добавить. Но мы не станем этого делать, это была бы непозволительная вольность. Конечно же, отложив в сторону книгу, мы можем с уверенностью сказать, что все это написал Битов. Не Бог ведь какое открытие. Но если мы не хотим прорывать тонкую оболочку повествования и вылезать за его пределы, то нам придется признать, что статья «Три „пророка“» написана Левой, именно Левой Одоевцевым, а не Андреем Битовым. «Я рад всегда заметить разность между Онегиным и мной».

Начинается Левина статья с остроумной подтасовки, с одного из многих мистико-математических обобщений, связывающих числа и судьбы.

«Человек с 27 лет начинает ведать, что творит. Полное сознание подвигает его на единственные поступки.

Перед ним три дорожки, как перед богатырем. Бог, черт или человек. Или, может быть, Бог, человек, смерть.

Пушкин выбрал Бога, Лермонтов предпочел смерть прерывности. Тютчев продолжал жить прерывно. Загробное существование».

Научная основа действительно жидковата. Ну и Бог с ней, с научной основой. Главное — то, что с самого начала все в этой статье органично и внутренне непротиворечиво, а оттого — убедительно.

Три стихотворения трех поэтов, написанные в одном и том же возрасте на одну и ту же ключевую тему, — впечатляющее совпадение!

И вот уже каждую строфу лермонтовского «Пророка» воспринимаешь не иначе как по-Левиному: две первые строчки — гордые, пушкинские, зрелые, а две вторые — жалобные, лермонтовские, детские.

\* См.: Андрей Битов, «Три „пророка“» («Вопросы литературы», 1976, № 7).

И уже невозможно себе представить, что «Безумие» Тютчева написано иначе как в ответ на пушкинского «Пророка» — ответ тайный, насмешливый, злой...

«Пушкин отражал мир... Лермонтов отражает себя в мире открыто, у него нет за пазухой... Тютчев более обоих искусствен, он скрывает («Молчи, скрывайся и тай» — гениальные стихи, в том же тридцатом году: их тоже привязал Лева к своей мельнице)».

Таких ремарок — «привязал к мельнице» — много в этой главе, и они, как ни странно, ничего не принижают и не обесценивают, а, наоборот, в силу закона парадоксальности сообщают всему сказанному реальный объем, психологическую живость и человеческую теплоту.

«Так рассуждал Лева», — говорит автор, и это позволяет ему как бы нейтрализовать академичность материала, избежать щекотливого положения, когда всякая вольность по отношению к канонизированному гению может быть воспринята как претензия или даже цинизм.

Только однажды, может быть, дистанция сокращается до нуля. Это когда Лева говорит о мастерстве Тютчева.

«Он, такой всем владеющий, не выражает себя, а сам оказывается выраженным.

Так заключает Лева, пытаясь сформулировать некий парадокс мастерства: ...Только откровенность — неуловима и невидима, она — поэзия; неоткровенность, самая искусная, — зрима, это печать, каинова печать мастерства, кетати, близкого и современного нам по духу».

Здесь происходит короткое замыкание между автором и героем романа — слишком уж велика напряженность поля, слишком важна для Битова эта второй уже раз и с одинаковым нажимом высказываемая им мысль. Автор выдает себя и не скрывает этого. «Некий парадокс мастерства», сформулированный Левой, уже высказан ранее Битовым в предисловии к «прозе Диккенса».

«Что же мы узнаем из этого листика, если в нем нет сплетни? Стиль. «Тайну», о которой мы говорили, несет в себе стиль, а не сюжет... Потому что стиль есть отпечаток души столь же единичный, как отпечаток пальца есть паспорт преступника. И здесь мы приходим к давно лобезной нам мысли, что никакого таланта нет — есть только человек... Так, хорошие и умные — талантливые, а плохие и глупые — нет.

...И никогда еще (что нас постоянно утешает) никто не сумел скрыть ничего в слове: и если он лгал — слово его выдавало, а если ведал правду и говорил ее — то оно к нему приходило...

Чистого человека всегда найдет слово, и он будет, хоть на мгновение, талантлив. В этом смысле про «талант» нам внятно лишь одно: что он — от Бога».

Этот «обратный повтор» важен нам не только для подтверждения и усиления, он важен главным образом как некоторая морально-этическая программа Битова, как критерий его отношения к литературе — и не только к литературе.

Профессия писателя — говорить правду. У пишущего человека просто нет другого выхода, и любые попытки утаить и замаскировать оборачиваются «каиновой печатью» — мастерства или не мастерства — это уже другой вопрос. Талант и ум, талант и искренность, талант и чистота — неразделимы, и это очень важно для Битова, и очень важно для нас, потому что без ясного ощущения этого художественно-этического единства мы никогда не сможем понять Битова как писателя.

И что удивительно: статья Левы, замечательная сама по себе и, как мне кажется, задуманная Битовым отдельно и задолго до романа (может быть, именно в 27-летнем возрасте — почему бы и нет?), прекрасно ложится в русло повествования и выглядит в нем органичнее иных специально написанных глав.

Перед нами снова яркая и психологически напряженная притча, где разыгрываются все основные положения битовского мировоззрения. Это словно бы такой публичный диспут. Что есть талант? — задаем мы схоластический вопрос Андрею Битову, и он в ответ рассказывает нам историю, в которой действуют известные нам лица, но в необычной ситуации и в неожиданной функции. Он рассказывает историю и даже сам формулирует мораль, чтобы мы не утруждали свои драгоценные головы мучительным размышлением. Но мы все-таки утруждаем, потому что история —

сложнее морали, и если, с научной точки зрения, она еще может вызвать возражения, то с точки зрения человеческой — несомненна.

Да и что такое в литературе «научная точка зрения»? Так называемая наука филология доказательна лишь в той степени, в какой она сама является искусством. В искусстве же могут быть истинными и противоположные утверждения. Для того чтобы в этом убедиться, достаточно собрать воедино те отдельные качества, за которые ценят филологи великих и признанных. Верность традиции — и разрушение традиции, стилистическая строгость — и стилистическая свобода, композиционная цельность — и нарушение композиции, лексическое единство — и внедрение прозаизмов, насыщенность — и прозрачность, целостность — и фрагментарность, гармония — и дисгармония — все эти взаимно противоположные качества равно свидетельствуют о величии, как могли бы свидетельствовать о ничтожестве.

Здесь ясно одно: талантливость есть мера убедительности.

И вот мы прочли статью Левы Одоевцева — и полностью ею убеждены, и не надо нам иных версий, мы просто знать о них не хотим!

И когда мы вот так горячимся и отстаиваем истинность и новизну сделанного Левою открытия, в этот как раз момент Андрей Битов — удивительный все же писатель — выливает на наши головы ушат холодной воды. Его трезвый иронический ум не может допустить, чтобы идея стала догмой. Даже если это его собственная идея. Тем более, если собственная...

«Мы думаем, что если бы версия, подобная Левиной, могла бы получить столь же широкое и предписанное распространение, как и существующая за «научную», то она бы быстро стала столь же скучна и безвкусна, как все легенды о прогрессивной преемственности, о дружбе великих людей, об эстафете поколений и прометеевом огне...»

Не успокоившись на этом, он хватается за шиворот несчастного Леву и решительно низвергает его с олимпийских высот, на которых тот только что с несомненностью находился.

«Ах, если бы это был Лева! (а не Тютчев). То он бы обнял, то он бы прижал к сердцу Александра Сергеевича — но хватит, он уже обнимал раз своего дедушку.

Тютчев же — на своем месте. Он так же не заметил, что с ним стрелялся Лева, как Пушкин (если Лева прав) не заметил, что с ним стрелялся Тютчев».

И однако, когда в конце концов мы приходим к отправному пункту — к Лева, который все это написал, то все происшедшее с ним ранее и могущее произойти в дальнейшем приобретает особый смысл, особую значительность, во всех событиях отныне чувствуется повышенная напряженность, иная цена.

Потому что теперь мы уже точно знаем, что Лева не просто рефлексировавший неврастеник, сумевший недурно устроиться (хотя и это тоже), — мы знаем, что он талантлив. И вот здесь-то намечается, еще не очень ясно, первый мостик между ним — и дедом, первая точка их духовного, подлинного, не формального родства.

Но и в вечной системе «Моцарт и Сальери», где каждый, кроме настоящего Моцарта, играет двойную роль, ему находится вполне определенное место.

Пушкин — Тютчев, Тютчев — Лева... Короткая эта цепочка здесь не обрывается, потому что и на Леву нашелся свой Сальери. Что ж, в конце концов Лева заработал право хоть какое-то время побыть Моцартом.

Итак: Пушкин — Тютчев, Тютчев — Лева, Лева — Митишатъев...

## 7

Митишатъев появляется всегда неожиданно и так же неожиданно исчезает. Он всплывает в самых различных ситуациях, с неизменным успехом осуществляя свою черную миссию: сперва растлить Леву, приобщить его к всеобщему злу, затем обмануть, унижить и уничтожить. Он постоянный обновитель и реставратор Левиной боли, каждый раз добавляющий ему новую муку: муку обиды, ревности, унижения, бессилия. С другой стороны, не вызывает сомнений, что Митишатъев, в отличие от Левы, является носителем идеи, именно потому сила на его стороне. У Митишатъева есть цель, может быть, не сверхзадача, но все же конкретная цель в каждой конкретной ситуации, он для себя определен и поэтому выходит победителем.

Вот он появляется в Пушкинском доме, широко улыбаясь, входит в храм литературы в сопровождении бесцветного своего спутника, по иронии судьбы оказывающегося бароном, он уверенно поднимается по мраморным лестницам — и «дежурный» Лева рад ему от души, и эта искренняя радость стосковавшегося и измученного одиночеством Левы — есть победа над ним Митишатъевым.

Потому что по всей логике, по всем идеологическим канонам не должен Лева радоваться Митишатъеву, не должен, а вот — радуется!

«Выпили. Лева ощутил тепло и приятность, глаза его повлажнели.  
— Что бы я без тебя делал? — сказал он Митишатъеву».

И так естественны в этой ситуации (князь Одоевцев, барон фон Готтих) разглагольствования Митишатъева об аристократизме, что не поймешь сразу — сочувствует или издевается. «Соскучились люди никого не уважать и всего бояться. Уважать им охота. А тут чего проще — князь... Не страшно».

И унижение Левы, а заодно и случившегося здесь Готтиха становится все более явным. Митишатъев играет ими, как пешками. Он ломает комедию, куражится и юродствует. Он разыгрывает «сцену из рыцарских времен», заставляя их стоя распивать «маленькую», князь и барон — до чего же красиво!

«Ну, можете сесть. Все, вообразили — и хватит. Больше такого вам не представится, поверьте мне. Или, может быть, ты надеешься на реставрацию? А, Лева?»

И совсем уже прямолинейная, совсем уже басенная иллюстрация, которую позволяет себе здесь Битов: барон фон Готтих, пишущий праздничные стихи в газеты «не то о Матренах, не то о мартенах...».

Так невесело радуется Митишатъев, и Лева послушно ему подыгрывает и ничего такого вроде бы не замечает, как не замечает он своего происхождения, как не должен он его замечать, потому что оно у него — есть.

Они пьют водку и зубоскалят, и звонит телефон. Лева снимает трубку — и вдруг происходит чудовищный фокус-покус, и перед нами уже — два Левы, и один пьет с Митишатъевым, а другой разговаривает с Бланком, и эти два Левы несовместимы друг с другом, как несовместимы Бланк — и Митишатъев.

Да что за человек такой — Бланк?!

Такой человек... Исаия Борисович Бланк.

Но сначала — еще два слова о Митишатъеве. Появлению Бланка, говорит Битов, мог предшествовать такой, например, диалог о евреях:

« — Что же ты имеешь против них?

— Евреи портят наших женщин, — твердо сказал Митишатъев.

— Как так?

— А так. Потом, они — бездарны. Это неталантливый народ.

— Ну, уж это ты извини!.. А как же...

— Только не говори мне ничего про скрипочку.

— При чем тут скрипочка? — Лева вдруг рассердился и перечислил поэтов.

Митишатъев их всех отверг.

— Ну, а Фет? От Фета-то ты не отречешься?

— Фета оклеветали.

— Ну, а Пушкин? — озарило Леву. — Как — Пушкин?

— При чем тут Пушкин? — пожал плечами Митишатъев. — Он — арап.

— А арап — знаешь что? Эфиоп! А эфиопы — семиты. Пушкин — чер-  
ный семит!..»

Диалог, безусловно, не настоящий, нарочито вымышленный. Битов не мог пройти мимо этой темы. Не должен был пройти. И, конечно, Митишатъев-аглицемит — это так естественно. Но так же естественно и другое: что никакой серьезный разговор между ним илевой невозможен в принципе.

«Преодолеть — потерпеть поражение, потому что признать».

Но еврейство Бланка — только повод для Митишатъева оскорбить и унижить его. Еврейство Бланка никак не связано слевой, оно и не существовало для Левы до этого момента. Что же такое Бланк — для Левы?

«Бланк был как бы вот какой человек: он не мог подумать плохо о людях».

Бланк был для Левы тем ограниченным пространством, тем узким полем деятельности, где он мог культивировать доброту и благородство. С Бланком Лева был иным, нежели с остальными знакомыми, это можно было назвать лицемерием, но кто знает, где был подлинный Лева — с Бланком или с остальными?

«В этой роли он чувствовал себя естественно и, поскольку давно уже не знал сам, где находится и кто же он, давно доходил до полной достоверности ощущения...»

И вот — на одном конце провода — Бланк, на другом, рядом слевой, — Митишатъев. С Бланком говорит один человек, с Митишатъевым — другой. Но и тот — Лева, и этот — Лева. Внутри Левы должна произойти эта страшная аннигиляция, и боль от нее заранее невыносима.

«И он спускался отпирать Бланку двери, тускнея с каждой ступенькой, и ему хотелось проглотить ключи».

Вопрос слевой решен. Душа его продана Митишатъеву, и начинается для него какое-то нереальное, бредовое веселье, дьявольский кошмар, мутный омут, где сознание его лишь изредка выплывает на поверхность, чтобы различить багровое лицо оскорбленного Бланка или ощутить в неверных пальцах твердую грань стакана...

«Так пульсировало время и дышало пространство, обозначаемое полустанками „маленьких“».

Пьяный Лева, потерявший вроде бы всякие признаки личности, лишенный идеи, почти лишенный характера, сохраняет, однако, нечто такое, что и составляет его особенность как героя романа. Он сохраняет д в о й с т в е н н о с т ь и он сохраняет б о л ь. Эти два Левиных качества, два свойства, два чувства тесно связаны одно с другим, но двойственность все же первичней. И если всякий герой должен быть непременно носителем чего-то, то Лева есть не носитель идеи или даже характера, а именно носитель двойственности.

И будь Лева человеком бездарным, может быть, все еще было бы не так уж плохо. Но Лева талантлив, а значит, по определению Битова, — совестлив. И значит, боль его — неизбежна. Встреча с Бланком выявляет это с максимальной очевидностью.

И драка с Митишатъевым — не дуэль, а обыкновенная драка — происходит не из-за Фаины, как могло нам показаться в первый момент, а все из-за того же Бланка. Не потому, конечно, что Лева любит Бланка больше, чем Фаину. Однако Фаина, в данном случае, — это обида, большая обида, смертельная обида — но и только. Бланк же — это гораздо больше чем обида, это предательство, это вина, это фатальная невезучесть, несчастливость и ничтожность Левы, это вечная его боль, которую провоцирует, которой радуется, над которой измывается Митишатъев.

И поэтому же, мне кажется, кульминация романа не в разрухе в музее, не в дуэли на пистолетах, не в ночном даже споре с Митишатъевым, споре, который имел предreshенный исход. Кульминация — в истории с Бланком, во всей совокупной истории, включая жестокий, мифистофельский выпад Митишатъева:

«— Ну, уж я потешился.

— Как — потешился? — опешил и похолодел Лева.

— Ты уже забыл Бланка? — демонически спросил Митишатъев.

Мука прошла по лицу Левы. Он все отчетливо помнил. Но, в таком случае, жить он больше не мог. Ужас сковал его».

Здесь высшая точка напряженности и боли. Отсюда — только вниз и вниз: «Бланк, этот воспаленный очаг Левиного предательства...»

И вот еще что примечательно.

Казалось бы, Митишатъев, этот демонический Левин антипод, призванный немедленно заполнять освобождаемоелевой пространство, должен выиграть, раз Лева проиграл. На самом деле — ничего подобного. Такой Битов писатель, что и Митишатъев оказывается у него многослойным, и ему не чуждо чувство боли, и про него можно было бы написать отдельно если не роман, то уж повесть несомненно. «Страдания немолодого Митишатъева». (Хорошая, кстати, фамилия. Утешатъев, Потешатъев, Мельтешатъев.)

«Порода? Кровь? Что там в крови-то, от этого с ума можно сойти! Ни за что человеку такое... Вот если даже всю власть над людьми сосредоточить в моих руках, не дается мне это превосходство. — Я всегда буду знать, кто о н и, потому что я из н и х... Я всегда выходец, тебе всегда принадлежит. Ведь почему мы евреев не любим? Потому что при всех обстоятельствах они — евреи... Мы п р и н а д л е ж н о с т ь в них не любим, потому что сами не принадлежим».

Это все та же навязчивая тема: обладание — и захват, аристократ — и плебей, Моцарт — и Сальери... Но человека, т а к о е говорящего, уже не выкрасишь одной краской:

«Правило правой руки Митишатъева: — Если человек кажется дерьмом, то он и есть дерьмо».

Митишатъев умен и проницателен, он не простой завистник, он аналитик.

«Смотрю: не сволочь. Ах ты, думаю, чем же ты не сволочь?! Все как у сволочи, и не сволочь?»

Он бывает просто талантлив, этот Митишатъев.

И как подлинный исторический Сальери был, несомненно, для кого-то Моцартом, так и Митишатъев не может быть последним звеном в этой шаткой двусмысленной цепочке. Для кого-то он тоже Моцарт, может быть, для того же Готтиха...

Один из разделов романа назван Битовым «Герои нашего времени». Так мог бы быть назван и весь роман. Лева Одоевцев — собирательный образ нашего современника, но не в том школьном смысле, что сборная солянка из всяческих черт и качеств. Он собирателен, потому что собирает, он в б р а т е л е н, он — болевой центр, через который проходят силовые линии, исходящие от людей и событий.

«В одно и то же место уязвляет меня и Фаина, и дед, и Митишатъев, и время — в меня! Значит, есть я — существующая точка боли! Вот там я есть, куда попадает в меня все...»

Так, незаметно для себя и помимо сюжета, через обоюдное ощущение страдания, восстанавливает Лева утраченное родство с дедом, удостаивается его. Кто знает, может быть, это как раз и есть единственно возможная форма п р е е м с т в е н н о с т и...

8

Несколько слов в заключение.

Мы довольно много говорили здесь о романе, но так ничего не сказали о творческом методе Андрея Битова. Между тем в такой пространной статье полагалось бы, по всем правилам, проанализировать, хотя бы кратко, литературный стиль автора и затем, выявив те его качества, которые показались бы нам основными, выстроить некую «цепочку влияния», куда вошли бы, к примеру, Гоголь, Достоевский, Диккенс, непреременный Пруст, может быть, Бунин, хорошо бы — Джойс и Набоков. Это дало бы нам душевное успокоение, создало бы иллюзию ясности и завершенности.

Однако теперь, после всего, что здесь говорилось, этого сделать уже невозможно. Слишком ясна для нас полная произвольность такого подхода, слишком очевидна бесконечная расплывчатость литературной систематики, где все на все похоже и все сравнимо со всем. Выбор признаков — задача трудная и неоднозначная даже для естественных наук — что уж тут говорить о литературе! И единственный способ придать ей некоторую определенность состоит, на мой взгляд, в том, чтобы заменить поиски сходства поисками о т л и ч и я.

Что же мы выберем для о т л и ч и т е л ь н о й характеристики стиля Андрея Битова? Где-то на самой поверхности явления плещется слово «интеллектуализм», но это слово-маска, слово-упаковка, всеобщий эквивалент, в универсальности которого уже заложена его непригодность. Я бы даже сказал, что ближе к сути располагается слово «юмор», но и оно в обычном его употреблении не может нам подойти.

Более того, мне хотелось бы сразу же предостеречь будущих исследователей от написания работы под таким названием: «Юмор Андрея Битова». Потому что никакого такого «юмора» у Андрея Битова нет. То есть нет у него никакого о т д е л ь н о г о юмора.

Разумеется, Битов — человек с высоким чувством юмора, это качество всегда при нем, как всегда при Леве Одоевцеве его высокое происхождение. И если мы выберем наиболее смешные места из книг Битова, то это вовсе не будет означать наилучшую иллюстрацию его чувства юмора. Самый смешной рассказ Битова — «Бездельник» — есть в то же время и самый серьезный, самый, может быть, глубокий его рассказ. Но если мы попытаемся искусственно отделить в нем смешное от серьезного, то еще неизвестно, в какой из этих частей окажется больше юмора.

Доподлинно известно, что рассказывать смешно могут и люди без юмора. Но еще вопрос, могут ли они рассказывать с е р ь е з н о.

Тут, как говорит Битов, «мы приходим к давно любезной нам мысли» — что чувство юмора необходимо не столько для того, чтобы писать смешно, сколько для того, чтобы писать н е с м е ш н о. Что это значит?

Чувство юмора есть в основном чувство двусмысленности. Тот или иной смысл фразы никогда не бывает ее единственным смыслом. Поэтому всегда существует опасность, что второй смысл будет передразнивать первый, пародировать его и, таким образом, — уничтожать. Это особенно актуально в художественной речи, прозаической или поэтической, где многозначность есть основа построения образа. Образ или пародия — вот вопрос, который приходится постоянно решать художнику. Нелепо пытаться избежать двусмысленности: исчезнет одна — появится другая. Образ или пародия — иного пути нет. То есть может быть, конечно, и то и другое, но тогда пародия неизбежно ослабляет и дискредитирует образ.

Не так-то легко заметить момент, когда точная фраза оборачивается собственной противоположностью, взлет превращается в падение, а трагическое становится смешным. Вот тут-то и выясняется, у кого есть чувство юмора, а у кого — нет.

Только писатель, остро чувствующий всю смысловую многоплановость литературного языка, может, не сломав себе шею, достичь подлинных высот значительности и пафоса.

Андрей Битов — именно такой писатель.

И если теперь попытаться сформулировать главную особенность его литературного стиля, то я сказал бы, что главное — это острое чувство многозначности и многосмысленности, точный учет всех последствий, всех возможных форм п о с л е д е й с т в и я написанного и произнесенного слова.

Оттого так смешно все, чему он смеется, и оттого так значительно все, чему он придает значение...

Впрочем, и эти такие важные для писателя качества суть всего лишь некоторые из многих сторон того непостижимого явления, которое называется «личность художника». Битов всегда есть Битов — вот в чем секрет.

Дай Богу-ему и дальше всюду оставаться самим собой, пусть хватит у него силы выстоять не противостоя — только русскому известно, какая это трудная задача.

1974, Москва.

<Фрагмент, исключенный автором из всех предназначенных  
к публикации редакций эссе><sup>2</sup>

Но беда в том, что другая расплывчатость, другая разрыхленность начинает беспокоить нас при чтении второго и третьего разделов.

Перед нами проходят (именно п р о х о д я т: экспозиция, парад-алле) уже упоминавшиеся Левины женщины: Фаина, единственная, всегда желанная (потрясающе написанная вечеринка с мучительной ревностью и кражей кольца, вездесущий Митишатъев, которого нельзя вынести, но от которого и невозможно избавиться); затем Альбина — два варианта, «пассивный» и «активный»; и, наконец, Любаша, совсем уже неважная и незаметная.

И вот, читая такие достоверные, такие насыщенные чувством и действием страницы о Фаине, все более, казалось бы, убеждаясь в ее необходимости как персонажа и в Левиной к ней вечной любви, мы, уж не знаю, с какой страницы,

начинаем ощущать глухое беспокойство, которое со временем перерастает в несомненное ощущение неудовлетворенности и досады.

Господи, да что ж такое стряслось?!

Может быть, нам показалось? Может быть, это так, по контрасту, после убийственной насыщенности первого раздела, после звездной его плотности, одним кубиком своего вещества перевешивающей сотни других книг?

Читаем дальше. Фаина и Лева, Фаина и Альбина, Фаина и Митишатъев... Нет, не показалось, так оно и есть. Никакой Фаины не существует. Нет Фаины, и все тут! И это у Андрея Битова, у которого так пронзительно достоверны женские образы (вернее, о б р а з), такая всегда отравляюще сладкая тоска, такая неутрахающая сердечная боль!

«Была она такая, что он ее просто никогда такой не видел. Сверкала. Смеялась, что-то быстро говорила, он не помнил, что. Очевидно, радовалась ему. Подставила щеку. «Аккуратней», — сказала она. Не дала себя обнять: мять платье. А у Алексея и без предупреждения было такое чувство, что нельзя ни прикоснуться, ни дышать на такую красоту. Он только и приложился, так, наверное, к иконам прикладываются. Шека была прохладная, с улицы. Вроде что-то мешало ему смотреть, он смотрел, как близорукий без очков, ничего вокруг не видел, словно помещались они с Асей в шарике света, а дальше было темно. И чувство вроде гордости распирало его: что ни говори, а эта вот такая женщина принадлежит ему! Но тут было и чувство какой-то своей непричастности, случайности в этой красоте, словно только во сне могло произойти такое, а с ним — нет, он недостойн».

Это — «Сад». Это — Ася. А что Фаина?

«А красива ли Фаина? Смешной вопрос, какая разница? Отекшая, с расплывшейся косметикой, нечистыми глазами, нехорошим дыханием, храпом, запахом пота — она дорога Лева, и все тут. Даже дороже».

Нет, трудно поверить в это. Почему Лева дорога Фаина, а, к примеру, не Альбина, которая, с ее поминутно развязывающимися шнурками, выглядит по крайней мере гораздо достоверней?

Но дело даже не в этом, а в том, что и такую чрезвычайно <не?> привлекательную Фаину «с нехорошим дыханием и запахом пота» мы никак не можем себе представить, а вернее — почувствовать.

Мы уже встречали в этой книге замечания автора о том, что-де никакого такого Левы не было, автор его выдумал. Это, конечно, не так. О живом герое никак нельзя сказать, что автор его выдумал. Он его себе представил, увидел и написал. А вот Фаина — действительно выдумана. Не было никакой такой Фаины. Лева был, и была у него какая-то женщина, и, может, даже он любил ее так сильно, как должен был бы любить Фаину, но Фаины — не было!

Это ведь только так говорится — «создание образа героя». Создавать может только Господь Бог. Ему одному под силу синтезировать характер, компоновать внешние и внутренние качества так, чтобы получился живой, со всей несомненностью существующий человек. Мы же можем лишь у в и д е т ь то или иное его творение, увидеть и описать по возможности точно.

Это не значит, конечно, что не может быть персонажей, не существовавших в действительности. Литературный герой, конечно же, может родиться в воображении писателя, родиться — да, но не выдуматься. Левы нет, говорит автор, я его выдумал. Он был бы ближе к истине, если бы сказал: я его родил. Но разве мать, родившая ребенка, вольна наделять его теми или иными природными качествами? «Левы нет, я его родил» — нелепая фраза. Родил — значит, он родился, значит, он есть. Точка.

Фаина же — не родилась, а выдумалась. Конечно, мы не можем внедряться в вопросы технологии, где каждый писатель сам себе хозяин. Мы можем судить по результату. Но результат — герой, как врожденные расовые признаки, несет на себе все знаки своего происхождения.

Я бы сказал, что и Митишатъев — тоже выдуман. Но тут случай особый. Мне кажется, синтетичность Митишатъева действительно не противоречит авторскому замыслу. Митишатъев — символ, абстракция, воплощение той силы, которая гнетет и унижает Леву. Митишатъев — это все те о н и, которые д о м о г а ю т с я, д о б и в а ю т с я, затем с т а н о в я т с я и с у щ е с т в у ю т, в то время как Лева — о с т а е т с я Левой. (Хотя точнее, пожалуй, было бы сказать, что Митишатъев не воплощение, а п о р о ж д е н и е. Сила не в нем, она н а д ним, это очевидно.)

Можно возразить, что вот и Фаина — тоже абстракция, тоже символ, да автор и намекает нам на это в соответствующем месте. Но — нет, не выходит. Любимая



женщина не может быть символом, чувственность героя — и читателя — не может иметь своим предметом абстракцию, здесь налицо явный проскок, холостой выстрел.

И вот автор, который все это прекрасно понимает (он вообще все понимает), но ничего уже не может сделать — так далеко зашло повествование, отложилось в памяти, произошло как факт, — начинает, задним числом, подравнивать своих героев, пытаясь обратить в закономерность для всех то случайное, что произошло с одним. Так ребенок подравнивает шоколадных зайцев, откусывая им по очереди головы.

Начинается нелепый, мучительный процесс уничтожения (не всегда, к счастью, успешный), начинается размазывание и разбавление всей образной энергии, с таким трудом и талантом сконцентрированной в предыдущих главах. И, лишенная этой энергии, становится голым приемом, пустой оболочкой та, казалось бы, естественная форма, которая безотказно работала в первом разделе. И уже «вариант» с Альбиной выглядит литературным упражнением. И «Фаина — окончание»<sup>3</sup> так и сверкает металлическими деталями. И даже «Курсив мой» необходим лишь для того, чтобы пожаловаться на трудности писательской жизни. И появляется огромное число эпиграфов, конечно же, специально — но специально для чего? — которые чисто формально соответствуют содержанию, да и как может быть иначе, если их — много? И все, что происходит, — объясняется, и все объяснения — уточняются, уточнения же — оговариваются. И эта столь не свойственная прозе Битова с у е т л и в о с т ь сожалением и досадой наполняет преданное читательское сердце.

Потому что, предвосхищая и обезвреживая все возможные обвинения, заходя, на мой взгляд, чересчур даже далеко в разоблачении своих слабостей, автор заботится скорее о спасении собственной души, нежели об утверждении судьбы героев.

«Возможно, что таить, и Фаина была сначала миниатюрной брюнеткой, а потом большой блондинкой, но для меня как автора они сливаются хотя бы для того, чтобы как-то сфокусировать расплывчатую Левину жизнь в прозаическое изображение и хоть как-то справиться с задачей.

Да что там говорить, и Митишатьев ведь не один... В общем, мы берем на себя грех условности, четко объединяя Фаин — в Фаину, Альбин — в Альбину, Митишатьевых — в Митишатьева... заменяя множество маленьких стрелок одной большой и жирной.

Итак, мы себя в своей творческой слабости полностью оправдываем, стараясь тут же обратить ее в нашу силу».

Нет, не так! Не грех условности берет на себя автор, какой же это грех в искусстве — условность, наоборот, то, что он делает с собственным произведением, есть именно н а р у ш е н и е у с л о в н о с т и, и если это не такой великий грех, то уж несомненно — большая ошибка.

Битов — писатель, максимально близкий читателю, вернее, он сам с самого начала выбирает себе такого читателя, который близок ему до физически осязаемого касания, чуть ли не до слияния, когда порой бывает трудно сказать, кому первому пришла в голову та или иная мысль, кто раньше ощутил то или иное чувство. Заведомое отсутствие иерархии освобождает писателя от дополнительных усилий для достижения особого контакта, особого интима, ему не надо спускаться в зал и идти в народ, его прозе чужды все эти демократические штучки, ни он, ни его читатель в них не нуждаются. («Нужда и говно — синонимы», — говорил дядя Митя.)

Существуют определенные границы условности, то, что в математике называется «доверительные границы»; событие, расположенное вне этих границ, не может считаться достоверным. И поэтому всякий художник — раб условности (не всякое рабство унижительно) и любое так называемое новаторское нарушение есть не что иное, как талантливое соблюдение. «Не надо только нарушать, а надо со-блю-дать!»

Мы взялись читать художественное произведение, даже подзаголовки прочли на титульном листе: «роман», — и не надо нам каждый раз напоминать, что это не телефонная книга. Этим своим настойчивым напоминанием — того не было, этого не было — автор, против собственного желания, дает нам неограниченную и такую ненужную нам свободу выбора, и поскольку голод наш в основном уже утолен, то мы и начинаем привередничать, откладывая в сторону куски похуже.

Мы, например, чувствуем, и никто нас уже не разубедит, что разрухи в музее, той самой, ради которой вроде бы и написан роман, — не было. Не было, и все тут. Не то чтобы ее не могло быть, не в правдоподобности даже дело, вопрос скорее в н е о б х о д и м о с т и. Этот ход придуман заранее, что само по себе уже никак не свойственно Битову, и развивается он не по свободным законам ж и в о г о, но с железной последовательностью механических шестерен.

У Андрея Битова вообще-то редко что п р о и с х о д и т. Движение его повествования имеет совсем иную природу, нежели «сюжет» в традиционном пони-

мании этого слова. Эта внешняя бессобытийность, эта фабула ощущений, восприятий, пониманий — фабула чувства в широком смысле слова, включающем, например, чувство любви, вины, одиночества, страха, — и есть, может быть, наиболее сильная сторона битовской прозы, которая не нуждается в эффектных поворотах действия. Какие уж тут повороты, когда и действия-то никакого, по сути, нет, есть наша повседневная занудливая жизнь, лишенная чего бы то ни было, что заслуживает названия «действие».

И поэтому скандал и разбой в Пушкинском доме как-то выпадают из общего строя, мельчат его, есть тут что-то заискивающее, недостойное прекрасного писателя. Этот «сюжетец» в конце, подарок себе и читателю, — запоздал. Он уже ничего не раскроет, ничего не дополнит, и какому другому читателю он, может, и пригодился бы, но битовскому решительно ни к чему. Да и автора самого он, видно же, не устраивает и не очень даже интересуется. Автор сам не испытывает никакого доверия к происходящему и, честно отработав некоторый кусок, который он считает основным, с облегчением отмахивается от дальнейших подробностей. Кто-то мыли полы — не Альбина ли? А, черт с ним, хоть бы и Альбина. Кто-то искал стекольщика — не дядя ли Митя? А, черт с ним, хоть бы и дядя Митя!

Потому что с самого начала, с самой дуэли — ничего такого не было. Не было, а главное — не должно было быть. И оттого все здесь как бы постороннее, чужое, не наше, не битовское.

Ну к чему, спрашивается, эти дуэльные пистолеты, и хлопок, и шкаф, и струйка крови? Это же студия «Мосфильм», артист Никулин, режиссер Гайдай!..

А разбитые стекла, и сломанные шкафы, и порванные диссертации — неужели только для того, чтобы показать, что наутро никто ничего не заметил? Такое очевидное, такое фельетонное чудо! Из одной лишь только любви к автору, из верности идее мы собираем последние силы, чтобы натужно, неискренне удивиться: «Ну надо же, никто не заметил!» Но такая натужность унижительна, автору она не нужна, плевать он хотел на наше сочувствие...

А вездесущая Альбина со своими пожарниками? — 16-я полоса, кабачок «13 стульев»...

И это еще не все. Появляется какой-то американский писатель, который... Но это уже выше всяких сил. Ну куда, ну зачем?!

И даже такая объективно значительная и в другое время обязательно запавшая бы нам в душу мысль о том, что «раб, своими силами подавляющий собственное восстание, не только выгодная, но и лестная рабовладельцу категория раба», — мысль эта, как, впрочем, и другие важные мысли, теряет всякую значительность в общем хаосе незначительных слов, необязательных поступков, небывших историй.

Разыгрывается какая-то оргия саморазрушения.

Бесчисленные разрядки, курсивы, прописные буквы и восклицательные знаки буквально разрывают текст на куски, растаскивают его в разные стороны. Никого уже вроде бы нет, кроме Левы, но шум стоит как на вокзале, головная боль, вокзал внутри головы...

Наступает момент, когда уже и дуэль в музее кажется нам уютным островком, прохладным оазисом, мимо которого мы так легкомысленно проплыли дальше. Ах, не надо было этого делать, остановиться бы хоть там, а теперь уже — поздно, островок скрылся из виду...

И сам автор, который, как мы уже говорили, в с е понимает, понимает и то, что роман давно окончен, но ничего не может с собой поделать. Как будто какая-то внешняя сила заставляет его писать не что-нибудь, а именно роман, и именно в соответствии с тем, как она, эта внешняя сила, представляет себе смысл слова «роман». Или будто играет какая-то волшебная гармошка и мы пляшем и пляшем бесконечного гопака, а на лицах у нас — тоска и усталость...

«От невыносимости продолжать автор схалтурит сейчас для Левушки у д а ч у... Предположить, что он из всего выкрутился, было бы так же невероятно, как создать ВАРИАНТ настоящего или ВЕРСИЮ реальности... Однако он выкрутился. Не верите? Я тоже не верю... Но это же на самом деле я, я вставил ему стекла! Ночью, как фея, выткал волшебное полотно...

Он выкрутился, и глава дописана».

Но и тут еще не конец. С ужасом мы ощупываем оставшуюся внушительную стопку листов — впереди приложение к третьему разделу, глава «Соглядатай»<sup>4</sup>. И вот тут уже начинается буквальная, уже никакая даже не душевная, а самая настоящая физическая боль. Вся эта часть написана уже совсем на выдохе, после выдоха, на последних молекулах растворенного в крови кислорода. Происходит какая-то проти-

воестественная реанимация повествования. Блещат холодные инструменты, ярко светит бестеневая операционная лампа, и мертвенные ее лучи достигают самых отдаленных, самых живых и горячих страниц книги...

И мы могли бы, послушно следуя за автором, остановиться в той же абстрактной, вне романа расположенной точке, где наконец, после всех мучений, остановился он сам. Но если такая концовка устраивает автора (что очень сомнительно), то нас она не устраивает ни в какой мере, потому что никак не соответствует нашему подлинному отношению к роману и, тем более, — к автору.

И поэтому мы, сознаемся, совершили небольшую подтасовку, объединив в одном периоде все слабые места романа, как будто и автор написал их разом, единым духом, так, чтобы никогда уже больше к этому не возвращаться.

И теперь мы в полном выигрыше, потому что в запасе у нас осталась такая блистательная проза, такое празднество чувства и мысли, что задача отсечения мертвых кусков представляется нам просто элементарной. Мы, конечно, не вправе изменить композицию романа, но разговор о нем мы можем вести в любом порядке, этого нам никто не запретит.

И мы переходим теперь к главе «Дуэль Тютчева», главе, выходящей, казалось бы, за рамки повествования, но в которой сплелось столь многое, что невозможно и перечислить.

Эссе имеет несколько редакций. Написано в 1973 г. сразу же по выходе романа в «самиздате» и тогда же опубликовано в журнале «Грани» (№ 103). Это один из первых, если не самый первый печатный отклик на роман Битова (в дарственной надписи Карабчиевскому, которую сделал Андрей Битов на первом книжном издании «Пушкинского дома» в России, сказано: «...первоописателю романа»). Позднее Карабчиевский переработал первоначальный текст, сократив его чуть ли не вполовину, и опубликовал в книге «Улица Мандельштама» (СПб, 1989). Год написания изменен в книге на 1974. Последняя редакция эссе готовилась, видимо, в самом конце 80-х гг. для публикации на родине, в частности в журнале «Волга». Были сделаны сокращения, написаны вставки, включено авторское предисловие к эссе 1988 г. Но публикация не состоялась. В этой последней авторской редакции эссе «Точка боли» публикуется впервые.

<sup>1</sup> Роман Андрея Битова «Пушкинский дом» впервые был напечатан на родине в журнале «Новый мир» (1987, № 10—12).

<sup>2</sup> Данный фрагмент эссе был вынут из текста самим автором при подготовке к публикации его первой редакции в журнале «Грани». Причины изъятия были, очевидно, не столько эстетического, сколько этического характера: роман находился в «самиздате», эссе писалось для «тамиздата» — неестественные для бытования литературы условия определяли и особый стиль литературного поведения. Высказывать в той ситуации критические замечания о романе печатно, пусть и в свободной прессе, Карабчиевский не считал для себя возможным. Изъятый из текста фрагмент он в те же годы отдал самому Битову. Рукопись долгие годы хранилась в архиве Битова и им же была передана в редакцию для включения в данную публикацию. Местонахождение этого фрагмента в первоначальном тексте эссе определяется легко — предпоследний абзац пятой главки. Сохранился как бы след изъятия и своеобразная мотивировка этого действия: «Здесь находит свое выражение главная опасность на трудном <...> пути Андрея Битова. И об этом, конечно же, надо не вскользь, а весомо, подробно и обоснованно. Но уж лучше где-нибудь в другом месте, в другое время». Теперь «другое место» нашлось и «другое время» настало.

<sup>3</sup> Главы с таким названием в окончательном тексте романа нет. При работе над эссе Карабчиевский пользовался первыми из выпущенных Битовым в «самиздате» редакциями «Пушкинского дома».

<sup>4</sup> Такой главы в окончательном тексте романа нет. См. прим. 3.

### <О С. МАРШАКЕ>

66-й сонет <В. Шекспира>, как самый известный и наиболее читаемый. И есть прекрасный перевод Пастернака, простой, мужественный:

Измучась всем, я умереть хочу.  
Тоска смотреть, как мается бедняк,  
И как шутя живется палачу<sup>1</sup>,  
И доверять, и попадать впросак.

.....  
Измучась всем, не стал бы жить и дня.  
Да другу трудно будет без меня.

Проще бы разве что промолчать. Маршак же сказал следующее:

Зову я смерть. Мне видеть не в терпех  
 Достоинство, что просит подаянье,  
 Над простотой глумящуюся ложь,  
 Ничтожество в роскошном одеянии,

И совершенству ложный приговор,  
 И девственность, поруганную грубо,  
 И неуместной почести позор...

И еще столько же пустопорожних, не очень грамотных строчек...

И совершенству ложный приговор.

Что значит ложный — несправедливый, что ли? Но разве может быть справедливый приговор совершенству?

И неуместной почести позор.

Надо очень хотеть, чтобы откопать смысл этой строчки, кроме прочего еще и безграмотной (мастерство, мастерство, техника, техника!), потому что родительный падеж здесь звучит как винительный: неуместный позор почести.

Безликость, бесчувственность, безударность, пустое формальное стихосложение — вот что такое мастерство Маршака. У Пастернака даже рифмы — только мужские, подчеркивающие простоту и скупость (в оригинале, кстати, тоже мужские). А у Маршака — хоть через одну, да женские, все-таки и тут побольше распылчатости. Он часто жаловался на краткость английской строки по сравнению с русской. (С какой русской? С какой-то аналогичной.) Этим он оправдывал свое многосложие, растягивание строки в переводе. Так, женская рифма — а точнее, бесполоая — сыграла не последнюю роль в уничтожении ритма блэйковского «Тигра».

И еще 66-й сонет. Последние две строки. Прелесть какое двустишие:

Все мерзостно, что вижу я вокруг,  
 Но жаль тебя покинуть, милый друг.

Это уже оперетта. Просто явственно слышишь мелодию и видишь картавого старичка («мегзостно») во фракке, делающего ручкой. Там дальше мелодия ускоряется и идет каскад, он и она, причем он так потешно выбрасывает коленки в стороны... Но, конечно, это вышло у Маршака нечаянно, от безвкусицы и бесчувствия. Опереточные куплеты — вещь непростая, требующая если не таланта, то лихости, думаю, специально бы он не смог...

Человек этот, исписавший кучу страниц, слывший мэтром не только официально, но и среди приличных и одаренных людей, не написал ни одного живого слова. Он ни разу не вскрикнул, не заплакал, не выругался — ни в переводах, ни в оригинальных стихах. Читать его — утомительнейшее занятие, выматываешься от придумывания смыслов и чувств, от подстановки собственных ударений в эту аморфную и безударную массу. Кстати, читать его стихи монотонно, как обычно — и правильно! — читают поэты, просто невозможно по существу. Маршак не доверяет ритму стиха, и слово у него не сцеплено с ритмом, не усваивает его и не преодолевает, а существует само по себе. И приходится, чтобы выявить хоть какую-то иерархию, задавать принудительные интонации, какое-то место искусственно смазывать, какое-то подчеркивать, так же искусственно, то есть читать, как читают стихи актеры или учителя на диктантах. Собственной поэтической интонации стих Маршака не содержит.

Помнится, в школе, в каких-то начальных классах, мы учили наизусть стихи о гербе: «Но не орел, не лев, не львица собой украсили наш герб»<sup>2</sup>. Нас заставляли просто истощно выкрикивать: НАШ герб, — чтобы подчеркнуть противопоставление ихним, в стихе-то этой необходимой интонации не было.

Кстати, безоговорочная лояльность Маршака в самые разные времена, беспредельная вписанность вплоть до слияния — это не только простительная трусость, но главным образом просто характер, сколько можно об этом судить по творчеству. Вписываться — было у него в крови, мягко, беззубо, безлико, бесчувственно укладываться в любую готовую форму — поэтическую, жанровую, политическую. Он был бесконечно удобным автором. С одной стороны — образован, начитан, то да се, английский язык. С другой стороны — абсолютно надежен, поскольку лишь сказанное высказывал, да и то так глухо, что и не слышно.

Интонационное безразличие его стихов, в том числе и детских, приводит порой к смешным парадоксам.

Один мой приятель носился с шуткой, на которую многие покупались. Представляете, говорил он непосвященному, Маршак-то тоже... не просто так. Рискованные иногда номера выкидывал. — Бросьте, возражали ему, это немыслимо. — А вот, вот, послушайте.

И он читал подлинного Маршака:

Мне говорили много раз  
Знакомые ребята:  
«Стихи, пожалуйста, для нас  
Скорее напечатай!»

Я написать стихи готов,  
Ребята, дорогие,  
Но не печатаю стихов —  
Печатают д р у г и е!..<sup>3</sup>

Пораженные слушатели не всегда догадывались, а тем более совсем немногие помнили, что это стихи о типографских работниках, а не о редакторе и Главлите.

И все-таки, и однако...

Каждый раз упираешься в это «однако» при попытке любой категоричности. Однако: есть среди детских стихов Маршака умные, легкие и в е с е л ы е, что, казалось бы, уж совсем невозможно. И в чем же тут дело:

Однажды старушка  
Отправилась в лес.  
Приходит обратно,  
А пудель исчез.

Искала старушка  
Четырнадцать дней,  
А пудель по комнате  
Бегал за ней.

.....

Старушке в подарок  
Прислали кофейник,  
А пуделю — плетку  
И крепкий ошейник.

Довольна старушка,  
А пудель не рад  
И просит подарки  
Отправить назад<sup>4</sup>.

А дело, мне кажется, в том, что стихи для детей не требуют с а м о в ы р а ж е н и я автора, более того, они его не терпят. Бенедикт Сарнов, умный человек, очень точно подметил отличие детской книги от взрослой в том, что в детской все герои — только «наши» или «ваши» и нашим сочувствуешь, а вашим — нет<sup>5</sup>. Но, думается, это еще не самое существенное. А самое существенное, быть может, то, что детям важен в книге п р е д м е т разговора и совершенно не важен а в т о р, поскольку у них еще нет понятия о внутреннем мире и, соответственно, интереса к нему. Взрослому читателю, если он действительно взрослый читатель, интересен в первую очередь автор. <...> лишь где-то в промежутке, только как средство — та история, которую автор рассказывает. Общение с автором — вот взрослое чтение. Общение с миром — вот чтение детское. Взрослое чтение всегда субъективно и лично, оно непременно несет в себе тайну — это тайна исповеди. Детское чтение — открытое, шире, прямее, обобщенней. Слово, понятие и предмет — вот объект разговора детского писателя с детским читателем. И противоречия, которые вскрывает такой разговор (тут Сарнов подошел близко к сути), есть противоречия между людьми или между предметами, но никак не внутри людей и предметов и тем более не внутри автора. Детская литература, даже самая озорная и парадоксальная, всегда дидактична, лишь более или менее скрыто. Детский писатель — всегда учитель, а учитель не есть предмет изучения, разве только незаконного, исподтишка...

Все это проявляется особенно наглядно в специальных детских стихах. Поэзия есть высшая форма самовыражения, и область специальной детской литературы ей в принципе чужда и противопоказана. В эту чуждую область она может внедриться лишь путем отказа от своих основных качеств (читай: достоинств): субъективности.

откровенности, внутренней зоркости, сверхчувственной пророческой остроты, — выпячивая и усиливая взамен другие, формальные и второстепенные, признаки, о которых обычно и говорить не стоит: сюжетные ходы, игры в слова, ритмические и рифмовые узоры... Для подлинной личности, для настоящего поэта такая ломка, такой отказ от себя — мучителен, да попросту невозможен. Пушкин?.. Но Пушкин не писал с т и х о в для детей, он писал с к а з к и, которые интересны детям, — а это совсем другое дело. Зато стихи для детей пытались писать Блок, Пастернак, Мандельштам, стихи мало сказать неудачные — просто позорно плохие. Любопытно, что у этих великих поэтов, таких индивидуально-разных, стихи для детей до смешного похожи, трудно узнать, где чье. Все они правильно чувствовали необходимое направление, путь отказа от самого себя, но столь мучителен был для них этот путь, что уже не оставалось сил ни на что другое, ни на какое заполнение открывшихся пустот.

И вот пришел Самуил Маршак.

Маршак никогда не был поэтом в подлинном смысле этого слова, и он не тратил силы на отказ от собственной личности. Ему не от чего было отказываться. Но зато он обладал замечательной способностью к использованию различных поэтических средств, всего того, что в качестве побочных эффектов было наработано русской и английской поэзией. И он сделал самое большее, что мог бы сделать в поэзии не поэт, — он стал детским поэтом. Его экспансия во взрослую литературу, эта издержка авторитета, сразу обнаруживает главный его недостаток, а вернее сказать, главное отсутствие. Но в стихах для детей он чуть ли не личность, потому что м и р его стихов существует, и отчего бы не считать его миром автора?

Этот мир никак не назовешь внутренним, внутри он пуст, как выеденное яйцо, но он реален, ничего не поделаешь. И он не лишен противоречивости, тоже, разумеется, внешней, которую дети авось не заметят, пока не вырастут.

Мне нынче вспомнился барчук,  
Хорошенький кадетик,  
Когда суворовец — мой внук —  
Прислал мне свой портретик.

Ну, мой скромнее не в пример,  
Растет не по-кадетски.  
Он тоже будет офицер,  
Но офицер советский.

.....  
Прошибла старика слеза... — и т. д.<sup>6</sup>

Такое читая — как слезе не прошибить? Ложь детских стихов Маршака, как детская ложь, порой наивна до умиления. Но это опять — только на поверхности. Кто учтет внутреннее действие этой, как и прочей другой, примитивной отравы на детские податливые умы?

И тогда, выискивая для Маршака безобиднейшее приложение его способностям, думаешь: да пусть бы переводил! Но только стихи для детей. Уж это он безусловно умеет. Написать грамотный детских стих по заданной смысловой канве — вот призвание; вот подлинное дело Маршака.

С таким шитьем  
Нельзя спешить.  
Нешуточное дело!  
Папаху шить —  
Не шубу шить,  
Но надо шить  
Умело...<sup>7</sup>

Я читал в журнале, и з д а ю щ е м с я в А р м е н и и, что никто никогда ни на один язык так не перевел Ованеса Туманяна и что армяне будут всегда Маршаку благодарны. Эти застольные похвалы, я думаю, не очень преувеличены. А тогда — чего остается желать?

Приезжаешь в Е р е в а н, в Э ч м и а д з и н, в Д и л и ж а н — и всюду тебя встречают а р м я н е и дружно, хором — благодарят...

Но еще мне рано, даже в таком контексте, упоминать все эти живые слова. Еще Армения — понятие литературное, и название журнала — «Литературная Армения» — еще звучит для меня тавтологией.

Главное опущение: обволакивающее ничто. Безударность, обтекаемость, безынтонационность. Странно, стихи для детей отодвигаются куда-то на задний план: он

оттеснил их переводами и запоздалой лирикой. Но и там, вдалеке, маячат какие-то «но». Организованные игры мальчиков и девочек из хороших семей. Советские бальные танцы и книксены с красным галстучком. (Наконец-то я в слове «светский» поставлю это вожделенное «о», всегда мозолящее глаза своим отсутствием.) Вдруг автор грозит добродушным толстеньким пальцем. Это конфликт. Грипка<sup>8</sup> порвал кникску. Он больше не будет. Вытри слезы и встань в строй. Продолжаем.

Лирика. Занудливое рассудочное брюзжанье. Всяческое назиданье молодым-неразумным. Вырастете — будете такими, как я.

Дальше. Политические — сатирические. Исключаем как краевой эффект.

Дальше. Легенда о Маршаке-переводчике. Бесполоый Киплинг, беззубый Шекспир. Да и с Бернсом все не так благополучно. То есть так благополучно, что дальше некуда...

Маршак, как марсианин Рэя Брэдбери, непрерывно меняет свой внешний облик, выдвигая на передний план то одно, то другое свое отсутствие. И сейчас, когда отказала магия времени, то, что было в нем радостным, — оказалось грустным, то, что было серьезным, — оказалось смешным, а уж самое-самое важное обернулось просто ничем.

И эта неучтенность второго смысла, порой противоположного первому, эта смешная пародийная двойственность — самое, быть может, в нем любопытное как свойство не только его, но целой эпохи.

Мистеру  
Твистеру  
Дочь прошептала:  
— Если ночлега  
Нигде не найдем,  
Может быть,  
Купишь  
Какой-нибудь дом?  
— Купишь! —  
Отец  
Отвечает,  
Вздыхая:  
— Ты не в Чикаго,  
Моя дорогая.  
Дом над Невою  
Купить бы я рад...  
Да не захочет  
Продать Ленинград!

Я задумался над этими строчками, еще живя в деревянном бараке, с дюжиной семей на одну уборную. С тех пор я часто их повторяю, благо в поводах, как говорится, недостатка нет. Ты не в Чикаго, моя дорогая! — Это уже просто фольклор, классика!

И такая же двусмысленность от бессмыслия — в большинстве переводов. Нелепостью, чуждым боковым эффектом оборачивается подавление всякого импульса, исходящего от оригинала. Переводы Киплинга — нагляднее не придумаешь.

...И если можешь сердце, нервы, жилы  
Так завести, чтобы вперед нестись,  
Когда с годами изменяют силы  
И только воля говорит: «Держись!»...

Чтобы вперед нестись...

Так и видишь: зашторенный кабинет, мягкие кресла с подушечками, брюзгливый старик, никогда не ходивший пешком, всегда ездивший в автомобиле с шофером в этой стране пешеходов и трамвайной ругани. «Ты не в Чикаго, моя дорогая!» А может, не так, а может, дело не в этом. Но вот я вспоминаю другой перевод, кажется, если не ошибаюсь, Полонской<sup>9</sup>. Тем более примечательно, если женщина. Тут ведь речь не о физиологических качествах, а о характере личности.

Умей принудить сердце, нервы, тело  
Служить тебе, когда в твоей груди  
Уже давно все пусто, все стorerо  
И только воля говорит: «Иди!»

Насколько точнее, честнее и проще слова, насколько больше напряженности и динамики, хотя слово, означающее движение, только одно и стоит в конце.

Но есть у Маршака, у «взрослого» Маршака, у старого, наверное, незадолго до смерти, две строчки, быть может, единственные:

Как призрачно мое существованье!  
А дальше что? А дальше ничего!<sup>10</sup>.

Дальше там действительно нет ничего, обычные рассудочные построения, но эти две строчки... они, по-моему, е с т ь. Это то, что так Маршаку не свойственно, это в о з г л а с, и, кажется, искренний. В системе другого, искреннего, поэта эти строчки могли бы звучать трагически. Здесь же общий бесчувственный фон не дает им должного наполнения. Но так или иначе, это та остановка, где испытываешь не досаду, уже ставшую привычной, а какое-то иное, неясное чувство — быть может, сожаление?..

Заметки о С. Маршаке обнаружены в архиве писателя в виде черновых набросков. Их рукопись представляет собой несколько сколотых страниц, не имеющих сквозной нумерации, а текст, содержащийся на этих страницах, не образует единого связного повествования. Рукопись не предназначалась для печати. Время ее написания, как можно предположить по некоторым признакам, — 1973 год. Предполагаемый здесь текст заметок является компиляцией из нескольких отрывков этой черновой рукописи, сделанной составителем.

Интерес Карабчиевского к творчеству С. Маршака не был случайным. Для него, много размышлявшего над проблемами внутренней свободы художника, над стилем и содержанием литературного поведения писателя в Советском Союзе, фигура Маршака была во многом еще и знаковой фигурой (так же как, скажем, фигура К. Симонова, — см. эссе «До былой слепоты не унизимся...»/«Новый мир», 1989, № 1/). Маршак был одним из тех классиков советской литературы, к творчеству которых Карабчиевский относился в ранней юности с полным доверием, на творчестве которых рос. Тем больнее было обнаружить в более поздние годы черты конформизма, разрушавшие талант Маршака. Отзвук этого болезненного расставания с некогда любимым писателем — в самой тональности публикуемых заметок, в некоторой как бы личной задетости их автора. Но обличительная интонация заметок о Маршаке отнюдь не означает одномерности восприятия Карабчиевским творчества Маршака. В своей последней повести «Каждый раз весной», написанной в форме монолога автора-повествователя, обращенного к умершей матери, Карабчиевский вспоминает собственное детство, в некоторой мере с матерью литературные пристрастия и проходивший в более зрелом возрасте трудный процесс переоценки ценностей. В размышлениях о литературе, содержащихся в повести, упоминается и имя Маршака; поскольку повесть пока не опубликована, мы процитируем этот отрывок полностью:

«Так мы устроены, мы должны сохранять надежду, даже когда говорим или пишем о безнадежности. Вот Державин... Его сейчас все повторяют, видно, время пришло — конец века... «Река времен в своем течении...» Знаешь? Гениальные стихи. Не знаешь, конечно, ты ведь стихов никогда не читала, разве только мои... «А если что и останется чрез звуки лиры и трубы, то вечности жерлом пожрется и общей не уйдет судьбы». Страшно звучит, ведь правда? И все-таки — не безнадежно. Потому что эта самая вечность с ее жерлом воспринимается как что-то одушевленное. Пожрется — но будет ей принадлежать, в ней, пусть безлично, существовать, а там, глядишь... Вот то-то и оно, что г л я д и ш ь... Эту наивную, глупливую по сути надежду попытался выразить знаешь кто? — Самуил Маршак. (Его я убиваю для тебя чуть позже, помнишь? вслед за Гайдаром...) Через сто пятьдесят лет после Державина он написал как бы такой же стих, только, конечно, более длинный, с женственными строчками, с дактилическими рифмами, невнятный, размазанный, все как положено. Первые строфы у него и Державина по смыслу почти совпадают, только вход и выход как бы поменялись местами, забавно их читать друг за другом подряд: «Река времен в своем течении уносит все дела людей и топит в пропасти забвенья народы, царства и царей». — «Не знает вечность ни родства, ни племени, чужда ей боль рождений и смертей, а у меньшей сестры ее, у времени, — бесчисленное множество детей» Тут дальше у Маршака — восемь бодрых строк о солидарительной роли текущего времени («пускай оно работает на нас»), а затем — последняя строфа, написанная специально, я в этом убежден, для коррекции державинского пессимизма и уныния: «Бегущее мгновенье незаметно рождает миру подвиг или стих. Глядишь — и вечность, старая, бездетная, усыновит племянников своих». Здесь ключевое слово «глядяишь». Простой и по-своему тоже гениальный ход. «Глядишь — и...» — все не так уж страшно, все иначе, все как надо, как хочется...

И знаешь, я здесь Маршака понимаю, я ему сочувствую. Потому что, если на миг допустить, что Державин прав... Что не только ты, не только твое Дело пожрется жерлом, а все и вся; и что ты не просто сменишься другими, но вместе со всеми морями-горами, домами-книгами, городами-фильмами — в ничто, в пустоту... Тогда все мы — сборище идиотов, безнадежные пациенты в чертовой клинике. И глупее всех — самые умные. И пьянее всех — самые трезвые, и самые талантливые — ну да, разумеется, — бездарнее всех!

Скажут: да все так и есть, не обольщайся, скажут, ты и твой размазня Самуил Яковлевич не придумывайте несуществующих смыслов. Это в вас говорит инстинкт самосохранения,



биологический фактор и больше ничего. И в тот момент, когда я твердо отвечаю: «Нет, это не так!» — и я оказуюсь в лагере верующих, и не важно, что ни в какой конфессии; кроме множества частных отдельных оград, есть же у них и какая-то общая зона <...>?»

<sup>1</sup> В оригинале у Пастернака — «богачу». Карабчиевский здесь цитирует по памяти.

<sup>2</sup> Стихотворение С. Маршака «Наш герб».

<sup>3</sup> Стихотворение С. Маршака «Как печатали вашу книжку».

<sup>4</sup> Стихотворение С. Маршака «Пудель».

<sup>5</sup> Бенедикт Сарнов. Рифмуется с правдой. Книга не только про стихи. М. «Советский писатель». 1967. (Раздел «Страна Гайдара».)

<sup>6</sup> Стихотворение С. Маршака «Быль-небылица».

<sup>7</sup> Стихотворение Ованеса Туманяна «Кот-скорняк» в переводе С. Маршака.

<sup>8</sup> Персонаж стихотворения С. Маршака «Книжка про книжки».

<sup>9</sup> Карабчиевский ошибся, перевод принадлежит М. Лозинскому и звучит так:

Умей принудить сердце, нервы, тело  
Тебе служить, когда в твоей груди  
Уже давно все пусто, все сторело  
И только Воля говорит: Иди!

<sup>10</sup> Стихотворение С. Маршака «Как призрачно мое существованье!..».

## ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПОВЕСТИ «ТОСКА ПО АРМЕНИИ»

За восемь лет существования повести<sup>1</sup> все претензии к ней благосклонных читателей (иных я просто не принимаю в расчет) свелись, в основном, к одному пункту: личность Гранта Матевосяна и авторское чрезмерное к ней отношение. В принципе, эта простая позиция уже была сформулирована в самой книге и высказана вслух неподкупной Сюзанной<sup>2</sup>: слишком много восторгов. Грант Матевосян — хороший писатель, даже, может быть, очень хороший писатель, но все-таки уж никак не великий. А может быть, даже не столь и хороший, не лучше многих других, нерусских и русских.

— Но если бы даже он был таким, — говорит мне внимательный и умный читатель, — таким замечательным, как ты утверждаешь (большинство моих читателей со мной на «ты», хотя я, в отличие от Матевосяна, живу в самом центре империи и пишу на господствующем в ней языке<sup>3</sup>), если б даже он был таким исключительным — все равно слишком щедро и слишком густо. Ну, «Хлеб и слово»<sup>4</sup>, ладно, допустим. Но затем ведь последовало нечто совсем уже странное. «Твой род»<sup>5</sup> — невнятно, вязко, темно, а «Ташкент»<sup>6</sup> — уж не знаю, как по-армянски, но по-русски, думаю, ни один человек дальше середины не дочитал. Вот ты сам, такой апологет, прочел? До какой страницы? До двадцать первой? Ну так о чем с тобой разговаривать!

И еще один весьма сомнительный тезис: прекрасный писатель — прекрасный человек. Не вообще, а именно по отношению к Гранту. Чем таким он прекрасен? Приветливо встретил, накормил-напоил? Пожаловался на трудности быта и творчества? Это он-то — тебе-то!.. Ну, высказал пару неглупых мыслей, да и то — было ли? Признайся честно; не ты ли вложил их ему в уста?

И потом — Государственная премия<sup>7</sup>, статьи-интервью... а там — всякие такие слова, каких бы, по совести, лучше не надо... Ох, не надо бы их говорить порядочному человеку!<sup>8</sup>

И наконец... Не вполне корректный вопрос, но все-таки. Ты ведь после не раз еще бывал в Ереване. Виделся ли ты хоть однажды с Грантом? Нет? Отчего же? Не хотелось? Ах, не случилось... Но хотя бы звонил? И что же тебе сказали? «Привет, как дела, извини, я ужасно занят»? Точно? Ну вот, это то, что требовалось, больше ничего добавлять не надо...

Примерно так рассуждает мой друг читатель или, скажем, так рассуждаю я, когда ставлю себя на его уютное место. И на этот наш общий читательский выпад я и должен и хотел бы сейчас ответить.

Я хотел бы ответить предельно кратко, не впадая ни в литературо-, ни в человековедение, так, чтоб это вынужденное послесловие не повисло инородным, инновременным грузом на шее моей не столь уж массивной повести, чтоб оно не

исказило ее первоначального образа, который, плох он или хорош, а мне — важен и дорог.

Итак, Грант Матевосян — человек, персонаж, писатель. Начнем с последнего. Великий, хороший, замечательный, средний... Сегодня я твердо сказал бы так: Грант Матевосян — настоящий писатель. Можно не ценить его, не любить, но мимо него пройти нельзя и нельзя отрицать его существования. Он не только написал три настоящие повести<sup>9</sup>, он еще и сделал нечто в литературе, а это, согласитесь, удается не каждому хорошему писателю. Те же наши русские деревенщики тоже кое-что сделали, трудно спорить, но — вместе, скопом, не важно, кто раньше, кто позже. Их много, а Грант Матевосян один, и позиция и метод его мне лично гораздо ближе: Грант Матевосян — интеллигент из деревни, а не деревенский интеллигент. Что бы и как ни писал он дальше, он уже зафиксировал своим творчеством некоторый особый подход к реальности. В чем конкретно и подробно он состоит, я не стану сейчас выяснять, но скажу, что, в отличие от большинства современников, нерусских и русских, Грант Матевосян — писатель с собственным стилем. А стиль — это стиль, умному достаточно.

Это все — с точки зрения русского читателя. Ну а для армянской литературы... Кто знает, может, и «великий» — не такое чрезмерное слово. Не забудем, что кроме всего прочего Грант — первый армянский прозаик, который на нашем имперском рынке достиг конкурентоспособного уровня. Не мало, не просто! Эпизод со звонком из Киева мною не выдуман<sup>10</sup>, и, значит, было нечто такое — в нем, в читателях, в том нашем времени, а может быть, именно в сочетании того, другого и третьего, — что делало возможным и справедливым такой восторженный отзыв.

Да, конечно, сегодня все стало иным — и читатель, и время, и он, Грант. Неудачи в творчестве — это бы ладно, у кого их нет, и еще обойдется, и еще неизвестно, верны ли наши критерии; Государственная премия — тоже бывает, дают иногда и хорошим писателям; но вот эти аккуратные статьи-интервью... А тогда уже — и все остальное. Кто бы мог подумать! А подумать — так ничего удивительного, и даже естественно вытекает из всех известных нам обстоятельств, из немислимых трудностей жизни и творчества в крохотной узкоязычной провинции. Надо быть гигантом, чтоб устоять между всеми опасностями и соблазнами. Грант Матевосян, хороший писатель, не был гигантом; он был обречен и об этом знал и так или иначе предчувствовал свое поражение...<sup>11</sup>

И здесь мы, естественно, переходим к его чисто человеческим качествам. И здесь я имею сказать следующее. Он понравился мне, этот человек, я действительно был от него в восторге. В нем и впрямь было много прекрасных черт, а те немногие, которых мне не хватало, я дорисовывал по мере надобности уже тогда, на ходу, подсознательно — теперь я в этом могу признаться, — сочиняя повесть с героем-писателем. Да, конечно, я кое-что прибавил к его облику и, конечно, вложил в его уста кое-какие близкие моему сердцу мысли, а кое-какие — отнял и предал забвению. Но, кстати сказать, среди тех, что отнял, были также и нужные мне и близкие, но могшие, как мне тогда казалось, повредить ему после их публикации. Он в некоторых своих суждениях оказался гораздо резче, чем я ожидал... Я хочу сказать, что Грант Матевосян, реальный человек и конкретный писатель, по крайней мере тот, десятилетней давности, — вполне заслужил это скромное право: быть прообразом моего литературного Гранта. А то, что он все-таки только прообраз, я думаю, ясно любому читателю. В этой повести о тоске по духовной родине я не мог обойтись без такого героя, и я его нашел и отчасти домыслил и дочувствовал и, как мог, о нем рассказал.

Существовало здесь, впрочем, и еще одно обстоятельство, которое сыграло немаловажную роль и о котором мне нелегко говорить, но, видимо, все же придется. Дело в том, что у меня и теперь, а тогда тем более, всякий живой настоящий писатель, вообще настоящий художник, неизменно вызывает некий священный трепет, чувство, близкое к религиозному. Я не преувеличиваю. Здесь в основе — органическая убежденность, никакими доводами не устранимая, в исключительном, необычайном характере акта творчества. Сотворить настоящее произведение искусства по известным нам законам природы невозможно — их словно бы надо нарушить. И если все же оно существует, то это и есть овестьствованное чудо, и не в смысле высших степеней и похвал, а в самом наимистическом смысле.

Собственно, в таком отношении к творчеству нет ничего нового, ничего необычного. Напротив, оно было всегда заурядным и даже массовым. Но сейчас мы не то чтобы его подавляем, а скорее выворачиваем наизнанку. Заметьте, сейчас не говорят

«снимается фильм» или «ставится спектакль», нет — «создается». И даже институт не организован, а создан. По городу бродят толпы создателей, собираются вместе, обмениваются опытом. «Это было создано мною тогда-то, а это — тогда-то». Однако можно обесценить слово, но нельзя обесценить понятие. Даже те, кто сами изо дня в день говорят такое, понимают, что Создатель у нас один, и не важно, верим мы в Него или нет, — все равно один. И создать воистину то, чего не было, можно только приобщившись, став на момент частью некоего чудесного целого. Всякий, кто занят так называемым творчеством, знает счастливое чувство, когда п о л у ч а е т с я, — это именно чувство приобщенности и соучастия. Это тот момент, когда самый из нас атеист ощущает себя — образом и подобием. Есть ли Бог или нет, мы не знаем, но э т о — есть. Написать книгу (я не буду добавлять «настоящую») невозможно — но вот она перед нами. Но и наоборот: вот она, книга, — а все же написать ее невозможно. Грант Матевосян и предстал предо мной живым человеком, н а п и с а в ш и м к н и г у, — а было таких для меня в России в то время не больше трех-четырех, и сейчас осталось столько же, а может, и меньше. Прибавьте к этому, что он был а р м я н с к и м писателем, что в моих глазах он не сам по себе, а он, написавший, был выразителем п о л н о ц е н н о с т и и д о с т о и н с т в а своего народа. И не надо говорить, что армяне не нуждаются в этом; каждый малый народ и даже такой — очень и очень нуждается...

И далее, можно долго развивать эту тему, она позволяет. Но я убежден, что так или иначе я все это высказал в самой повести или, по крайней мере, пытался высказать.

В этой повести все имена вымышлены, кроме двух — моего и Гранта. Но тогда спрашивается, почему же так? Если это не столько документальное, сколько художественное произведение, отчего бы и Гранту не найти псевдонима? Такой очевидный, естественный ход — и все недоумения, все претензии отпали бы сами собой, как не было!

На этот, казалось бы, простейший вопрос мне, пожалуй, труднее всего ответить. Ну, во-первых, самое неубедительное, но, быть может, главное обстоятельство: мне понравилось это имя. Существует безусловная магия имени, это знают все литераторы. Произнес — и понял: только оно, этот человек — и это имя, другое будет принадлежать другому. Не все имена и не все персонажи обладают такой взаимной зависимостью, но некоторые — вне всяких сомнений. Грант Матевосян оказался таким человеком, которого я н е м о г назвать иначе.

Ведь кроме прочего, на мою беду, выбор армянских фамилий вообще ограничен, их так же мало, как датских и шведских.

В один из своих недавних приездов в Армению я снова, уже с большим опозданием (повесть была уже давно написана и даже кое-где кое-как напечатана), вдруг дернулся в этом отвергнутом мной направлении. Я достал ереванскую телефонную книгу (что было, замечу в скобках, нелегким делом, ее не оказалось ни на главпочтамте, ни в центральном переговорном пункте), — я достал телефонную книгу, уединился и, как тот сумасшедший из анекдота, стал читать внимательно, въедливо и делать выписки. Я читал, выписывал и только расстраивался: все было не так. То слишком мало слогов, мельчит и сбивает с ритма, то сплошные закрытые гласные — нет размаха, то согласные теснят и толкают друг друга или же сливаются в сочетания, на русский слух не вполне благозвучные... А если находилось нечто такое, что казалось приемлемым по всем параметрам, то это была фамилия столь известная, что просто нельзя было ее произнести и не вызвать бури ассоциаций, быть может, приятных и самого высшего качества, но никак не уместных в моем однозначном тексте. И когда наконец к середине книги я наткнулся на то, что мне в точности было надо: и гласные те самые, размах и свобода; и согласные скромные, простые и точные; и все в целом — словно бы припечатано, произнес — и видишь того, кого следует... Когда наконец я прочел эту первую из полутора страниц почти одинаковых строчек, я понял, с досадой и облегчением, что у меня вариантов нет. Полторы странички Матевосянов, несравненно меньше, чем многих прочих, редкая, по сути дела, фамилия, но и это мне было странно: почему не одна-единственная? Я понял, что ничего не смогу поделать, что пусть оно так и будет, что, значит, и правильно: Грант Матевосян — это Грант Матевосян, и прообраз — и персонаж.

Ну а в остальном... Прав мой читатель, но и я, думается, не столь уж не прав. Да, действительно, я не раз еще бывал в Армении, но так и не встретился больше с п о д л и н н ы м Грантом. Да, верно, я даже пытался однажды, а все же не встретился.

Ну так что ж, в этом не было ничего неожиданного. Было грустно, конечно, но неожиданно не было. Я ведь это предвидел и вполне определенно предсказывал, как предсказывал и сам Грант Матевосян — невеселую свою судьбу.

Москва, 1986.

Данное «Послесловие...» писалось, видимо, для предполагаемой публикации повести «Тоска по Армении» в журнале «Литературная Армения». Публикация повести в журнале состоялась в 1988 г. (№ 7—8), но без «Послесловия...».

<sup>1</sup> Повесть «Тоска по Армении» написана Карабчиевским в 1978 г. и тогда же опубликована в журнале «Грани» (№ 116).

<sup>2</sup> Один из персонажей повести «Тоска по Армении».

<sup>3</sup> Заочное продолжение диалога с Грантом Матевосяном, жаловавшимся при встрече Карабчиевскому на отсутствие у него читателя: «Я знаю всех своих читателей — лично, заочно или понаслышке. Мои читатели — это мои знакомые. Как ты думаешь, может писатель писать для своих знакомых?»

<sup>4</sup> «Хлеб и слово» — сборник повестей Гранта Матевосяна (М. «Молодая гвардия». 1974), в который вошли повести «Оранжевый табун», «Мать едет женить сына», «Буйволица» в переводе на русский язык Анаит Байндур.

<sup>5</sup> «Твой род» — повесть Гранта Матевосяна, впервые на русском языке опубликована в журнале «Дружба народов» (1975, № 7).

<sup>6</sup> «Ташкент» — повесть Гранта Матевосяна, впервые на русском языке опубликована в журнале «Дружба народов» (1982, № 7).

<sup>7</sup> Государственная премия СССР 1984 г. была присуждена Гранту Матевосяну за книгу «Твой род».

<sup>8</sup> Следует предположить, что Карабчиевского коробили интонации, появившиеся у Гранта Матевосяна в интервью и статьях в середине 80-х гг., из-за их резкого отличия от тональности тех разговоров, которые вели они в Ереване в 1976 г. и которые позволили писателю вложить в уста героя своей повести, Гранта Матевосяна, вот такие высказывания: «Я теперь не знаю, где Армения. Да, скорее была в деревне, дольше всего держалась. Но деревня тоже испортилась, все потеряла. Она стала такой же пустой мешанкой, как город. Нет Армении, Юра, где ни ищи, есть только наша тоска по Армении!», «Для армян, как ни для одной нации в мире, оказался губительным отказ от религии. Христианство для армян было всем, а не просто многим... Я не знаю, не знаю, сохранимся ли мы теперь как народ, только чудо нас может спасти...», «Мое положение безнадежно. Последний одинокий писатель у крохотного, вымирающего народа, с вымирающей, уже мертвой культурой. Писатель без читателя». А вот цитата из предисловия Гранта Матевосяна к переизданию книги «Твой род» в 1986 г.: «Наш поэт Амо Сагян сказал когда-то: иноземные захватчики решили обезглавить страну: князей и их отпрысков под видом совещания собрали в нахичеванских монастырях и предали огню, род армянских царей был истреблен еще раньше, и вдруг обычный армянский крестьянин увидел: страна осталась беспризорная и его дом должен обернуться государством, а сам он в этом доме-государстве и батрак, и князь, и работник, и хозяин... Первую часть этого высказывания подтверждают свидетельства старых армянских летописцев, я же постараюсь быть летописцем второй части, летописцем высоких дел моего народа, сегодняшней возродившейся и уверенной в будущем Советской Армении».

<sup>9</sup> См. прим. 4.

<sup>10</sup> Эпизод из повести «Тоска по Армении»: «Однажды мне позвонила приятельница из Киева и, минуя вопрос о здоровье детей, с ходу сказала так:

— Я должна сообщить тебе, что в нашей стране в наше время живет великий писатель и ты наверняка о нем даже не знаешь.

— Знаю, — ответил я почти не задумавшись и назвал ей имя».

<sup>11</sup> См. прим. 8.



# КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

## Литература и искусство

### ВИНОВАТЫЙ

Наум Коржавин. Время дано. Стихи и поэмы. Послесловие Б. Сарнова. М. «Художественная литература». 1992. 320 стр.

К о второй из своих четырех книг и первой из вышедших уже там («Посев», 1976) Коржавин сделал горькую приписку: его судьба — издавать не сборники, «нормально», по мере накопления стихов» являясь к читателям, а «Избранное» за «Избранным».

Разумеется, так и на сей раз, тем более что книга итожит полувековой путь, но слово «избранное» нуждается в уточнении. Что избирает Коржавин? Лучшее, что написал? Пожалуй, но, сдастся, не это решающий критерий. Поэт с широтой, которая строгому ценителю стиха может показаться излишней, прощает себе молодому, как, впрочем, и зрелому... Стоп! Прощает? Вот уж нет, наоборот, оголяет свои грехи и огрехи с безжалостностью (сильно явленной, кстати сказать, в недавней автобиографической прозе «В соблазнах кровавой эпохи», напечатанной «Новым миром»). Ради того, чтоб прочесть именно п у т ь.

И дело не только в стихах, где, допустим, явственна зачарованность Сталиным (зачарованность, правда, настолько своеобразная, что их автор как раз за эти стихи и угодил на Лубянку). Вот стихотворение 1944 года «Гейне», обаятельное и задорное, — о своенравии, за которое Гогенцоллерны ненавидели поэта как бунтовщика, революционеры третируют как обывателя, и лишь Маркс прощал гейневский «зигзагообразный путь». «Он лишь улыбался на это и даже любил. Потому, что высшая верность поэта — верность себе самому».

Автор талантливого послесловия, отметив, что эти стихи совпадают не только с духом, но даже и с буквой Маркса (согласно которой писатель смотрит на свою работу не как на средство, а как на самоцель), пишет: Коржавин «на протяжении всей своей жизни... именно т а к смотрел на свое предназначение поэта». И это едва ли не самое важное из многих моих расхождений с послесловием в том, куда вел коржавинский путь. Как и в том, что же она такое, «высшая верность поэта».

И из стихотворения «Гейне» и из послесловия ясно: это — внутренняя свобода. Независимость. Превосходнейшие слова, тем не менее имеющие обыкновенные обозначать весьма разные понятия.

По видимости отвлекаясь от предмета моего разговора, по существу же, надеюсь, приближаясь к его постижению, вспомню, как Юрий Тынянов определил феномен Блока (за которым последуют феномены Есенина, Цветаевой, Маяковского и других, вплоть до феноменов Высоцкого и Евтушенко): «Блок — самая большая лирическая тема Блока... когда говорят о его поэзии, почти всегда за поэзией подставляют *человеческое лицо* — и все полюбили *лицо*, а не *искусство*».

Лицо, или имидж, как выражаемся нынче. Заметим притом, что куда речь о явлении искусства, и великого; потом научимся обходиться одним «лицом».

Я остро припомнил тыняновские слова, прочитав в книге о. Александра Меня «На пороге Нового Завета» размышления о том, что в Иисусовых притчах можно углядеть намек на Его ремесло плотника или пастуха; на Его «лицо». Намек, не выше того, большего и не требуется. И еще: «В Евангелии самое главное — не новый закон, доктрина или нравственный кодекс, а именно Иисус, Человек, в Котором воплотилась «вся полнота Божества». Тайна, пребывающая выше всякого имени, обретает в Нем человеческое имя, лик и человеческий голос...» По моему, не сыскать лучшего определения, даром что совершенно невольного, что есть русская поэтическая, гармоническая традиция. И нет большего контраста, чем «*Лицо*, а не *искусство*», — и «Тайна, пребывающая выше всякого имени». В этом и состоял, думаю, крутой поворот на пути русской поэзии, свершенный на рубеже веков и полнее всего воплощенный Блоком.

Беспредельная, «бесстыдная» полнота самовыявления (бывает, что не нужны и кавычки), лицо, которое, как я сказал, часто важнее и уж во всяком случае притягательнее искусства, важнее Тайны,

когда Блок, не стесняясь, рисует себя пригвожденным к трактирной стойке, Есенин — пьяницей и хулиганом, Маяковский предстает любовником не дамы «вообще», а паспортно поименованной Л. Ю. Брик, — это, конечно, «верность себе», понимаемая буквально, это свобода (или ее иллюзия)... От чего? От кого? От многого, что, естественно, прежде всего проявляется эстетически — как свобода от читателя. И вот тот же Блок вызовет у критика Чуковского недоумение, что означают строки: «Сижу за ширмой. У меня такие крохотные ножки» — и лишь сам поэт разъяснит ему, что тут подразумевается Кант со своей «Критикой чистого разума». «...но кто же из читателей, — спросит влюбленный в Блока и оттого благодушный Корней Иванович, — мог догадаться, что оно написано о Канте?» А кто из возмущавшихся или восхищавшихся «авангардными» строчками Брюсова: «Всходит месяц обнаженный при лазоревой луне» — знал, что у экстравагантности самое банальное происхождение? Просто напротив брюсовской квартиры было здание бань, на фасаде которого и красовалась лазоревая луна...

Так Тайна сменялась загадкой. Ребусом. Игрой в отгадайку. Уже до предела и без предела капризничавшей субъективностью, которая, дешеветь, размениваясь, являлась теперь не на уровне гениального Блока или хотя бы «героя труда» Брюсова, а на уровне Кирсанова, Вознесенского — под псевдонимами «сложность» и «современность». И все это — в целом — конечно, не предопределило раз навсегда развитие русской поэзии XX века, но поставило поэтов, больших или малых, перед выбором, делать который приходилось единожды, а доказывать его правоту подчас всю жизнь.

Что до ребусов, к ним наш Коржавин не имел ни малейшей склонности даже в юные годы. Но иллюзия, что «верность себе» есть действительно «высшая», им владела, и долго. Бог меня упаси упрекать его за это задним числом, да и за что — за это? За строки из замечательного стихотворения того же сорок четвертого, где поэт, потрясенный фальшью, с какой говорились «речи о врагах», восклицал: «И мне тогда хотелось быть врагом»? Или за это: «Мне каждое слово будет уликою минимум на десять лет... Я сам всем своим существованием — компрометирующий материал!»?

Коржавин был таким, каким только и мог быть, каким ему надо было быть, — а в его понимание поэзии всегда входило жесткое ощущение этого «надо». Он был поэтом отчаянного вызова, противостояния, поэтом борьбы (которую я осмелюсь доморощенно определить как героическую форму несвобо-

ды — ведь человек освобождающийся еще не освободился). Был поэтом независимости, которую отвоевывал и возвеличил до уровня «высшей верности»; стал поэтом с у щ е с т в о в а н и я. То есть — многообразной зависимости.

Стал — или хотел стать? Вопрос не совсем праздный. Устойчивость внутреннего существования (о внешнем что и говорить!) — вот то, о чем Коржавин всегда тосковал, будь то порою хоть и очередная иллюзия, которая разочаровала, однако не перестала быть ностальгически милой. Как, например, невзвратные годы, когда все было ясно и даже в самой трагичности, в обреченности как бы надежно: «Я с детства мечтал, что трубач затрубит, и город проснется под цокот копыт, и все прояснится открытой борьбой: враги — пред тобой, а друзья — за тобой» (1955). И напротив, из самых щемящих коржавинских строк — написанные в карагандинской ссылке о (подумать, всего лишь!) «бледном зеленом сухом наряде высаженных аллей», о листьях, которые «сохнут, не пожелтев, вянут, — а зеленые». С о х н у щ а я з е л е н ы е деревья, принужденных, как люди, жить не там, где им надо бы жить, — вот образ биографически выстрадавший, но имеющий право быть образом бездомности, зыбкости, выморочности вообще. Ибо привязанность к жизни и быту, даже прямая от них зависимость — то, в чем, считает Коржавин, нуждается дух:

В наши трудные времена  
Человеку нужна жена,  
Нерушимый уютный дом,  
Чтоб от грязи укрыться в нем.  
Прочный труд, и зеленый сад,  
И детей доверчивый взгляд,  
Вера робкая в их пути  
И душа, чтоб в нее уйти.

В наши подлые времена  
Человеку совесть нужна,  
Мысли те, что в делах ни к чему,  
Друг, чтоб их доверять ему.  
Чтоб в неделю хоть час один  
Быть свободным и молодым.  
Солнце, воздух, вода, еда —  
Все, что нужно всем и всегда.

И тогда уже может он  
Дождаться иных времен.

1956.

Я не знаю у Коржавина стихов, в которых бы он так выговорился.

Человек с таким духовным инстинктом домостроительства не мог не начать строить дом в себе. Строил тогда, когда надежды на реальный дом с крышей и кубатурой не было, так что даже временное ссыльное жилье торопилось притвориться таким домом — при всей ясности сознания: «Стопка книг... Свет от лам-

пы... Чисто... Вот сегодняшней мой уют. Я могу от осеннего свиста ненадолго укрыться тут». Но то, во что почти и не верилось, пришло, стало реальностью: от счастливой любви до своей квартиры. Б и о г р а ф и я (упираю на это слово) начала входить в колею, вошла, и стихотворение 1967 года с объясняющим названием «Новоселье» говорит наконец о счастье видеть, проснувшись, из окон своей новостройки как символ полной и окончательной устойчивости деревенские дома, пока еще не снесенные бульдозером... Минуту! Пока еще не?.. Так — устойчивости или наоборот?

Да. Судьба сопротивляется так удачно складывающейся биографии. С удивительной неотвратимостью счастливая легкость этого стихотворения, словно стыдящаяся самой себя, будет брюзгливо опровергнута даже не соседствующим стихотворением, а второй частью этого самого диптиха «Новоселье». Сказал бы: словно написанной другим человеком, — если бы особенностью этого человека не было совмещать в себе мечту об устойчивости с постоянным ее отторжением. «Толь чистый план, толь чистый бред. Тут правит странный темперамент. Стоят вразброс под номерами дома — дворов и улиц нет». Ведь и пейзаж не успел измениться, — отчего ж так? «К чему тут шум дворов больших? О прошлом память? — с ней расстанься! Дверь из квартиры — дверь в пространство, в огромный мир дворов чужих».

«Дверь в пространство»... Предчувствие надвигающейся эмиграции? Ужас новой бездомности? Новой — или всегдашней?

Как бы то ни было, само пространство родит не воздух, а душу. «Страх — не взлет для стихов. Не источник высокой печали. Я мешок потрохов! — так себя я теперь ощущаю». Страх — и стыд, когда даже жилье, наконец обретенное, будит чувство вины, не важно, что вроде бы и безвинной: «Мы испытали все на свете. Но есть у нас теперь квартиры — как в светлый сон, мы входим в них. А в Праге, в танках, наши дети... Но нам плевать на ужас мира — пьем в «Гастрономах» на троих».

Год, как нельзя не понять, 1968-й, но ведь и много, много раньше, в юношеском, чуть ли не самом зацитированном его стихотворении Коржавин, тоскуя, что «никто нас не вызовет на Сенатскую площадь», что «настоящие женщины не поедут за нами», страшился как раз исторической бездомности, болел болезнью отщепенства. Рядом с этим стихотворением в книге найдем и то самое «хотелось быть врагом», и некоего мерзавца, укрывшегося за красным знаменем, «а трогать нам эти знамена — нельзя», и т. д. и т. п., все

то, что по тем временам вполне безошибочно определялось как антисоветчина. Анти... А эта тоска — или предчувствие настоящей тоски, которая поведет за собой коржавинскую судьбу, круша его наладившуюся биографию, — то, что выше героического «анти». Во всяком случае — вне. И что оно означает? Не знаю. Может, традиционную российскую мечту об «убеге» в поисках правды-истины, Мурави или Белогорья, может, еврейскую бездомность, может, то и другое вместе, — но даже сама эмиграция Коржавина всем этим была подготовлена и решена.

Он уезжал без надежды на обретение хоть чего-то, и строчки «Но умер там и не воскресну здесь» появились, когда он толком еще не успел оглядеться, не то что обжиться. Без надежды — и со всегда готовым чувством вины. То есть эта вина — вообще часть советско-эмигрантского комплекса, чаще всего выражающаяся в бешеном самоутверждении и стремлении доказать, что оставшиеся на родине — сплошь дураки и безумцы, разбавленные подлецами. Но тот мазохизм, на который обрек себя Коржавин, начиная тем, что писалось в письмах друзьям: «Простите меня, ребята, я не выдержал!» — кончая потоком стихотворного покаяния, беспримерен. Не зная, сколь естественно его существование и непроизвольна судьба, я бы решил, что это эксперимент над собой, чтобы ко множеству провинностей, которые он ощущает «вообще», не свершив ничего такого, что их реально обосновало бы, наконец добавить такую, которую заслужил самолично. Поступком, зависящим от его воли. Законную, так сказать.

Читавший Коржавина не нуждается в подтверждении этого моего тезиса цитатами. Он вспомнит «Поэму причастности» — о нашем афганском позоре, который Коржавин, конечно, узурпаторски изобразит своим личным, усугубив его опять-таки тем, что — «сбежал», что хоть и гибнет в прекрасной Америке, но всего только от тоски, а «не от пули афганской». Или цикл «Наивность» (1963), где поэт виноватит себя за долгое невнимание к «главной крови», не интеллигентской, а крестьянской, к «великому перелому». А в «Поэме существования» (1970) вообще совершит странность. Вообразив себя (подумаем, где!) в колонне, ведомой к Бабьему Яру, всем воображением человека, поэта, наконец, еврея пережив этот ужас и унижение, он представит, будто и вправду вспомнит, бабу, орущую обреченным: «Так и надо вам, сволочи! Так вам, собаки, и надо!..» И, представив, поожалеет, поужалеет... Вернее, попростит по жалеть, ощутив драму ее изувеченности, даже сумеет и тут нащупать собственную вину (дескать, бабу обокрал тот са-

мый век, «что давал мне возможность считать себя человеком»). Потом вроде спохватится, репит, что хватил лишку, все же оставив в сознании читателя свою странную жалость; потом... И так далее. Он не только не выйдет из замкнувшегося круга, он замкнет его безнадежно, наращивая и наращивая чувство вины и таким образом достигая своей нынешней «высшей верности». Как высшей зависимости от задачи (да, выберем это скучное слово) преображения человека; той зависимости, что если еще и не сама свобода в традиционном для русской поэзии понимании, то, во всяком случае, свойство, без которого любая свобода бессмысленна. Точно так же как гармоническая легкость, идеал, взлелеянный нашими стихотворцами, столь естественно достижимый в пушкинианскую пору и столь трудно постигаемый ныне, есть... Впрочем, тут как раз слово Коржавину: «Та пушкинская легкость, в которой тяжесть преодолена».

Эта легкость смолоду презилась самому Коржавину, притом порой даже без тайной муки преодоления: «...жить так просто и писать. Но не с тем, чтоб сдвинуть горы, не вгрызаясь глубоко, — а как Пудкин про Ижору — безмятежно и легко». Подчас безмятежность удавалась — по крайней мере одолевала смятение духа, как в прелестном (именно этот эпитет хочется произнести) стихотворении «В Кишине снег в апреле...» (1965). Там, где даже само неперемное чувство вины, на сей раз вполне конкретной, не выдуманной, тягота, все же поистине преодолевается счастьем «беззаконной» и разделенной любви.

Но вообще Коржавин не поэт легкости. Он поэт постоянно преодолеваемой тяжести, которая и остается — тяжестью. Непреходящая мука преодоления — вот состояние, определяющее его характер. Обреченность на эту муку — то, с чем он не расстанется, да и хочет ли? «Время? Время дано. Это не подлежит обсуждению. Подлежишь обсуждению ты, размесившийся в нем». Ну-ка сравним, с каким артистизмом о том же напишет Кушнер: «Времена не выбирают, в них живут и умирают... Что ни век, то век железный. Но...» — то-то что «но», гармонически-утешительное: «Но дымится сад чудесный, блещет тучка...» А Коржавин скажет: «Нету легких времен» — и нельзя не расслышать императивность, нажим, напор, тут же и мотивированные: «И в людскую врезается память только тот, кто пронес эту тяжесть на смертных плечах».

Писано в далеком 1952-м — и вездь пронес, не избые. !

Сама коржавинская поэтика в этом смысле красноречива, — впрочем, что вообще красноречивей поэтики? Не декларации же. Понимаю тех, кто сожалеет, что с годами он начал писать «в лоб»; в самом деле афористика, запоминающиеся, выпадающие в осадок образы куда чаще встречаются в ранних стихах: «И мне тогда хотелось быть врагом...», «Настоящие женщины не поедут за нами...», «Но кони — все скажут и скажут, а избы горят и горят...» Но очень понимаю и Коржавина, спрямляющего путь к читателю, как бы даже стыдливо изживающего свою избранность, то есть непохожесть на прочих.

Это знакомо. И очень по-русски. «Верность себе самому» еще может сперва честолюбиво обрадовать и показаться тем, что делает тебя особенным, но потом оборачивается пониманием, что это только условие исполнения твоего долга, стало быть, прежде всего ответственность. Тот простой факт, что поэт рождается отличным от остальных, русскими поэтами (о, не всеми, не всеми) подчас ощущается как нечто стыдное. Как вина. И порождает муки совести. «Всю жизнь я быть хотел как все...» — чуть не завидует этим всем Пастернак, и не зря его путь будет направлен к тому, чтоб, если вспомнить слова о. Александра, обрести «Тайну, пребывающую выше всякого имени», и прежде всего, конечно, своего личного «я». «Я ими всеми побежден, и только в том моя победа» — этот порыв самоотвержения не только собственно пастернаковский, но и, думаю, выстраданно российский. «С а м о о т в е р ж е н н о с т ь, — гениально напишет Владимир Даль, имея в виду, конечно, не узко нынешнее значение, — исключает одиночество, вытесненную человеколюбием и исполнением своего долга». «От вины да от долгу не отрекайся», — посоветует он же, вспомнив пословицу. Но русским поэтам, исповедующим виноватость, о которой и говорю, даже совет не нужен. И обойдемся без ревнивого сопоставления масштабов; при различии биографий, характеров и степеней дарования дело — общее. «У всех поэтов ведь судьба одна», — догадался каким-то образом девятнадцатилетний Наум Мандель, еще не знавший, что ради того, чтоб напечататься, придется стать Наумом Коржавиным. У всех не у всех, но наш век и судьба русской поэзии действительно скорее объединяют поэтов, чем разъединяют — при всей их всеочевидной «самотности».

Конечно, лишь тех, кто или преодолевает тяжесть, или выносит ее.

Ст. РАССАДИН.



## ПОПЫТКА КОМПЕНСАЦИИ

Владимир Милашевский. Из цикла «Глазами пятилетнего». Публикация А. И. Милашевской. «Волга», 1993, № 2.

Владимир Милашевский. Нелли. Роман из современной жизни. Публикация М. Г. и Н. Г. Звенигородских. «Волга», 1991, № 12.

К 1993 году исполнилось 100 лет со дня рождения Владимира Алексеевича Милашевского, одного из организаторов (наряду с Н. В. Кузьминым и Д. Б. Дараном) и идеологов группы художников-графиков «Тринадцать». В 20-е годы в Петрограде, а затем в Москве, пишет современная исследовательница<sup>1</sup>, деятельность Милашевского была очень активной и благотворной для его окружения, но впоследствии началась полоса трудностей, долгий период непризнания, когда он был известен только как иллюстратор Диккенса, Горького, Флобера, Салтыкова-Щедрина. Положение отчасти исправилось в конце 60-х годов, а в 1976 году художника не стало, и есть все основания думать, что он ушел с горьким чувством случившейся с ним несправедливости.

Милашевский был не только художником, но и интересным мемуаристом — его воспоминания «Вчера, позавчера» выходили в издательстве «Книга» сначала при его жизни в 1972 году и еще раз в исправленном и более полном виде в 1989 году. Однако этим далеко не был исчерпан его архив. Саратовский журнал «Волга» несколько раз обращался к наследию своего земляка — детство и юность Милашевского прошли в Саратове. «Я иду с нянькой по солнечной стороне саратовских улиц...» — это из его мемуарного цикла «Глазами пятилетнего». Время действия — 1898 год. Вокзал, аптека, рынок, собор, плавучие магазины — беляны, поездка по Волге из Саратова в Казань, персы, узбеки, китайцы... — в стремительном темпе мелькают перед нами эти, по выражению мемуариста, «картинки, кадры». Но — глазами пятилетнего?.. Тут есть некоторое лукавство. «Не все ли равно, когда... записать? На другой день вечером или через семьдесят три года? Раз все это видится, как будто было вчера!» Конечно, не все равно. Это взгляд и язык зрелого человека и зрелого художника, как бы они пытались изобразить себя пятилетним мальчиком. Это саратовское детство, увиденное как бы с другого конца а ж и з н и, поэтому так пронзительны и яркие картины невозвратного прошлого.

Автор послесловия Е. Водонос выражает надежду, что скоро мы увидим более полный книжный вариант «Глазами пятилетнего». Да, хотелось бы надеяться.

<sup>1</sup> М. А. Немировская. См.: «Художники группы „Тринадцать“». М. 1986.

Но, если эти воспоминания не просто хороши, они б е с с п о р н ы, то напечатанный чуть раньше в той же «Волге» роман Милашевского «Нелли» — случай более сложный. А главное — совершенно неожиданный.

Одним из друзей Милашевского в 20-е годы был не слишком известный сегодня литератор Ю. И. Юркун (Юркунас), входивший также и в художественную группу «Тринадцать», но более известный как близкий друг Михаила Кузмина. «Я задался фантастической целью, — объясняет в предисловии Милашевский, — восстановить осенью 1968 года, через сорок восемь лет, исчезнувший роман моего друга. Роман писался весной, летом и глубокой осенью в 1920 году. Юрочка часто читал этот роман у себя дома собравшимся друзьям... Трудно сказать, точна ли копия, сделанная через 48 лет, по памяти. Возможно, что копия вольна, несовершенна в каких-то деталях, но общий дух, общую композицию я передаю верно».

Тут вообще-то есть какая-то странность: если роман действительно воссоздавался по памяти, то ни о какой копии речи быть не может, только о вариации на чужую, заданную тему, что в литературе дело не такое уж редкое. Если же Милашевский располагал какими-то фрагментами романа Юркуна, то куда же они делись? Не уничтожил же он их по использованию? Ведь рукопись Юркуна, на которую мог бы опираться Милашевский, до сих пор не найдена, или п о к а не найдена, как осторожно замечают публикаторы<sup>2</sup>. Тем не менее «присутствие» Ю. Юркуна в тексте Милашевского для публикаторов очевидно (а для меня не слишком): об этом свидетельствуют, по их мнению, высокого класса острота двойной фабулы романа, и блистательность отдельных фрагментов, и ощущение ужаса жизни России 20-х годов, не свойственное, как им кажется, именно Милашевскому.

Да и сама задача воссоздания романа выглядит несколько странной, если не

<sup>2</sup> Часть архива и коллекции Ю. Юркуна была конфискована при обыске в сентябре 1931 года (см. дневниковые записи Михаила Кузмина за 1931 год, подготовленные к печати С. Шумихиным для журнала «Новое литературное обозрение»); остальная часть архива была изъята при аресте Ю. Юркуна в 1938 году.

принимать во внимание авторскую мотивацию. В предисловии 1968 года, написанном в больнице после «адских болей», Милашевский размышляет о погибшей, уничтоженной на его глазах культуре: «В Москве пали стены, построенные царицей Еленой из рода Глинских... Погибла вся внегорьковская литература России... Я не могу на свой счет построить стену царицы Елены, но роман друга...» То есть, как можно было бы предположить, воссоздание романа Юркуна было для Милашевского актом сопротивления, сопротивления забвению — как естественному, заложенному в природе вещей, так и искусственному, проистекающему из тоталитарной энтропии. Независимо от результата человеческого аспект такого литературного эксперимента мог бы вызвать искреннее уважение. Мог бы. Если бы не ряд обстоятельств, о которых — чуть позже.

«Нелли» написана Милашевским от лица самого Ю. Юркуна, который описывает свою жизнь с Михаилом Кузминым и их окружение в 20-е годы и одновременно сочиняет свою книгу об экстравагантной американке Нелли, оказавшейся в Петрограде. При этом текст от лица Юркуна и текст якобы самого Юркуна чередуются, причем достоинства и недостатки истории про Нелли обсуждаются персонажами первой сюжетной линии. Автор предисловия Сергей Боровиков видит в книге три слоя: первый — имитация романа Юркуна, второй — желание Милашевского в 60-е годы воссоздать ауру 20-х, кузминского кружка, и третий слой — целенаправленное стремление М. Кузмина удержать в 20-е годы ускользающую ауру «серебряных» 10-х<sup>3</sup>.

Так вот, если подлинная книга Ю. Юркуна о петроградских похождениях американки Нелли была такова, как фрагменты ее, «воссозданные» Милашевским, то, решусь выразить сомнение, стоило ли ее воскрешать. Не уверен. Что же касается фрагментов, написанных от лица Юркуна, то они по своей манере отчасти напоминают изданные мемуары самого Милашевского. Но есть, конечно, и существенные отличия, указывающие, как мне кажется, на подлинный секрет этой книги.

Маска Ю. Юркуна (или псевдо-Юркуна) освобождает Милашевского от ряда «условностей» и позволяет ему, например, вложить в уста Юркуна такую характеристику его старшего друга Михаила Кузмина: «Да! Было в Учителе это «не-что», что заставляло его лнуть к этим

«Силам», «Властям», «Могуществам» — и сидеть рядом с Абрамами Гурвичами, которые только что, этой ночью, расстреляли ненавистных им русских интеллигентов и русских фронтовых офицеров... Так осточертел ему замороженный угол своей проходной комнаты...» Ясно, что в изданных воспоминаниях Милашевского таких откровенных характеристик нет — и по причинам не только цензурного порядка.

Маска Юркуна позволяет Милашевскому дать свой автопортрет, но под видом портрета, нарисованного будто бы Юркуном. Вот Юркун и Михаил Кузмин придирчиво рассматривают рисунки их недавнего знакомого Милашевского: «Конечно, художник где-то был скван налипшей на него школьной, дурацкой эстетикой, где-то он не свободен... И все-таки, если дольше смотреть на эти портреты, то вдруг становится видно: автор — не п о в т о р и м а я л и ч н о с т ь (разрядка здесь и далее моя. — А. В.). Там есть что-то за этим «за», и это что-то очень острое, почти палящее... Художник слишком жесткий, слишком стойкий, которому жестокий ветер все время дует в лицо, ранит колкими ледышками... Какой контраст со всеми нами, изнеженными и робкими мирискусниками, кубистами, футуристами, которые так же напудрены и подкрашены, боясь открыть свое лицо... Были несколько эротических листов необыкновенной остроты... Все это по какому-то духу, «печати духа» — н е о б ы к н о в е н н о!» То есть в уста Юркуна Милашевский вкладывает самонахарактеристику, которую не мог позволить в своих мемуарах — слишком нескромно. И таких моментов в книге масса. «Милашевский занят по горло! Его «нашел» Марджанов и влюбился в него, так же как и мы». К. Марджанов — это театральный режиссер, «мы» — это Юркун и Кузмин. Но если учесть, что текст написан самим Милашевским, то выходит и смешно... и даже не смешно.

Милашевский оказывается едва ли не главным героем книги псевдо-Юркуна, причем абсолютно положительным, в отличие от иных многочисленных персонажей книги. Вот оценка рисунков Юрия Анненкова, принадлежащая псевдо-Юркуну (то есть Милашевскому): «Искусство его однообразно, он почти не меняется, и это плохой признак. Нет внутренней жизни в существе его стиля... а может быть, только манеры?» Сравните с вышеприведенной оценкой работ самого Милашевского. А, скажем, похабную характеристику женских достоинств (вернее — недостатков) Ирины Одоевцевой я вообще затрудняюсь процитировать.

Сергей Боровиков справедливо выделяет во взглядах Милашевского на искус-

<sup>3</sup> Эпоху, по выражению Н. Коржавина, я р к у ю и б л у д н у ю (см. его известную статью «Анна Ахматова и „серебряный век“» в «Новом мире», 1989, № 7).

ство 10—20-х годов несколько моментов, без которых его проза кажется объективным отражением эпохи, каким она не была, а именно: «1. Милашевский как действительный, хотя и младший участник культурных процессов 10-х — начала 20-х годов... 2. Милашевский именно как младший завидующий и завистливый, отчасти уже торжествующий и одновременно сожалеющий свидетель, но не участник, точнее — не полноправный участник. 3. Милашевский как самоупи- вающийся, захлебывающийся в стремле- нии поярче нарисовать картину литера- тор-дилетант... 4. Милашевский как ста- рик, в 60-е годы и с горечью, и с идеали- зацией, и с запоздалым судом, и с неспра- ведливостью, и со вздохом, с лукавством и желчью как бы восстанавливающий 10-е — 20-е». И он подытоживает: «ро- ман» Милашевского — «острый пустя- чок», который может занять место в ряду вспомогательной, второразрядной лите- ратуры о литературе, помогающей понять эпоху, за ней стоящую. Характеристика жесткая и не скажу — неточная, но явно неполная.

Книга Милашевского — попытка не реставрации, а компенсации. Попытка восполнить славу, по тем или иным причинам недополученную, но, по мнению художника, ему причитающуюся. Попытка переиграть и время и исто- рию. Под видом восстановления книги Ю. Юркуна Милашевский написал книгу о себе любимом, такую, какую он, вероятно, сам хотел бы о себе прочитать, но не прочел. В каком-то смысле получи- лась действительно оригинальная книга. Но достигнута ли цель, если иметь в виду подлинные, а не декларированные наме- рения автора? Не уверен. Милашевский попытался вписать себя в круг таких имен, на сравнение с которыми он объективно не мог бы претендовать. Получился уни- кальный документ человеческой горды- ни. Милашевский был талантливым ху- дожником и талантливым мемуаристом, но гордыня его оказалась больше таланта, так что в результате он кажется меньше, мельче, чем был на самом деле. И это очень жаль.

Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ.

## УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ТРЕТЬЯ, ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  
КНИГИ ИВАНА ОГАНОВА «ПЕСНЬ ВИНОГРАДАРЯ ОСЕНЬЮ»  
БУДЕТ ОПУБЛИКОВАНА В НАЧАЛЕ 1994 ГОДА

## КОРОТКО О КНИГАХ



**И. А. М. ПЯТИГОРСКИЙ.** Философия одного переулка, или История еще не оконченной жизни одного русского философа, рассказанная автором, а также некоторыми другими, более или менее русскими философами. М. «Прогресс». 1992. 156 стр.

Книга А. М. Пятигорского (известного буддолога, еще недавно — нашего соотечественника, ныне — профессора Лондонского университета) напоминает — жанром, иронической легкостью — вольтеровского «Кандида». Ее герои решают вопрос об отношении сознания к «объективной» действительности (второй этап становления сознания; первый — почувствовать свою субъективность, то есть некоторую «нездесьность»). Именно такой умозрительный интерес вел когда-то по свету Кандида. «Объективность» тогда одержала победу: «Будем работать без рассуждений... это единственное средство сделать жизнь сносною».

Такой вариант означает для героев «Переулка...» немедленную, абсолютную смерть. Смерть как прекращение сознательного существования — что много страшнее смерти физической. «...когда придет война и нам быть убитыми... то мы уже будем мертвы, мертвее гробовых гвоздей». Но и жить, продолжая «думать», больше нельзя. Жизнь становится такою, что угрожает «самому думанью, а не физическому существованию думающего».

«Философствовать или жить?» — стоит вопрос, логический и вытекающий из главного постулата героев («Жизнь — несознание»). Философствовать — умереть для мира. «Не-философствовать» — умереть для себя. Из почти мистического ужаса — слиться с морем «несознающего», прекратит осмысленное, индивидуальное существование — рождается и вырастает «новая философия». Рождается в московском переулке, где вначале живут персонажи, растет в курилках Ленинской библиотеки, дорастает до логического завершения в их письмах друг другу, их встречах в России и Англии, где оказалось большинство из них.

Это — «философия сознающего», философия личности, осознавшей свою «субъективность», философия людей, объ-

единенных гипнотическим страхом духовной смерти. Все ее основные черты лежат в ее зародыше и побудительной причине: «...это мы сами вынуждены философствовать, чтобы сохраниться в этих условиях, хотя бы в н у т р е н н е». Философия затравленного зверя, в глазах которого и ненависть, и отчаяние, и страх, и надежда: «проскочить через эпоху», «остаться в живых, ибо мы этому времени не принадлежим». Критерий сознающей себя «субъективности» здесь устанавливается «от противного»: не быть «употребляемым объектом», не стать «управляемой вещью», не превратиться в «объективный факт».

Сознанию, отторгающему себя от жизни, ничего не остается, кроме как исследовать самое себя. Этим и вынуждены заниматься персонажи на протяжении многих десятков страниц. Старый культ «чистого разума» преобразуется в «культ мышления», абсолютизируется, почти обожествляется сама мыслительная способность. Философия героев Пятигорского содержит в себе черты «новой религии». И изначальная установка на «спасение», и «новый культ», и агрессивная непримиримость к «неверным» (не освоенным благодатью «сознательной субъективности»). «С «объективным идиотом»... ничего не может случиться, даже если тому случится быть талантом или гением. Им все равно будут отпирать двери или копать землю, а буде на то нужда, употребят его не по прямому назначению. Скажем, лопатой будут взламывать замки, а ключом бить по носу маленьких детей».

Быть «использованным не по назначению» — вот что еще страшит героев «Переулка...». Дать увлечь себя потоку «объективных фактов», устремляющемуся неизвестно куда. И поскольку цель — из-за отсутствия подлинного интереса к «несознанию»-бытию — никак не может быть осмыслена, остается с о з н а т е л ь н о е же бездействие. «...когда сезон — не твой, то следует не действовать, а «недействовать». А если ты не можешь избежать дурного действия... то беги прочь со всех ног!»

Блестящая легкость формулировок, в которых вычерчивают герои свои философские построения, не может, однако,

заслонить некоего изъяна: ощущается нехватка воздуха, особой «подъемной силы», без которой мысль вместо свободного парения обречена начать изнурительный бег по кругу — с неизбежным возвратом в исходную точку.

Происходит своеобразный коллапс, когда резкое возрастание энергии мысли ведет лишь к взрыву, разносящему всю систему, обращающему замкнутый круг в белую точку самоотрицания. «...попробуй думать о мысли, и ты сам увидишь, как она разделится на ячейки, каждая из которых — мертва, а весь процесс есть смерть (не ведет к смерти, а сам есть смерть!); «всякое реальное думанье уже есть смерть» (как и «не-думанье»). Так захлопывается «логическая ловушка». Сознание, отрицающее жизнь, приходит к отрицанию себя. Что за странные циклы совершает философская мысль?! Почему Истина всегда где-то рядом со смертью?

«Логическое мышление, отделенное от других познавательных сил, — писал И. В. Киреевский, — составляет естественный характер ума, отпавшего от своей цельности», и превращается, по его же словам, в «самодвижущийся нож разума», который в конечном счете может пройтись и по собственному сознанию «сознающего».

Где же выход? Может быть, здесь: «...собрать все отдельные силы души в одну силу, отыскать то внутреннее средоточие бытия, где разум, и воля, и чувство, и совесть... и весь объем ума сливаются в одно живое единство, и таким образом восстанавливается существенная личность в ее первозданной неделимости» (опять Киреевский). Может быть, именно в этом путь к субъективности?

Кажется, к чему-то близкому приходит к концу книги ее главный герой Ника — Н. И. Ардатовский, философ и бизнесмен (все персонажи — реально существующие люди). «Философствование, о котором я говорю, не может объявить себя ни «первой истиной», ни «последней и окончательной» философией. Оно не ищет утверждения истины или разоблачения заблуждения. Оно скорее видится мне как нечто очень пробное, как нащупывание другого опыта моей сознательной жизни. Опыта, внутренние условия которого никогда не дадут ему превратиться в «ценность», «норму» или «идеологию»...» Здесь — попытка заново начать в есь совершенный философией огромный, извилистый путь, но без повторения ошибок. Попытка, быть может, восстановить утраченную целостность нашего сознания, влив в нынешнюю «научнообразную» и «эстетико-гурманскую» философию живые, теплые силы.

**П. С. С. ХОРУЖИЙ.** Диптих безмолвия. Аскетическое учение о человеке в богословском и философском освещении. М. Центр психологии и психотерапии. 1991. 137 стр.

«Двойное зло, двойное безумие: небу и звездам, которые мы покидаем такими, какими застали, они предвещают гибель, а себе, рождающимся и умирающим, как и все мы, они обещают вечность после того, как помрут и будут уничтожены!» — так в восклицании античного автора выразилась потрясенность древнего языческого сознания космическим масштабом христианской антропологии.

Сегодняшнее обращение философии к «святоотеческим» корням Православия по-своему закономерно (как и рост интереса к русскому философскому наследию). «Глубокое, живое и чистое любознательное Св. Отцов, — писал И. В. Киреевский, — представляет зародыш высшего философского начала: простое развитие его, соответственное современному состоянию науки и сообразное требованиям и вопросам современного разума, составило бы само собой новую науку мышления». Заложенное в мистике Православия представление о человеке в корне отличается как от позднейших западных антропологий, так и от восточных и «окультиных» воззрений на этот счет.

«Если, заставив умолкнуть чувство, вы воззрите умом и, оторвавшись от тела, раскроете очи души, то только таким образом вы увидите Бога», — поучал христиан на заре нашей эры римский философ Цельс. Это представление, целиком заимствованное у Платона, не умерло вместе с язычеством. Оно переключалось в гностицизм, одну из первых христианских ересей, обрело второе дыхание в «геософии» Е. П. Блаватской и даже в современном экзистенциализме. Тело, «чувственность» истари рассматривались как помеха на пути к высшему знанию.

Антропология православной аскетики («антропология целостности») рассматривает человека как единую структуру, принципиально неделимую на «достойные» и «презренные» элементы. «Тело совокупно с умом и душой проходит евангельское поприще... Преустроившись, плоть совозвышается Богу и совкушает общения Божия» (св. Григорий Палама). В воззрениях святых отцов — не только в принципе иной взгляд на человеческую природу, но и на конечное предназначение человека. Переход от «познания» к коренной трансформации, определяемой евангельским термином «преображение». «Вспомни о Канте, который в последние годы обеспамятел вовсе и умер, как ребенок. Но пересмотри жизнь всех святых: ты увидишь, что они крепили

в разуме и силах духовных по мере того, как приближались к дряхлости и смерти» — так выразил Гоголь свое понимание двух типов человеческой деятельности — с установкой на умозрительное знание и на целостный духовный рост.

Своеобразие мистики Православия, ее отличие от мистик иных религий прежде всего в том, что она учит слиянию с Богом не через «медитацию», не через молитвенный экстаз, а через повседневный духовный труд. Нить, за которую держится идущий, настолько тонка, что малейшее ложное движение души способно ее оборвать. «Гони, делай, трудись, но не определяй плода... никогда не считай себя достигшим, а только ищущим» (еп. Феофан Затворник). Возникшая из «антропологии целостности» практика «духовного делания» — сложное и тонкое учение борьбы со своими «страстями», освобождения их от плена «миру» и переподчинения самому себе. Духовный рост и крепость тела здесь неразрывно связаны. «Нам нужно иметь тело здоровое, а не расслабленное, так как умное делание требует и телесной крепости» (Димитрий Ростовский).

Учение исихастов истекает из целостного восприятия Евангелия, осознания неразрывности его моральной стороны с «эзотерическим» смыслом (что рассудочно «вычислил» Л. Н. Толстой: «Жизнь мира совершается по чьей-то воле... Чтоб иметь надежду понять смысл этой воли, надо прежде всего исполнять ее...»). «Паламизм» представляет собой обобщение духовного опыта многих поколений подвижников, преодолевавших соблазн гностицизма специальным обетом «богословского воздержания» (исихазм означает «священнобезмолвие»), последовательно, до конца, прошедших весь путь.

«Русский аскетизм восходит не к отвержению мира, — писал В. В. Зеньковский, — не к презрению к плоти, а совсем к другому — к тому яркому видению небесной правды и красоты, которое своим сиянием делает неотразимо ясной неправду, царящую в мире, и тем зовет нас к освобождению от плена миру. В основе аскетизма лежит не негативный, а положительный момент: он есть средство и путь к преображению и освящению мира. Видение небесной правды и красоты вдохновляет к аскетизму...».

Уникальность положения русской «классической» философии в ряду европейских наук объясняется во многом ее близостью к святоотеческим корням Православия: «В неразрывности теории и практики, отвлеченной мысли и жизни, иначе говоря, в идеале «целостности» заключается, действительно, одно из главных вдохновений русской философской

мысли» (В. В. Зеньковский). Идеи Григория Паламы оказали большое влияние на Хомякова и особенно на Киреевского (его теория «цельного разума»). Их восприятие взглядов Паламы было, однако, во многом утопическим; в н у т р е н н е е же содержание «паламизма», его обращенность прежде всего к личному духовному опыту оказались ими, по сути, нераскрыты.

Ценность книги С. С. Хоружего (написанной в 1978 году и изданной тринадцать лет спустя, а на книжных прилавках появившейся куда позже) заключается в том, что она заполняет необходимую нишу в развитии русской философии — делая одновременно шаг навстречу современной философии Запада. Переводя «паламизм» на современный философский язык, вводя для его обоснования новые, «энергетические» понятия (которые, правда, встречаются у византийских богословов), она способствует тому, чтобы человечество «логическим», «рассудочным» путем, который оно для себя избрало, скорее постигло те ценности и находки, которые содержатся в духовном опыте его подвижников, — соединив, таким образом, в единую Истину два горизонта своего «диптиха»: Опыт и Знание.

**III. КЛИНТОН ГАРДНЕР. Между Востоком и Западом. Возрождение даров русской души. М. «Наука». Издательская фирма «Восточная литература». 1993. 124 стр.**

Книга Клинтон Гарднера — американского бизнесмена и большого знатока русского философского наследия — представляет собой попытку обобщения идей классиков русской мысли на основе западного «диалогического метода», разработанного М. Бубером, Ф. Розенцвейгом, О. Розенштоком-Хюсси.

Здесь говорится о создании «новых начал» в философии, новой «науки мышления», основанной, в противовес «логическому умозрению», на «речевом мышлении»; речь, по Гарднеру, как раз та основа, которая позволяет объединить эмоциональное, эстетическое, логическое и чувственное восприятие. Человек рассматривается как цельная единица, соединенная с прочими членами общества бесчисленными связями (сама русская идея «соборности», по Гарднеру, сопоставима с «диалогическим методом»), а речь — как наиболее полное выражение этих связей.

Природа речи определена как «сверхъестественная»; речь понята как первичная по отношению и к эмоции и к рассудку. Она есть «логос», то, чем человек творит свой внутренний и окружающий

мир, и она служит, таким образом, наиболее полным выражением его как «субъекта» — целостной личности, не связанной в своих представлениях о мире никакими законами, кроме внутренних.

Здесь налицо происшедший в «диалогике» заметный сдвиг: если «речь» у Фейербаха способ выражения единения и различия человека и общества, если «речь» у Бубера — способ очищения человека от иллюзий, раскрытия его собственного представления об окружающем мире, если речь у Розенцвейга — предпосылка к пониманию природы мышления, то у Гарднера она вырастает до некоего абсолюта, ц е л и к о м описывающего человека и его отношения с окружающим миром. Автор оригинально соотносит с «диалогическим методом» взгляды Хомякова, Бахтина, Киреевского, Бердяева и Соловьева — однако за счет их осязаемого упрощения.

Впрочем, книга по-настоящему интересна как живым, нетрадиционным подходом, так и проблемами, которые она ставит. Это, во-первых, поиски целостного мировоззрения, способного объединить религию и науку. Это затем — поиски новых начал философии, рассматривающей человека как ц е л о с т н у ю структуру, субъекта. Это — поиски ключа к преодолению отчужденности и перерастанию целостности в о б щ н о с т ь. Это, наконец, попытка слияния двух философских традиций — западной и российской (то есть соединения заложенных русскими философами представлений о человеке с богатым философским инструментарием Запада).

Не удивительно ли, что и з А м е р и к и возвращаются к нам слова украинского философа Г. С. Сквороды, которыми открывается книга: «Явное души нашей неудовольствие не может ли нам дать догадаться, что все сии науки не могут мыслей наших насытить?.. Математика, медицина, физика, механика, музыка с своими буйми сестрами — чем избыльнее их вкушаем, тем гуще палит сердце наше голод и жажда, а грубая наша остолбенелость не может догадаться, что все они суть служанки при госпоже и хвост при своей голове, без которой весь тулуб недействителен».

Книга д-ра Гарднера — все-таки в большей степени «человеческая», чем философская. Ее автор — «ровесник эпохи», участник второй мировой войны, освобождения Бухенвальда. Все главные вдохновения книги вынесены им из жизни, из личного опыта. Есть в ней то, с чем нельзя не согласиться: «Микрореволюция в каждом из нас — вот то средство, с помощью которого мы должны предотвращать катастрофы макрореволюций, хаоса, декаданса и войн».

#### IV. «ДИСПУТ». Историко-философский религиозный журнал. 1992, № 1, 2.

Цель нового издания, начатого в Москве группой российских авторов (часть которых не так давно специализировалась в «научном атеизме») и всеамериканской Ассоциацией «Христианский мост», определена в редакционной статье как помощь в «мировоззренческом выборе» (Ю. Пищик), в «поиске Бога» (президент Ассоциации М. Моргулис), заполнении, иными словами, того духовного вакуума, в котором оказалась страна по прошествии последних семидесяти пяти лет. Нынешняя Россия нередко рассматривается Западом как огромное поле миссионерской деятельности, но, похоже, и как источник, от которого сам Запад ждет духовной подпитки, поддерживая тенденцию на «восточно-западное» с б л и ж е н и е религий и философий. На страницах первых двух номеров журнала — выступления католических и протестантских богословов, отрывки из Пятикнижия (в новом переводе семитолога И. Ш. Шифмана, — тут же заметим, что полностью этот перевод уже вышел отдельной книгой: Учение. Пятикнижие Моисеево. М. «Республика». 1993) и пояснения к Шариату, высказывания баптистов и мышления об Упанишадах, зарождающаяся «постсоветская» философия и голос Русской Православной Церкви (представленной, правда, в единственном числе — митрополитом Смоленским и Калининградским Кириллом).

Можно говорить, по-видимому, о своего рода философском декадансе в западной «секулярной» мысли, что, в частности, стало темой работы Ф. Шейфера «Современная философия и современная теология» (№ 1), — когда развившаяся философская форма значительно опередила крайне суженное содержание, представляющее собой, по сути, дальнейшую и уже исчерпывающую себя разработку ранне существовавших воззрений. Что касается современной богословской мысли, ее устремленности к созданию «систем», «ограниченных конструкций» (Ф. Шейфер), попыток увязать христианскую веру с научной методологией, то и здесь ошутимы черты кризиса.

Основные проблемы католицизма (Ф. Родэ, П. Пупар) связаны сегодня с падением его авторитета в условиях потребительского общества («Мне кажется, Западная Европа устала и христианство уже ничего не может сказать широким слоям населения», — Ф. Родэ), в условиях «духовной пустыни» (П. Пупар). Отсюда — надежда на «возрождение христианства» при посредстве «стран Восточной Европы» (Ф. Родэ), стремление к «диало-

гу с неверующими» (который, впрочем, ведется на языке рациональных понятий, что само по себе его обедняет). Укрепляется «обновленческое крыло» (Г. Кюнг, «Взаимоотношение: иудаизм и христианство» /№ 1/) с его переоценкой исторического прошлого католицизма и христианства вообще, нацеленностью на поиски в христианстве «общих точек» с иными развитыми религиями.

Обильно представленные журналом религиозные деятели протестантизма и «неофициальных» церквей отличаются, напротив, эмоциональной непосредственностью, характерным оптимизмом. Здесь большой разброс рекомендаций и оценок, определяемых, как правило, не традицией, а личностью проповедника: от классических в своем роде размышлений англиканина Кл. С. Льюиса (эссе «Вера» в № 2) до живых проповедей В. Ф. Марцинковского, Дж. Пакера, В. Буша, до, наконец, педагогических наставлений доктора психологии Дж. Ч. Добсона «Взгляд на гнев с позиции христианства» (№ 1).

«Секулярная» мысль Запада представлена эссе Х. Ортеги-и-Гасета «Размышление об Эскориале» (№ 2), венчающим в некотором роде течение «эстетического волонтаризма» и рассматривающим с этих позиций судьбу памятника испанской культуры, а шире — судьбу самого народа. Показателен рост интереса к философии Мартина Бубера — в попытках соотнести его «диалогический метод» с русским философским наследием (Ж. Бекбосынова, «Диалог как коммуникация» в № 1), даже дать с опорой на него новый импульс христианской вере (П. Пупар, «Диалог после крушения коммунизма» — там же).

Что до специфического круга авторов, которыми представлена в журнале отечественная философская мысль, то они пребывают в некоем промежуточном состоянии, пытаясь осуществить «плавный»

переход от марксизма к новой системе взглядов. Это ясно выражено в статьях Л. Н. Митрохина «Христианские ценности на рубеже III тысячелетия» и «Кто есть истина?», открывающих оба номера журнала. Здесь не отставленные ценности материализма, попытки дать «рациональное» обоснование христианства и его судьбы переплетаются с запросом на «универсальное мировоззрение» и поисками «духовного компромисса», способного примирить в себе религии и философские системы. Речь идет об уравнивании в правах религии, философии и искусства как элементов «духовной культуры», назначение которых — воспроизводство, передача «информации» между поколениями с целью обеспечения непрерывного течения истории. Заявленный рационализм в постижении «духовной культуры» вступает в странный симбиоз с конечным выводом о ее «внерациональном» источнике, некоем «Космическом Абсолюте», направляющем духовную жизнь человечества. Здесь, как и в статье Е. П. Корогодоровой «Теодицея по Вл. Соловьеву» (№ 2), налицо разрыв между устоявшейся методологией и новыми для этих авторов, «вечными» темами.

Интересен подобранный М. И. Одинцовым архив «Декларация Митрополита Сергия (Страгородского)» (№ 1) — о борьбе русской Церкви за выживание в условиях атеистического террора. Драма А. П. Чехова «Татьяна Репина» (№ 2) своеобразно характеризует обстановку в русском обществе перед постигшей его катастрофой. Наконец — прекрасное, не устаревшее эссе Г. Честертона «Пять смертей христианской веры» (№ 1), умный и тонкий очерк В. Тростникова «Сильные нашего мира» (№ 2), в которых вера предстает как пережитый и продуманный опыт.

Владимир Цуков.

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ  
ГЛАВЫ ИЗ МЕМУАРНОЙ КНИГИ  
ЭММЫ ГЕРШТЕЙН  
«ЛИШНЯЯ ЛЮБОВЬ»



## SUMMARY

Poetry section contains poems by Vladimir Leonovich and Olga Grechko.

«Expectation of the Apes» by Andrey Bitov is the main prose work of the issue. It is the final part of a trilogy, continuing his famous stories «Birds, or New Data About Man» and «A Man In A Landscape» (the latter was published in «Novy Mir», 1987, No 3).

The issue also includes fragments of a publicist work by Alexandre Borschagovsky, «The Blood Is Prosecuted» in which the author tells about the circumstances of the murder of the great jewish actor S. Mikhoels and about the trial of the members of the jewish anti-fascist committee in the late 40s.

The section «Sketches of Our Days» presents records of Lyudmila Samoylova «States-children» about her experience as a mistress in an orphanage. This publication is preceded with an introductory note by Lyudmila Petrushevskaya.

Publication of the correspondence of E. N. Trubetskoy and M. K. Morozova, edited by A. A. Nosov (begun in No 9), is completed in our section «Publications and Reports».

The section «Literary Criticism» includes essays of the late prose writer Yuru Karabchievsky, about the works of Andrey Bitov, Samuel Marshak, Grant Matevosyan (publication of Svetlana Karabchievskaya), edited and forwarded by Sergei Kostyrko).

In the section «Briefly About Books» V. Pukov gives a short review of the most recent books on religion and phylosophy.

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ  
ПОВЕСТЬ МАРКА ХАРИТОНОВА  
«ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ»

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Редакция не имеет возможности ходатайствовать по частным делам.

Главный редактор С. П. Залыгин

Редакционная коллегия:

С. С. Аверинцев, В. П. Астафьев, А. Г. Битов, А. В. Василевский (ответственный секретарь), Д. А. Гранин, Д. С. Лихачев, П. А. Николаев, В. Ю. Потапов, И. Б. Роднянская, В. И. Селюнин, З. М. Фаткудинов, В. Л. Филимонов (зам. главного редактора), М. О. Чудакова, О. Г. Чухонцев

Коммерческий директор А. О. Петров

Технический редактор А. С. Гинзбург

Свидетельство о регистрации № 138 от 27 сентября 1990 г.  
в Министерстве печати и массовой информации РСФСР.

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.

Сдано в набор 20.07.93 г. Подписано к печати 30.08.93 г. Оригинал-макет изготовлен на компьютере редакции журнала «Новый мир». Формат бумаги 70x108 1/16. Бумага кн.-журн. Высокая печать. Объем 16 п. л. (22,4 усл.-печ. л., 22,58 усл. кр.-отт.). 28,02 уч.-изд. л.

Тираж 52 650 экз. Зак. 3586. Цена: в России — 90 р., в странах СНГ -- 200 р.

При участии издательства «Известия Советов народных депутатов Российской Федерации».  
Москва, Пушкинская пл., 5.

Типография имени И. И. Скворцова-Степанова издательства «Известия Советов народных депутатов Российской Федерации», 103798, Москва, Пушкинская пл., 5.

# ДЕЛОВОЙ МИР BUSINESS WORLD

## ОДНА ИЗ ВЕДУЩИХ ЕЖЕДНЕВНЫХ НЕЗАВИСИМЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ГАЗЕТ ДЛЯ ДЕЛОВЫХ ЛЮДЕЙ СНГ

Газета выходит на 16 полосах  
5 раз в неделю тиражом  
105 000 экземпляров.

Наш индекс 50026  
в каталоге «Роспечати».

Адрес редакции:  
125015, Москва,  
Новодмитровская ул., дом 5а.  
Тел. (095) 285-88-03  
Факс (095) 285-60-70,  
285-52-82

### Адрес рекламной и коммерческой службы:

103012, Москва,  
Старопанский пер., д. 1/5,  
Тел. (095) 928-57-31,  
928-30-48,  
928-45-55  
Факс (095) 928-57-31,  
928-45-55

«Деловой мир» — это объективная и актуальная информация о состоянии экономической жизни в России и других странах СНГ, состоянии товарных и фондовых рынков СНГ и мира, сведения с ведущих бирж СНГ и мира, аналитические материалы и прогнозы в области экономики, финансов и бизнеса, экономические портреты регионов России и других стран СНГ, новости экономической и деловой жизни за рубежом.

*Рекламная и коммерческая служба газеты «Деловой мир» предлагает широкий спектр рекламных, информационных, посреднических и коммерческих услуг, в том числе:*

- опубликует Вашу рекламу на выгодных условиях, которую будут ежедневно читать руководители предприятий, учреждений, банков, бизнесмены, экономисты, эксперты и другие представители делового мира;
- поможет Вам провести выгодные операции по купле-продаже товаров;
- окажет всестороннюю помощь в налаживании наиболее выгодных форм сотрудничества в коммерческой и других областях;
- представит Ваши интересы в деловых и государственных кругах России;
- возьмет Ваши заботы по поиску партнеров в России и за рубежом.

**«Деловой мир» —  
газета лидеров делового мира.**

# ДЕЛОВОЙ МИР BUSINESS WORLD